

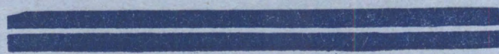
|| 9 ||

Н О В Ы Й  
М И Р

|| 1973 ||

# Н О В Ы Й М И Р

9



1973

# ИЗВЕСТИЯ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIX

№ 9

Сентябрь, 1973 г.

---

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
АРКАДИЙ САХНИН — 250 000 000	3
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Ф. ТАБЕЕВ — <i>Всенародная стройка</i>	11
БОРИС МОЖАЕВ — <i>День без конца и без края, киноповесть</i>	19
НИК. УШАКОВ — <i>Новые стихи</i>	67
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — <i>Саядро из Чегема, роман. Продолжение</i>	70
<i>К 600-летию со дня рождения Имадегдина Насими</i>	
ВЕЛИКИЙ СЫН АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА. Предисловие Мирзы Ибрагимова. Перевели с азербайджанского Н. Гребнев и Татьяна Стрешнева	105
НИКОЛАЙ АТАРОВ — <i>Дальняя дорога</i>	109
БОРИС ПАСТЕРНАК — <i>Переводы из Юлиуша Словацкого. Предисловие Евгения Пастернака</i>	162
В. КАРДИН — <i>Открытый флаг, документальные записки</i>	186
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
А. И. МИКОЯН — <i>На Северном Кавказе. Продолжение</i>	216
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Ю. ЛУКИН — <i>Слово гуманиста</i>	237
ВЛАДИМИР ОГНЕВ — <i>У наших друзей, обозрение</i>	246

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Сергей Орлов.</b> Поэзия мужества.— <b>Н. Дикущина.</b> Живые связи литературы.— <b>В. Оскоцкий.</b> Звездный час Егора Телепнева.— <b>Юрий Нагибин.</b> Диалог с другом.	259
<i>Политика и наука</i>	
<b>Ю. Суровцев.</b> Закономерное достижение социализма.— <b>Э. Юдин.</b> Какой будет школа? — <b>А. Плахотвник.</b> Океан и энергетика будущего.— <b>С. Тронцкий.</b> Франция глазами русского дипломата.	272
КОРОТКО О КНИГАХ — <b>И. Подольская.</b> — Василий Казин. Избранное. ♦ <b>В. Шарпов</b> - Нгуен Динь Тхи. Разгневанная река. Роман	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

---

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

АРКАДИЙ САХНИН

★

250 000 000

«150 000 000 говорят губами моими».

*В. Маяковский.*

9 августа 1973 года численность населения СССР достигла 250 миллионов человек.

*Из сообщения ЦСУ.*

**И**ас — двести пятьдесят миллионов. Это подсчитали электронные машины. Машины бездушны. Они не все помнят. Но мы помним. Мы знаем — двести семьдесят. Двадцать миллионов погибших на войне живут среди нас и в каждом из нас. Они навечно зачислены на Сталинградский тракторный и Курскую магнитную аномалию, в Севастопольские бастионы и цехи ленинградских заводов, на Минский автомобильный и донецкие шахты, в колхозы Подмосковья, где впервые с тяжелыми пробсами дала задний ход исполинская военная машина, раздавившая Европу.

Каждый день мы повторяем их имена, и они зовут нас к подвигу, как и имя Матросова на утренних и вечерних поверках воинской части. Мы увековечили их в названиях городов, улиц, площадей. Камни Бреста заложили в фундаменты великих строек. В алтайскую землю запахали землю Хатыни и на монументе у края дороги, где берет начало первая борозда, начертали:

И породилась земля Алтая  
С землей Хатыни.  
Да будет бессмертным  
это братанье,  
Эта святыня!

Обессмертили свое имя наш рабочий класс, наше крестьянство, наша интеллигенция. И свое достойное место в истории беспримерного сражения разума против варварства занял ударный отряд интеллигенции — советские писатели. Вне зависимости от возраста и места в литературе в первый день войны они объявили себя мобилизованными и призванными на фронт. Одни уже имели мировое имя, другие, совсем юные, только вступали на нелегкий писательский путь, но явились в военкоматы плечом к плечу, без повесток и вызовов, явились как рядовые родины, возвращенные великой партией Ленина.

Они рассеялись по бесчисленным подразделениям сухопутных, военно-морских и воздушных сил, ушли в тылы врага, в партизанские отряды. Они рассказывали миру о битвах и сражениях как участники событий. Певцы народа и сыны народа, они воспевали героев и были достойны своих героев. В первый день войны понесли первые потери. В этот день были убиты писатели Александр Гаврилюк и Сте-

пан Тудор. Когда уже взвился алый стяг над поверженным рейхстагом, пал под Берлином писатель Мирза Геловани.

После войны писатели-фронтовики выстроились на поверку.

— Командир полка Аркадий Гайдар!

— Пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей родины!

— Майор Петр Лидов!

— Пал смертью храбрых...

— Бригадный комиссар Владимир Ставский!

— Пал смертью храбрых...

Александр Афиногенов, Евгений Петров, Александр Хамадан, Юрий Крымов, Муса Джалиль, Ефим Зозуля, Иосиф Уткин, Всеволод Багрицкий... Четыреста одиннадцать! Четыреста одиннадцать были убиты. Каждый третий, ушедший на фронт. Каждый второй ранен.

Четыреста одиннадцать сегодня не учтены статистикой. Их нет в списке, составившем четверть миллиарда. Но они живут и борются вместе с нами, как борются за алтайский хлеб павшие в Хатыни, как помогают воздвигать гиганты индустрии герои Бреста, как вместе с нами борются все двадцать миллионов.

И на всей земле нашей звучит песня:

Я сегодня до зари встану,  
По широкому пройду полю.  
Что-то с памятью моей стало:  
Все, что было не со мной, помню.  
Бьют дождинки по щекам впалым.  
Для вселенной двадцать лет — мало...  
Даже не был я знаком с парнем,  
Обещавшим: «Я вернусь, мама!..»  
Обещает быть весна долгой.  
Ждет отборного зерна пашня.  
И живу я на земле доброй  
За себя и за того парня.  
Я от тяжести такой горблюсь,  
Но иначе жить нельзя, если  
Все зовет меня его голос,  
Все звучит во мне его песня...

Мир воздал должное нашему строю, монолитной сплоченности наших народов, непревзойденному героизму наших людей, их моральному превосходству и патриотизму, гордому духу каждого из нас.

Как сказал американский историк Фредерик Шуман, преклонение человечества перед советским народом вызвано не только тем, что наши «фантастические замыслы» в области экономики привели к «баснословной действительности», но главным образом тем, что, по словам американского писателя Уолдо Фрэнка, наша родина — «самая мощная крепость в сфере человеческого духа».

Было и другое. Когда глубоко вздохнула освобожденная земля, ученый и общественный деятель США Уильям Дюбуа писал:

«Не кто иной, как Советский Союз пожертвовал миллионами своих сыновей и дочерей и значительной частью своей промышленности, созданной ценой кровавых усилий, чтобы спасти от ужасов гитлеризма тот самый мир, который злобно клеветал на него».

Это правда. Спасая свою отчизну, мы спасали и народы мира. Никто, кроме нас, не мог этого сделать. Никому это не было под силу.

Мы не мстили и тем, кто клеветал на нас. А клеветали немало. И не только клеветали.

Мы родились в трущобах, в очень бедной семье. Темной, забитой, невежественной. Достояния культуры русского и других народов, населявших Россию, были нам недоступны. Великие открытия и научные

достижения лучших умов наших народов растаскивались дельцами из других стран. Первые слова, которые мы услышали, — Свобода, Мир. Эти слова сказал Ленин. Они прокатились по земному шару. И те, кто властвовал над ним, решили, пока мы не поднялись, прикончить нас вместе с этими ненавистными для них словами.

Нас было тогда сто пятьдесят миллионов. Сто пятьдесят миллионов измученных, голодных на пепелище, в какое превратили нашу родину царский режим, империалистическая и гражданская войны.

Уверенно и неторопливо собирались делегаты империализма Спокойно и деловито решали: ждать, пока мы задохнемся сами, или заплатить профессионалам, чтобы нас прикончить сразу.

Решили платить. Решили не скупиться, только бы побыстрее... Они разработали несколько планов удушения. Не стеснялись громко обсуждать их. Вот один, опубликованный 10 февраля 1919 года в газете «Токио кокумин шимбун»:

«Россия — рассадник большевизма, который угрожает распространить заразу на союзные государства. Поэтому союзники должны взять на себя контроль над Россией и поставить своей целью сохранение порядка, временно взять власть у самоучрежденного правительства, включая военную и полицейскую власть, и таким образом обеспечить русскому народу возможность проявить свою волю и создать правительство... Если бы это предложение было принято и Япония получила бы контроль над Сибирью, а Америка над Россией, то Америка должна была бы выполнять и общие обязанности...

Что касается японского контроля над Сибирью, то против этого, мы уверены, не возражала бы ни одна из держав, принимая во внимание нашу географическую близость к Сибири.

Конечно, контроль над Россией будет лишь временной мерой. Контроль же над неразвитыми колониями примет по необходимости длительный характер. Контроль над ними продлится десятки, а может быть, и сотни лет. Вопрос о контроле над Россией стоит иначе. Он может продлиться от пяти до десяти лет».

Спокойный тон, деловой и ясный план. Бесстыдный и кровавый Сибирь, советский Дальний Восток и среднеазиатские республики — на сотни лет, остальную часть нашей родины — на пять—десять лет. Так и договорились. Только внесли небольшие коррективы. Не очень уж строго ограничивать пятью—десятью годами. И других не обидеть. Кое-что подбросить капиталу других стран. Не жалко. Всем хватит.

Ни тени сомнений в реальности грабежа. Сопrotивляться в России некому. Там нет даже самого простого оружия. Необходимо только один удар, но одновременно со всех сторон. Так и поступили. Ринулись со всех сторон добивать лежачего. Лежачим они считали нас. Не знали, что мы получили новое оружие. Оружие огромной силы, которое не продается и не патентуется. Оружие, какого не могли создать ни ученые империализма, ни его миллиарды чистоганом. Мы знали цену этому оружию, берегли и бережем его как зеницу ока. А овладели им еще тогда, когда нас было сто пятьдесят миллионов. Но если идеей овладевают массы, она становится материальной силой. Великая идея коммунизма захватила умы ста пятидесяти миллионов, и они стали непобедимыми. Непобедимыми потому, что пошли за ленинской партией. К тому времени она уже имела почти пятнадцатилетний опыт борьбы. Она вышла из подполья, вернулась с царской каторги, из тюрем ее бойцы, собралась вместе могучая когорта мастеров революции.

Мы начали строить новый мир. Кому не хватало лопат, гребли землю руками. Кому не хватало тачек, таскали ее на себе. Мужчи-

ны — на плечах, женщины — в подолах. Так началось наше восхождение на вершины мирового прогресса.

Экскаваторы и самосвалы мертвым грузом лежали на складах капиталистического мира. Нам не продавали их. Нам ничего не давали в долг. И за наличные не давали. Ни одной машины, ни одного механизма. Нас — забетонировали в экономическую и политическую блокаду. Пусть гибнут.

Стиснув зубы, мы строили новый мир сами. Честные мыслители Запада сумели увидеть контуры этого еще не очень понятного им мира. Увидели будущее земли. Когда был оглашен первый пятилетний план, Теодор Драйзер писал:

«Я не вполне согласен ни с теорией, ни с практикой советской формы правления, но должен сознаться, что она обладает поразительными качествами. И я считаю, что советский строй удержится в России на долгое время. Больше того — он распространится и бесспорно окажет значительное влияние на все другие государства. Мне думается, что и моей родине со временем предстоит «советизироваться» — быть может, еще на моем веку.

Я пришел к выводу, что Россия, по всей вероятности, превратится в одну из самых мощных экономических сил, какие когда-либо существовали в мировой истории».

Это было сказано в двадцать восьмом году, когда родина Драйзера произвела 57 миллионов тонн стали, а мы 4 миллиона. Чугуна — 43 миллиона, а мы 3 миллиона. Каменного угля — 552 миллиона, а мы — 35. Уже тогда в американских квартирах стояли холодильники, а мы не знали, как они выглядят. Да и ни к чему они нам были. Не было квартир, куда их ставить, и нечего было в них класть.

Низкий поклон вам, Теодор Драйзер, за веру в нас в тот далекий год, когда мы были еще так немощны экономически. Ваша вера в нас оправдалась. Мы стали «одной из самых мощных экономических сил, какие когда-либо существовали в мировой истории». Уже в 1970 году мы почти сравнялись с Америкой по выпуску стали, а в чугуна обошли ее. Мы выплавили 86 миллионов тонн, а они — 83. В добыче угля еще дальше оторвались от них. Мы выдали на-гора 624 миллиона тонн, а они — 542. Уже прошло то время, когда мы брали любой холодильник — только бы досталось. А такой совсем недавно для нас диковинки, как телевизор, — сколько хочешь. Можно за наличные, можно в кредит. 40 миллионов их стоят в наших квартирах. Практически каждая советская семья, живущая в районе, доступном телевещанию, имеет телевизор. Да еще почти шесть миллионов выпускается ежегодно. Не надо обладать большой фантазией, чтобы предвидеть, и как скоро будет удовлетворен спрос на автомобили, хотя в их производстве мы еще значительно отстаем от американцев.

Приводя цифры развития нашей экономики, я выбирал те из ее главных отраслей, в каких мы достигли наилучших результатов. Еще немало и таких, где мы не достигли уровня США, а обогнали лишь страны Европы. В таких, например, как оснащение орудиями производства, где когда-то мы выглядели, по словам Ленина, вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки.

Не везде еще в экономике мы достигли необходимого нам уровня, не всего еще у нас в достатке. Мы знаем это. Нам больно от этого. Но мы знаем источник боли и знаем, как и чем ее лечить. Мы не могли сразу осилить все. И еще раз вспомним: на каждый год мирной жизни — полтора года войны и разрухи. Нужны были миллиарды на то, чтобы сохранить и удлинить жизнь советского человека. И эти миллиарды всегда отпускались щедро. Только поэтому мы сумели более чем в 11 раз сократить детскую смертность. Среднюю продолжительность жиз-

ни увеличить с тридцати двух лет до семидесяти, справиться с болезнями, некогда косившими наш народ. Такими, как чума, холера, тиф, туберкулез, оспа, малярия... Сегодня каждый четвертый врач в мире — это советский врач. У нас их 700 тысяч, а в США — 393 тысячи. Каждый четвертый ученый земного шара — гражданин СССР.

Ну, а что говорить о больницах, санаториях, домах отдыха, детских садах, яслях, спортивных комплексах, медицинских учебных и научно-исследовательских институтах и центрах! Обо всем, что направлено на сохранение здоровья и жизни человека. В этом деле мы недосягаемы для капиталистических стран, ибо миллиарды, вкладываемые в него, не дают прибыли. Эти миллиарды может позволить себе тратить только страна, высшей целью которой является благо человека.

Двести пятьдесят миллионов... Я видел, держал в руках удивительный слиток, созданный нашими учеными. Он состоял из многих материалов — от красной меди до сверхпрочной стали. Каждый материал сохранял в нем свой цвет и качества, а весь он сверкал радугой многоцветья и содержал всю сумму качеств входивших в него составных.

Может быть, идею создания чудесного сплава авторам подсказал гений Ленина, объединившего все нации и народности нашей великой родины в неразрывный добровольный Союз, где сохраняются и развиваются их силы и неповторимые черты, а их органичное соединение и явило собой новую историческую общность людей — советский народ, обладающий всей мощью и культурой братских народов.

Сегодня без участия Советского Союза не может решаться ни один вопрос международной жизни. Само существование нашей родины оказывает огромное влияние на борьбу рабочего класса мира за свои права.

Очень точно сказал об этом английский писатель Джеймс Олдридж:

«СССР незримо присутствует, скажем, при всяких переговорах о зарплате, проводимых в западном государстве, при каждой забастовке за улучшение условий труда и т. п. Чем объяснить это присутствие? Да просто уже тем, что Страна Советов существует. Существование социалистического государства запечатлено где-то в глубине сознания каждого пролетария, когда он и его товарищи по труду вступают в очередной бой за свои права, и это больше, чем что-либо иное, терзает капиталистов. Именно страх, что рабочие захотят иметь в своей стране такой же строй, что и в СССР, вынуждает многих капиталистов идти на компромисс с рабочими. Один лишь тот факт, что СССР существует, неизмеримо укрепил позиции рабочих всего мира».

Могли ли представить себе такое главари голого чистогана в тот далекий первый год первой пятилетки? Они читали наш план, задыхаясь от смеха. Измывались над нашим планом, топтали его, шельмовали сами и платили морально и умственно неполноценным, чтобы грохотом в эфире, водопадами газет с клеветой заглушить голос передовых мыслителей, заткнуть глотку рабочему классу мира, еще в гражданскую войну бросившему клич: «Руки прочь от России!»

На пороге второй пятилетки свое слово сказал Бернард Шоу:

«Исключение России из международной торговли было актом слепоты и сумасшествия со стороны капиталистических держав. Бойкотуя Россию путем неистового террора против коммунизма, они предоставили ее собственным ресурсам и заставили спасать себя при помощи развития своих физических и культурных сил».

Сейчас ленивая, пьяная, грязная, суеверная, рабская, безнадежная Россия отвратительного царизма становится энергичной, трезвой, чистой, по-современному интеллектуальной, независимой, цветущей и бескорыстной коммунистической страной».



Лучшие умы просвещенного человечества видели в нас великое Будущее. Об этом говорили Ромен Роллан, Анри Барбюс, Мартин Андерсен-Нексе, Анатоль Франс, Эптон Синклер, Жан-Ришар Блок, Бертольд Брехт, Луис Рекабаррен, Альберт Эйнштейн, Рабиндранат Тагор, Генрих Манн, Чарлз Чаплин, Эрскин Колдуэлл, Эрнест Хемингуэй, Чарлз Сноу и каждый, кого трудно здесь перечислить и кто составляет цвет мировой культуры.

Солидарность мирового рабочего класса, как и моральная поддержка деятелей культуры, помогла нам в нашей трудной борьбе. Как великая реликвия хранится в Музее Ленина знамя парижских коммунаров, врученное французским народом рабочему классу Страны Советов в знак признания ее авангардом человечества.

...Прогрессивные голоса заглушали. Забивали клеветой с грохотом горных обвалов. Слепая, жестокая, алчная сила представляла нас народам такими, какой нарисовал царскую Россию Бернард Шоу. Обманутое оказалось много. Многие верили сначала в клевету, будто мы колосс на глиняных ногах. Потом верили в парад гитлеровских войск на Красной площади. Те, кто верил в это, изумились нашей победе. А мы не изумлялись. С первого дня войны верили в свою победу и, когда она пришла, не дали себе ни дня отдыха. Боль тяжчайших потерь заглушали неистовым трудом, восстанавливая разрушенное. Мы забывались в труде, возрождая родину, но зорко смотрели по сторонам! Еще дымились опустевшие и опустошенные поля сражений, а уже за океаном трещали арифмометры, щелкали электрические счетные машины, жужжали электронные механизмы: подсчитывались барыши. Кое-кому война выгодна. И появилось чудовищное порождение разгоряченного мозга империализма, немыслимый гибрид мира и войны — «холодная война».

Они говорили: истощенный войной Советский Союз снова поднимает вопрос о мире. Это от бессилия. Пока он слаб, надо доконать его.

Никаких уроков истории. Они забыли старое, не поняли нового. Не поняли, что могучий сам по себе Советский Союз теперь уже не один. Родилась мировая социалистическая система — нерушимое сотрудничество стран социализма. В воздушные пространства этой системы за два года они запустили 420 тысяч разведывательных шаров. Нас окружали военными базами, гонка вооружений, как золотая лихорадка, ослепляла безумных.

Когда-то Михаил Кольцов назвал Гитлера сумасшедшим с бомбой. Мы не могли спокойно оставаться перед лицом безумцев с атомной бомбой. У нас не оставалось иного выхода — на восемь месяцев раньше американцев мы создали водородную бомбу. Создали и предложили разоружение. Предложили уничтожить атомное оружие и водородную бомбу, единственным обладателем которой были мы.

Они отказались. Совсем недавно мне объяснили, почему они отказались. Месяца три назад у меня была беседа с одним из представителей делового мира Америки Дональдом Кендаллом, председателем совета директоров американско-советской торговой палаты. Палата должна содействовать дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Договоренность о ее создании была достигнута во время визита Л. И. Брежнева в США. Наша беседа с Кендаллом предназначалась для печати, и, по-видимому, я вернусь к ней. А сейчас только об одной детали. С большим уважением он отзывался о советских людях, с которыми ему приходилось вести многочисленные переговоры. Особенно восторгался главой одной из наших торговых делегаций. «Это удивительный человек, — говорил он. — Я таких не видел. Видимо, бог создал его и разбил форму,

чтобы больше таких не было. С ним очень легко работать. Если переговоры осложняются и точки зрения расходятся все дальше, он начинает рассказывать веселые истории и анекдоты. Обстановка разряжалась. Но как-то так получалось, что все эти смешные истории, никакого отношения к делу не имевшие, все-таки работали на его доводы. И не было случая, чтобы мы не пришли к соглашению даже по самым сложным проблемам. Я убежден,— закончил он,— что мы можем решить абсолютно все вопросы, кроме идеологических».

Именно эти последние слова Кендалла, представителя крупного капитала, я привел как весомый довод другому американцу, весьма прогрессивному деятелю США. Он утверждал, будто не только в идеологии, но и в вопросе, чрезвычайно выгодном в экономическом отношении обеим странам,— в вопросе полного разоружения, мы никогда не сойдемся. Решительно отвергал точку зрения Кендалла. «Если даже допустить условно,— сказал он,— что будет достигнута договоренность, капиталистический мир разоружится, а СССР нет».

Я стал призывать, но он прервал меня: «Не о том речь. Конечно, можно установить надежнейший контроль и допускаю, что вы уничтожите все до последнего пистолета. Но идеи ваши останутся. А капиталистический мир окажется перед вами безоружным».

Я не знал, что ответить. Ведь и в самом деле, кроме средств истребления, у него нет оружия, и как ни тщатся его идеологи навязать массам подходящую идею, подходящих не найдется.

...Исполнами шагали наши пятилетки. Мы воздвигли индустриальные комплексы, каких не знал мир. Оснастили сельское хозяйство миллионами машин. Взрыхлили тысячелетиями слежавшуюся землю. Открыли новые горизонты в технических науках. Открыли эру космоса. Все больше трезвых голосов раздавалось с Запада, и уже редко кто без риска всеобщего осмеяния мог заговорить о нашей слабости.

Как пустую бумажку, разорвали мы некогда сильное оружие блокады — Бернскую конвенцию, лишившую нас возможности получить хоть сколько-нибудь приемлемый кредит.

Сегодня мы торгуем со 106 государствами, а торговля с социалистическими странами давно вышла за пределы обычного понимания этого слова. Мы создали ряд совместных промышленных систем, их количество будет расти. Ширятся и углубляются социалистическая интеграция, разделение труда, весь комплекс отношений наших государств, при которых народы сближаются экономически, политически, духовно. Страны социализма выпускают почти треть мировой продукции.

Мы бескорыстно помогаем развивающимся странам. При нашем экономическом и техническом содействии сооружено, сооружается и намечено к строительству в этих странах более 700 промышленных и культурных объектов, имеющих важное значение для создания фундамента их независимости. Мы торгуем на взаимовыгодных началах, не ставя ни экономических, ни политических условий.

Так мы подошли к великому рубежу — XXIV съезду нашей Коммунистической партии. В качестве главной задачи девятой пятилетки съезд выдвинул существенное повышение благосостояния трудящихся. Здесь же, на съезде, была принята грандиозная Программа мира.

Чтобы осуществить массированное мирное наступление, надо, как для любого глобального наступления, иметь боевой генеральный штаб, способный руководить полководцами, в совершенстве владеющий современными методами ведения борьбы, передовой стратегией и тактикой, наукой побеждать.

Нашей партии семьдесят лет. Семьдесят лет ни на минуту не ослабевающей борьбы за народное дело. Семьдесят огненных лет сквозь

пожарища войн и разруху за счастье человека, за идеи коммунизма. Весь гигантский опыт со времен подполья и царской каторги, с тех времен, когда, окруженные со всех сторон врагами и под их огнем, мы, крепко взявшись за руки, тесной кучкой шли по обрывистому пути до сегодняшнего безраздельного торжества наших идей и практики, впитала в себя партия, ее боевой генеральный штаб — Центральный Комитет и уверенно ведет советские народы по столбовой дорожке коммунизма.

Эта дорога обозначилась давно. Когда призрак только бродил по Европе. Теперь это уже не призрак. И он не бродит. Властно шагает по планете идея коммунизма и могучей притягательной силой покорила сердца людей. Мы видели, как это происходит.

Осуществлять один из важнейших этапов Программы мира партия в очередной раз уполномочила Генерального секретаря своего Центрального Комитета Л. И. Брежнева. За океан он отправился не один. И не только с ближайшими помощниками. В массивное мирное наступление он повел двести пятьдесят миллионов. В авангарде ум, честь и совесть эпохи — 15 миллионов коммунистов. Вместе с ними надежный резерв партии — 30 миллионов комсомольцев. В боевых порядках главная ударная сила, гордость и слава советских народов — шестидесятипятимиллионный рабочий класс плечом к плечу со своим верным союзником — доблестным семнадцатимиллионным колхозным крестьянством. В том же тесном строю плоть от плоти, кровь от крови народа — советская интеллигенция, включающая 2 600 тысяч учителей, 2 650 тысяч дипломированных инженеров, 700 тысяч врачей, около миллиона научных работников, всю армию умственного труда.

Это великое войско поднялось с выгоднейшего плацдарма, протянувшегося на десять тысяч километров в длину и пять тысяч в ширину, с завоеванных господствующих высот в экономике, науке, культуре, с господствующих высот мирового прогресса.

И когда появился на экранах американских телевизоров Леонид Ильич Брежнев, Америка услышала простой и ясный голос, доступный и близкий всем народам, голос великой страны, зовущей человечество к миру и прогрессу.

Может быть, впервые за все годы нашего существования вся трудовая Америка взглянула на нас собственными глазами и поняла наши идеалы.

По достигнутым итогам миссия Л. И. Брежнева стала исторической. Мы знаем, Программа мира рассчитана на годы, мы только приступили к ее выполнению, но пока она идет с опережением. Мы знаем, что возможны рецидивы «холодной войны». Еще не закрыты анти-советские центры, еще не розданы голодным миллионы из специальных «фондов», еще отпускаются деньги на лживые радиостанции. Но мы верим в неотвратимый ход истории. Мы проверили точность этого хода долгими десятилетиями. Мир — естественное состояние человечества. Это существо нашего строя. Основа жизни двухсотпятидесяти миллионов. Поэтому за Программу мира мы будем бороться, как боролись за каждую пядь своей земли.



---

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Ф. ТАБЕЕВ,

*первый секретарь Татарского обкома КПСС*

★

### ВСЕНАРОДНАЯ СТРОЙКА

**В** истории каждой области, республики, страны в целом бывают события, которые по масштабам, народнохозяйственному значению, социально-экономическим последствиям представляют собой важнейшие этапы на пути их поступательного развития. Таким событием, призванным внести крупный вклад в создание материально-технической базы коммунизма, является для Советской отчизны строительство Камского автомобильного завода. Надо ли говорить, какую радость вызвало у трудящихся нашей республики то обстоятельство, что местом сооружения крупнейшего комплекса отечественного автомобилестроения избрана Татария. Превратившаяся за годы советской власти из отсталого аграрного района царской России в республику нефти и химии, авиастроения и приборостроения, развитого земледелия и животноводства, Татария при братской помощи народов нашего великого Союза станет в скором времени и республикой автомобилестроения.

Монолитное единство многонационального советского общества — та сила, опираясь на которую все республики, все народы нашей страны смогли достичь поистине небывалого расцвета. Вместе со всеми росла и крепла Татария. Чтобы получить представление о поистине невероятных темпах ее развития, приведу лишь одну цифру: валовая продукция крупной промышленности республики за пятьдесят лет превысила дореволюционный уровень в 400 раз.

Советская Татария сегодня — это республика высокоразвитой индустрии, многоотраслевого сельского хозяйства. У нас выросли замечательные кадры рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, достигнуты большие успехи в развитии образования, науки и культуры. Все это было бы немыслимо без социалистической революции и мудрого руководства коммунистической партии, без ленинской дружбы народов и той огромной помощи, которую оказывают народы Советского Союза друг другу.

Думается, нет необходимости подробно говорить о том, чем была и чем стала Татарская республика. Но несомненно одно: все наши успехи, наши достижения явились как бы прелюдией, преддверием еще более крупных и значительных дел, которые предстоит свершить. Возведение на берегах Камы крупного автомобильного комплекса — одна из значительных вех на этом пути.

Камский автомобильный завод стал важнейшей всенародной стройкой девятой пятилетки. Его строит вся страна, он воистину детище трудового братства людей, спаянных единой высокой целью — построением коммунистического общества.

По концентрации производства и техническому уровню КамАЗ будет крупнейшим предприятием страны, выпускающим дизельные грузовые автомобили, станет флагманом машиностроения Татарии. Вот некоторые данные, помогающие составить реальное представление о масштабах нового предприятия и объемах его строительства.

Камский автомобильный завод рассчитан на выпуск в год 150 тысяч дизельных машин грузоподъемностью 8—11 тонн и 250 тысяч двигателей. В состав этого комплекса входят заводы: ремонтно-инструментальный, литейный, дизельный (двигателей), прессово-рамный, кузнечный и автосборочный. Каждый из них по существу крупное самостоятельное производство со своими цехами и подразделениями.

Внушительны производственные площади предприятия. Общая развернутая площадь основных и вспомогательных производств КамАЗа достигнет 2,5 миллиона квадратных метров. Вся территория комплекса заводов будет равна примерно ста квадратным километрам.

Можно привести еще несколько цифр, характеризующих размах и сложность стройки. Объем бетонных работ составит 5 миллионов кубических метров (почти равный объему на строительстве Братской гидроэлектростанции). Будет вынута и отсыпано 200 миллионов кубометров грунта — немногим меньше, чем на строительстве Волго-Донского канала. Добавьте к этому 4,4 миллиона кубических метров сборного железобетона, около 400 тысяч тонн металлоконструкций, 360 тысяч квадратных метров стеновых панелей, сотни тысяч километров различных труб, 250 километров автомобильных дорог...

Одновременно с заводом воздвигается город автостроителей. К моменту пуска завода предусмотрено построить около двух миллионов квадратных метров жилой площади. Рождается город на уровне самых прогрессивных достижений архитектуры и градостроительства, со всеми необходимыми культурно-бытовыми учреждениями. В решающий период строительства предстоит осваивать в день около полутора миллионов рублей и больше. Такого размаха, таких масштабов и темпов не знала ни одна стройка страны, вся история отечественного капитального строительства.

В проектировании Камского автозавода, разработке автомашины, обеспечении стройки всем необходимым участвуют многие научно-исследовательские, проектно-конструкторские организации, сотни промышленных предприятий страны. Генеральными проектировщиками комплекса выступают два крупнейших института — Гипроавтопром Министерства автомобильной промышленности СССР и Промстройпроект Госстроя СССР.

Строительство Камского автомобильного комплекса с самого начала ведется при постоянном внимании и неослабном контроле и руководстве со стороны Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР.

В конце 1971 года во время пребывания в Татарской АССР город Набережные Челны посетил член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР товарищ А. Н. Косыгин. На строительные площадки автозавода неоднократно приезжал член Политбюро, секретарь ЦК КПСС товарищ А. П. Кириленко. Здесь постоянно бывают заместители Председателя Совета Министров СССР, руководители союзных министерств и ведомств.

ЦК КПСС поставил перед Татарской партийной организацией как одну из важнейших задач — мобилизацию коммунистов и трудящихся республики на успешное строительство автомобильного комплекса. На собраниях актива обласной партийной организации, посвященных ходу строительства КамАЗа, проводимых в Казани и в На-

бережных Челнах, на заседаниях бюро обкома КПСС и специально созданного штаба по строительству автозавода, на оперативных совещаниях систематически анализируется ход строительства, рассматриваются назревшие проблемы, определяются пути дальнейшего развития политической и организаторской работы среди строителей, повышения их трудовой активности.

Областной комитет партии понимает меру своей ответственности перед Центральным Комитетом за своевременное окончание стройки. Партийные органы республики постоянно заботятся об ускорении работ по сооружению автогиганта, улучшении условий труда и быта строителей, развитии соревнования за высокопроизводительный труд.

Партийные и общественные организации придают большое значение массово-политической работе среди строителей, формированию новых традиций рабочего поколения 70-х годов, утверждению советского образа жизни, моральных устоев и воспитанию высоких нравственных принципов у нашей молодежи.

Все многообразие политической работы, проводимой партийными организациями республики, объединяется и материализуется на строительных площадках, в первых цехах автомобильного промышленного комплекса и приносит свои положительные плоды.

На стройке КамАЗа еще и еще раз демонстрируются сплоченность и дружба людей разных национальностей, их любовь к родине, преданность делу партии, глубокое понимание общегосударственных интересов. Так было всегда на великих стройках страны. Братская дружба и взаимопомощь, ставшие нормой жизни при социализме, служат великой непреодолимой силой, которая позволяет собрать воедино наши возможности и решать сложнейшие проблемы.

Замечательной страницей в летопись Магнитостроя вошло, например, соревнование лучших бригад бетонщиков — Галиуллина и Сагдеева. Один день из жизни бригад описан в романе Валентина Катаева «Время, вперед!». Тогда комсомольско-молодежная бригада Хабибуллы Галиуллина, состоявшая из парней Апастовского района, установила мировой рекорд по укладке бетона — 1196 замесов в смену вместо 200. Главный инженер по бетонным работам и механизации фирмы «Мак-Ки» Девис, посетивший летом 1931 года Советский Союз, говорил о непонятном для него творческом подъеме, недоумевая по поводу того, что какие-то рабочие-татары устанавливают мировые рекорды, оставляя позади американцев.

Имя Хабибуллы Галиуллина стало известно всей стране. После завершения строительства Магнитки почти все члены его бригады стали сталеварами. И в эту новую профессию они внесли те чудесные качества, которыми некогда прославились на стройке. Горды мы сознанием, что в многонациональной семье строителей Днепрогэса и среди прославленных шахтеров, выдвинувших из своих рядов Алексея Стаханова, было немало сынов Татарии. Это Герой Социалистического Труда Г. Габдрахманов, орденосцы А. Зайнутдинов, М. Шакиров и другие.

Когда началось освоение богатств недр Татарии, из Башкирии, Грозного и других городов, республик и областей к нам шли эшелоны с оборудованием и материалами, прибывали квалифицированные кадры нефтяников; сотрудники научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций вели изыскательские и проектные работы и исследования. В Татарии аккумулировался прогрессивный опыт страны по эксплуатации нефтяных месторождений.

Позднее, когда республика освоила нефтяную профессию, а ее промыслы стали как бы лабораторией передового опыта, она, в свою

очередь, начала делиться с более молодыми нефтяными районами страны знаниями, мастерством, специалистами, новыми методами разработки месторождений. Всей бригадой уехали на нефтяную целину на далекий Мангышлак буровики Дамира Нурисламова. Они отлично трудились в Казахстане, доведя скорость проходки до 5400 метров на станок в месяц. На Мангышлаке хорошо знают Ивана Моржавина, Кави Валиахметова и других мастеров нефтяной Татарии. Многие наши земляки участвуют в освоении тюменской нефти.

Знамя интернациональной дружбы и взаимопомощи, которое высоко подняли строители Днепрогэса, Магнитки, Комсомольска-на-Амуре, пионеры разработки нефтяных богатств Татарии, достойно несут ныне их дети и внуки.

Уже 1 ноября 1969 года, то есть вскоре после того, как стало известно о начале строительства КамАЗа, в отдел кадров управления КамГЭСэнергострой прибыла первая группа добровольцев, а через четыре месяца отряд энтузиастов увеличился до пяти тысяч. Послали своих представителей и Казань, Альметьевск, Елабуга, Мамадыш, Сарманово и другие районы Татарии.

К концу 1971 года на сооружении завода и города автомобилестроителей трудились уже свыше 50 тысяч — посланцы 70 областей и республик страны, представители многих национальностей. Трудовой победой ознаменовали строители КамАЗа 1972 год. К концу его были сданы под монтаж первые производственные площади ремонтно-инструментального завода.

На пути к этому успеху рабочие, инженеры преодолели немало трудностей. Когда строительство только разворачивалось, предстояло значительно расширить базу стройиндустрии, заново создать промбазу, предприятия по производству металлоконструкций, изделий домостроения, бетона, раствора, кирпича и т. д. На расширение базы строительной индустрии пришлось мобилизовать все резервы. Ныне сооружается домостроительный комбинат производительностью 240 тысяч квадратных метров жилья в год (первая очередь ДСК на 120 тысяч построена). Реконструируется завод ячеистых бетонов, и его мощность достигнет 150 тысяч квадратных метров. Введен в действие завод силикатного кирпича производительностью 100 миллионов штук в год. В Набережные Челны поставляют строительные конструкции предприятия Москвы, Казани, Нижнекамска и других городов страны.

Одновременно создается база для сооружения автомобильного комплекса. Строятся заводы металлоконструкций мощностью 25 тысяч тонн изделий в год, по приготовлению товарного бетона — производительностью 550 тысяч кубических метров, керамзитового гравия — 300 тысяч кубометров в год и другие предприятия. Ускоренными темпами ведется строительство заводской теплоэлектроцентрали.

Управление КамГЭСэнергострой, которому было поручено строительство КамАЗа на первых порах, по численности, опыту и квалификации кадров, организационной структуре еще не полностью соответствовало тем масштабам и сложности задач, которые предстояло решать. В процессе работы, по существу, заново пришлось создавать большинство структурных производственных подразделений управления и других специализированных организаций; они пополнялись материальными и людскими ресурсами. В ходе строительства отлаживались взаимоотношения между многочисленными производственными коллективами, занятыми на сооружении города и автозавода. Формировался единый боеспособный механизм, соответствующий размаху работ. В составе КамГЭСэнергостроя, преобразованного ныне в производственное объединение, появился целый ряд новых управлений: Автозаводстрой, Металлургстрой, Гидрострой, Теплоэнергострой,

Промстрой, управление по строительству города, которое, в свою очередь, имеет несколько управлений.

Все это вызвало насущную необходимость автоматизировать систему управления строительством (АСУ). Она уже внедрена в такой области, как обеспечение сооружаемых объектов раствором (АСОР). На очереди — планирование оптимального использования материальных и людских ресурсов на строительной площадке, определение минимально необходимой потребности в ресурсах при выполнении задания в установленные сроки, автоматизированный расчет календарного плана работ строительной организации в заданном интервале с рациональным использованием имеющихся возможностей и ряд других. Все это — осуществление той модели АСУ, которая задумана проектировщиками. Полная реализация их замыслов значительно повысит эффективность процессов управления.

Строительство Камского автозавода стало подлинной школой новаторства. Здесь функционирует Всесоюзная школа передовых приемов каменной кладки. Впервые в стране в широких масштабах используется поточный метод монтажа каркасов сооружений основных корпусов автомобильного комплекса и возведение фундаментов на буро-набивных сваях. Строители применяют богатый опыт, накопленный при сооружении Волжского автозавода в Тольятти, и другие передовые методы, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной практике.

На КамАЗе будет установлено около 50 тысяч единиц технологического оборудования, в том числе много уникального. Например, в кузнечном производстве предусмотрено смонтировать десять автоматических линий горячековочных процессов, совмещенных с термическими агрегатами. Уникальным оборудованием будет оснащено и прессово-рамное производство. Здесь предполагается установить прессы-великаны, развивающие усилия до 6 тысяч килограммов на квадратный сантиметр. В мире пока только два таких прессы.

Одновременно решаются вопросы механизации и автоматизации вспомогательных процессов. Крупномасштабно вырисовывается транспортное хозяйство автогиганта. Сюда каждый день будет прибывать 8 тысяч тонн грузов, распределение которых осуществляется при помощи подвесных конвейеров с автоматическим адресованием. Общая длина линий составит 167 километров.

Продукция Камского автомобильного завода чрезвычайно интересна в конструктивном и экономическом отношении. Московский завод имени Лихачева разрабатывает автомобиль, предназначенный для выпуска на КамАЗе, с учетом последних достижений автомобилестроения. Испытатели опытных образцов новых автомобилей единодушны: машины такого класса у нас в стране еще не выпускались.

Создание индустриального комплекса на Каме, имеющего всесоюзное значение, сыграет огромную роль и в жизни нашей республики. Основные фонды промышленности увеличатся, возрастет объем производства. С вводом его в действие Татария сделает крупный шаг вперед по пути научно-технического прогресса.

Нельзя не радоваться тому, что ценнейший опыт внедрения и функционирования автоматизированных систем, прогрессивные технологические процессы, отвечающие современным требованиям, станут достоянием многих предприятий, а цехи завода — лабораторией передового опыта.

Сооружение Камского автомобильного комплекса имеет большие социальные последствия. Все больше жителей села, молодых людей, окончивших средние школы, демобилизованных воинов вливается в



ряды строителей автозавода. По завершении строительства многие из них несомненно останутся работать на предприятиях, вольются в ряды высококвалифицированного рабочего класса, овладеют секретами современного промышленного производства.

Уже сегодня дирекция и партийный комитет строящегося автозавода решают большие и ответственные задачи по формированию и сплочению коллектива промышленного комплекса. Сложность этой задачи очевидна.

Высокая степень механизации и автоматизации, культура производства освободят рабочего от трудоемких операций, создадут широкие возможности для творческого труда, повышения его производительности. Сейчас многие автозаводцы проходят стажировку и получают квалификацию в системе технического обучения. В этом деле щедрую помощь оказывают московские, горьковский, кременчугский автомобильные заводы, казанские предприятия. На заводах Москвы, Минска и других городов осваивают профессии автостроителей тысячи будущих рабочих КамАЗа.

Инженерные кадры для КамАЗа готовятся в вузах многих городов страны. Занят этим и Казанский авиационный институт — вуз с прочно сложившимися научными школами, сильным профессорско-преподавательским составом, накопившим богатый опыт подготовки инженерных кадров. Здесь открыт факультет автомобилестроения, готовящий для завода механиков, конструкторов и технологов.

Обком партии, Совет Министров республики при постоянной непосредственной помощи Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, совместно с союзными министерствами проводят огромную работу по формированию коллективов строителей и автозаводцев, улучшению условий их труда и быта, по обеспечению выполнения быстрорастущих объемов строительно-монтажных работ и ввода в действие жилья, культурно-бытовых объектов и производств заводского комплекса.

В борьбе за успешное выполнение заданий мужают и зреют партийные комитеты стройки, дирекции завода и вся Челнинская городская партийная организация. Партийные комитеты обращают самое серьезное внимание на расстановку коммунистов, повышение их роли на стройке. Когда по инициативе героев первых пятилеток была организована переключка поколений, партийные организации развернули активную работу по распространению образцов ветеранов — новаторов труда среди строителей. Слова знатных людей страны, таких, как донецкий шахтер А. Стаханов, кузнец Горьковского автозавода А. Бусыгин, сталевар Магнитки М. Зиннуров, и других, еще более всколыхнули творческий дух камазовцев, еще выше подняли их трудовой энтузиазм. Много делается по политическому воспитанию трудящихся, подготовке кадров строителей, повышению их квалификации. Организована экономическая учеба и школы коммунистического труда, при горкоме КПСС создана и успешно действует школа партийно-хозяйственного актива.

Четвертый год на камских берегах кипит небывалая стройка. Каковы предварительные итоги? Сегодня мы можем сказать, что задания, которые были поставлены Центральным Комитетом КПСС, Советом Министров СССР по строительству Камского автомобильного завода, успешно выполняются. На строительстве освоено почти две трети миллиарда рублей. В новом городе автомобилестроителей введено в строй около миллиона квадратных метров жилья, проложено более 150 километров автомобильных и 140 километров железных дорог, сотни километров инженерных коммуникаций и трубопроводов. Все это позволило создать хорошую базу для решения сложных задач в

текущем году. 1973 год — год генерального наступления, канун выпуска первого автомобиля с маркой «КамАЗ».

Трудно переоценить значение стройки на Каме и для страны в целом, и для каждого ее участника. Она дает людям, особенно молодежи, прекрасную возможность проверить свои силы и способности. Она заставляет их жить в другом измерении, когда многократно возрастают масштабы и размах дела. Это ярко проявляется в социалистическом соревновании среди строителей завода, в ценных начинаниях новаторов производства, рождаемых их инициативой в процессе строительства. В период подготовки к пятидесятилетию образования СССР на стройке получило широкое распространение соревнование под девизом «ни одного отстающего рядом!». Важное значение имеют почины «современные научно-технические знания — каждому», инициатива штукатуров бригады Г. Филяшиной — сдавать работу без замечаний, с первого предъявления, бригады каменщиков А. Зотова и монтажников И. Губайдуллина, предложивших соревноваться под девизом «пятилетку в четыре года!».

В первый период строительства бригада монтажников Раиса Саляхова из СМУ-61 Жилстроя-2, сооружающего новый город, обратилась с открытым письмом ко всем строителям завода и города с призывом перевыполнять задания каждый день, каждую неделю, каждый месяц, на каждом объекте и на каждой стадии строительства. Этот призыв получил самую горячую поддержку. Он отвечал стремлениям и желаниям тысяч людей, потому на него живо откликнулись многие бригады. Монтажники бригады Виктора Дербизова заявили, что каждые два члена бригады постоянно будут работать за троих, пятилетнее задание выполнят за три года. Примеру энтузиастов последовали бригады Михаила Никишина, Кашафа Хамитова, Раиса Сабирзянова и другие. Так, ценную инициативу рабочих подхватили тысячи людей — и опытные мастера и молодежь.

Бюро обкома КПСС одобрило патриотическое начинание инициаторов соревнования и учредило переходящее Красное знамя обкома КПСС, Совета Министров ТАССР и областного совета профсоюзов. Это знамя уже завоевывали бригады Р. С. Салахова, Л. К. Станкевича, Б. П. Платонова, У. К. Наурбиева и многие их товарищи.

Ярким свидетельством размаха социалистического соревнования по призыву героев стройки является то, что из 1354 бригад и экипажей стройки успешно выполнили планы и социалистические обязательства юбилейного года 1213 коллективов.

Передовиков производства на КамАЗе — тысячи. Самоотверженный труд, ударная работа стали по-настоящему массовыми.

КамАЗ для многих его строителей — настоящая школа жизни, школа коммунистического труда. Участие в такой великой стройке позволяет людям не только успешно овладевать специальностью, постигать тайны мастерства, но, что самое отрадное, оно закаляет их морально-политически, воспитывает в них глубокое сознание единства личных интересов с интересами коллектива, общества, развивает общественную активность, учит хозяйскому подходу к делу.

Трудовые усилия людей направлены на то, чтобы в 1974 году обеспечить ввод в действие основных объектов первой очереди пускового комплекса автозавода. Решимость строителей добиться поставленной цели выражена и в социалистических обязательствах коллектива строителей на 1973 год — решающий год строительства Камского автозавода. От производственных результатов этого года во многом будет зависеть выполнение генеральной задачи.

Душой стройки, ее цементирующей силой являются коммунисты. На стройке сейчас около 12 тысяч коммунистов, которые объединя-

ются партийными комитетами управления КамГЭСэнергострой и генеральной дирекции Камского автозавода, наделенными правами райкома. В Набережных Челнах сейчас 251 цеховая партийная организация и 360 партгрупп. На КамАЗе работают 27 тысяч комсомольцев. Это внушительная сила. Знания и опыт коммунистов, энтузиазм комсомольцев направлены на улучшение использования машин, механизмов, повышение трудовой активности и инициативы членов коллектива в выполнении производственных планов и социалистических обязательств, постоянное совершенствование форм и методов политической работы в массах. Набережночелнинский горком КПСС, парткомы КамГЭСэнергостроя и генеральной дирекции Камского автозавода главное внимание в своей деятельности сосредоточивают на дальнейшем повышении боеспособности первичных партийных организаций, авангардной роли коммунистов, на воспитании в людях чувства ответственности за порученное дело. Мы понимаем, как важно создать в коллективах такую психологическую атмосферу, которая способствовала бы достижению наивысших показателей в труде.

Вся партийно-политическая и хозяйственная деятельность областной партийной организации направлена на успешное осуществление поставленной партией и правительством перед строителями ответственной и почетной задачи — выдать в 1974 году с конвейера Камского автомобильного комплекса первые грузовые автомобили. Все сделанное на стройке за истекшее время, достигнутые практические результаты наглядно убеждают, что это вполне реальная задача.



---

БОРИС МОЖАЕВ

★

## ДЕНЬ БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЯ

*Киноповесть*

**С**елекционный участок одной из опытных станций в Сибири — два-три приземистых длинных дома в окружении мелких стелящихся яблонь и вишен, заборик из белого штакетника да открытая метеоплощадка с флюгером и с невысоким настилом для приборов, похожим на ветхую трибуну.

Возле штакетника остановился «газик», из него вышла молодая женщина и крикнула в растворенное окно:

— Мама, где ты?

В окне появилась постная сухая личность — старик лет семидесяти, он строго поглядел на приехавшую, но, узнав ее, сразу подобрел:

— Ты откуда, Наташа?

— Из Батана... Здравствуйте, Василий Петрович! Где мама? Там гости собираются. Юбилей же сегодня! Чины важные едут, а ее нет.

— Да здесь она... За цехом, на ближней делянке,— сказал старик.

Наташа бегом огибает дом и вот, раскрыв руки, бежит навстречу матери, стоящей в колосках с пинцетом в руках. Обнялись.

— Здравствуй, мама!

— Здравствуй, дочь! Ты чего такая взволнованная?

— Сегодня же вечер... Твой вечер!

— Ну да... Юбилей,— улыбается Мария Ивановна.— За уши таскать дуру старую...

— Я за тобой прилетела. Самолет через час уходит. Скорее собирайся!

— Ты уж лети... Сама там хозяйничай. А я к вечеру подъеду.

— Да ты что, собственному празднику не рада?

— Я-то рада...— Она смотрит на подходящих к ней баб, напарниц ее, их пятеро.— Да вот колоски обрабатывать надо.

— Мама! — Наташа нахмурилась.

— Летите, Мария Ивановна, летите! — разногласо загомонили бабы.— Мы тут и без вас дотемна постараемся.

— А то, семьдесят лет не каждый день бывает... Летите!

— Нет, бабы!.. При такой жаре каждый день году равен,— сказала Мария Ивановна.— Прогуляешь — и пшеница отцветет. Что вы впятером сотворите? Я обещала студентов — и пришлю.

— Хорошо, я за тебя в город съезжу,— горячится Наташа.

— Нет, милая, ты уж на кухне руководи. Не то я всю посуду перебью от волнения. А я в райком съезжу: машина готова, секретарь ждет... Обещал помочь: организовать студентов.

— Ладно! — не сдаётся Наташа. — Я упрошу пилота, он задержится. Только ты из райкома давай прямо на аэродром.

— Нет, Наталья, — твердо отвечает Мария Ивановна. — Я в Черный Яр, в Высокое съезжу.

— Ты опять к бабушке?!

— Что значит «опять»? Я в этом году еще не была.

— Но, мама, это ж так далеко! Такой крюк делать...

— Подумаешь — две сотни километров. К вечеру приеду, не беспокойся. А вы, бабы, трудитесь. После обеда помощников вам пришлю. — Обняв дочь, она двинулась с поля.

Голос Наташи за кадром:

— Мама каждый год в день рождения ездила к бабушке на могилу. Его похоронили в Высоком, на берегу реки, на лесной опушке. Но могила его не сохранилась... В девятнадцатом году там проходил фронт, батарея стояла...

Мария Ивановна с Наташей подходят к дому.

— Петя, у тебя все готово? — спросила у шофера «газика» Мария Ивановна. — Минут через десять поедem.

— Все в порядке, Мария Ивановна!

Из дома вышел давешний сухонький старичок, в руках у него стопка журналов, газет и букет полевых цветов.

— Маша, я слышал — ты к Ивану Николаевичу завернуть хочешь?

— Хочу.

— Положи на могилу ему от меня... — Старик подал ей цветы. — А это тебе. — Он положил на выносной столик газеты и журналы. — Целый месяц собирал. Это все о тебе... и об Иване Николаевиче, — говорил старик, перебирая газеты и журналы с портретами Марии Ивановны.

— Мама, у тебя лицо усталое... Ты когда встала? — спросила Наташа.

— Встала? Ты спроси у нее, когда она ложилась! — проворчал старик. — Последние дни почти не спит... С темна до темна на поле, даже почту не трогала.

— Ничего, пустыки, — ответила Мария Ивановна. — Вот поеду — и все прочту...

Газеты веером на столике, все открытые на нужной странице. Мы видим ее лицо под броскими шапками: «Сибирский селекционер — народный агроном республики», «Создателю знаменитой «тверди», неполегаемой сибирской пшеницы, — 70 лет», «Орден Трудового Красного Знамени...», «...присвоение доктора наук без защиты диссертации».

Чья-то рука листает страницы журнала, и мы останавливаемся на другом лице: на фотографии Ивана Николаевича Твердохлебова. И заглавие: «100-летие со дня рождения пионера сибирской селекции». А вот еще статья — «Иван Твердохлебов — ученый и гражданин».

— Вот вы и встретились, — говорит старик, передавая Марии Ивановне газеты и журналы.

— Спасибо! — Она жмет ему руку.

— Да, вот еще телеграммы... — Он вынул из кармана пачку телеграмм, выбрав одну из них. — И вы знаете, от кого есть? От Мазепы.

— От Мазепы! С чего бы это? — удивилась Мария Ивановна.

— Время подошло такое, Мария Ивановна... Время обнимать и время уклоняться от объятий, — лукаво сказал старик. — Кстати, ведь вы одного выпуска с ним?

— Нет... Когда я училась, он был аспирантом. Я помню это время...

Мария Ивановна забирает газеты и журналы, цветы и направляется к машине. Наташа тем временем вынесла ей из дому плащ и портфель. Мария Ивановна села в машину, махнула рукой... и поехала. Она смотрит сквозь лобовое стекло на убегающую дорогу, на пшеничные поля и произносит про себя:

— Я помню это время...

Ржаное поле на краю сибирской деревни. Рожь невысокая, но колосья полные, как говорится — на подходе. Муся, совсем еще молодая, перебирает колоски, срывает изредка и кладет их в мешочек. Рядом с ней стоит средних лет крестьянин, видимо хозяин поля.

— Да ты рви смелее! Чать не обедняем.— говорит мужик.

— Мне много не надо. Я выбираю только ярко выраженные колоски.

— А чего их выбирать? Они все хорошо уродились. У меня рука верная — где кину, там и вырастет. Значит, для науки собираешь? Что ж, там у вас, в Москве, ай ржи не хватает?

— Там есть, да не такая.

— А какая же? Рожь, она рожь и есть.

— Ну, не скажите. Московская рожь тут не вызреет.

— Во-он что? Видать, у московской ржи корень тугой.

— Что, что?

— Значит, неспособен быстрый оборот давать. Влагу плохо гонит. Она и не успевает напиваться. Вроде пшеницы.

По ручью подходит Василий с ящиком на ремне через плечо.

— А пшеница у вас вызревает? — спрашивает Муся мужика

— Здесь нет, а на заимке поспевают.

— Далеко ваша заимка?

— В тайге, верст пять по ручью.

— Можно там взять колоски?

— Берите. Я сейчас лошадку запрягу, отвезу...

— Не надо. Мы пешком пройдем,— говорит Василий.

Муся только теперь заметила его, смотрит вопросительно.

— Я уже взял в низовьях образцы почвы,— ответил он как бы на ее безмолвный вопрос и качнул своим фанерным ящиком.— А теперь там, наверху, возьму. Так что по пути.

Они идут по лесному берегу ручья; чем дальше, тем все гуще тайга, все таинственнее ее темные чащобы, все заманчивее ее незнакомая глубь. Тоненько, скрипуче посвистывают рябчики. Василий свернул в трубочку листок жимолости, положил на язык и засвистал, как рябчик. Вдруг совсем рядом ухнула и заулюлюкала полярная сова.

— Ой, что это? — вздрогнула Муся.

— Сова. Давай руку! Ну! — Он притянул ее к себе, хотел обнять за плечи.

— Не надо! — Она вырвалась и пошла впереди.

Василий приотстал, спрятался за толстую сосну и вдруг затянул высоким срывающимся волчьим воем. Муся замерла на ходу, обернулась и, не увидав Василия, пронзительно закричала:

— Ва-а-а-а!

— Ай-я-я-а! — ответил он тихонько, так, словно голос его доносился издалека.

— Ва-а-а-а-а! — закричала она сильнее и бросилась в ту сторону, откуда слышался его слабый голос.

— Вот он я! — Василий появился перед ней из-за ствола сосны, озорной, смеющийся, и поймал ее в объятия.

— Дурак! Идиот! — Чуть не плача, она пыталась вырваться.

— Будешь от меня уходить? А? Будешь? — Он все крепче и крепче прижимал ее к себе.

...Займка оказалась для них неожиданно скоро. Они шли теперь, взявшись за руки, плечо в плечо.

— Уже? — спросила она, глядя на просвет в деревьях.

Залились хриплым утробным брехом собаки. Василий тотчас стал передразнивать их.

— Господи! Какой ты еще ребенок! — сказала она.

Возле длинной приземистой избы их встретил очень похожий на того мужика во ржи седой как лунь старик. И одет совершенно так же: на нем длинная полотняная рубаха, на ногах желтые улы из рыбьей кожи.

— Здравствуйте, дедушка!

— Здорово живете! Проходитя в избу.

— Мы на часок за колосками пшеницы.— Муся показала мешочек.— Нам хозяин разрешил.

— Рвитя, рвитя,— сказал дед.

Поле было тут же. Пока Муся и Василий собирали колоски, старик сходил в избу и принес глиняный кувшин медовухи, берестяную кружечку-чумашку да большой кусок копченой медвежатины.

— Подкрепитесь на дорожку-то. Вот медовуха да шматок медвежатины,— сказал старик.

— Нам, право, как-то неудобно...

— Спасибо, дед! — сказал Василий, перебивая Мусю и принимая его дары.

— Право же, неудобно,— пыталась урезонить своего напарника Муся.

— А чего и неудобно? Вон там гумно с навесом, сенцо свежее. И располагайтесь как дома,— сказал старик.

Гумно на лесной опушке — сарай плетневой, молотильный ток, еще не чищенный с прошлогодней поры, омет старой соломы. Василий расстилает в сарае на свежем сене брезентовые куртки, нарезает медвежатины.

— Ну, как тебе наши якуты-тунгусы?

— Пока мы имели дело больше все с кержаками.

— Они уже вполне объякутились. Смотри — чей продукт? — указывает Василий на медвежатины.— Наш, якутский.

— Ну, такого добра и в России хватает.

— Погоди вот, заберемся в низовья — я тебя там олениной накормлю. Ну, давай за Якутию!

Муся выпила.

— Божественно!

Василий налил себе:

— Во имя твое! — И выпил.

Они потянулись к медвежатине... Василий крепко сжал ее пальцы и притянул к своим губам. Она глядела на него широко открытыми глазами.

— Милая! Милая!

Он стал целовать ее руку, плечо, шею мелкими быстрыми поцелуями... И обнял, сграбастал всю ее и заслонил от нас плечами, спиной, всем телом своим.

И мы видим соломенную крышу всю в решетниках и в неошкуранных слегах. На краю стрехи сидит пегий зяблик с кирпичной грудкой и заливаётся: чо-чо-чо-чок, тур-турс-во-во! чо-чо-чо-чок, тур-турс-во-во!

Лагерь биологов на берегу Лены, возле самой тайги. Натянутые две палатки: маленькая, двуспальная для Муси и большая для мужчин. Все они заросли бородой, на них сапоги и брезентовые куртки с капюшоном. Они похожи скорее на рыбаков, чем на ученых.

Среди биологов выделяется своим ростом худой и важный начальник экспедиции Пантелей Мазепа. Он, как заправский рыбак, курит трубку. Коренастый светлородый Макарьев лежит, опершись на локоть, возле костра. Мазепа бегаёт вокруг — они спорят. На подошедших Мусю и Василия никто не обратил внимания; Муся прошла к себе в малую палатку, а Василий стал помогать завхозу кашеварить.

— Просто многие из наших злаков под воздействием культуры претерпели глубокие изменения,— возбужденно говорил Мазепа.

— Я чувю, куда ты метишь,— сказал Макарьев.

— Куда?

— В дешевую социологию. Блеснуть и подскочить хочешь? Новые сорта пшеницы трудно выводить, да и долго. А тебе бы что-нибудь эдакое отыскать. Враз бы отличиться, все перевернуть... Революцию в биологии устроить. Эх-хе! Работать надо!

— А я дурака валяю?

— Нет, фокусничаешь.

— А я тебе говорю,— опять повысил голос Мазепа,— многие злаки видоизменились, понял?

— Ну и что из этого следует? — спрашивает его Макарьев с еле заметной улыбкой.

— А то, что ваши толки о стойкости наследственного вещества... Эти хромосомы, гены... Мистика!

— И все-таки виды остаются видами — овес остается овсом, а пшеница пшеницей... тысячи лет! Как же ты это объяснишь?

— А так. Если принять материалистическое положение о возможности наследования приобретенных признаков, то выйдет: и овес и пшеница в чистом виде не существуют; они частично изменяются.

— Это не материализм, а ламаркизм.

— Ну и что?

— А то самое... Чепуха это. Еще Декандоль не допускал возникновения видов культурных растений от близких к ним видов в историческую эпоху.

— Так что ж, по-вашему, пшеница богом дана, что ли? — горячился Мазепа, переходя на крик.— Как она появилась на земле? С небес? Да?

— Для великих ученых мира сего это пока тайна.

— А я говорю: никаких тайн быть не должно.

— Что дальше?

— А то, что от этого божеством пахнет. Чистой метафизикой! Диалектики не вижу.

— Ну-ка, покажи нам свою диалектику!

— А диалектика говорит: изменения в природе существуют двух родов — количественные и качественные. Иными словами, за счет количественных накоплений происходят изменения качественные путем скачка. То есть в историческую эпоху и сейчас происходит перерождение одних видов в другие. Одни культурные растения перерождаются в другие.

Услыхав эти слова, даже Муся вылезла из палатки и подошла к костру.

— Эй вы, мыслители! Слышали о гениальном открытии Пантелея Мазепы? — сказал Макарьев, обращаясь к тем, что были у костра.



— Значит, изменяй среду — и будут меняться растения? — спросил Василий.

— Да. И не только будут сами меняться, но и передавать по наследству изменения, вызванные средой! — Мазепа выкинул свой длинный худой палец. — Это и есть единственно верное материалистическое истолкование происхождения видов.

— А зачем же мы тогда приехали в Якутию за образцами? — спросила Муся. — Давайте здесь изучать среду, а пшеницу привезем сюда из Москвы... Сворачивай дела!

— Вы верно изволили заметить, — ухмыльнулся Мазепа. — Я точно так полагаю — пора в обратный путь.

«Газик» резко тряхнуло и занесло в глубокий кювет. Мария Ивановна схватилась за держальную скобу и с удивлением поглядела на Петю:

— Что случилось?

— Сейчас узнаем.

Петя потянул на себя рычаг ручного тормоза и вылез из «газика». Сперва он поглядел под колеса сзади, присел на корточки, постучал по скатам, потом зашел спереди — опять присел и поглядел.

— Не могу определить. Вроде все на месте — и колеса и хвостовик...

— А почему же нас в канаву занесло?

— Не знаю. Мария Ивановна, а ну-ка покрутите руль!

Мария Ивановна попробовала крутить баранку. Петя глядел под колеса.

— Не могу, — сказала Мария Ивановна.

— Вот и я не мог свернуть. Заело.

— Почему?

— Сейчас определим. — Петя бросился наперерез идущему самосвалу с гравием, поднял руку.

Грузовик остановился на обочине, из кабины высунулся цыганский парень в майке:

— Тебе чего?

— Помоги, друг... Руль заело. Не могу определить!

Парень прыгнул наземь, пошел к «газику».

— Куда едешь? — спросил на ходу.

— В город.

— Зачем?

— Ученого везу.

— Не ври!

Парень в майке заглянул в «газик», посмотрел на сумки с едой, подмигнул Марии Ивановне, потом дернул стопор — капот открылся. Парень и Петя подошли к передку.

— Пенсионерка? Мать начальника? — спросил парень Петю, заглядывая в мотор.

— Говорю — ученый.

— Не ври... По сумкам вижу — на базар едете... Так... Головку рулевого управления смотрел? Нет?! Дай разводной ключ!

Петя быстро достал разводной ключ, и оба они уткнулись в мотор. А Мария Ивановна поглядела в боковое окно и вдруг увидела странно одетого мужчину — галстук бабочкой, старомодная соломенная шляпа с низкой тульей, с прямыми полями. Усы, борода клинышком...

— Папа!

— Пойдем со мной, Маша! Я хочу тебе что-то сказать. — Он поманил ее.

— Но как же я пойду? У меня машина. Входи сюда, садись!

— Вы меня, что ли, Мария Ивановна! — Петя поднял голову от мотора.

Видение исчезло. Мария Ивановна провела ладонью по лбу, поглядела на Петю:

— Это я про себя, Петя... Так просто.

— А-а! — Петя опять уткнулся в мотор.

Парень меж тем отвинтил гайку на головке рулевого управления.

— Ну, как в лагун глядел... Червяк затянут... Давай крути руль!

Петя стал крутить баранку, парень кряхтел и завинчивал гайку.

— Ну как?

— Порядок! — сказал Петя.

Парень с маху закрыл капот, передал ключ Пете и кивнул Марии Ивановне.

— С пустыми руками не возвращайтесь. Привет начальнику! — И пошел вразвалочку.

— Чего это он? — спросила Мария Ивановна.

— Узнал вас по портретам... Говорит, для большого ученого и я постоюсь.

«Газик» снова выкатил на дорогу и помчался по широкой, неохватной равнине. Мария Ивановна вяло перебирает телеграммы. Вот она открыла журнал со статьей об отце. Портрет Ивана Николаевича. Те же усы, борода клином, но без шляпы. Она долго смотрит на портрет, и он словно оживает: вот подмигнул ей, как давешний шофер, будто сдвинулся, поплыл... Борода куда-то пропала, усы стали короче и вместо прилизанного языка волос — богатая седеющая шевелюра. Это учитель ее, профессор Никита Иванович Вольнов.

— Никита Иванович! — звучит голос матери Муси, Анны Михайловны. — Вы как посаженный отец садитесь в центре, а жених с невестой подвинутся...

Свадебный стол в квартире Анны Михайловны. В центре за столом сидит Анна Михайловна, по правую руку от нее Никита Иванович Вольнов, а уж потом, чуть сдвинутые на край, жених и невеста. Среди гостей только один Макарьев знакомый нам. Все они молодые, шумные — студенты.

В этом окружении и Анна Михайловна помолодела и похорошела. На первый взгляд можно подумать, что это она выходит замуж за Вольнова. Он великолепен в черной тройке, со своей горделивой осанкой.

— Горько! — кричат хором. — Горько!

Муса и Василий церемонно целуются.

— Ах, ну кто же так целуется? — Анна Михайловна даже в ладоши прихлопнула (она пьяненькая). — Господа! Простите, товарищи! Да какие вы мне товарищи? Дети вы неразумны, дети. И целоваться как следует не научились. Как вы жить без нас будете?

— По закону Ньютона! — кричит кто-то. — Тело притягивается к телу...

— Ха-ха-ха! Горько!

— Да погодите вы со своим «горько». Подумаешь, тоже еще зрелище. Я спрашиваю о смысле жизни!

— Ен в вине!

— Ха-ха-ха!

— Горько!

— Боже мой! Да вы и в самом деле дети! Поцелуев не видали. Никита Иванович, да скажите ж вы им слово напутствия вместо отца.

Никита Иванович встал. Все тотчас умолкли.

— Что же мне вам сказать? Вы связали свою судьбу с наукой. А служить науке — значит, служить истине. Порой это бывает нелегко. Проще уступить, пойти на компромисс, на сделку со своей совестью. Но помните — от совести, как и от истины, можно отречься, но обрести их вновь нельзя. — Он поднял бокал. — За чистоту вашей совести! Передвигайте камни науки...

Все встают, пьют.

И вдруг раздается откуда-то другой, скрипучий голос, голос того самого старика, который подарил ей цветы и газеты с журналами:

— Кто передвигает камни, тот может надсадить себя.

Мария Ивановна вздрогнула и очнулась.

Она сидит в бегущем «газике», на коленях ее лежат газеты, журналы, телеграммы. Одну телеграмму она держит в руках. Невольно читает ее, звучит чуть насмешливый голос Мазепы:

— Приветствую и поздравляю вас, передвигающую камни науки.

И опять, вперебой, тот бесстрастный предостерегающий голос старика:

— Время обнимать и время уклоняться от объятий.

Мария Ивановна оглянулась. Слева, за рулем, сидел Петя, опустив голову. Ей послышалось, что он всхрипнул.

— Петя!

— А! — Он тревожно вскинул голову. — Что такое, Мария Ивановна?

— Ничего... Я, кажется, заснула?

— Не знаю, Мария Ивановна... Я сам вроде заснул.

— Ты шутишь?

— Ей-богу правда! Даже сон видел — будто я сижу верхом на свинье, держусь за уши. Она визжит и тянет меня в болото.

— Эдак с тобой не то что в болото — на тот свет попадешь.

— У меня спотыкач — шоферская болезнь. Со мной разговаривать надо.

— Знаю я твою болезнь. С девками прогулял.

— Дак шоферская судьба такая: днем держись за баранку, а ночью бери под крендель.

— Кого?

— А это уж какая попадет..

Бескрайняя сибирская степь с редкими березовыми колками на горизонте; и все это безлюдное пространство заполнено зреющими хлебами. Одинок катится «газик» по дороге. Приоткрыто лобовое стекло, врывается ветер в машину, треплет на Марии Ивановне пеструю кофточку, раскидывает рассыпчатые седые волосы ее.

— Петя, тебе в жизни когда-нибудь говорили: служить истине?

— Нет, — ответил тот с ходу. — Истина, она не требует доказательств. Все ясно: истина, она и есть истина. Чего же тут стараться служить?

— Но разве так не бывает? Вам говорят — вот истина. А на поверку она оказывается ложью.

— Почему ж не бывает? Вот третьего года возили мы пшеницу в совхозе «Слава целине». Прямо от комбайна везли на ток и ссыпали в кучу. Гору Арарат навалили. Ну, мы шумели поначалу: сгорит, говорим, зерно. А нам: не ваше дело. Это, мол, новый метод хранения. Ладно, насыпали. Не прошло и месяца — почернело зерно и пнем село. И кто же виноват? А никто. Вот какая истина вышла.

- А кто вам приказывал возить?
- Замдиректора. Дак что ты ему сделаешь? В глаза, что ли, плюнешь? Ну, плюнь! Он утрется да пойдет дальше. А тебе по шее надают за это.
- Ну, а если этот зам благодарность вам вынесет, поздравлять начнет?.. Обнимать за плечи! Тогда что?
- Дак наше дело телячье: дают — бери, а бьют — беги.

Они подъезжают к большому придорожному селу. Разбитая дорога зигзагом пересекает два сельских порядка. «Газик» резко сбавил скорость — ухабы. Здесь недалеко от дороги прямо посреди села насыпана большая куча щебня. Возле нее стояли шумной толпой бабы и ребятишки; они окружили три самосвала и что-то кричали шоферам, грозя кулаками.

— А ну-ка сверни! — приказала Мария Ивановна. — Что там происходит?

«Газик» подъехал к толпе. Мария Ивановна вылезла из машины. Ее тотчас окружили женщины.

- Что за шум? — спросила она.
- Да это ж не шоферы — скоты!
- Только коровы посреди деревни гадят...
- Жеребцы они! Им на русском языке говорят, а они ржут.
- Дикари они! Печенеги!
- Да в чем дело? — спросила Мария Ивановна крупную женщину в синем переднике, на голову возвышавшуюся среди остальных.

— Вон мудрец! — указала та рукой на седого мужика в пиджаке и в сапогах, стоявшего на крыле самосвала. — Облюбовал нашу улицу под щебеночный склад! Здесь дети играют. Вон какой луг! Вся наша отрада... Полян повывергали по былиночке и клены посадили, а он щебень валит.

Луг и в самом деле был превосходный.

— Ну что ты хлопаешь белками? — крикнула ему сухонькая старушка и погрозила кулачком. — Иль посреди степи места не нашел? Ослиная твоя голова!

— Давай без оскорблений, — отозвался тот с крыла. — А то придется за личность отвечать.

— Твою личность надо уткнуть в эту кучу да вывозить хорошенько! — крикнула могучая женщина.

- Это что за щебень? — спросила его Мария Ивановна.
- Обыкновенно, придорожный склад.
- И сколько же его будет, щебня?
- Восемьдесят тысяч центнеров.
- Кто же вам разрешил посреди деревни открыть склад?
- Вы сперва спросите — для чего щебень? Мы дорогу делаем, по которой повезут хлеб... Целинный!
- Вам что, в степи места мало? — крикнула опять старушка.
- В целях экономии выбирается место оптимальное.
- Я вас спрашиваю: кто разрешил в деревне заложить склад? — повысила голос Мария Ивановна.

В это время подкатил самосвал с тем знакомым нам цыганистым шофером. Он лихо развернулся, обдав пылью собравшихся, и с ходу включил подъемный механизм; кузов вздрогнул и стал подниматься.

— Остановите разгрузку! — закричала на него Мария Ивановна.

— Привет, бабуся! — крикнул ей шофер. — Рано базаришь... До города еще далеко.

— Я спрашиваю, черт вас возьми! — Мария Ивановна направилась к тому седому на крыле. — Кто вам разрешил здесь открыть склад? И кто вы? Откуда?

Тот нехотя слез.

— Я прораб дорожного управления... Разрешил нам председатель сельсовета. С вас довольно?

— Садитесь со мной, и поедем сейчас же к председателю сельсовета!

— А кто вы такая?

— Я депутат Верховного Совета. Вот мой документ. — Мария Ивановна вынула красную книжицу и протянула ее прорабу.

Тот обалдело уставился на нее и пролепетал:

— Хорошо... Сейчас... Хорошо.

Он, как-то пятясь задом, дошел до самосвала, мигом вскочил в кабину, сорвался с места. За ним понеслись, поднимая пыль, и два других. Цыганистый шофер сказал: «Вот как базар...» — поскорее опустил кузов, воровато озираясь на Марию Ивановну, и тоже укатил.

— Чуют кошки, чье сало съели, — сказал Петя.

— Дак они ушли на время, — сказали в толпе.

— Ничего, бабы, от меня не уйдут, — сказала Мария Ивановна. — Где у вас тут сельсовет?

— А вот поезжайте через село, там по ложбинке, а потом колок будет — березовый лес, перевалишь бугор — тут тебе Голованово, — отвечала могучая женщина. — А там и сельсовет.

— Поехали, Петя!

— Опоздаем, Мария Ивановна.

— Ничего, нагонишь!

Головановский сельский Совет. Пятистенный старый дом с высоким крыльцом. Вывеска. Красный флаг под крышей. Возле крыльца остановился «газик». Мария Ивановна вылезла из машины и стала подниматься на крыльцо.

Ее встретила пожилая морщинистая женщина в рябенькой кофточке:

— Вам кого, гражданка?

— Председателя сельсовета.

— Я вас слушаю.

— Меня зовут Мария Ивановна Твердохлебова. Я депутат Верховного Совета. — Мария Ивановна подала свою книжечку.

— Очень приятно. Меня зовут Анна Тихоновна. — Председатель подала руку и потом пригласила за стол: — Садитесь.

— Кто разрешил в Дербеневе заложить щебеночный склад?

— Давыдов звонил... Заместитель председателя райисполкома. Дорожники просят. Я согласилась. Только, говорю, не валите возле памятника. Там у них площадь...

— А вы видели, где они валят щебень?

— Нет. Они должны были заехать за мной, чтобы место выбрать, и не заехали.

— Они валят посреди деревни.

— Не может быть!

— Звоните Давыдову!

Председатель сняла трубку:

— Але! Почта? Дайте мне город!.. Город? Семена Ивановича Давыдова!.. Але! Семен Иванович? Здравствуйте. Это Анна Тихоновна из Голованова. Ага! Семен Иванович, дорожники щебень валят прямо в Дербеневе, посреди деревни... Как что? Я говорю — посреди деревни!.. А?.. Я им не разрешала... До осени?! Так они пылью всю деревню

задушат. У меня вот депутат Верховного Совета Твердохлебова. Она хочет поговорить с вами... Чего? — Анна Тихоновна с недоумением поглядела на трубку и положила ее.— Бросил... Говорит — срочно вызывают. Звоните, говорит, в дорожное управление.

— Понятно... Ну, звоните дорожникам!

Председатель стала набирать номер.

— Вы бы лучше сами. А то опять бросят.

Мария Ивановна взяла трубку.

— Кого спросить?

— Страшнова Владилена Парфеныча.

— Страшнов? — сказала в трубку Мария Ивановна.

— Он самый,— басом ответила трубка.

— Из Голованова звонят... Кто вам разрешил посреди Дербенева заложить щебеночный склад?

— Я согласовал с Давыдовым и с председателем сельсовета.

— Это неправда...

— Что?! А кто со мной, собственно, разговаривает? — грозно вопрошала трубка.

— Депутат Верховного Совета Твердохлебова.

Наступила мертвая пауза. Потом трубка заговорила мягче:

— Так, товарищ Твердохлебова, я вас слушаю...

— Кто разрешил вам посреди села заложить щебеночный склад? Понимаете, у нас тут срочное задание — к Октябрю пустить дербенеvский участок дороги. Ну, и выбрали место сподручнее.

— А вы спросили тех людей, что в селе живут? Вы подумали — как они жить станут вокруг вашего склада?

— Учтем, товарищ Твердохлебова... Учтем...

— Так вот, щебень заберите оттуда... Пришлите в Дербенево своих людей, а я привезу туда председателя сельсовета. Выбирайте место где положено.

Мария Ивановна сходит с крыльца и видит — по широкой деревенской улице по граве-мураве катит ее отец на высоком старомодном велосипеде. Он весело смотрит на нее и машет ей рукой. На нем все та же соломенная шляпа, белый пиджак, желтые краги. Мария Ивановна пошла к нему навстречу.

— Мария Ивановна, вы куда? — крикнул Петя.— «Газик»-то вот он.

Она остановилась, чуть шатнувшись, взялась рукой за сердце. Петя в один прыжок очутился возле нее.

— Вам плохо, Мария Ивановна?

— Что-то сердце... Я сейчас, сейчас...

— Может, к доктору заехать?

— Нет, пройдет.

Она несколько раз глубоко вздохнула и пошла к машине.

— Зови председателя сельсовета,— сказала на ходу Пете.

Дербенево. Возле щебеночной кучи останавливается «газик». Из машины вылезают Мария Ивановна и Анна Тихоновна. Бабы, знакомые нам, окружают их.

— Ну, что? Как? — спрашивают они.

— Все в порядке, бабы. Вот привезла вам верховную власть... Щебень уберут, перевезут на новое место,— сказала Мария Ивановна.

— Спасибо вам, Мария Ивановна! А мы давеча спохватились, да поздно. Школьники признали вас. Это, говорят, Твердохлебова. Пшеницу которая выводит,— сказала могучая тетка.

— Она самая,— смеется Мария Ивановна.

— Хоть молочка попейте, холодное молочко. Прямо из погреба,—  
подает старушка горшок.— По нынешней жаре в самый раз.

Мария Ивановна приняла горшок.

— Петя, кружку!

Петя подал ей кружку. Мария Ивановна налила себе и передала  
горшок Пете. Тот залпом выпил весь горшок.

— Теперь доедем! — И хлопнул себя по животу.

— На здоровье!

— Счастливый путь!

Долго махали им вслед бабы. Мария Ивановна смотрела в заднее  
стекло, и показалось ей, что вроде бы она сама среди этих баб и ма-  
шут они и кричат, провожая своих мужей... московских ополченцев.  
Идут они, одетые кто в гимнастерки, кто в пиджаки, в ватники... Несут  
на плечах винтовки и поют:

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна:  
Идет война народная,  
Священная война...

Поздний вечер. Квартира Анны Михайловны. Она уже спит, вы-  
сунув из-под одеяла голову в папильотках. Спят и дети в своих кро-  
ватках. Только Муся хлопочет по дому и часто поглядывает на ста-  
ринные настольные часы. Уже одиннадцать.

Зазвенел звонок. Муся бросилась к дверям, торопливо раскрывает  
их. На пороге Василий в военной форме, но без петлиц.

— Ну что? — спрашивает она.

— Зачислили в ополчение.— Он вошел в комнату, снял шинель.—

Завтра утром выступаем.

— Куда?

— Пока на Серпухов, а там видно будет.

— Боже мой! Да я и собрать тебя не успею до утра-то.

— Не надо собирать.

— Что?

— Я уйду через полчаса... Все необходимое пришлешь в Сер-  
пухов.

Муся молча опустила на стул и глядит на мужа с мучительным  
недоумением, сведя брови.

Василий прошел к столу, притронулся к рукописи: «Почвенная  
структура северных подзолов», В. Силантьев... Перелистал несколько  
страниц...

— Не успел я, не успел...— говорит он.

— Я только одного не понимаю: к чему такая спешка? — отозва-  
лась наконец Муся.— Успел бы еще навоеваться.

— Такие дела надо решать либо самому и сразу, либо положиться  
на волю судьбы. Здесь есть свобода выбора... Свобода, Маша! А если  
ты человек, то ты воспользуешься таким случаем и выберешь.

— Мне кажется, ты упрощаешь! Нельзя всем бросать дела и ско-  
пом идти в солдаты.

— Не в том суть, Маша... Жизнь сдвинулась, и все укрупнилось.  
Мне уже мало сидеть над почвенной картой. Моя карта теперь там,  
где пушки стреляют. И тебе, по-моему, не до академии.

Муся опять поглядела на него значительно и с недоумением.

— Поесть собрать?

— Не надо... Мы там ужинали. Да и пора мне.

Она встала.

— Детей будить?

— Не надо. Прощай, Маша!

— Прощай!

Она упала ему на грудь и глухо зарыдала. Он прижался губами к ее волосам и обнял за плечи. Так они стояли неподвижно с минуту.

— И тебе, Маша, надо уезжать в Сибирь... Твоя академия теперь там. Без сибирского хлеба мы и войны не выиграем...

Раздался резкий хриплый гудок. Мария Ивановна подняла голову — они подъезжали к речному берегу. По реке шел буксирный пароход, тянул две баржи и гудел вовсю.

«Газик» спустился с откоса. Моста нет — у берега торчит бревенчатый припаромок, отдаленно смахивающий на колодезный сруб, с настилом поверху. Паром — плоскодонная развалистая посудина с будкой на корме — стоит на том берегу. Тишина и безлюдье. Река неширокая, метров двести, так что на тот берег кричать — хорошо слышно. Шофер сначала посигналил — никто не отозвался. Тогда он вылез из «газика» и закричал:

— Па-ро-ом!

Тишина.

— Па-ро-о-ом!

Наконец из паромной будки вышел детина в майке, босой, в засученных по колена штанах, упер руки в бока и зычно спросил:

— Чего орешь?

— Ты что, слепой? Не видишь машину? Перевези на тот берег!

— Обождешь.

— А я те говорю — перевези!.. Не то переплыву и по шее тебе надаю.

— Я те надаю... — миролюбиво ответил тот. — У меня инструкция, понял?

— Какая еще инструкция?

— Горючее экономим... Значит, поодиночке перевозить нельзя. Только группами.

— Не дури, слышишь?

— Я те говорю — группами съезжайся! Объединяться надо! Понял?

— Да с кем я тут объединюсь!

— Подъе-едут... Подождешь.

— Мы же торопимся. В райком едем!

— Все торопятся... Вас много, а я один. — Детина подался к будке.

— Стой, обормот! Ты грамотный?

— Чего?! — Паромщик остановился.

— Ты газеты читаешь? — кричал Петя.

— Ну!

— Про Марию Ивановну Твердохлебову читал?

— Это которая хлеб растит?

— Ну! Вот я и везу ее.

— А не врешь?

— Чего мне врать?

— Пусть из машины выйдет... Покажется. У меня инструкция, понял?

— Тыфу, мать твою! — выругался Петя. — Мария Ивановна!

Но она уже вылезла из «газика», смеясь, кричит:

— Паспорт нужен?

Перевозчик ничего не ответил, ушел в будку и в момент завел мотор. Паром отчалил, развернулся и довольно быстро стал приближаться к этому берегу.

Вот он пришвартовался к припаромку, перевозчик быстро натянул причальные канаты и бросил сходни. Петя стал въезжать на паром. Потом поднялась и Мария Ивановна.



— Что ж это вы нарушили инструкцию? — спросила она паромщика. — Одиночек перевозите.

— Вы, товарищ Твердохлебова, не подумайте, что это я из подхалимажа, — суегился паромщик. — Чистое мое уважение к науке, и больше ничего.

— Шевелись, пустобрех! — сказал Петя. — Отчаливай! И так полчаса потеряли из-за тебя.

— Ай-я-яй, какой невоспитанный шофер! Возит ученого, а ругается, как сапожник.

Отдали концы, взревел мотор, и паром отчалил. Мария Ивановна смотрит на закипающие волны за кормой и уходит в себя...

И нет никого на пароме. Она одна стоит, опершись на леера. А рядом с ней — молодая Муся. И смотрят они друг на друга — обе Твердохлебовы, молодая и старая, обе вроде бы и похожие и такие разные...

— Ты устала, — говорит ей Муся. — Ты поминутно засыпаешь. Пойдем со мной! Я покажу тебе, какой ты была неутомимой, счастливой...

Она берет Марию Ивановну за руку и уводит ее с парома. И вот уже привычная глазу сибирская равнина с желтым разливом пшеничных полей да светлыми березовыми колками сменяется иной картиной...

Суровая якутская земля: каменистые осыпи, гольцы, горные склоны, покрытые изреженной тайгой. Словно под крылом самолета, проплывают широкие плесы таежной реки, редкие поселения, разбросанные по таежным распадкам, да неширокие пропlesiны полей.

Ранняя весна. Вдоль берегов реки на галечных косах еще истаивают голубые ноздрястые льдины, еще голыми стоят лиственницы и березы, а тальники в заводях уже в желтом пуховом налете. Стаи уток постоянно взлетают с воды и низко, долго мельтешат над волнами широкой реки. По реке идет первый пароход. Василий и Муся стоят на палубе, у них уже дети — Володя и Наташа. Мальчику года три-четыре, а девочка еще совсем маленькая на руках у отца. Пароход дал долгий хриплый гудок и стал причаливать к пристани. На дебаркадере надпись полукругом: «Вознесенское».

— Вот мы и дома, — говорит Василий.

Длинный рубленый дом барачного типа на отшибе от села. Возле дверей фанерная дощечка с надписью: «Вознесенская опытная сельскохозяйственная станция». Василий с чемоданами, Муся с детишками, сопровождающий их старый якут с огромными узлами подходят к дверям.

— Сюда, понимаешь, чего стали? Стесняй не надо. Якуты так говори: заходи — хозяин будешь! — сказал старик.

Они проходят в коридор. Здесь якут открывает комнату:

— Это вам готовил. Сам печка топил!

Он бросает среди комнаты узлы. Трогает рукой печку:

— Попробуй! Картошка испечь можно.

Василий, потом Муся притрагиваются к печи, радостно отдергивают руку.

— Как сковорода. Шашлык жарить можно, — сказал Василий.

— А как вас зовут? — спросила Муся старика.

— Аржакон.

— Вася, у тебя же дядю, кажется, зовут Аржаконом?

— А вот он и есть мой дядя, — говорит Василий и смеется. — Правда, Аржакон?

— Конечно. А почему нет? Был дядя — стал дедушка, понимаешь? — Аржакон усмехнулся, покачал головой. — Борода нет — кто бабушкой зовет. Тоже неплохо.

Василий и Муся смеются.

— Вы что же здесь, на работе? — спросила Муся.

— Моя работа — такое дело: смотри за всем — ничего не делай.

— Значит, ты самый главный начальник, — говорит Василий.

— Начальника уехал в Якутск. Моя оставил. Может, рыбка хотите? Свежая есть — тала.

— Тала?! А что это такое? — спросила Муся.

— Строганина из сырой рыбы, — ответил Василий. — Пища что надо.

— Да кто же ест сырую рыбу? — удивилась Муся.

— Все едят, понимаешь, — ответил Аржакон. — Сырая рыба дух бодри.

— Да ты попробуй! — сказал Василий.

— Ну ладно, — соглашается Муся. — А где она, свежая рыба-то?

— Речка плавай, — ответил Аржакон. — Сейчас моя ходи поймай.

Все смеются. Аржакон уходит.

— Кстати, а где живет твой дядя? — спросила Муся.

— Не знаю...

— Как не знаешь?

— Ну, так. Он пропал в гражданскую. Ушел в Забайкалье... Оказался на территории ДВР. А потом и след его простыл.

— Ну что ж мы стоим? Развяжи-ка этот узел! Там у меня вировские образцы пшеницы и овса.

— Да подожди ты с семенами. Надо расположиться сперва.

— Располагайся, хозяйничай! А я сбегаю поля посмотреть.

Муся хлопнула дверью и вышла.

— Папа, пи-пи! — сказал Володя.

— Сейчас. — Василий достал из сумки горшок и стал расстегивать штаны на мальчике.

Опытные поля станции раскинулись на самом берегу Лены. Пожилая женщина, укутанная в шаль, водит Мусю по полям, отвечает равнодушно. Это Марфа — работница станции.

— Сколько дней длится вегетационный период?

— Не знаю. Селекционер уехал, ничего не сказал.

— Но он же вел записи?

— Какие там записи! Пил он цельными днями. Тут, говорит, не токмо что пшеница — овсюг и то не созреет.

— Но вы же собирали колоски? Образцы-то местные храните?

— Дак чего их собирать, колоски-то? Они сроду не вызревали.

— Сеяли ж вы рожь или овес?

— Сеяли.

— Куда же их девали?

— На сено скашивали. Лошадям.

— А чем занимались рабочие?

— Рыбу ловили, сенá заготавливали. А кто и за пушниной ходил.

— Сколько вас было?

— Я да Чапурин. Вон еще якут, Аржакон.

Аржакон шел от реки и нес здоровенного ленка.

— А из начальства которые, постоянно менялись. Тут, говорят, озвереешь или осатанеешь от вина. Да ить они и пили ведрами. Теперешний, слава богу, в рот не берет. Он комсомолец.

— Он что, в Якутске?

— Рыбу повез продавать. Летом рыбу, зимой сено... Оборот налажен.

— А почему не вызрела пшеница?  
 — Кто ее знает! Земля холодная.  
 — Поздние заморозки случаются?  
 — Бывают. Иной раз в июле иней на траву выпадает.  
 — Н-да, весело живете,— сказала Муся, подняла горсть земли, помяла в руке, потеряла пальцами.

Подошел Аржакон с рыбой. Муся спросила:

— Инвентарь-то хоть есть какой?

— Чего?

— Ну, плуги там, сеялки?

— Сеялок есть — колеса нет,— ответил Аржакон.

— Куда ж они делись?

— Растащили на телеги... А может, и пропили,— ответила Марфа.

— Ну что ж, будем сеять по доскам,— сказала Муся.

— Как это «по доскам»?

— Увидите.

Первая весенняя посевная на якутской земле. Чапурин, невысокий колченогий мужик с широкой, как ладонь, лысиной, идет за сохой. Идет, сурово насупившись, изредка покрякивая на лошадь:

— Ближе! Ближе!.. Вылезь, ну! Вылезь! Но!

Аржакон боронит — сидит верхом на лошади и мурлычет свои «ырыгата».

Муся и уже знакомая нам Марфа сеют «по доскам». Муся одной доской делает бороздку, высеивает в нее семена, второй доской присыпает и, чтобы не топтать посев, становится на эту доску. Марфа каждый раз, как Муся прижимает ногой доску, произносит:

— Та-ак! Та-ак! Та-ак!..— Потом попросила у Муси доски: — Эдак-то и я сумею.

— Ну-ну! — Муся передала ей доски.

Василий приносит новые мешочки с семенами:

— Здесь вировский овес... Тут ячмень. А это вот тобой собрано в экспедиции.

Муся берет на руку зерно из последнего мешочка:

— Да, это олекминская пшеница. Местный сорт.

— Ну, не совсем местный. До ее родины добрых полтыщи километров. А то и всю тыщу намеряешь,— сказал Василий.

— Начальника едет! — крикнул с лошади Аржакон.— Вон его катер немножко трещит.

Небольшой катерок, попыхивая, подходит к берегу. На поле невольно приостановились, смотрят на катер.

Из катера легко выпрыгнул щеголевато одетый молодой человек. На нем хромовые сапожки, серый френч с накладными карманами, фуражка. Он из того типа людей, про которых в народе говорили «полувоенный». Чуть пригнувшись, выбрасывая вперед колени, поднимался он по речному берегу. У него еще и планшетка оказалась через плечо, на тоненьком ремешке. Он даже руку приложил к фуражке, когда поздоровался, подходя:

— Здравствуйте, товарищи!

Но рука коснулась фуражки неловко, дугой. Василий чуть иронически смерил взглядом его верткую фигуру и крепко тиснул ему руку, так что «полувоенный» поморщился.

— Недавно из армии? — спросил Василий.

— В армии не был,— чуть замялся тот.— Военобуч проходил по решению ЦК комсомола Якутии.— И тут же спохватившись: — Меня зовут Сидор Иванович, по фамилии Судейкин.

— Силантьев Василий Никанорович,— ответил Василий.

— Я уж в курсе. Опытную станцию мне приказано сдать вам. А я остаюсь при вас заместителем по хозяйственной части.

— Зав отделом селекции Мария Ивановна Твердохлебова,— представил жену Василий.

— Сидор Иванович,— протянул руку Судейкин.— Рабочих по от-делу селекции разрешено нанимать сезонно — не более пяти человек. Штатное расписание здесь,— указал он на планшечку, и Василию: — Разрешите приступить к передаче?

— Пойдемте.

Василий и Судейкин двинулись к конторе.

— Извиняюсь, вы не комсомольцы? — спросил на ходу Судейкин.

— Я член партии, а жена выбыла механически,— ответил Ва-силей.

— Извиняюсь, это вам минус.

— Почему?

— Не работали с ней по идейной линии, вот она и выпала из рядов.

— Она беспартийный большевик.

— Ну, тогда мы и ее должны охватить.

— Чем это ее охватить?

— Программой военобуча. Изучение противогаза, винтовки об-разца девяносто первого дробь тридцатого годов, комплексом ГТО, стрельбой по мишеням.

— У нее теперь своя стрельба пойдет на спытном поле.

— Какая стрельба? Неорганизованная стрельба строго запре-щается.

— Успокойтесь... У нее организованная.

А на поле возобновилась прерванная работа.

— Ближе! Но! Ближе! — покрикивает Чапурин на лошадь и идет за сохой, насупленно смотрит в землю.

— Та-ак, та-ак,— повторяет Марфа, придавливая одну за другой доски, пытаясь не отставать от сноровисто сеющей Муси.

А над их спинами, как песня жаворонка, протяжно льется зау-нывная «ырыата» Аржакона.

Короткая якутская весна протекает бурно; еще только вчера на голых речных берегах, в глубоких и черных проемах обнаженного леса чуть желтели ивняковые островки, а сегодня зазеленел подлесок, выбросила клейкие резные листочки береза, окуталась салатным пушком лиственница. Еще только вчера табунились стайками над ре-кой утки, а сегодня одинокие селезни тоскливо жмутся к камышовым зарослям, где на гнездах сидят их присмиревшие подруги; еще вчера в сизом, вязком небе тянулись частые клинья гусей и журавлей, а се-годня по вечерам с глухих болот на таежных распадках послышались гортанные высокие клики журавлиных песен и на ранней светлой зорьке почти незакатного дня с речных укромных проток да заводей ударил раскатистый трубный зов одинокого оленя.

Весна и лето слились в одном стремлении — взять от солнца, от земли, от этого теплого ветра, от влаги все для короткой и бурной жизни.

Волнующееся поле цветущего ячменя. Шелестящие овсы... А соч-ные короткие стебли пшеницы только еще заколосились.

Муся стоит на краю деляны ячменя, трогает руками колосья, словно малого ребенка гладит. К ней подходит Марфа с высокой, ху-денькой, но крепкой девушкой-подростком.

- А вот и моя племянница,— говорит Марфа,— Люся.
- Здравствуй, помощница! — Муся протягивает руку, как взрослой.— Меня зовут Мария Ивановна.
- Здравствуйте.
- Ты знаешь, что такое селекция?
- Нет.
- Вот гляди: здесь ячмень, а это пшеница. Тут колос большой, а здесь его еще нет. Надо нам вырастить такую пшеницу, чтоб она созрела раньше ячменя.
- А когда мы ее вырастим? — спрашивает Люся.
- Может, через десять, а может, и через двадцать лет. Не надоест тебе ждать?
- Я терпеливая. Я с детства пряду... И ткать умею.
- С самого детства! — улыбается Муся.— Да, это серьезное доказательство. Тогда приступим к опылению.
- Муся берет пинцет и начинает удалять пыльники.
- Вот видишь, как это делается... Пыльники долой, пестики оставляешь. Потом опыляем. Пыльцу берем отсюда... Вот это и есть скрещивание. А теперь под колпак.— Муся надевает белый колпачок на колос.
- Как в больнице,— усмехается Люся.
- Правильно! Здесь рождение происходит, только нового зернышка. Ну, бери инструмент... Удаляй пыльники.
- Люся начинает обработку колоска, от усердия прикусив губу.
- Та-ак! — подбадривает ее Марфа.
- Солнце уже свалилось к закату; они все еще стоят по грудь в зеленом ячмене, а за ними широкая деляна покрылась белыми колпачками.

Поздний вечер. Но еще светло. Муся подходит к дому. Увидев ее, с громким криком подбежал Володя:

- Мама, мама! Папа сказал — холодно будет. Значит, ночью ты не будешь работать? Ляжешь с нами спать!
- Когда это папа сказал?
- Сегодня...
- Муся проходит в почвенную лабораторию. Василий сидит за столом, работает — смотрит в микроскоп.
- Кто сказал Володьке, что холод будет? — спросила она.
- Вон сводка погоды! С метеостанции передали. Понижение температуры... Заморозки.
- Муся просматривает сводку:
- Боже мой! Заморозки в начале августа?
- Входит Аржакон.
- Топить будем, такое дело?
- Да топи,— отвечает Василий.
- Пропала моя пшеница... Не вызреет,— говорит Муся.
- Я знаю такое место, где пшеница всегда поспевай,— сказал Аржакон.
- Что за место? — спросила Муся.
- Моя друг есть. Далеко живи. Надо на лодке ехать.
- Кто он такой?
- Его кержак. Пантелей зовем...
- Вы можете со мной съездить? — спросила Муся.
- А почему нет? Можно, такое дело.
- Поедем завтра же, утром.

Легкая долбленая лодка поднимается вверх по лесному ручью. Аржакон стоит на корме и отталкивается шестом. Ручей каменистый, порожистый, лодка идет медленно. Муся сидит впереди.

— Устал, наверно? — спрашивает Муся.

— Есть такое дело, немножко, — отвечает Аржакон.

— Давай я помогу, потолкаю, — говорит Муся.

— Сиди смирно! Женщин имей ноги слабые. Стоять лодка нельзя.

— Ты прямо все знаешь, Аржакон.

— Конечно, — смиренно соглашается тот. — А почему нет?

Укромная лесная протока. Вода тихая, темная, как машинное масло. Лодка идет быстро, бесшумно. Наконец Аржакон выпрыгнул на берег и вытянул лодку.

— Вылезай! Приехали, такое дело.

По еле заметной тропинке Аржакон пошел вперед, в лесную чащобу. Муся за ним. Вскоре они вышли на просторную поляну. Здесь было поле необычно низкорослой, по локоть, желтеющей пшеницы. Муся как увидела эту маленькую пшеницу с большим колосом, так и припала на колени.

— Это ж карликовая пшеница! Карликовая! Загадка веков... Понимаешь, Аржакон?

— Конечно.

— И колос цветет вовсю. Она созреет, непременно созреет.

— А почему нет?

Муся сорвала один колосок, положила его на ладонь.

— Ну, пошли к хозяину.

На другом краю этого обширного поля, возле самого облесья, стоял добротный крестовый дом из потемневшей коричневой лиственницы, а за ним двор, амбар, поленницы и, наконец, на отшибе молотильный сарай. Все здесь сделано прочно, экономно.

Когда Муся и Аржакон подходили к дому, залились собаки и сам хозяин вышел на крыльцо. Это был еще относительно молодой мужик, без шапки, с кудлатой рыжей головой, в оленьей безрукавке, в бахилах из сохатиного камуса, он высился горой на крыльце.

— Цыц! — зычным окриком унял он собак. — Проходите, они не тронут, — прогудел он Мусе и, не здороваясь, сам прошел в избу.

В чистой передней комнате с большой русской печью, с божницей в красном углу он поздоровался легким поклоном:

— Здравствуйте! Проходите к столу.

На лавке у стола сидела миловидная женщина в длинной поневе и в белой полотняной кофте с красным шитьем на рукавах. Рядом с ней сидели и смирно глядели на вошедших два мальчика.

— Пантелей, я тебе привозил ученый. Его Москва ездил, — указал Аржакон на Мусю. — Теперь у нас на станции работай.

— Меня зовут Мария Ивановна...

— Милости просим, — повторил Пантелей, приглашая гостей к столу. — Авдотья, собери на стол!

Хозяйка встала из-за стола, прошла к печке.

— Может, молочка топленого испробуйте? С кашей... Может, мясца? — спросила она Мусю.

— Спасибо, мы не хотим, — сказала Муся.

— Тебе не хочет, моя хочет. Тебе лодка сиди, моя шестом толкай. Не одинаково, понимаешь.

Все засмеялись. Стало как-то проще. Хозяйка накрывала на стол; беседовали, рассевшись по лавкам.

— У вас всегда вызревает пшеница? — спросила Муся.

- Всегда,— ответил хозяин.
- А сколько же лет вы здесь сеете?
- Не знаю. Еще дед мой раскорчевал эту заимку. Мне она досталась при семейном разделе.
- Значит, это заимка? А где же ваш основной дом был?
- В Вознесенском. Там отец проживал.
- А где ж он теперь?
- Сослали в Сибирь.
- В Сибирь?! Куда уж еще из Якутии?
- Лес заготавливать. Говорят, кулак.
- Что значит — говорят?
- Значит, так определили. А какой же кулак отец мой! Вон Рындин был кулак! Рыбный завод держал... Работников имел. А отец мой сам всю жизнь хрип свой гнул, не токмо что работников нанимать — сам ходил на заработки. Всей и славы было у него — дом большой. Дак мы сами плотники, сами все и смастерили. Какие же мы кулаки?
- И вас с Авдотьей притесняют?
- Покамест нет. Мы в середняках числимся.
- А вы жалобу писали насчет отца?
- Писал, да что толку? Может, отца бы и не тронули, да нужда случилась. Артель охотничью создали, а конторы не было. Вот и заняли дом моего отца под контору да под пушной склад.
- Кто же так распорядился? Это ж нечестно!
- Судейкин.
- Сидор Иванович?
- Он эту артель создавал. А потом ушел на станцию. Теперь и спрашивать не с кого.
- Нет, это дело нельзя так оставить. Я мужа попрошу — пусть съездит в Якутск.
- Где уж там...
- Хозяйка меж тем накрыла на стол и даже поставку медовухи налила.
- Кушайте на здоровье, кушайте!
- Хозяин налил медку себе и Аржакону. Муся пить отказалась.
- Я к вам с большой просьбой: нельзя ли у вас выкроить небольшую делянку? Для моих опытов. Мы все это оплатим вам, по договору.
- Какие же вы опыты хотите провести? — спросил хозяин.
- Я хочу вывести такой сорт пшеницы, чтобы он созревал и здесь и в Вознесенском... Повсюду в Якутии.
- Хорошее дело! Ну что ж, столкнемся.
- Ваше дело толковать, мое дело выпивать,— сказал Аржакон, поднимая кружку.
- На здоровье! — сказал хозяин.

Контора опытной станции. За столом сидит Василий. Рядом на стульях Муся и Судейкин.

— Как же так случилось, Сидор Иванович, что вы отобрали дом у Филата Одинцова? — спросил Василий.

— Очень просто — экспроприация экспроприаторов,— ответил бойко Судейкин.

— Какой же он экспроприатор, если у него не было батраков? — спросила Муся.

— Все равно — жил на широкую ногу. То есть паразитически-буржуазный образ вел.

— Он плотник... Средняк! Я проверяла! — крикнула Муся.

— За счет кого же он паразитировал? — спросил Василий. — За счет вас?

— Ну, это не обязательно, чтобы лично кто ему прислуживал. Он всех обирал.

— Каким образом? — спросил Василий.

— Больше всех наживался за счет продажи хлеба, — ответил Судейкин.

— Чей же он хлеб продавал? — спросила Муся.

— Свой.

— Ну и вы свой продавали бы, — сказал Василий.

— А у меня его сроду не было, — с гордостью ответил Судейкин.

— Почему? Земля-то у вас по едокам была поделена.

— Потому что у него скота много было, навозу то есть. Две лошади, две коровы да свинья с поросятами. Опять для наживы...

— И вы бы развели скот. Что в том плохого? — спросил Василий.

— А то, что я артель создавал, а он в сторону глядел.

— Мало ли кто куда глядел. Это еще не основание для репрессии. И я бы вам советовал написать письмо в РИК, чтобы пересмотрели дело Филата Одинцова.

— И не подумаю. И вам не советую связываться с его сынком. Это как же, оказывается, поддержка всяким элементам?

— А вы читали статью товарища Сталина насчет головокружения от успехов? — спросил Василий.

— Читал. Но я теперь не занимаюсь коллективизацией, значит, она меня не касается.

— Правильно! — улыбнулся Василий. — А ты оборотистый!

— Мы приехали сюда новые сорта пшеницы выращивать, а не заниматься глупостями! — вмешалась Муся.

— Вот как! — Судейкин весь залился краской и встал. — Классовая борьба поважнее всех ваших пшениц и овсов. Я свое дело сделал — предупредил вас. Поступайте как хотите. — Судейкин вышел.

— Вот блоха-то на теле классовой борьбы, — усмехнулся Василий. — Ну, что будем делать?

— Надо ехать на заимку. У меня на подходе несколько колосков олекминской пшеницы. Проведу опыление там, на месте... Чувствую — тут что-то интересное может завариться.

— Ну, добро! Бери Марфу, Люсю, и Аржакон вас доставит.

Аржакон, Муся, Марфа и Люся подходят к заимке Пантелея. Хозяин с хозяйкой встречают их еще на дороге.

— Проходите в избу! — приглашает Авдотья.

— Нет, сегодня нам некогда, — говорит Муся. — Пантелей Филатович, для начала нам хватит восьмой части десятины. Вы нам отмерьте. А рассчитывать будем так: подсчитаем средний урожай на вашем поле и сколько придется на восьмушку, заплатим по базарной цене. Согласны?

— Дело, — ответил Пантелей. — Дак вы проходите на поле, а я сейчас принесу сажень и колья.

Пшеничное поле. Четыре женщины, пригнувшись, начали свое нелегкое кропотливое дело. А в летнем северном небе ходят кругами острокрылые стрижи. Они резвятся и над затерянной в тайге заимкой, и над обрывистыми берегами широкой таежной реки.

Василий едет по реке на катере, смотрит на далекие берега, на безоблачное белесоватое небо.

Впереди показался город Якутск. Василий останавливает катер в затоне и говорит мотористу:

— Ждите меня здесь. В случае необходимости справьтесь в райзо. Пока! — Василий уходит.



Райземотдел. Дверь с дощечкой «Заведующий райзо». Василий подходит к двери.

В кабинете встречает его пожилой человек, сдержанно-учтивый, в легком шевиотовом костюмчике.

— Здравствуйте, Василий Никанорович! — протягивает из-за стола руку заведующий. — Прошу присаживаться.

Василий, поздоровавшись, сел.

— Что там у вас за конфликт? — спросил заведующий. — Говорят, что вы начали кампанию за возвращение кулаков?

— А-а... Судейкин натрепал.

— Не знаю, кто натрепал. Но мне из райисполкома звонили и предупредили, чтобы вы занимались своим делом.

— Кто вам звонил?

— Ну, фамилии я не спрашивал.

— Даже не спрося фамилии, вы уже решили: кто звонит оттуда, тот и прав?

— И не хочу заниматься посторонними делами и вам не советую. У нас и своих хватает.

— Если человека незаслуженно, незаконно наказали? Неужели это вас не касается? Вы что, ничего не слыхали о перегибах?

— Есть люди, которых специально уполномочили разбирать эти перегибы. Вы-то чего волнуетесь?

— А я волнуюсь потому, что в наших учреждениях у некоторых своя рубашка ближе к телу. Своя хата у них с краю... А между тем партийный билет носят в нагрудном кармане.

— Это намек?

— Вы догадливы.

— А вы невыдержанный молодой человек. Мне еще сообщили, что вы вступили в сделку с вражеским элементом. И на его заимке чуть ли не опытное поле открыли?!

— Это клевета! На заимке Одинцова скороспелая пшеница, нужная нам позарез.

— Заведите себе такую же.

— Вот этим мы и занимаемся.

— На вражеской заимке? — усмехнулся заведующий.

— Где угодно. И у самого господина бога смогли бы подзаняться, будь у него опытное поле.

— Ну что же, ваше дело — ваш ответ. А вы, между прочим, читали последнюю статью товарища Мазепы «Революция в ботанике»?

— Читал эту галиматью! — ответил Василий.

— Вон вы как! Товарищ Мазепа правильно говорит — старые методы селекции не для нас. Черепашьи методы! А то еще раковые. Назад пятитесь, к богу.

— Нам некогда играть в перегонки.

— Вот-вот... Товарищ Мазепа так и говорит — в застойные болота превратились опытные станции. Надо заниматься передовыми методами земледелия. Продукцию выдавать на-гора! Пример показывать для колхозов. Продукцией! А вы по заимкам шляетесь.

— За свои дела мы умеем держать ответ, — сказал Василий.

— Желаю удачи.

Василий вышел.

— Мария Ивановна, а почему вы на делянках оставили несколько колосков под бумажными колпачками? — спросила Люся.

Они идут по делянке с ячменем, где когда-то проводили опыление. Мария Ивановна срывает эти редкие колоски под белыми колпачками.

— А это чтобы проверить, как чисто мы сработали. Если в колоске зерен нет, значит, мы удалили все пыльники и он не самоопылится. Вот видишь,— Муся подает ей колосок из-под колпачка,— он совсем пустой, мягкий... Потрогай.

Люся взяла колосок, помяла.

— Как интересно!

Снизу, от пристани, поднимался Василий. Муся, заметив его, быстро пошла навстречу.

— Ну, что стряслось? Зачем вызывали? — спросила она.

— Судейкин наклеузничал...

— Насчет Пантелея?

— Да.

— Ну и что? Запретили?

— Отстоял...

— Спасибо, милый! — Она целует его.— Значит, можно продолжать на займке?

— Продолжай,— говорит он невесело.

Серп режет спелую пшеницу. Ловкие женские руки крутят свясло, вяжут снопы. Вот уже их целый крестец, второй, третий. Счастливые лица Муси, Авдотьи, Марфы, Люси...

Мы видим, как летят эти снопы на телегу... Воз растет до поднебесья. Его утягивают деревом.

Поскрипывая, телега катится по травянистой дороге. Пантелей идет сбоку.

Цепи мелькают в воздухе... Летит зерно во все стороны. На току лежат снопы.

Лопата подкидывает зерно высоко-высоко; оно опускается на землю медленно, и так же медленно отлетает от него полова. Ворох золотистого зерна все растет и растет...

— Цены ему нет! Оно дороже золота,— говорит Муся.

Они стоят все шестером возле этого вороха, и каждый берет на ладони и разглядывает зерно, будто бы оно и впрямь чудо.

— Мы из него вырастим такой сорт, которому никакой холод ни почем. По всей Якутии пойдет,— говорит Муся.

И вот уже комбайн плывет по пшеничному полю. Комбайнер в очках, незнакомый нам. А подручным у него сидит Аржакон; он дергает за веревку копнителя. Рядом с комбайном идет грузовик — принимает зерно.

Грузовик отходит от комбайна и катит по пыльной дороге. Он подъезжает к пакгаузу возле реки, здесь грузчики насыпают мешки. На каждом мешке крупное табло: «Госсортиспытание». Чуть ниже так же крупно: «Якутянка-241». Мешки несут на катер. Здесь Муся что-то говорит приемщику и расписывается в накладных. Приемщик тоже расписывается.

На очередном грузовике подъезжает Василий, подходит к Мусе, спрашивает:

— Нагрузились?

— Да,— отвечает счастливая Муся.

— Ну, поздравляю! С первым рейсом нашей «якутянки». — Василий крепко жмет ей руку.

— Разрешите и мне присоединиться,— жмет Мусе руку приемщик.— Ваша «якутянка» далеко пойдет.

— Не знаю, как «якутянка», а нам ехать далеко,— сказал Василий.

— Что случилось? — спросила Муся.

— Вот депеша.— Василий вынул из папки бумагу и подал Мусе.— Приказано сдать станцию Судейкину.

— Что такое? Райисполком дурит?

— Да нет... Указание из Наркомзема. Мазепа старается. Он же теперь там наукой заправляет.

— Но что за причина?

— Та же самая... Нет отдачи. Мало продукции выдает станция. Не тем занимаемся.

— Как? Мы вырастили новые сорта пшеницы и овса!

— Это еще доказать надо.

Коридор опытной станции. Муся торопливо идет коридором и вдруг нос к носу столкнулась с Судейкиным. Он торжественно-важен, на лице его игривая усмешка.

— Теперь вы довольны? — спросила Муся.

— Пока еще нет. Вот когда я вас отсюда вытряхну, тогда успокоюсь... Делом займемся.— Он повернулся уходить и через плечо: — Почвенную лабораторию сегодня же освободить. В ней будет мой кабинет. Вам же подготовить дела к сдаче.— И ушел.

Муся в лаборатории упаковывает зерно в пакетики, надписывает их, складывает в стопки.

— Марфа, это вот образцы «урожайной». А здесь «магницкий овес».

— Я боюсь перепутать. У меня голова дырявая,— говорит Марфа.

— Я все записала... И в каталогах есть.

— Вы уж погодили бы до приезда новенькой,— говорит Марфа.— Вроде бы она уже здесь.

— Откуда она?

— Не знаю.

Стук в дверь.

— Войдите! — сказала Муся.

Дверь растворилась, на пороге стоят Судейкин и Люся. Она уже взрослая.

— Люся! Как ты здесь оказалась? — бросилась к ней Марфа.

— Да вот к вам прислали из Омска.

Муся узнала ее, улыбнулась:

— Здравствуйте, Люсенка!

— Здравствуйте! — Люся подошла к ней, уткнулась в плечо и всхлинула не то от радости, не то от горя. Но быстро оправилась и сказала Судейкину:

— Сидор Иванович, оставьте нас.

Судейкин ушел.

— Пройдем в лабораторию! — пригласила ее Мария Ивановна.— Значит, вы и есть тот человек, которому я должна сдать дела? Ну что ж, я очень рада.

— Мария Ивановна, я должна вам сказать...— начала в лаборатории Люся.— Я должна извиниться перед вами. Я глубоко виновата.

— В чем?

— Я только здесь узнала обо всем. Я бы никогда не посмела подменить вас. Я ехала сюда с радостью, думала работать с вами...

— К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим.

— Нет, я не могу принять от вас дела...

— Да вы успокойтесь. Почему же?

— Потому, что я не хочу работать вместе с этим подлецом. Мне уже здесь рассказали, что этот Судейкин оклеветал Василия Никаноровича. Как же можно работать вместе с таким?..

— Я понимаю тебя.— Муся взяла ее за руку.— Милая девочка! В твою пору я бы, наверно, так же поступила. Но мы с тобой для отечества стараемся. А наше отечество не из одних судейкиных состоит. Работай не с Судейкиным, а с Марфой, с Аржаконом, с Чапуриным... Работай над всеми этими семенами. Мы вместе начинали... Я не могу — ты обязана продолжать. Разве мы для Судейкина выращивали все это? — Она указала на стеллажи, на столы, заваленные снопами, да мешочками, да стопками исписанных тетрадей и журналов.— Так что принимай! И выше голову! Разве я несчастна? Пала духом? Ну?

— Хорошо, Мария Ивановна, я приму... Я...— Люся прикусила губу и запнулась, но потом сказала:— Я постараюсь быть достойной вас.

«Постараюсь быть достойной вас» — звучит голос Люси уже за кадром, и Мария Ивановна словно очнулась, воспрянула из забытья.

Она сидит в «газике» рядом с шофером. Машина едет... Все в порядке. Но поля кончаются, перед ними районный город.

— Ну, как там наши помощники? — спрашивает Мария Ивановна.— Поджидают нас?.. Иль, может, не соберешь?

— Помощники ух, один ест за двух, за день отсыпаются, ночью разбредаются,— усмехнулся Петя.

— Сергей Васильевич соберет,— произносит уверенно Мария Ивановна.— Его слово — слово.

— А мы куда сейчас, в сельхозтехникум?

— Нет, в райком. Надо же грузовик достать.

— В райком так в райком,— соглашается Петя.— Это мы в момент.

Возле трехэтажного райкома партии останавливается знакомый «газик». Из него вылезает Мария Ивановна.

— Я на минуточку,— говорит она шоферу.

— Если обедать пригласят, не соглашайтесь. У меня здесь все организовано.— Он похлопал по термосу и сумке.— Мы лучше на вольном воздухе поедим.

— Ты у меня, Петя, просто отец-кормилец. И когда ты все успеваешь?

— Одна нога здесь — другая там.

В вестибюле Марию Ивановну встречает группа студентов во главе с профоргом техникума Волочиным — он сухонький, морщинистый, но бойкий, подвижный, а голос хоть и тонок, да звонок. Волочин преграждает дорогу Марии Ивановне и громко приветствует ее:

— Дорогая Мария Ивановна, разрешите от имени коллектива сельскохозяйственного техникума поздравить вас с высокой правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени. Великий поэт эпохи построения социализма Владимир Маяковский сказал, когда наградили комсомол орденом: «Добудь второй!» Вот и мы вам говорим... — Он обернулся к студентам и махнул рукой.

Те хором грянули:

— Добудь второй!

И бросились с цветами к Марии Ивановне.

— Спасибо, спасибо!.. Я очень тронута,— говорила Мария Ивановна, принимая цветы.— Но как вы узнали, что я сюда приеду?

— Мы все знаем... На станцию к вам звонили. Но это всего лишь прелюдия,— сиял Волочин.— Мы просим вас в техникум на торже-

ственное собрание, посвященное вашему юбилею. Весь коллектив в сборе. Ждем вас.

— Но я не могу,— в растерянности сказала Мария Ивановна.

— То есть как не можете? — опешил Волочилин.— Мы вас ждали, собрались ради вас, а вы не можете?

— Вы обещали студентов выделить на помощь, а райком — грузовик. Вот я и приехала.

— Это пожалуйста. И студенты будут и грузовик.. Завтра отправим.

— Не завтра, а сегодня.

— Но сегодня же митинг... В целях воспитания и примера.

— Я не могу на митинг. Я на работе. Вон какая погода!

— Но вы же в городе... При чем тут работа?

— Правильно! Какая может быть работа, когда митинг назначен? — раздался насмешливый голос сверху.

На лестнице стоял секретарь райкома Сергей Васильевич Северин. От неожиданности все ступевались.

— Так что важнее, товарищ профорг, работа или мероприятие? — спросил секретарь не то в шутку, не то всерьез.

— Ну конечно же, мероприятие... Поскольку в воспитательных целях,— ответил Волочилин.

— Золотые слова! Вот мы и проведем сейчас это мероприятие,— сказал Северин.

Волочилин забеспокоился:

— Как же это так вот... сразу? Нужна масса, представители...

— Масса есть. Вон, студенты! Представитель от месткома техникума вот он — профорг товарищ Волочилин. Поднимайтесь, товарищ Волочилин, на лестницу. Здесь высоко, как на трибуне. И давайте речь. А я графин с водой поставлю.

Студенты прыснули. Наконец заулыбался и Волочилин и даже сострил:

— Так ведь речь сначала написать надо, а потом утвердить. Без бумажки только петух кукарекает.

И сам засмеялся громче всех.

— Ладно,— иным тоном сказал Северин.— Ступайте в техникум, скажите, чтоб студентов приготовили. Через час грузовик вам пришло. И давайте без проволочек — пшеница не ждет. А митинг после уборочной проведем.

Студенты с Волочилиным уходят. А Сергей Васильевич спускается по лестнице навстречу Марии Ивановне.

— Привет нашей знаменитости! Привет и поклон. Поздравляю, поздравляю.— Он жмет ей руку.— Проходите ко мне.

Это уже немолодой, седеющий человек, но выглядит молодцевато, сухопарый, подтянутый.

Они поднимаются по лестнице, проходят в кабинет первого секретаря. В приемной их встретила молоденькая секретарша:

— Здравствуйте, Мария Ивановна! Поздравляю вас с юбилеем, с наградой. Здоровья и счастья вам.

— Спасибо, Надюша!

Наконец они в кабинете.

— Садитесь,— указывает на кресло Северин.

Мария Ивановна села в кресло, Северин на свой стул.

— Приезжайте сегодня вечером к нам,— сказала Мария Ивановна.— Мы будем рады.

— Мне уже Наташа звонила. Спасибо. Приеду непременно. Выпью за ваше здоровье с удовольствием. Мы с вами друзья

старинные, как в песне поется. С военной поры знакомы... С Верхнетургинска.

— Да, давненько.

— А ведь так и не нашли времечко... Чтобы попросту посидеть, погутарить, как мужики говаривают, старое вспомнить.

— Ну уж, ну уж, Сергей Васильевич! Мы частенько встречаемся. Помогаете нам. Мы не в обиде.

— Встреча-аемся... Говорим.— Северин ехидно усмехнулся: — «Товарищ Северин, подкиньте нам студентов — колоски опылать». — «Товарищ Твердохлебова, будет сделано». — «Товарищ Северин, не могу приехать на конференцию — погода не отпускает». — «Товарищ Твердохлебова, мы не ждем милости от погоды. Берите ее за рога — и в райком!»

Мария Ивановна рассмеялась:

— Все дела, Сергей Васильевич... Жизнь такая: закрутишься порой, как на карусели.

— Не говорите, Мария Ивановна. Живем все вприпрыжку — гоним, гоним, а куда? Черт-те знает... И оглянуться недосуг. Ведь мы уж почти тридцать лет как знакомы. Вы когда в Верхнетургинск приехали?

— В войну.

— Ну да. Я еще районным агрономом был... До мобилизации. Помню, вы все с председателем райисполкома Титовым ругались. У нас его праздным прозвали.— Он выкатил глаза и важно напружился: — «Товарищи, для проведения юбилейного торжества мы должны создать праздную комиссию...»

Мария Ивановна смеется:

— Очень похоже!

— Помните его?

— А как же! Он все на ранний сев меня толкал.

— Толкач он будь здоров. Еще того покроя... Куда попрет — на вожжах не удержишь. А вы Макарьева застали?

— Застала...

— Вот был мужик! Огонь!! Все с Мазепой цапался. Мазепа, бывало, приедет к нам что твой министр — три машины гонит, цугом! А Макарьев ему: «Разрешите к вам на запятки?» И пойдет потеха.

Мария Ивановна смеется.

— Доставлял нам хлопот этот Мазепа,— произносит Северин.— Все ранней посевной размахивал, как кнутом. А то сей по стерне, и точка! Н-да... А теперь, говорят, с авоськой за хлебом ходит. Пенсионер, и точка. Отмахал...

— Игра в науку до добра не доводит, Сергей Васильевич.

— Игрок он был крупный. Ва-банк шел: или я, или никто! Макарьев его стерневым Аракчеевым прозвал. Помните?

— Мы с Макарьевым были друзьями...

— Да, кажется, он вам станцию вручал? Там, в Турге?..

— Он...

Таежная река Турга. На берегу ее опытная станция: несколько бревенчатых домов, вертлюги на метеоплощадках, поля. Ранняя осень. На станции пустынно, лишь на завалинке одного из домов сидят два мальчугана, болтают босыми ногами и упоительно тоненькими голосами поют:

Накинув плащ, с гитарой под полою,  
Я здесь стою в безмолвии ночной.  
Не разбужу я песней удалого  
Роскошный сон красавицы мо-ёй!

Мария Ивановна тяжелой походкой, с небольшим саквояжем подходит к дому:

— Ребятки, где здесь контора станции?

— А вон там, в крайнем доме.

Мария Ивановна пошла к тому крайнему дому, а ребятишки опять зашели:

Не разбужу я песней удалую  
Роскошный сон красавицы мо-ёй!

Мария Ивановна поднялась на крыльцо, открыла дверь и чуть не вскрикнула от удивления — за столом сидел Макарьев.

— Миша? Ты? Какими судьбами? — Она заплакала.

— Что с тобой?

— Вася погиб.

Макарьев встал, скорбно склонил голову. Помолчали.

— Крепись, Маша.

Она вытерла слезы и сказала:

— Извини... Никак еще не привыкну.

— Где он погиб?

— Под Серпуховом. Ушел с ополчением. И в первом же бою.--

Она опять заплакала.

Макарьев подошел к ней, дотронулся до волос, она отвернулась и спросила иным тоном:

— А ты что здесь делаешь?

— Тебя встречаю. Я уж второй месяц как в Верхнетургинске. Главный областной агроном, прошу любить и жаловать.

— А здесь чего сидишь?

— Говорю — тебя встречаю. Директора станции перевели в совхоз. Маркович, как ты знаешь, ушел на фронт. А здесь придется тебе властвовать. И селекционером будешь и начальником.

— Ты же сидел в ВИРе, в Ленинграде?

— Наш ВИР теперь — Сибирь. Без сибирского хлеба мы не выиграем войну. Так что принимай дела.

Муся оглядела стеллажи, приборы, каталоги и сказала:

— Внушительно!

— Маркович был работник серьезный... Он начинал еще у твоего отца. Гляди.— Макарьев открыл один шкаф, другой, третий... И все завалено образцами — маленькие пакетики семян с надписями.— Более трех тысяч. Вот каталоги.— Макарьев указал на папки с каталогами.— Это элитные растения. Здесь самоопылители... Это перекрестники. У дядюшки Якова товару всякого — выбирай на вкус.

— Да, скучать здесь не придется,— сказала Муся.

— Еще бы!.. Я тут почти неделю проторчал. Богатый материал.

Честно говоря, завидую тебе.

— Садись рядом.

— Да где мне! У меня и пальцы не гнутся. Какой я селекционер! Между прочим, я тут вычитал,— он указал на каталоги,— один сорт пшеницы, «таежную-девятнадцать», Маркович особо выделял. Обрати внимание! — Он вынул из шкафа небольшой снопок и передал Мусе.— Ведет себя не как самоопылитель, а как перекрестник. Странно!

Муся поглядела на колос, на чуть красноватое зернышко.

— Гибрид... сложный. Пока ничего примечательного не заметно.

— Ну, Маркович не станет зря откладывать на видное место.

— Поживем — увидим,— сказала Муся.

— Само собой... Да, а где твои вещи?

— Я пока налегке,— ответила Муся.— Кое-что в Верхнетургинске

оставила. Вот обоснуюсь, ребят вызову, тогда и вещи привезу. А ты где живешь? Где семья-то?

— Я, Маша, бобыль. Один как перст.

— Отчего ж не женишься? Или все еще завлекать не научился?

— В экспедиции всю пору. А там то монголки, то бурятки. Они нашего брата не больно жалуют. Им на коне подавай, чтоб с винтовкой или с нагайкой... А я всю жизнь пеший.— И сказал иным тоном: — Надеюсь, ты мне позволишь помочь тебе...

— Я справлюсь, Миша. Спасибо!

И опять вороха семян на столе, и сортирующие их ловкие женские руки, и пакетики с образцами, и записи в каталогах, и высеивание в плошки... И зеленя, зеленя.

Только помогают ей другие люди и лицо ее теперь другое: скорбное, с резкой складкой меж бровей, как надруб. И Мусей ее уж не назовешь — Мария Ивановна.

От зеленой в плошках сначала через окно, потом с высоты птичьего полета мы видим просторную весеннюю сибирскую землю всю в зеленеющих березовых колках, в черных пахотных косогорах и в рыжих от прошлогодней стари низинах с блюдцами просыхающих болот.

По полевой дороге катит черная избитая и старая «эмка». Вот она въезжает на усадьбу опытной станции и останавливается у крыльца конторы. Из автомобиля вышел хотя и пожилой, но прямой человек в суконной гимнастерке и быстро пошел в контору.

В кабинете директора сидела машинистка и стучала на машинке.

— А где Твердохлебова? — спросил вошедший.

— В лабораторном цехе, — ответила машинистка.

Приезжий прошел в лабораторный цех и несколько оторопел — за длинным столом сидели шесть женщин и перебирали целый ворох семян. Среди них была и Мария Ивановна.

— Мне нужна товарищ Твердохлебова!

— Я Твердохлебова.

— Поговорить надо.

— Пожалуйста, говорите, — ответила Мария Ивановна, не вставая.

— Разговор служебный. Я председатель райисполкома.— Он как бы от обиды поглядел в сторону, подчеркивая телом своим неудовольствие.— Вопрос ответственный. Мы должны оказать вам поддержку.

— Хорошо, пройдемте.

Мария Ивановна встала и провела его в кабинет.

— Я вас слушаю, — сказала она, присаживаясь и приглашая присесть гостя.

— Что ж это получается, товарищ Твердохлебова? Вы представитель науки, наша опора — и подводите весь район? — начал весело Титов.

— Чем же я вас подвожу?

— Ну как же! Вся округа сеет, а вы все еще тянете. Чего ждете? Милости божьей? — Титов как бы приглашал ее на обмен взаимной шуткой или хотя бы любезностью.

— Погоды... Рано еще, — сухо ответила Мария Ивановна.

— Погода для всех одинаковая. Вон в Карагожском районе уже всю сеют, а он севернее нас.— Титов все еще улыбался.

— Ну и что? Мало ли бывает в жизни нелепостей!

— Какие нелепости? С нас план посевной спрашивают. План! А вы — нелепости! — Он опять обиженно отвернулся.

— Подойдет время — и вы посеете, выполните свой план.



Он аж привстал и чуть ли не руками всплеснул:

— Да вы что, с неба свалились? Соцсоревнование идет: кто раньше отсеется — получит красное знамя. На Доску почета заносятся! В области...

— Кто раньше начнет зерно кидать в землю — это игра и глупость.

— А вы слышали, что район принял соцобязательство — закончить весеннюю посевную раньше, чем в прошлом году? — Титов все более накалялся, и землистого цвета лицо его покрылось багровыми пятнами.

— Не понимаю, зачем вам нужно отсеяться непременно раньше? Вы отсеетесь в сроки, которые природа устанавливает.

— Не природа нам, а мы ей диктуем условия. Взять от природы все что можно — вот наша задача.

— Но поймите же, сроки сева — это не прихоть, а научная закономерность. Здесь ранний сев вреден. Земля холодная, сорняки еще спят. Надо дожидаться, пока они пойдут в рост... Спровоцировать их надо, а потом заломать и посеять...

— Не знаю, как насчет провокации сорняков, но от речей ваших отдает провокацией сева.

— Да куда вы гоните? Микрофлора здесь пробуждается только в июне.

— Какая микрофлора? Саботаж — вот что это такое.

— Извините, в таком тоне я не привыкла разговаривать.

— А вы не извиняйтесь! Вы нарушаете сроки сева, утвержденные областью.

— За свою станцию отвечаю я. И за свой сев.

— Вы не на огороде сеете. У вас десятки гектаров нашей районной земли. По вас равняются колхозы и совхозы. Глядя на вас, и они артачатся. Вы подаете дурной пример. Это вы учитываете?

— Очень хорошо! Могу только порадоваться за район, где есть разумные хозяева.

— Вот как! В таком случае я вас предупредил: если до пятнадцатого мая не отсеетесь, вызовем на бюро райкома.

— Собирайте бюро в июне... Потому что во время посевной я просто никуда не поеду.

— Поглядим!

Председатель, не прощаясь, вышел.

Районный сибирский городок. Зеленый сквер перед белым двухэтажным зданием райкома. Лето. На огромной расцвеченной Доске почета крупные фотокарточки передовиков весенней посевной и крупно белым по красному названия колхозов: «Рассвет», «Путь Ильича», «Заветы Ленина», «Красный пахарь». Рядом с Доской почета пониже и поменьше черная доска. На ее поле надпись: «Тургинская опытная станция закончила сев только 3 июня. Позор отстающим!» И еще ниже белым по черному: «Директор станции — М. И. Твердохлебова».

Мария Ивановна стоит возле доски, читает. Подходит Макарьев.

— Ай-я-яй! Чем это вы любуетесь, товарищ Твердохлебова? Чем гордитесь?

Мария Ивановна обернулась.

— Миша! И ты здесь?

Они поздоровались.

— А как же! Представитель области. Явился на пленум к вам — разбирать итоги посевной. Наградить передовиков, наказать отстающих. — Он озорно подмигнул.

— Раньше говорили: цыплят по осени считают,— усмехнулась Мария Ивановна.

— То раньше! А теперь у нас боевая задача на каждый период; вот кончилась посевная — намечай новые рубежи, нацеливай на уборочную. А если вас не нацелишь, вы, пожалуй, и убирать хлеба не станете.

— Значит, вразумлять будете? Но кого же?

— А это военная тайна. Что у тебя за конфликт приключился?— спросил Макарьев.— Мне уж звонили, жаловались на твою заносчивость!

— Приезжал председатель РИКа. Это командир в фуражке. И набросился на меня: «Сей незамедлительно!» Чуть ли не кулаком стучал. Ну, я его и выставила за порог.

— Нехорошо! Он же показатель гонит.

— Я не понимаю, чего они всполошились с этим севом? — спросила Мария Ивановна.— Да, идет война! Иные хозяйства ослабли. Так пусть сеют пораньше. Но есть еще крепкие колхозы. Зачем их подгонять? Зачем стричь всех под одну гребенку?

— Председатель РИКа не виноват, Маша... Это наш Мазепа кинул сверху лозунг насчет раннего сева. Вот все и стараются.

— И откуда они только берутся?

— Кто? Пантелей, что ли?

— Да я про этих начальников вроде председателя РИКа...

— Эх, Маша, был бы святой, а угодники найдутся.

— Да, пожалуй, ты прав. Ну что ж, пошли на пленум!

— Нет, Маша... Я приехал проститься с тобой.

— Как?!

— Еду на фронт.

Макарьев и Твердохлебова идут по скверику. В пустынном уголке возле скамейки они остановились. Макарьев, как-то полуотвернувшись, глядя на свои ботинки, проговорил:

— Я хочу тебе что-то сказать, Маша. Может, присядем?

Она молча села. Макарьев продолжал стоять, глядя все так же косо и вниз.

— Я сегодня же уеду... Завтра буду в военкомате, а там — на фронт. И я больше не могу молчать... Я тебя люблю, Маша.

— Не надо об этом, Миша, не надо...

Он опустил на скамью и положил голову ей на грудь. Она как бы машинально гладила его волосы и смотрела прямо перед собой невидящими глазами.

С таким же отсутствующим взглядом она провожала его на перроне и смотрела куда-то вдаль, поверх его головы.

— Маша! — кричал он с подножки вагона.— Я буду писать тебе — ты мне отвечай, слышишь?

— Да, да... Хорошо! — Она кивала, прощально махала рукой. А взгляд оставался все таким же — невидящим.

Осень. На окнах первый налет морозного рисунка. Входит со двора Володя, вносит несколько кружков мороженого молока, потирает руки, говорит радостно:

— Ну, мама, дорожка промерзла, уф! Как по асфальту покатим.

Мария Ивановна укладывает в рюкзаки продукты на недельный срок Володе и Наташе. Двумя стопками разложено мороженое молоко — шесть кружков Наташе, шесть Володе. Потом картофельные лепешки. Тоже на две стопки.

— Наташа, картофельные лепешки уже посолены — только ра-

зогреть надо. А молоко оттаивай на медленном огне. Не то пригорать будет,— наставляет Мария Ивановна.

— Господи, уже уяснила,— как взрослая, отвечает Наташа.

В окно кто-то постучал. Володя взглянул в форточку и крикнул:

— Мам, ребята уже собрались! Только нас ждут.

— Ну, ступайте, ступайте...— Она затягивает рюкзаки.

Дети одеваются.

— Володя, уши завяжи! — приказывает Мария Ивановна.— Смотри не обморозь!

— Да ты что? Каких-то десять километров всего... Мы единым духом доедем.

— Наташа, накинь еще вот эту шаль,— подает она дочери клетчатую толстую шаль с кистями.

— Да я что, бабушка? Мне и в платке не холодно.

— А я говорю — повяжи!

— Ой, прямо кулема,— ворчит Наташа, но шаль повязывает.

Кто-то опять стучит в окно.

Володя хватается за рюкзак и в дверь.

— Если будет занос, в субботу не приезжайте, я сама съезжу к вам,— наказывает Мария Ивановна.

— Ну да, испугались мы твоего заноса,— говорит Наташа.

Ушли дети, и квартира опустела. Мария Ивановна подходит к столу, машинально оправляет скатерть, берет треугольничком сложенное воинское письмо. Развернула, пробежала глазами, улыбнулась. Потом выдвинула ящик стола, достала чистый лист бумаги, ручку, села писать письмо. А мы слышим ее тихий голос: «Остались мы тут одни бабы. Работаем да вас вспоминаем. Конец лета был дождливый, бурный. Не только что хлеба — овсы полегли. И только одна «таежная-19» устояла, та, что выделил Маркович. Помнишь, белесые колоски и красноватые зерна? Урожай дала средний, а устойчивость у нее просто поразительная. Так вот в чем ее секрет... Буду тянуть ее, тянуть за уши. Улучшать...»

В лабораторном цехе в плошках колосющаяся пшеница. Мария Ивановна занимается перекрестным опылением. Рядом с ней стоит Наташа.

— Вот видишь, дочка, как это делается? Это пыльники. Пыльца должна быть влажной, тогда она хорошо прорастает. Значит, пыльцу переносишь с этого колоска на другой... Вот так.

— Мам, а тебе Володя говорил о своем решении?

— О каком решении?

— Он уходит из десятого класса. В военное училище поступает. В бронетанковое.

Мария Ивановна роняет пинцет.

Она проходит по коридору, выходит на улицу — раскрытая, с развевающимися на зимнем ветру волосами, в одном платье идет к своему дому.

Володя сидел за столом, читал книгу. По тому, с каким возбуждением вошла мать, он понял, что его тайна открыта. И сразу находился.

— Володя, что это за училище? Что ты надумал? И что это значит?

— Просто хочу поступить в военное училище ускоренного типа. На фронт хочу.

— Почему ты мне об этом не сказал?

— Потому что я еще комиссии не прошел.

— Но ты еще школьник!

— Мне скоро стукнет восемнадцать.

Он встал, закрыл книжку, положил ее на полку и, сложив руки на груди, сказал твердо:

— Подошло время, мам, когда я должен решить, мужчина я или нет. Настоящие мужчины все там! И отец, будь он жив, понял бы меня. Я уверен.

Она чуть пошатнулась и как бы прикрылась рукой.

— Мама, что с тобой? — Он поддержал ее за локоть.

— Ничего... — Она подняла голову и поцеловала его.

И вот он идет в колонне таких же молоденьких и крепких ребят. Идут, как солдаты, грохают сапогами, держат равнение и даже песни боевые поют: «Эх, махорочка, махорка! Породнились мы с тобой...» Только чубы да челки выбиваются из-под шапок, да за плечами не ранцы, а рюкзаки, да шаг нестройный, да много плачущих среди провожающих женщин. И Мария Ивановна провожает; она стоит в обнимку с Наташей и долго смотрит вслед уходящей колонне новобранцев.

— Ну вот, мам, и остались мы с тобой одни, — говорит Наташа. — Поедем домой!

— Наташа, я забыла тебе сказать: конюх наш заболел и возить вас в город некому. Придется тебе до конца зимы здесь пожить, в интернате. А я уж одна поеду...

По зимней таежной дороге едет одинокая подвода. Лошадь трусит легкой рысцей, понуро свесив голову. На дровнях сидит в тулупе Мария Ивановна, вожжи отпустила. Они низко провисли и нисколько не тревожат лошадь. Она бежит сама по себе по какому-то необъяснимому велению.

Такими безучастными друг к другу они и появляются на пристанционной усадьбе. Мария Ивановна вроде очнулась, вылезла из дровней, подвела лошадь к воротам и стала распрягать ее; отпустила чересседельник, потом долго развязывала супонь — узел туго затянулся и руки плохо слушались, она часто отогревала их дыханием. Наконец сняла гужи, отбросила оглобли и повела лошадь в хомуте и седелке в конюшню.

Потом вышла, убрала дугу, связала оглобли чересседельником и только после этого пошла домой. В почтовом ящике на двери что-то белело. Мария Ивановна открыла ящик, там были газеты и письмо треугольником. Она прошла в коридор, подложила дров в топящуюся печку, потрогала ее рукой, вошла в лабораторию. Первым делом осмотрела колосающуюся в плошках пшеницу — не померзла ли? Потом разделась, села за стол и вскрыла письмо.

— Милая Маша! — слышим мы голос Макарьева. — Я часто думаю о тебе, о том, как безлюдна наша станция и как трудно вам справиться с такой прорвой дел. И радуюсь я тому, что ты разгадала главный секрет Марковича: вытянула из небытия прекрасную пшеницу — устойчивую, неполегаемую. Для нашей суровой землицы лучшего подарка и не придумаешь. Тяни ее, тяни изо всех сил! И придумай ей подходящее название. Назови ее «твердью». В ней будет и сила небесной благодати, и вера Марковича в бессмертие дела нашего, и стойкость, несгибаемость духа Марии Твердохлебовой. Прости мне высокопарность, но я чую великое будущее за этой пшеницей на наших сибирских полях. Назови ее «твердью» — прошу тебя...

Сильный ветер треплет пшеницу, гонит по ней волны, кладет ее к земле, но она снова и снова выпрямляется...

Грохочет гром, мощный ветер срывает с деревьев листья, обламывает ветки и гонит все это по земле. И бьет пшеницу, кладет ее наземь, крутит, мотает в разные стороны. Но она снова и снова выпрямляется, встает.

И смотрит на эту пшеницу Мария Ивановна Твердохлебова.

Она идет сквозь пшеничное поле, направляется к лесной опушке, к высокому речному берегу.

В отдалении виднеется оставленный «газик». В руках Марии Ивановны полевые цветы.

Грозовая туча вроде бы сваливает за реку, но ветер все еще силен и порывист.

На речном берегу раскинул свои удочки древний дед. Увидав Марию Ивановну, он засуетился, воткнул покрепче свои удильники и пошел ей навстречу.

Они поравнялись на прибрежном откосе, на самой опушке соснового бора.

— Здравствуйте, Мария Ивановна! — Старичок приподнял кепку, а потом уж подал руку.

— Здравствуйте, Никифор Максимович!

— А я уж с утра здесь. Все вас поджидал... Приедет, думаю, сегодня ай нет? Все ж таки у вас у самой праздник: правительственная награда. Поздравляю!

— Спасибо. А я вот взяла да приехала.

— Я чуял, что приедешь... Я уж и рыбки наловил. У меня там, на кукане, судачок плавает. А на веревочке беленькая... За горлышко привязана. Тоже в реке прохлаждается. Так что есть чем помянуть Ивана Николаевича.

— Спасибо за память.

— Так ведь работали вместе с Иваном Николаевичем, как же тут не помянуть? Ай мы некрещены! И тебе подфартило с наградой. Опять притчина...

Мария Ивановна подошла к сосне и положила возле корней ее цветы. Старичок снял кепку, перекрестился... Постояли, помолчали.

Блеснула молния, ударил гром, и с новой силой зашумели сосны, заметалась пшеница.

— Кабы дождь не пошел,— сказал старичок.

— Это ничего,— отозвалась Мария Ивановна.

Она смотрела на мятущееся пшеничное поле и вся ушла в себя.

— Гляди ты, какая пшеница,— говорит старик.— Ее рвет и мечет, в лежку кладет, а она все распрямляется. Говорят — это ваша «твердь». Хорошо вы сработали!

— Я только завершала... А заложил ее он, давным-давно. Все от отца идет...

Вроде бы и то поле и место чем-то похоже на то, но перед нами уже не колосья пшеницы, а белая россыпь ромашек, да синие вкрапины ирисов, да желтые пятна купальниц.

Девушки в длинных платьях и мужчина с бородкой, в той же старомодной соломенной шляпе с низкой тульей, собирают гербарий. Это Твердохлебов Иван Николаевич с дочерьми Ириной и Мусей. Младшая, Муся, совсем еще подросток, в беленькой панамке, в плетеных башмачках, бегаем по лугу.

— Папа, папа! — кричит Муся.— Смотри, кто к нам едет! Дядя Сережа!

От леса прямо по лугу, выметывая выше груди ноги, шел запряженный в дрожки серый, в крупных яблоках орловский рысак. На

дрожках, слегка откинувшись на натянутых ременных вожжах, сидел широколицый, бородатый, медвежьего склада мужчина. Это Смоляков Сергей Иванович, сибирский агроном и предприниматель: он и земледелец, и скотопромышленник, и маслозаводчик, и торговец, и прочая и прочая...

Поравнявшись с Твердохлебовым, он рывком, намертво осадил жеребца и молодцевато, пружинисто спрыгнул с дрожек:

— Вот где я разыскал тебя. Здорово, друг народа! Честь Сибири и надежда науки!

— Так уж все сразу! — Улыбаясь, Твердохлебов шел к нему.

— Нет, не все! Еще либерал и демократ! — Он сгреб Твердохлебова и облобызал трижды.

— Ты что ж, так на дрожках и прикатил из Сибири? — посмеивался Твердохлебов.

— Милый! Я к тебе не то что на дрожках — на аппарате прилететь готов. А этого зверя напрокат взял у костромского барышника. Не поеду ж я к тебе на извозчике! Ну как, хорош, мерзавец? — указывал он на рысака. — Хочешь, подарю?

Меж тем Муся уже держала под уздцы этого серого красавца; жеребец ярил ноздри и косил на нее выпуклым, с красноватым окоемом, блестящим глазом.

— Муська, стрекоза! А ну-ка да он сомнет тебя? — ахнул Смоляков.

— А я на узде повисну, дядь Сережа. Я цепкая.

— Ах ты егоза тюменская! А как выросла, как выросла! — Он потрепал ее за волосы и обернулся к старшей сестре: — Здравствуй, Ириш! Значит, гербарий собираем? Отцу помогаешь?

— Нет, я для себя... Я теперь на Голицынских курсах учусь.

— Ишь ты какая самостоятельная!

— А я для папы собираю! — кричит Муся.

— Большего мне теперь не дано, — кивает Твердохлебов на пучок трав. — Вот, на каникулах хоть душу отвожу... А потом опять всякие комиссии, заседания, выступления...

— Да брось ты, к чертовой матери, эту Думу!

— Меня же выбрали... Народ послал. Голосовали! Как же бросишь? Перед людьми неудобно.

— Я слышал — тебя на третий срок выбирают?

— Нет уж, с меня довольно! — резко сказал Твердохлебов. — Откажусь, непременно откажусь.

— И куда же потом?

— Опять в Сибирь, папа? Да? — крикнула Муся.

— Это не так просто, дочь моя, — озабоченно ответил Твердохлебов. — Ну, что ж мы посреди луга стали? О серьезных делах за столом говорят.

Письменный стол в домашнем кабинете Твердохлебова, заваленный газетами, письмами, телеграммами. У стола сидят хозяин и Смоляков. Сквозь растворенную дверь видны другие комнаты; там раздаются голоса, мелькают женские фигуры, кто-то играет на пианино.

Муся сидит тут же в кабинете отца за легким столиком и заполняет листы гербария.

— Ну уж нет... На этот раз я от тебя не отстану. Должен я что-то сказать сибирякам, — говорил Смоляков. — Поставку семян, закладку питомников — все возьмет на себя кооперация... Исходный материал можешь заказывать всюду, в любом месте земного шара — до станем. Любые расходы покроем.

— Но мне понадобится еще и метеорологическая станция.

— Иван Николаевич, лабораторный цех для селекции уже готов. Все остальное построим. Помощников набирай сам сколько хочешь. Оклад тебе положим от кооперации — десять тысяч в год, как начальнику департамента, — смеется Смоляков.

— А вы не боитесь прогореть на моей науке, господа кооператоры?

— Нет, не боимся. У нас все подсчитано... Помнишь, как мы с тобой голландцев побили сибирским маслом? А с чего начинали? С ярославских быков да с вологодской коровы и с одиннадцатую тысячами пудов масла? А как только наладили селекцию, по сто тысяч в год давали приросту! А?

— Ну, пшеницу новую не выведешь за год.

— Да мы и старыми сортами иностранцам нос утираем: А если нашим мужикам дать еще новые сорта, засухоустойчивые, скороспелые, урожайные... Они весь мир завалят... Дело говорю?

— Дело!

— Ну как, едем?

— Трудно мне сейчас сказать тебе что-либо определенное. Видишь, как я занят, даже здесь, в отпуске, — сказал Твердохлебов. — Он взял со стола письмо. — Это вот жалоба от ссыльного Крючкова... Угодил в ссылку за сбор подписей в защиту иваново-вознесенских забастовщиков. Я говорил с министром внутренних дел... Обещал освободить. А это письмо от тюменского попа. Архиерей притесняет — поп на проповеди обличал местные власти в растратах пособий переселенцам. Надо в синод писать.

— И хочется тебе с этой политикой возиться? Ты же ученый, друг мой. Учти, наука ждать не может, — сказал Смоляков.

— Это верно, наука не ждет. И мириться с простым нельзя. А с такой мерзостью мириться можно? Вот, полюбуйте. — Твердохлебов достал из папки телеграмму и подал Смолякову. — Телеграмма из Верного. Мать телеграфирует... Сына ее, студента Филимонова, предадут во Владимире военно-окружному суду. Будто покушался на урядника. Но это ложь!.. Я проверил. Его просто оговорили, провокаторы. А сам Филимонов находился в то время в Москве. И тем не менее...

— Не понимаю, какой смысл в этом?

— Простой... У Филимонова голова на плечах и горячее сердце. Молчать не хочет. Проповедует. Вот это и опасно. В подлые времена мы живем: честных людей увольняют, порядочных обыскивают... Так что же мы должны? Сидеть и ждать — когда до нас дойдет очередь? Нет! — Твердохлебов встал и нервно прошелся по кабинету. — Нет и нет! Я завтра же еду во Владимир и сам буду слушать это дело.

Муся, отложив гербарий, следит за отцом.

— Папа, возьми меня с собой!

Твердохлебов остановился, поглядел на нее:

— Ну что ж, поедем. Тебе это полезно будет.

Военно-окружной суд. Небольшое помещение забито военными, полицией. Штатской публики мало; в гуще самой мы видим Твердохлебова с дочерью.

За судейским столом сидят пять офицеров, в центре — председатель суда, генерал-майор. Чуть сбоку в загороде стоит бритый смуглый молодой человек. Это подсудимый Филимонов. Возле него два солдата с саблями наголо. Филимонов говорит, обращаясь к судьям:

— Вам хорошо известно, что ни в каком покушении я не участвовал, так как находился в то время в Москве, а не в Шуе. Вы не смогли найти ни одного свидетеля, кроме полицейского осведомителя.

Вы боитесь даже присяжных поверенных — вам нужно единогласие в расправе. Публику впускали по пропускам, свою, доверенную. И вот вы сидите одни и разыгрываете комедию суда. Вы боитесь признаться, за что меня судите. А судите вы меня за покушение, но только не на урядника, а на присвоенное вами право — одним вам говорить открыто, а остальным молчать. Но помните — идеи нельзя посадить за тюремную решетку или вздернуть на виселицу. Насилие, брошенное против идей, что ветер для огня: оно может только раздуть это негасимое пламя в огромный пожар. Берегитесь! Вы сами сгорите в этом огне!

Подсудимый сел.

Председатель суда, вставая:

— Суд удаляется для вынесения решения.

Все встает и выходит в фойе.

— Папа, а почему он такой спокойный? Ведь его могут засудить? — спрашивает Муся.

— Он прав, потому и спокоен.

Твердохлебов очень возбужден. К нему подходит молодой вертикальный репортер.

— Господин депутат, что вы думаете об этом процессе?

— Это издевательство над правосудием. Процесс должен быть открытым, с присяжными поверенными, с защитой,— ответил Твердохлебов.

— Что вы полагаете предпринять?

— Подождем решения суда.

Почтовая контора. Твердохлебов, облокотясь на полку, пишет телеграмму на фирменном бланке депутата Думы. В левом верхнем углу типографским шрифтом отпечатано: «Таврический дворец». Он быстрым размашистым почерком пишет: «Срочно. Москва. Генерал-губернатору Гершельману. Владимирским военным судом приговорен смерти бывший студент Филимонов. По прошению матери его решаюсь обратиться к Вам и умолять смягчить приговор ради несчастной матери его. Помогите. Член Г. Думы Твердохлебов».

Газета «Биржевые ведомости» на столе у Столыпина. Красивый, гладко зачесанный, в прекрасном костюме, в очках в тонкой золотой оправе, Столыпин читает заметку.

«В кулуарах. Как мы уже передавали из г. Верного, членом Г. Думы Твердохлебовым получена телеграмма, в которой сообщается об ужасной судебной ошибке, допущенной владимирским военным судом».

В дверь входит в новеньком мундире молодой адъютант:

— Петр Аркадьевич, к вам председатель Думы Хомяков.

— Зови!

Хомяков входит озабоченный, чуть горбясь, пожимает протянутую руку Столыпина и, узрев «Биржевые ведомости» с судебной заметкой, начинает без обиняков:

— Неприятный скандал... Левые депутаты волнуются. Требуют провести расследование.

— А что там с этим подсудимым? Покушался он или нет?

— По-видимому, наговор... Показывал некий Быков, а потом отрекся. Шума испугался,— усмехнулся Хомяков.— Так что следователи не могли даже найти подходящего свидетеля.



- Ослы! А кто этот Филимонов?
- Социал-демократ... Опасный пропагандист.
- Ослы в квадрате.
- Пресса шумит. Что будем делать?
- А что ж тут делать? Прессу надо успокоить. Приготовьте телеграмму об отмене приговора... На имя московского генерал-губернатора.
- Телеграмма уже готова.— Хомяков вынимает из портфеля телеграмму и кладет на стол Столыпину.
- Тот слегка повел бровями:
- Твердохлебов подсунул?
- Его работа.
- Оборотистый этот либерал...— Подписывает телеграмму.— Кстати, в новых списках кандидатов в Думу есть его фамилия?
- Нет. Он наотрез отказался баллотироваться.
- Наконец-то он понял, что его время давно прошло... Впрочем, в Думе он сделал кое-что и полезное.
- Очень энергичен, очень.
- Если бы не его комиссия, нам бы ни за что не утвердили в бюджете двести тысяч рублей на сельскохозяйственную науку... Подумать только — с одиннадцати тысяч поднять до двухсот! Клянусь тебе, Хомяков, без вашей Думы мне бы не утвердили эту сумму.
- Бюджет-то он пробил, да куда сам пойдет после Думы?
- Восстановится в правах губернского агронома.
- Не думаю... Ермолов не простит ему этого трехлетнего либерализма.
- Да, эти его либеральные заскоки... Хороший ученый и большую пользу мог бы принести отечеству и науке.

Петербургская квартира Твердохлебова. Иван Николаевич собирает вещи, укладывает чемоданы. Входит квартирная хозяйка, аккуратно одетая, уютная старушка, подает пачку писем и газет:

- Почта вам, Иван Николаевич.
- Спасибо, Надежда Яковлевна.

Старушка уходит. Твердохлебов быстро перебирает конверты, останавливается на одном — обратный адрес не заполнен, только помечено: г. Шуя. Он вскрывает конверт, читает письмо:

«Народному представителю от рабочего г. Шуи.  
Иван Николаевич!

Не нахожу слов для выражения Вам безграничной благодарности за ходатайство за Михаила Владимировича Филимонова.

Мы, рабочие г. Шуи, были ошеломлены ужасным приговором над нашим дорогим учителем, но и не могли ничего сделать, так как лишены возможности говорить. Сердце обливается кровью, смотря на наше правосудие. И это делается в XX веке, при наличии Государственной Думы. Нас удивляет молчание владимирских депутатов в таких вопиющих несправедливостях...»

В дверь постучали.

— Войдите.

Входит Надежда Яковлевна.

— Я совсем забыла передать: заходил к вам высокий бородатый господин, говорит — из Сибири. Сказал, что будет к вечеру...

— Спасибо, Надежда Яковлевна. Я сейчас уйду... Если он придет, пусть непременно подождет меня.

— А вдруг ему ждать придется долго? Что сказать?

— Не придется... Скажите, что у министра земледелия. Тот не задержит.

Министр земледелия Ермолов — внушительных размеров мужчина с холмою окладистой бородой. Твердохлебов сидит перед ним такой неприметный, обыденный, и только глаза настойчиво, требовательно смотрят на министра. Хозяин кабинета говорит басом, добродушно посмеиваясь, а глаза отводит, прячет.

— Мы ценим ваш талант, богатый опыт, но сфера общественно-государственного служения, к сожалению, не безгранична. И что-либо обещать вам в данный момент, к сожалению, не могу.

— А что же тут обещать? Вы меня восстанавливаете в правах губернского агронома. Я имею на то право — три года отработал в Думе.

— Да, но вы были уволены раньше вашего избрания. Если не ошибаюсь, в девятьсот шестом году? За революционную деятельность?

— Я никогда не был революционером. Или съезд сибирских крестьян, который провел я, вы считаете революционным актом?

— Если съезд проходит по указанию властей, то нет. И потом, политическая окраска вашей деятельности в Думе имела определенное направление.

— Я не принадлежал ни к одной партии.

— И тем не менее...

— Вы не хотите восстанавливать меня в правах?

— Ну зачем же так категорично? Просто у нас нет подходящей губернии, где бы вы смогли развернуть во всю силу ваши организаторские дарования.

— Но одну из тех опытных станций, которые будут заложены на деньги, что я выхлопотал, вы сможете доверить мне?

— О тех станциях говорить еще рано.

— Хорошо! Тогда назначьте меня на Саратовскую опытную станцию помощником директора по селекции.

— Ну что вы, Иван Николаевич, — широко улыбнулся министр. — Такого крупного ученого — и помощником директора? Я сам бы рад был работать у вас в помощниках. Если вы читали мои статьи, то, может, изволили заметить — я пользуюсь вашими выводами. Весьма признателен...

— Не стоит благодарности. — Твердохлебов встал. — Честь имею!

Кострома. Тот же самый дом Твердохлебовых на Нижней Девре. Но теперь мы видим просторную гостиную с растворенными дверями на террасу. Обстановка довольно скромная. В гостиной сидят тетя Феня, Ирина и Муся. Сестры тихонечко наигрывают в четыре руки на пианино. Тетя Феня слушает плохо, все поглядывает на террасу. Хозяйка Анна Михайловна с палитрой и кистями стоит у мольберта, набрасывает портрет худого длиннолицего молодого человека, сидящего в шезлонге. Тот курит и говорит, лениво покачивая ногой:

— Черт-те что! Не глаза получаются, а провалы, колодцы! Я пока еще живой.

— А я виновата? У тебя взгляда нет, Филипп, мысли!.. Или ты спишь?

— Я забываю мир — и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем... — бормочет он.

Тетя Феня заметно нервничает, наконец встает, подходит к Анне Михайловне.

— Аня! Ты можешь оторваться наконец? Я сегодня уезжаю.

— Попробуем теперь краплак... — говорит свое Анна Михайловна и кладет кистью мазок. — Вот так! — Не отрываясь от работы: —

Феня, голубчик. Ведь ты знаешь мою привычку: когда я пишу, чувства мои трезвеют, я могу принять самое нужное решение. Говори! Здесь все свои.

— Но боже мой! Есть же у человека какие-то интимные вопросы.

— И просыпается поэзия во мне...— бормочет Филипп, но, услышав последнюю фразу, словно очнулся: — А? — Смотрит на тетю Феню, та на него.— Это вы мне? Пардон, мадам, пардон.

Он встает, перешагивает через поручень балюстрады и уходит в сад.

— Ну вот, всегда у тебя так! — с досадой говорит Анна Михайловна.— Что тебе понадобится — сейчас же вынь да положи.

— Не столько мне понадобилось, сколько Ивану Николаевичу, детям и тебе, наконец.

Сестры прекращают игру, прислушиваются.

— Пойми же, Иван Николаевич ушел из Думы, сейчас он вроде безработного... Рвется в Сибирь, и под любым предлогом. Все решится на днях. Надо готовиться к переезду,— говорит тетя Феня.

— Но я теперь не могу ехать в Сибирь... Теперь...

— Почему?

— Ну нельзя же бросать дом... Ивану Николаевичу легко — он шестой год как студент, по квартирам живет. И в Сибирь налегке поедет.

— Зачем же налегке? Езжайте все вместе. Я помогу вам.

— А куда девать Иришу? Здесь ей полдня езды — и дома... А Филиппа? Он же больной! Его в Карлсбад везти надо!

— В Карлсбад? Но это больших денег стоит!

— Деньги Карташов даст. Филипп — талант, пойми ты. Ему нельзя без ухода, без надзора — он погибнет!

— Но Иван Николаевич?

— Что Иван Николаевич? Ивану Николаевичу за пятьдесят перевалило... Он человек выносливый, прекрасно приспосабливается к среде... И если хочешь знать — мы для него обуза. По крайней мере на первый период.

— Тетя Феня, я еду с тобой,— говорит Муся.

— Ну и пожалуйста! — вспыхнула мать.— И ты тоже собирайся. Ну, чего смотришь? — накинулась она на старшую дочь.— Уезжайте все! Все!

— Мама, не шуми,— холодно произносит Ирина.— Ты же знаешь — я поеду. Но только на практику. Подождем отца, а там рассудим.

Широкая сибирская равнина, по степной высокой траве на лошади скачет девушка. Она сидит без седла, по-мальчишечьи цепко обхватив голяшками бока лошади. Вот она подъезжает к небольшой, но глубокой прозрачной речке и с ходу — в воду. Поначалу лошадь лениво цедит воду сквозь губы, потом идет все дальше и дальше на быстрину. И вот уже плывет, вытянув голову и прядая ушами.

Муся стоит на спине, держась одной рукой за повод.

Когда лошадь, уже по колена в воде, выходила на другой берег, откуда-то из-за кустов рванулись к ней с лаем две рослые лохматые собаки. Лошадь шарахнулась в сторону, а Муся, все еще стоявшая на ее спине, упала в воду.

— Долой, долой, говорю! Фьють-тю! — кричал на собак, подбегая к девушке, парень лет восемнадцати.

Собаки, замахав хвостами, смущенно отошли, лошадь остано-

лась на берегу и стала щипать траву, а девушка, сердитая и мокрая, чуть не плача кричала на парня:

— Распустили тут целую псарню!.. Бросаются как бешеные! Если не умеете воспитывать собак, так держите их на цепи.

— Это не мои собаки. Пастушьи.

— А вы кто такой?

— Здравствуйте! Я же к отцу вашему приехал с группой практикантов из Курганской лесной школы.

— А почему вы здесь, а не в питомниках? — строго спросила Муся.

— Ого! Да ты прямо как управляющий допрашиваешь.

— Во-первых, не ты, а вы...

— Ишь ты как строго! А вы сами почему не в питомнике, товарищ управляющий?

— А я пригнала лошадь попоить да выкупать... Мне дядя Федот доверяет.

— А нам Иван Николаевич доверил почвы изучать в пойме... И грунтовые воды.

— Тогда другое дело...

— И вы разрешаете? — усмехается парень.

— Не смейтесь, пожалуйста. Из-за ваших паршивых собак я все платье намочила. Как я теперь домой покажусь?

— А мы его высушим. Я для вас вот здесь костер разложу. И пока вы будете обсыхать, мы уху сварим. Так что пообедаете с нами.

— Вы рыбы наловили?

— Нет, только еще собираюсь.

— А откуда вы знаете, что она сразу так и полезет к вам в сеть?

— Нет у меня сетей.

— И вы хотите удочкой так вот с ходу поймать на уху?

— И удочки нет у меня.

— Чем же вы будете ловить, рубахой?

— Острогой...— Он подошел к тальниковому кусту и достал оттуда трезубец, насаженный на длинный тонкий шест.

— Этой штукой ночью бьют с подсветом,— сказала Муся.

— А я и днем умею.

— Как это?

— А вот так, смотри...

Он скрылся за кустом. Через минуту, стоя в маленькой долбленой лодке, отталкиваясь прямо острогой, он вышел на стремнину и замер в напряженном внимании. Лодка тихо скользит по воде, парень стоит замерев, глаза устремлены в воду, в согнутой руке острога, как гарпун. Вдруг бросок, промелькнувшая в воздухе острога — и вот уже бьется на поверхности реки, поблескивая белым брюхом, пронзенная острогой нельма. Парень берет со дна лодки весло, подгребает и снимает нельму.

— Видала? — показывает он Мусе.

— Здорово! — восхищенно произносит она.— Как вас зовут?

— Меня? Василий.

— А меня Муся.

— Слышал.

Костер на берегу реки. Двое молодых парней и Муся едят уху. Муся уже успела обсушиться.

— Кто же вас выучил так бросать острогу? — спрашивает Муся.

— Дядя Аржакон,— отвечает Василий.

— Кто, кто? В жизни не слыхала такого имени.

— А между прочим, про него сам Пушкин написал,— сказал Василий.

— Где это? Не помню.

— Ну как же! «И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус...» Так вот тот самый дикий тунгус и есть мой дядя. Правда, он теперь уже не дикий, а совсем прирученный. Домашним стал.

— А почему вы не похожи на тунгуса?

— Почему нет? Немножко есть такое дело.— Он приставил пальцы к вискам и растянул глаза.

— Ой, и в самом деле! — засмеялась Муся.— Как интересно!

— Чего? Тунгусом быть?

— Нет, иметь такого дядю. А вы учитесь или уже окончили?

— Оканчиваю лесную школу... Потом поступлю в Петровскую академию...

— А я поступлю на высшие Голицынские курсы при этой академии. Там сейчас моя сестра учится.

— Слышал. Серьезная барышня...

— Ей официально засчитывают практику у папы. А мне нет.

— Где же ты учишься?

— В коммерческом, в Тюмени. Мне уж немного осталось.

— Сколько?

— Пять лет.

— Пустячки... — говорит Василий.

Верхом на лошади Муся подъезжает к селекционной станции. Вдали виден двухэтажный, обшитый тесом лабораторный корпус, жилые дома, конюшни... А здесь, на переднем плане, огромные, на много десятин питомники, и пшеницы, и ржи, и овсы, и кукуруза, и картофель, и чего только нет здесь; все разбито аккуратными рядками, всюду таблички с надписями и все по делянкам. И люди, кропотливо обрабатывающие эти делянки,— все больше молодежь.

Ирина обрабатывает колосья, увидев подъезжающую Мусю, распрямляется:

— Ты где это носишься?

— Меня дядя Федот посылал лошадь искупать.

— За это время и слона можно было вымыть. А кто делянку за тебя станет обрабатывать? Дядя Федот? Или колоски ждать тебя станут?

— Не беспокойся, от тебя не отстану...

Муся шевельнула коня, и он перешел на рысь.

Возле конюшни, неподалеку, стоял и ждал ее конюх Федот, чернобородый, в длинной синей рубахе, перехваченной тоненьким ремешком.

— Иль случилось что? — с тревогой спросил он подъезжавшую Мусю.

— Да ничего особенного,— отвечала Муся.— Просто я упала в воду, ну, и обсыхала.

— Не ушиблась? — суетился Федот, привязывая коня.

— Пустяки...

— Сестрица на вас гневается. Самая, говорит, кастрация колосков подошла, а она прокладывается.

— Ее просто завидки берут, что я быстрее работаю.

— А что же это за кастрация такая? Ну, к примеру, жеребца облегчить или там боровка — это я понимаю... Промежности, значит, вычистить. Лишние штуки, извиняюсь, удалить. А здесь колоски. И что у них могут быть за штуки? Я, конечно, извиняюсь... Мудрено...

— Все очень просто — надо пыльники удалить, ну, тычинки, а пестик оставить...

— Гм... значит, и у пшеницы есть тычинки, да ишшо и пестик? Скажи на милость, всюю жизнь прожил, а вот ни тычинок, ни этого самого... у пшеницы не видал.

— Да поглядите, я вам покажу. И научу, как делать кастрацию.

Муся и Федот подходят к пшеничной делянке. Муся берет колосок и пинцетом начинает отводить ость.

— Вот видите?... С еле заметной пыльцой — это тычинки. Их удалять надо... Вот так. А этот стволик с рыльцем — пестик. Его оставляют. Поняли?

— Ну-к дайте я попробую.

Федот робко взял пинцет и неуклюже зажал его толстыми пальцами.

— Да вы не так... Надо чтобы он ходил... Вот так...

Федот опять сжал пинцет, на этот раз с каким-то остервенением стал пырять в колосок, аж вспотел...

— Да вы же не захватываете пыльники, — говорит Муся.

— Нет, милая, знать, мне не дано, — сказал Федот. — Вот жеребца я смогу завалить или борова. А здесь не дано.

— Вот смотрите, как я...

— Нет, нет... Да мне и некогда. К Ивану Николаевичу надо. Лошадь просил запретить.

Федот уходит.

Он входит в лабораторный корпус, подходит к дверям кабинета Твердохлебова и казанком указательного пальца осторожно стучит.

— Войдите, — раздался голос Твердохлебова.

Иван Николаевич сидит за столом. Перед ним в пакетиках и вроссыпь образцы семян... На стенах засушенные снопы пшеницы, овса, кукурузы. Стоит микроскоп. Иван Николаевич что-то пишет.

— Я извиняюсь, конечно... Но вы просили лошадь заложить. Дак запрягать?

— Да, да...

Федот хочет уйти.

— Федот Ермолаевич, — останавливает его Твердохлебов. — Присядьте на минуту, — указывает он на жесткое кресло.

Федот сел на самый краешек с такой предосторожностью, словно это было не кресло, а горячая сковорода.

— Я все хотел спросить у вас, Федот Ермолаевич: случилось в вашей практике, что пшеница не успевала вызревать?

— Всякое было, Иван Николаевич... Мотаешь, мотаешь, соплей на кулек, а она возьмет и захолонет. Я более тридцати лет пашу и сею.

— А не обратили внимания, какие сорта не вызревали?

— Больше всего «полтавка»... и «саратовскую» осень прихватывала. Ломаешь-ломаешь, да так и останешься с пустым кошельком.

— А ваша «курганская» как себя ведет?

— «Красноколоска», что ли? Это убористая.

— Как вы сказали?

— Приспосабливается то есть... Погоду чуёт.

— Прекрасно! Вот именно чуёт.

В дверь с грохотом влетел Смоляков.

— Извини за вторжение... Но собираюсь в Иркутск, завернул попутно. Авось нужен.

— Нужен, голубчик, нужен. Я как раз к тебе собирался. Вот у него и лошади готовы, — кивает он на Федота.

— Дак я тады отпущу лошадей-то, — говорит Федот, вставая.

— Да, пожалуйста.

Федот уходит.

— Где ты такого лешака выкопал?

— Здешний хлебороб. Светлая голова и какой глаз! Любые сорта запоминает с ходу и потом из тысячи зерен выбирает нужные.

— Не перехватил?

— Нисколько! Я постоянно говорю: знания у народа от векового общения с природой. А наука только дисциплинирует ум. Да!

— Ну, сел на своего конька!.. Друг народа... Ты лучше похвастайся своими делами.

— Похвастаться пока нечем... Но дела идут. Одной пшеницы яровой заложено тысяча триста пятьдесят восемь линий, да пять коллекционных питомников, десять питомников по селекции кормовой свеклы, да картофеля. Да питомники элитных растений по овсу, по озимой пшенице... И двадцать три сорта кукурузы.

— А говоришь, нечем хвастаться?

— Пока могу только сказать, что линии «мильтурум — триста двадцать один» и «цезиум-три» очень перспективны... Да, я зачем к тебе хотел заехать? Ты, кажется, в Иркутск собираешься?

— Еду,— сказал Смоляков.

— У меня к тебе просьба.— Твердохлебов взял со стола конверт и протянул его Смолякову.— Передай от меня лично генерал-губернатору Князеву.

— Что это?

— Просьба... Ну, ходатайство. Считай как угодно.

— Поди, опять насчет политических?

— Опять.

— Ну, горбатого только могила исправит.

— Мне Фатьянов написал из Германии. В Иркутском центре сидит его брат с товарищами. Приговорены к смертной казни. Увидишь Князева — и от моего имени и сам попроси смягчить приговор. Я его знаю по Тобольску. Он человек порядочный, добрый...

— Эх, Иван Николаевич, Иван Николаевич! Мы деловые люди. Страну обстраиваем. А эта шантрапа мокрогубая растащить ее хочет.

— Дорогой мой! У отечества не должно быть сынков и пасынков. Право на полное участие в жизни, право на свободу мысли, дела, творчества, наконец, должны иметь все! И равноправно! И если такого равноправия не дают наши законы, то следует их пересмотреть. И не кому-либо другому, а нам с вами лично... В том, что страдают эти молодые люди в Иркутском центре, есть доля и нашей вины. И при-скорбно слышать, что вам на это, в сущности, наплевать. Очень сожалею...

— Ну, хорошо... Я передам твою просьбу.— Смоляков кладет письмо в карман.

— Премного благодарен.— Твердохлебов слегка наклоняет голову.

По пыльному сибирскому большаку катит пароконная бричка, груженная узлами и саквояжами. Федот сидит в передке, лениво помахивая кнутом, тянет песню: «Ой да ты, кали-и-ину-ушка! Разма-али-и-ну-ушка!» Тетя Феня и Муся сидят в задке на сене. Лошади бегут дружно, весело, потряхивая головой. Над степью кружит одинокий коршун.

— Дядя Федот, за сколько же дней мы доедем до Тюмени?

— Ден за десять, за пятнадцать, бог даст, доберемся,— отвечает Федот.

— За десять или за пятнадцать? — переспрашивает Муся.

— А не все ли равно! Ты моли бога, чтоб колесо не отлетело.

— Да мне же через две недели в школу идти.

— Школа не медведь, в лес не уйдет.

— Ну и опаздывать нам негоже,— сказала тетя Феня.  
 — Нагоним, Фекла Ивановна. Лошади, они дорожку знают.  
 — А сколько нам еще осталось верст? — спрашивает опять Муся.  
 — Кто его знает! Наши версты мерил черт да Тарас, но у них цепь оборвалась... Но-о, залетные! Шевелись, что лича!

Он дернул вожжами, и кони прибавили ходу.

— Я так себе кумекаю,— рассуждает Федот,— ежели ты в дороге, то выбирай день по силам. Об конце не думай. Потому как думы об конце зарасть вызывают.

— Это какая такая зарасть? — спрашивает Муся.

— Чаво?

— Ну, азарт,— отвечает за Федота тетя Феня.

— Вроде,— соглашается Федот.— А зарасть в любом деле помеха, потому как ты думаешь не о том, как бы лучше сделать да силы сохранить, а о том, как скорее...

— Так ведь дорога для того и дана, чтобы ее скорее проехать,— сказала тетя Феня.

— Для тебя да. Но каково лошадям? А мне? Бричке? А?!

— Верно, дядя Федот! — Муся даже в ладоши хлопнула.— Так и в нашем деле... Смоляков зерно гонит, а у другого хрип гнется.

— Пожалуй, да,— усмехнулась тетя Феня.

— Ай да дядя Федот! — сказала Муся.— Мудрец!

— Ты не в ладоши хлопай, а на ус мотай,— снисходительно заметил Федот.— Кончишь свои важные учения, начнешь работу гнать — помни не только о деле, но и о тех, кто тянет твою работу... Н-но! Милые! Н-но, помаленьку!.. Ой, да ты не сто-о-ой, не стой над га-а-аро-о-ой крутой.

Навстречу им по дороге идет странная колонна: арестанты не арестанты, и не солдаты, одеты пестро — кто в пиджаках, кто в поддевках, а кто и просто в полотняных и холщовых рубашках. Впереди идут подводы, груженные заплечными мешками. Идут нестройно, не то колонна, не то толпа — не поймешь. Поравнявшись с ними, Федот спрашивает головного:

— Куда путь держите?

Головной, насупленный военный в погонах, молча прошел мимо.

— На работу? Али, может, по пожару собрались? — спрашивает Федот.

Ему ответили из колонны нехотя:

— Мобилизация.

— Какая ишшо мобилизация? — спросил Федот.

— Тетеря! Ай не слышали, что война началась?

— Германец поднялся.

— Вот те раз... Приехали! — сказал Федот.

Муся, в сером платье с кружевным воротником и такой же вязки кружевными обшлагами, читает письмо:

«Дорогая казачка!

Пишет вам тот самый дикий тунгус, который вилкой рыбу из реки доставал. Вы, наверное, уже приступили к своему пятилетнему курсу обучения. Не сомневаюсь, что вы его одолеете в пять прыжков. А вот моя академия скрылась в синем тумане. Я ухожу на войну — мобилизован. И вообще все помощники Ивана Николаевича, которые брюки носят, за исключением Федота, идут на войну бить германца. И даже сестрица ваша, чего мы не ожидали, добровольцем пошла на курсы сестер милосердия...»

— Тетя Феня! — кричит Муся.— Со скольких лет принимают на курсы сестер милосердия?



Тетя Феня появляется в дверях Мусиной комнаты в строгом костюме.

— Должно быть, с восемнадцати. А в чем дело?

— Ирина в добровольцы записалась...

— Правильно сделала.

— Литовцев в классе сказал, что воевать будут за интересы капиталистов.

— Оно, конечно... Хотя отечество состоит не из одних капиталистов.

Горит настольная лампа. Муся читает учебник, а на столе перед ней стоит фотокарточка Ирины — она в белой косынке с красным крестиком. За окном метутся снежинки, и белая мгла постепенно заволакивает весь экран. И видим мы бесконечные снежные просторы и холмы, холмы — не то борозды, покрытые снегом, не то могилы...

А за столом у окна все так же сидит Муся, читает учебник. Но теперь на ней накинута шубейка. Переворачивается страница — и вот к знакомой нам фотокарточке добавилась другая — Василий в папаше, с медалью на груди.

Стук в дверь. Муся, словно очнувшись, встает, кутаясь в шубу, подходит к дверям.

— Телеграмма! — Почтальон подает телеграмму.

— Откуда?

— Из Кургана. — Почтальон уходит.

Муся читает телеграмму: «На станции тиф». И больше ни слова.

— Тетя Феня! — кричит Муся.

— Что случилось? — спрашивает тетя Феня, выростая на пороге.

— У папы беда! Вот... — Она протягивает телеграмму.

— Странная телеграмма, — сказала тетя Феня, прочтя ее. — Впрочем, Иван Николаевич ни слова не скажет. Это кто-то из рабочих.

— А почему Смоляков молчит? — спросила Муся.

— Он в Петрограде.

— Тетя Феня, я туда еду. Немедленно...

— В Кургане сейчас весна, распутица...

— Но я должна... Обязана!

— Хорошо, поезжай! Если застрянешь, я попытаюсь туда вырваться.

Опытная станция. Весна. По грязной, оплывшей конским навозом дороге тащатся дровни. Лошадь идет еле-еле... Правит вожжами баба в нагольном полушубке. В дровнях сидит, закутанная в тяжелую клетчатую шаль, Муся. Вот и пристанционная усадьба, конюшня, дом... Но никто не вышел навстречу подводе. Даже Федот не вышел.

Муся встает с дровней и, оставив чемадан, бежит на крыльцо.

В просторной комнате на железных койках двое больных: молодая женщина — рабочая-селекционер — и конюх Федот. Возле койки Федота сидит на табуретке в ватнике Иван Николаевич и пытается кормить с ложки больного.

— Иван Николаевич, не идет.. В горле заслонка.

— А ты проглотил ее... Глотни, глотни. Она и откроется.

Скрипнула дверь.

Иван Николаевич обернулся, да так и застыл с ложкой бульона — на пороге стояла Муся.

— Папа!

— Тебе нельзя сюда!

— Папа! — крикнула она и с плачем кинулась ему на шею.

— Успокойся, дочка! Успокойся!.. Напрасно ты приехала сюда... Это ж опасно.

— Нет, нет! Я не уеду от тебя,— плакала Муся.

— Успокойся, успокойся... Кто тебя вызвал?

— Телеграмма была от вас.

— Кто давал? Федот, не твой грех?

Федот с минуту тяжело дышал.

— Виноват, Иван Николаевич. Внучку посылал. Жалко мне вас... Вы уж три недели на ногах.

— А это тебя не касается! — сердито сказал Твердохлебов. — Твое дело принимать лекарство и еду...

— Муся,— слабо сказал Федот,— заберите вы его отсюда, Христа ради. Помрем мы все... Двое уже преставились... Ох-хо-хо... — Федот закрыл глаза.

— Не говори глупостей! А ты иди отсюда, иди... Расположишься в кабинете,— говорит Иван Николаевич.

Кабинет Ивана Николаевича. Но теперь в нем стоят две койки: на одной лежит сам хозяин, на другой Муся. Чуть брезжит утро. Иван Николаевич, откинув одеяло, вынимает градусник, смотрит на него... Мы видим температурную отметку — тридцать девять с половиной. Иван Николаевич натягивает халат, надевает валенки и садится к столу, что-то пишет.

Муся, проснувшись:

— Папа, ты почему не спишь?

— Я уж отдохнул... Спи, спи...

Муся вглядывается в его лицо и вдруг с тревогой:

— Пап, да ты весь красный!

— Это я так... Простудился малость.

— Папа, да у тебя сыпь! — Муся кинулась к нему с постели.

— Не подходи ко мне, слышишь?

— Я сейчас за доктором,— засуетилась она.

— Нету здесь доктора... А до Кургана тебе не добраться...

— Но надо же что-то делать!..

— Я уже послал за фельдшером. И лекарство нужное принял. На вот, выпей! Может, предохранит! — Иван Николаевич дал ей таблетку.

Муся выпила.

— Не давай телеграммы ни матери, ни Ирине. Слышишь? Все обойдется.

Иван Николаевич кутается, заметно, как бьет его озноб, дрожит рука.

— Нет, не могу писать!

— Да ты ложись, ложись... Папа!

Он и в самом деле идет покорно в постель... Ложится. И, приподняв голову на подушке, говорит:

— Присядь поодаль. Я тебе хочу что-то сказать.

Муся присаживается на стул.

— Я уже написал там,— кивнул он на стол.— Смолякову... И ты передай ему... Если со мной что случится... Весь селекционный материал станции перевези в Омск в сельскохозяйственное училище... И там продолжать начатые работы. Ирина пусть туда переезжает... Если живой останется. А я поехал... Вон видишь, как понеслись? Кони-то, кони. И столбы... Все дым клубится. Земля горит...

— Папа, папа,— плачет Муся.

Слезы текут по ее щекам, и мы сначала видим словно сквозь бегущую водяную пленку по стеклу, как начинает дрожать и смещаться

мир реального видения. И вот уже рыжие кони несутся сквозь экран прямо на нас и через мгновение, кажется, стопчут, сровняют нас с землей. Но что это? И земля сдвинулась, поднялась клубами, словно пар. И тени повсюду мелькают, огромные тени перечеркивают дымный небосвод. А потом все затихает, опадает какими-то черными хлопьями. И мы видим бескрайнюю, унылую, серую пустыню всю в рытвинах да в воронках, как изрытое оспой лицо.

Полную тишину подчеркивает мерный ход часов да тихое потрескивание дров в горячей печке. Мусина комната в Тюмени. Тетя Феня сидит у изголовья кровати, вяжет кружева. На подушке покоится худалое Мусино лицо. Мы ее почти не узнаем — она острижена наголо и так похудела, что похожа на мальчика. Она открывает глаза и долго с недоумением смотрит на тетю Феню.

— Где я, тетя Феня? — спрашивает она тихо.

— У нас, в Тюмени.

— А где папа?

— Ты спи, спи...

— Нет, тетя Феня... Я хочу знать все,— сказала Муся.

Тетя Феня молча глядит на нее, и глаза ее наполняются слезами...

— Где он умер? — спрашивает Муся.

— В Кургане, в крестьянской больнице... Я поехала вслед за тобой... И нашла вас обоих в тифу. Ивана Николаевича взял к себе в палату доктор Успенский, его знакомый... Сам ходил за ним... Но все было напрасно.

Муся смотрит в потолок невидящими глазами. Помолчали.

— Когда вы с ним познакомились, тетя Феня?

— Двадцать пять лет назад... Мы с твоей матушкой работали в красноуфимской женской прогимназии. Я вела немецкий язык, она — рисование... И обе были влюблены в земского статистика Ивана Николаевича. Он и смолоду был неброской красоты, зато уж начнет говорить — божий огонь! На его лекции как в театр ходили...

— Тетя Феня, извини за нескромный вопрос: а ты влюблялась?

— Да... Однажды в жизни...

— А почему же замуж не вышла? — с наивной простотой спрашивает Муся.

— Потому что не хотела изменять... ему...— Тетя Феня уткнулась в свою вязку и быстро вышла.

— Вот оно что! — Муся встала с постели и, пошатываясь, подошла к столу.— Вот оно что! И мне больше никого не надо... С тобой останусь...— Она взяла со стола карточку Василия, выдвинула боковой ящик, достала оттуда тоненькую пачку писем, подошла к печке и бросила все это в огонь...

Карточка и письма вспыхнули и какое-то мгновение добавили в комнате яркость к печному отсвету. Муся глядела, как они догорели, и прошептала:

— Клянусь тебе, папа, я сделаю все, что ты не успел!

И опять перед нами пшеничное поле с соснами, вроде бы то самое, где похоронен Иван Николаевич. Но идет по нему молодая Муся в пестром легком платье.

И тихо в поле — ни ветерка, ни дуновения; день клонится к закату. Муся уходит все дальше и дальше, оглаживая руками колоски. Так она и растворилась среди высоких созревающих хлебов.



---

---

НИК. УШАКОВ

★

## НОВЫЕ СТИХИ

\* \* \*

Как играет оркестр на параде,  
как рыдает оркестр на войне.  
Я прошу тебя, бога ради,  
улыбнись

на прощание

мне.

Улыбнись мне, моя дорогая,  
опираясь на быстрый конек.  
Незабвенные «Волны Дуная»  
на искусственный

льются

каток.

Вы — Балканы, Балканы, Балканы.  
Снег колючий и лед — как стекло.  
В трудных битвах за братские страны  
сколько

воинов наших

легло.

На бетонной танцуя площадке,  
различаешь ли вальс тех времен?  
Под Мукденом лежат в беспорядке  
земляки

без имен

и знамен.

Вы — маньчжурские тихие сопки..  
Там, на дальнем пределе земли,  
Неизвестной топографам тропкой  
нас

японцы

тогда обошли.

Танцы стали теперь угловаты.  
Плавный вальс и манит и зовет.  
«Сон осенний» — все снятся солдаты,  
под Сморгонью

пятнадцатый

год<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Жестокие сентябрьские бои, которыми закончилось германское наступление 1915 года.

Вальсы, вальсы — мое вы мученье,  
 бесконечно я слушать готов  
 задушевные сочиненья  
 капельмейстеров  
 русских  
 полков.

\* \* \*

Женщина бежит,  
 бежит по пирсу,  
 машет правой,  
 левою рукой.  
 Тот, кто с нею только что простился,  
 отвечает с палубы крутой.  
 До свиданья!  
 Будет ли свиданье?  
 Только пена, пена за рулем.  
 Увеличивается  
 расстояние  
 между женщиной  
 и кораблем.  
 Может быть,  
 от бега сердце бьется,  
 может быть,  
 предчувствие беды..  
 Слишком мало пирса остается,  
 слишком много впереди воды.

\* \* \*

Педанты и резонеры —  
 сердитые старики  
 вмешиваются  
 в разговоры  
 учтивости вопреки.

Давай им пространную справку,  
 подробный ответ на запрос.  
 Муштруют  
 работниц  
 прилавка,  
 министров  
 доводят  
 до слез.

Свои принимают меры  
 и входят такими в стихи —  
 старинные кавалеры,  
 сердитые старики.

Должно быть, такие же в Польше,  
такие, наверно, и в США,  
я сам, вероятно, такой же,  
но пой же, прошу тебя, пой же  
о собственных внуках, душа!

А внуки — одно огорченье:  
разбойники, озорники...  
И просят у внуков прощенья  
сердитые старики.



---

---

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

## САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА \*

Роман

Игроки

**Т**ретьи сутки в большом зале особняка известного табачника Коли Зархиди шла большая игра.

Играли в нарды. В эту ночь трижды менялись свечи в подсвечниках, и постепенно играющие отпадали, переходили в более укромные уголки, где, попивая вино, перекидывались в карты на небольшие ставки. Некоторые толпились у низенького столика посреди зала, как бы составляя кордебалет при двух основных солистах — хозяине дома и эндурском скотопромышленнике.

Дядя Сандро знал Колю Зархиди, потому что Коля покупал табак у его отца и, кроме того, сам держал несколько плантапий в селе Чегем, как и в некоторых других селах. Летом в доме дяди Сандро нередко гостили родственники Коли Зархиди, особенно те, кого донимала всеильная в те времена колхидская лихорадка. Бывал там и Коля.

Дядя Сандро, приезжая в город, обязательно захаживал к своему высокому кунаку, ценившему в нем легкость на ногу, когда дело касалось опасных приключений, и твердость в ногах при питье.

Коля Зархиди, несмотря на свой солидный авторитет крупного табачника, был известным в Абхазии кутилой и игроком. Вернее сказать, Коля Зархиди, несмотря на то, что был известным кутилой и игроком, все же не терял наследственного чутья торговца и знатока табаков.

Игра эта готовилась давно. Среди собравшихся было несколько тайных союзников скотопромышленника и еще больше не слишком тайных друзей Коли. Среди них на первом месте был дядя Сандро, заранее предупрежденный и приглашенный Колей. В таких играх мало ли что может быть, надо быть готовым ко всему.

Коля Зархиди рассчитывал сорвать с этой игры большой куш. Но провидению было угодно другое. Третьи сутки с небольшими перерывами маленький бледный грек сидел против разлапного, широкоплечего скотопромышленника с зоркими под лохмами бровей глазами умного кабана.

Удачливый Коля на этот раз проигрывал. Если ему удавалось взять «оин», скотопромышленник отвечал «марсом», то есть двойным выигрышем. Скотопромышленник играл смело и раскидисто, открывался и давал бить свои фишки. Пленные фишки неожиданно взры-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

вали оборону грека и сами в конце концов пленяли и растаскивали его камни.

Четырежды грек менял кости, но ничего не помогало, они ложились так, как хотел скотопромышленник. Он был в ударе и каждый раз из дюжины возможных комбинаций почти безошибочно выбирал наиболее надежную для продолжения партии. Так, бывало, в стаде нежноглазых телят он угадывал и метил самого мощного в будущем, самого крутолобого производителя.

Кроме того, ему везло, как везет всем скотопромышленникам в мире. А ничего так не обостряет способности, не вдохновляет, как везение, и ничто так не способствует везению, как вдохновенная игра.

За эти трое суток между партнерами произошло несколько неприятных стычек в связи с оценкой некоторых плантаций, но все обошлось благополучно, потому что в качестве третейского судьи в эту последнюю ночь был приглашен персидский коммерсант Алихан как представитель солидной нейтральной нации.

Алихан держал в городе кофейню-кондитерскую под названием «Кейф», где продавались восточные сладости собственного изготовления, горячительные и прохладительные напитки и, конечно, кофе по-турецки.

После того как все плантации были проиграны, Алихану предложили уйти домой, но он почему-то остался и стал помогать юной хозяйке, любовнице табачника, варить кофе и подавать гостям.

Эту сонную толстушку, волоокою красавицу по имени Даша, Коля Зархиди увел, вернее как бы одолжил, у своего приятеля, гарнизонного офицера, такого же кутилы, как и он. Даша ему давно нравилась, может быть, он даже влюбился бы в нее, если б у него было больше времени. Но времени у Коли не было, и потому однажды ночью, когда Коля с друзьями возвращался на фазтонах после одного из загородных кутежей (Даша вместе с офицером ехала с ним в одной экипаже), он спросил у офицера:

- Что скажешь, если Даша поедет со мной?
- Скажу «уф»,— ответил офицер.

Даша была родом из Екатеринодара, куда офицер этот, возвращаясь из отпуска в Россию, заехал погостить к своему товарищу. Почти в шутку, смехом, он тайно увез ее из дому, обещая показать ей Москву и там жениться на ней.

Только в Туапсе, увидев море, Даша догадалась, что они едут не в Москву, а совсем даже в противоположную сторону. Даша встала, чтобы выйти из дилижанса, в котором они теперь катили вдоль моря, но дилижанс шел слишком быстро, к тому же в нем были чужие люди. Даша постеснялась чужих людей, вздохнула и села на место. Через два дня, уже подъезжая к Сухуму, она успокоилась и сказала, что море ей напоминает степь, только по степи можно ходить, а по морю нельзя.

Офицер этот жил с нею уже четыре года, случалось, бивал ее плеткой, чтобы вызвать в ней интерес к жизни, или добираться до ее спящей души, или, по крайней мере, хотя бы отучить ее рассказывать по утрам сны, бесконечные, как степные дороги с однообразными вежами эротических миражей.

Он считал, что терпит Дашу в ожидании удачной женитьбы, когда он сможет вырваться из армии, с Кавказа, из этой малярной дыры и богатого убожества провинциальных кутежей. Но удачная партия здесь никак не подвораживалась, а в Москве не хватало отпускного времени и полезных знакомств. За время гарнизонной службы он достаточно окаялся, чтобы разделять застолье местных табачников, но не настолько, чтобы кто-нибудь из них захотел вступить с ним



в родство и отделить ему часть своих накоплений или, тем более, взять его в компаньоны.

На легких кавказских хлебах Даша расцвела и быстро приспособилась к чуждым формам блаженства. Она принимала участие в кутежах своего возлюбленного, волнуя застольцев юным обилием и сонным цветением.

Но больше всего она любила пить кофе по-турецки, запивая его знаменитым лимонадом братьев Логидзе. Она научилась гадать и, выпив кофе, переворачивала чашку, давая стечь кофейной гуще, потом заглядывала в нее. Показания кофейной гущи она сопоставляла с картинами своих снов, соединяла их, мысленно прочерчивая кривую судьбы.

— Чтой-то будет,— вздохнув, говорила она, закончив гадание.

Показания кофейной гущи, подстрахованные снами, в самом деле сбывались, потому что в жизни всегда что-нибудь случается.

Так и теперь, услышав разговор своего возлюбленного с Колей, Даша поняла, что сбывается то, что должно сбыться, и промолчала. Она только закусила губу от смущения и крепче повязала на шее платок, как бы почувствовав на лице дуновение судьбы. Вместе с тем она обиделась на своего возлюбленного за его ответ-выдох и с покорной грустью поняла, что никогда ему этого не сможет простить.

С этого мгновения ее мерцающее сознание обратилось на Колю. Она вспомнила, что маленький порывистый грек ей нравился всегда, она испытывала к нему почти материнскую нежность. Только от его мельтешенья у нее, бывало, рябило в глазах, бывало, все ей хотелось как-нибудь уgomонить его, да она не знала, как это сделать. И в том, что ей и раньше хотелось уgomонить Колю Зархиди, Даша разгадала давний намек судьбы и окончательно успокоилась. Она стала думать, как запутает его обволакивающей нежностью, запеленает ласками, замурлыкает. «Небось уgomонится»,— думала она, заранее стараясь не пропустить, а главное, не забыть новые сны, которые она увидит на новом месте.

Рано утром, пока Даша старательно спала на новом месте, Коля встал (выпутался-таки) и, как обычно, ушел в кофейню, где за хашем, чачей и турецким кофе опохмелялся и получал свежую коммерческую информацию.

Коля ушел, но многочисленная родня его оставалась дома. И когда мать зашла в его спальню, куда она обычно заходила по утрам, чтобы приборать ее и по запахам определить, где кутил ее сын и сколько он выпил, и вдруг обнаружила в постели сына женщину, старуха завопила. Этого еще не бывало, чтобы ее единственный сын Коля Зархиди приводил русскую женщину в честный греческий дом. На шум сбежалась родня, дюжина кривоногих и патриархальных приживалок.

Даша проснулась и попыталась привстать, спросонья улыбаясь улыбкой гимназистки, вспоминающей свой первый бал. На самом деле она старалась вспомнить сны этой ночи. Выражение лиц и шум, поднятый женщинами, постепенно привели Дашу к враждебной яви. Она сделала еще одну попытку привстать и даже в самом деле села на постели, удивленно оглядывая женщин и вслушиваясь в их враждебное лопотанье.

— А мы с Колей решили...— начала было она и вдруг забылась и, всплеснув одеялом, обдала женщин сладостной чумой наспанного греха.

— Дьяволос! — закричали они и, путаясь в дверях ногами, ринулись из комнаты.

В тот вечер в доме Зархиди собрались на семейный совет все

родственники, среди которых было немало почтенных коммерсантов. Взрослые замужние сестры Коли неистовствовали, как голодные тигрицы. Во время совета они несколько раз рвались в его спальню, где дожидалась своей участи Даша, чтобы избить ее. К счастью, мужья вовремя перехватывали их и оттаскивали назад с добровольно-преувеличенным усердием.

Успокоившись, сестры предложили объявить Колю сумасшедшим и на этом основании взять над ним опеку. Но этот способ уже тогда опытным людям казался устаревшим, поэтому почтенные коммерсанты стали возражать. Они утверждали, что этим немедленно воспользуются другие табачники, чтобы подорвать его коммерческое имя. Матери тоже было обидно объявлять Колю сумасшедшим, и она не поддержала дочерей.

Сам Коля откровенно и нагло смеялся над родней, потому что был уверен в своем главном козыре: он был единственным сыном своего отца и было никак невозможно продолжить славный род Зархиди, не прибегнув к его услугам, и притом добровольным.

В конце концов, по совету старейшего родственника решили подождать, пока Даша надоеет Коле, потому что, как он пояснил, всякая женщина надоедает мужчине, если у него ее не пытаются отобрать.

Поджав губу, мать скорбно согласилась с этим решением, но сестры требовали, чтобы Коля точно сказал, когда она ему надоеет.

— Откуда я знаю! — кричал Коля, весело размахивая руками.

Сестры уходили, бросая гневные взгляды на дверь, за которой ждала своей участи Даша. Мужья их, завидуя Коле, задумчиво медлили на мраморной лестнице.

Решение ждать, пока Даша надоеет Коле, оказалось роковым. Все получилось наоборот: тихая, сонная Даша выжила дюжину воинственных и шумных гречанок.

Как и во всяком ожном доме, в особняке Коли с утра начиналась бешеная деятельность. Многочисленная родня хваталась с утра за веники, шваркала половыми тряпками, грохоча ведрами, бегала за водой. Все эти приживалки под зычным руководством матери Коли скрипели базарными корзинами, стучали столовыми ножами, соскребали нагар с подсвечников и налеты органических окаменений с мидий, перерывали холмы риса, выискивая порченые зерна, переругивались с продавцами фруктов, на своих осликах въезжавших во двор особняка, выбрасывали на окна и балконы и тут же колотили палками ни в чем не повинные матрацы, шушукались с греческими свахами, постоянно ждали неведомых гостей, с ужасом прислушивались к вестям из России, где, по слухам, рабочие не только греческих коммерсантов — собственного царя не пощадили, оставив его с женой и детьми без куска хлеба.

И что же? Посреди этого могучего жизнеутверждения семейственности, очаголюбия ходила сонная волоокая женщина, шлепая по мокрому полу босыми ногами, пытаясь рассказывать свои степные сны, непонятные и ненужные, как валенки кипристу.

И эта женщина завладела сердцем единственного мужчины, должателя славного рода Зархиди?! Где справедливость, где божественный промысел?! Поистине боги отвернулись от Греции и от каждого грека в отдельности.

Однажды за обедом Даша отказалась есть плов с мидиями.

— Зачем? — кротко спросила свекровь поневоле.

— Они противные, они как улитки, — сказала Даша, не подозревая, что улитки еще более национальное блюдо, чем плов с мидиями. Во всяком случае, для черноморских греков.

— Борщ лучше? — все с тем же кротким любопытством спросила Колина мама.

Приживалки, вытаращив глаза и стараясь не шуметь челюстями, глядели на Дашу. Надвигалась гроза, но Даша не понимала.

— Конечно,— сказала Даша,— маменька готовили такой борщ...

— Езжай маменька, деньги дам,— ласково предложила мать Коли.

— Мне нельзя,— вздохнула Даша,— меня папенька убить могут.

— Зато мне можно,— внятно сказала старуха и встала из-за стола.

Смертельно перепуганные приживалки последовали за ней.

В тот же день небольшая траурная процессия во главе с матерью Коли Зархиди вышла из особняка, прошла по городу и скрылась в доме одной из сестер Коли. Правда, в доме оставалась преданная служанка, которой старуха наказала следить и следить за этой русской дьяволом, мечтающей разорить сына на радость конкурирующим табачникам.

Она была уверена, что офицер этот, купленный табачниками, подsunул Дашу ее бесхитростному сыну. Исполдволь, через верных людей она стала выяснять, сколько получил офицер за свою операцию, чтобы не слишком переплатить, когда она попытается откупиться от Даши. Говорят, они встречались, но свидетелей при этом не было, поэтому точно ничего не известно.

А Даша целыми днями в халате с короткими рукавчиками сидела на балконе особняка, поглядывая на улицу, прихлебывая кофе и запивая каждый глоток знаменитым лимонадом братьев Логидзе. Если по улице проходил кто-нибудь из знакомых, Даша окликала его и спрашивала:

— Колю не видел?

— Видел, в кофейне,— обычно отвечал прохожий.

— Гони его домой,— наказывала Даша, прихлебывая кофе.

Если прохожий отвечал, что не видел Колю, Даша не огорчалась.

— Гони, если увидишь,— просила Даша, тут же забывая о человеке, с которым только что говорила.

А тот, бывало, стоял, переминаясь, чего-то ожидая, и наконец, вздохнув бог знает о чем, шел дальше своей потускневшей дорогой.

Так обычно она проводила свои дни, если не возилась во дворе особняка, где она разбила грядку подсолнухов между благородными лаврами, посаженными еще отцом Коли.

Однажды, когда Даша как обычно сидела на балконе, попивая кофе, к особняку верхом на лошади подъехал ее бывший возлюбленный. Он остановил лошадь, поднял голову и сказал:

— Высоко забралась, Дашка?

— Мне не то обидно, что бил,— ответила Даша, продолжая держать в руке чашку с кофе и ложась грудью на перила балкона,— а то обидно, что ты сказал «уф».

— Погуляла, и хватит,— примирительно посоветовал офицер,— вон и мамаша его от тебя сбежала.

— Я теперь Колю люблю,— ответила Даша,— а морских улиток я не могу уважать...

Уже начиная раздражаться, офицер стал уговаривать ее, переходя от любовных воспоминаний к угрозам, и наоборот. Даша тихо слушала его, положив голову на перила и высунув неуклюжую полную руку, скапывая из чашки остатки кофейной гущи, стараясь попасть ими в шевелящееся ухо лошади. Наконец попала. Лошадь, гремя уздечками, замотала головой.

— Значит, не хочешь? — спросил офицер.

Даша, все еще лежа щекой на периле, тихо покачала своей волоокой кудлатой головой.

— Видно, мало я тебя лупцевал, Дашка! — крикнул офицер и, ударив лошадь плетью, галопом помчался в сторону моря.

— Видно, мало, — повторила Даша и заплакала, продолжая лежать щекой на периле, так и забыв убрать руку с запрокинутой чашечкой в ладони.

Так Даша навсегда осталась у беспутного Коли Зархиди. В тот вечер самая старшая из Колиных сестер пыталась ворваться в особняк, чтобы собственноручно рассчитаться с Дашей. К счастью, Коля оказался дома. Он закрыл парадную дверь на цепочку, но та ворвалась в дом через вход со двора. Коля едва успел ее перехватить. В виде жалкой отместки она сломала все подсолнухи на Дашиной грядке, чем сильно огорчила ее. В тот же вечер Коля собственноручно заколотил дверь, ведущую во двор, и велел Даше не открывать парадной двери незнакомым людям, пока не посмотрит на них с балкона.

— Я и так всегда на балконе, — сказала Даша.

Дней через десять после посещения Даши застрелился офицер, ее бывший возлюбленный. Все это время он беспробудно пил, но в то утро, по словам денщика, был спокоен и абсолютно трезв. Сидя за своим столом и глядя в зеркало, он тщательно побрился и велел денщику принести полотенце, вымочив его в горячей воде. Денщик принес полотенце, помог ему сделать горячий компресс, после чего офицер отдал ему полотенце и сказал:

— Спасибо, братец.

Унося полотенце, денщик оглянулся и увидел, что офицер, боком глядя в зеркало, как если бы бритвой выравнивал висск, осторожно поднес к нему пистолет, посмотрел в зеркало и выстрелил. Некоторые говорили по этому поводу, что это тихий случай белой горячки, другие говорили, что тут замешана какая-то женщина. Интересно, что о Даше никто не подумал, потому что все знали о том, как он к ней относился и как он лихо сказал «уф», когда отдавал ее греку.

Денщик, допрошенный с пристрастием, повторил то же самое, только признался, что офицер перед выстрелом не говорил ему «спасибо, братец», а что это он сам придумал для красоты несчастья.

Начальник гарнизона, посылая рапорт по этому случаю, писал, что офицер наложил на себя руки во время очередного приступа тропической лихорадки, тем самым облагородив версию о белой горячке.

Так обстояли дела и жизнь к тому времени, когда маленький стройный грек и грузный эндурец насмерть уселись посреди зала за низеньким игральным столиком.

Игра продолжалась. Бледные лепестки огня на свечах вздрагивали, когда скотопромышленник, тряхнув в ладони, бросал на доску щебечущие кости и бил этой же ладонью по груди, словно давал клятву верности.

Два маленьких кубика, бешено вращаясь, прокатывались по лакированному днищу игровой доски.

— Щаць-бещь!

— Иоган, прошу!

— Ду-се!

— Иоган, прошу, да?!

— Чару-се!

— Ду-як!

— Иоган, прошу как брата!

— Дорт-чар!

— Иоган-раз! Иоган-два! Иоган-три! Иоган-четыре!

Удары передвигаемых фишек, особенно когда ложились на битые, целкали, как бичи надсмотрщиков. В голосе Коли, когда он называл выпавшие кости или выкликал желанные, слышалось вибрирующее отчаяние. Скотопромышленник как выигрывающий играл шумно, фамильярничал с судьбой — с хохотком, с прибаутками выкликал свои кости, что нервировало грека и давало эндурцу дополнительный психологический перевес.

— Щащи-бещи! — говорил он. — Снимай вещи!.. — Ду-бара-дубринский, — сообщал он, — танцует по-лезгински!

Коля Зархиди продолжал проигрывать. Плантации и два табачных склада остались позади. Уже был пущен в ход особняк, и его партию за партией, крупными ломтями, как рождественский пирог, пожирал эндурский скотопромышленник.

Светало. Дядя Сандро нервно прохаживался по залу. Он искал выхода из создавшегося положения и не мог найти. Двое из гостей, переглянувшись, тихо вышли. Дядя Сандро догадывался, что эти люди связаны с другими табачниками, которые кровно заинтересованы первыми узнать окончательный исход игры. Надо было спасать Колю, надо было остановить игру и повернуть ее вспять, но как это сделать, сохранив приличие?

От избытка энергии дядя Сандро заглянул в кухню, где персидский коммерсант, сдержанно горячась, что-то доказывал Даше. Из соседней комнаты доносилось тихое надгробное песнопенье служанки, запертой там Колей, чтобы она не шпионила за ним и не вмешивалась в игру.

Дяде Сандро показалось, что персидский коммерсант уже уговаривает Дашу бежать с ним. Во всяком случае, при виде дяди Сандро он замолк и пожал плечами, давая знать, что он ничего такого не говорил, а если что-нибудь такое и говорил, то может тут же взять свои слова обратно. При этом он опускал не по возрасту длинные ресницы, чтобы притушить настойчивый блеск в глазах, больше слов выдававший тайные старания хоросанского сластолюбца. Дядя Сандро молча вышел из кухни. Этого он не принимал всерьез, опасность была не здесь.

Дядя Сандро подошел к столу, чтобы проследить за очередной партией. Скотопромышленник, подняв голову, хозяйски оглядывал потолок зала. И вдруг, молча кивнув дяде Сандро, он показал рукой на один из углов, где от сырости слегка размыло роспись орнамента.

Казалось, новый хозяин пригласил мастера и показал ему, какие работы предстоит произвести. Дяде Сандро большого труда стоило сдерживать себя. Он заставил себя углубиться в игру, тем более что Коля эту партию выигрывал.

Но когда скотопромышленник и эту партию повернул назад, поставив на место все свои битые фишки, да еще по дороге прихватил фишки противника, что неминуемо вело грека к очередному проигрышу, дядя Сандро не выдержал. Он схватил серебряный фруктовый нож, лежавший на столике, и с такой силой ударил его о столик, что нож сломался и лезвие со свистом пролетело мимо головы скотопромышленника и ударилось о стену. Тот и ухом не повел. Он только провел ногтем большого пальца по выщербу, оставленному ножом на поверхности столика, и сказал:

— Лакировка...

Дядя Сандро заметил, что скотопромышленник чем больше выигрывал, тем наглее оглядывал Дашу. Принимая кофе из ее рук, прихлебывал, чмокал губами и, оглядев ее пышный бюст, двусмысленно хвалил:

— Хорош каймак, хорош...

На этот раз, когда Даша, собрав на поднос пустые чашечки, сонно удалилась на кухню, скотопромышленник подозвал одного из своих людей и что-то шепнул ему на ухо. Дядя Сандро все понял, но сделал вид, что ничего не заметил. Через некоторое время тот вернулся и подошел к скотопромышленнику. Дядя Сандро тихо прошел на кухню.

Даша, потупившись, стояла у плиты, а персидский коммерсант взволнованно ходил по кухне, время от времени взмахивая руками под давлением распивавшего его гневного, но безгласного монолога.

— Что случилось, Даша? — спросил дядя Сандро.

— Они зовут меня в Эндурию, они говорят, что Коля теперь нищий, — сказала Даша, задумавшись.

— Что за нац! — всплеснул руками персидский коммерсант и поглядел на дядю Сандро, взглядом призывая продолжить его возмущение действием.

— А ты что? — спросил дядя Сандро.

— Я что? Я как Коля скажет, — ответила Даша.

— Что за нац! — снова всплеснул руками персидский коммерсант, выслушав Дашу и тоном показывая, что он на этот раз в свое восклицание подключает более широкий круг народов.

— Пока у вас есть я, не бойся, Даша, — сказал дядя Сандро загадочно и вышел из кухни.

Неизвестно, что бы придумал дядя Сандро, если б в это раннее утро Даша еще раз не вошла в зал с дымящимся подносом. Увидев ее, скотопромышленник вдруг откинулся на стуле, отставил ногу и, улыбаясь глядя на Дашу, неожиданно пропел:

Базар большой,  
Народу много.  
Русский девушка идет,  
Давай дорога.

— Поет! — громовым голосом воскликнул дядя Сандро и как выпущенный из пращи вылетел из зала. В зале замолкли все звуки. Стало слышно, как работают в столовой фамильные часы, а из комнаты служанки донеслось надгробное песнопенье.

Все почувствовали, что в воздухе запахло смертельной опасностью. Скотопромышленник, в это мгновение взяв кофе с подноса, осторожно приподнял чашечку. Сторонники грека и самого скотопромышленника, замерев, жадно следили за его рукой, ожидая, вздрогнет она или нет. Но не вздрогнула рука скотопромышленника, выдержали его буйволиные нервы. Он отпил кофе, облизнулся, поставил чашечку на столик и сказал, кивнув в сторону двери:

— За гитарой побежал...

Сторонники скотопромышленника приободрились.

— Сандро просто так ничего не делает, — не слишком уверенно заметил один из друзей грека.

Не успел он договорить, как в зал вбежал персидский коммерсант и закричал:

— Сандро подымается!

Почти одновременно послышалось усиливающееся цоканье металла по мрамору, бронзовый звук судьбы. Гости повскакали с мест, не зная, к чему готовиться, а маленький грек и скотопромышленник не шевелясь продолжали сидеть за своим столиком. И тут все заметили, что кровь стала медленно отливать от лица скотопромышленника, а посеревшее за трое суток лицо грека стало розоветь, словно они были связаны, как сообщающиеся сосуды, словно какой-то невидимый перепад давления погнал эту самую общую кровь в обратном направлении.

Античный звук ударов копыт по мрамору забытой доблестью пьянил душу маленького грека. И когда звук этот подошел к самым дверям, где все еще стоял персидский коммерсант, тот лягающим движением ноги распахнул обе створки и, как вспугнутый заяц, метнулся в сторону перед самой огнедышащей мордой коня.

Сдержанной рысцей дядя Сандро прогарцевал по залу, не сводя со скотопромышленника гневных выпуклых глаз. Дядя Сандро пересек зал и, сам открыв себе дверь, въехал в другую комнату.

— Играй! — крикнул Коля замешкавшемуся скотопромышленнику.

Тот вяло кинул кости, продолжал прислушиваться к удаляющемуся цоканью копыт.

— Что случилось, Коля?! — раздался истошный крик запертой служанки.

— Сандро лошадь прогуливает! — крикнул ей в ответ повеселевший Коля.

— Уехал? — спросил скотопромышленник, когда звук копыт замолк в одной из дальних комнат. Друзья грека радостно объяснили ему, что Сандро уехать никак не мог, даже если бы захотел, потому что второй выход из дома Коля вынужден был заколотить из-за плохого поведения старшей сестры.

— При чем сестра? — сморщился скотопромышленник, и все почувствовали, что нервы у него сдают.

Дядя Сандро проехал по всем комнатам особняка. Выпростав ногу из стремени, он на ходу отбрасывал или отодвигал столы, стулья и все, что могло помешать свободному движению лошади. В столовой, увидев свое отражение в большом настенном зеркале, лошадь заржала и попыталась въехать в него. Дядя Сандро с трудом ее повернул и погнался обратно.

На этот раз он влетел в зал и, огрев ее камчой, перебросил через столик игроков.

— Bravo, Сандро! — закричали в один голос сторонники грека, а эндурец в знак протеста положил кости на дно игральной доски.

— Играй! — приказал Коля и, вынув из кармана пистолет, положил его на столик рядом со своим портсигаром.

— Скажи ему, чтоб не прыгал, — попросил скотопромышленник, — я под лошадью не привык играть.

— Успокой нервы и играй, — снова приказал грек и постучал по столу дулом пистолета, как учитель указкой.

Складывалось щекотливое положение. С одной стороны, по неписаным и потому твердым законам игры, выигрывающий обязан играть до тех пор, пока проигрывающему есть что проигрывать, но, с другой стороны, дядя Сандро выделял черт-те что. Скотопромышленник обратился к своим сторонникам, но те, сломленные дерзостью Сандро, а может быть из любопытства к необычности происходящего, решили, что он все-таки должен продолжать игру в случае, если Сандро будет прыгать через игровой стол с одинаковым риском для обоих игроков, то есть через середину стола.

— Зачем он должен прыгать, зачем? — пытался эндурец поднять голос.

— Судьба, — отвечали ему.

Опять в качестве третейского судьи был выбран персидский коммерсант как представитель солидной нейтральной нации.

Его поставили к стене таким образом, чтобы между дверями, серединой столика и местом, которое он занимал, проходила прямая и он мог бы точно видеть, на сколько отклоняется лошадь дяди Сандро во время полета.

Игра была продолжена. Дядя Сандро прыгал только в одну сторону, потому что для обратной стороны не хватало разгона. Так что из зала он обычно заезжал на холостом ходу, не забыв бросить грозный взгляд на скотопромышленника.

Каждый раз, услышав приближающийся стук копыт, эндурец нагибал голову и, втянув ее в плечи, замирал, пока лошадь проскакивала над столиком. Как только лошадь проскакивала, он с надеждой смотрел на персидского коммерсанта. Но тот грустно качал головой в том смысле, что Сандро и на этот раз не проштрафился.

Иногда дядя Сандро, доскакав до столика, неожиданно поворачивал лошадь, как бы не соразмерив разгон, и уходил в новый заезд. Эти ложные попытки еще больше сбивали с толку скотопромышленника.

А маленький грек с каждым прыжком дяди Сандро делался все уверенней, все веселей — бывая удачливостью возвращалась к нему. И когда во время одного из прыжков дяди Сандро он поднял свою чашечку с кофе и отпил глоток под самым летящим, обдающим горячим воздухом брюхом лошади, «Браво Коля!» — заревели сторонники грека и захлопали в ладоши.

Скотопромышленник сникал.

— Лошадь устает, — начал он тревожиться после десятого прыжка.

— Ничего, она у меня застоялась, — ответил дядя Сандро и, потрепав ее по шее, выехал из зала, готовясь к новому заезду. Через минуту из глубины особняка раздался страшный грохот, казалось, лошадь вместе со всадником провалилась в тартарары.

— Я же говорил, лошадь устала! — радостно закричал скотопромышленник и вскочил с места.

Но тут снова раздался стук копыт приближающейся лошади, а скотопромышленник, еще стоя, стал втягивать голову в плечи, постепенно оседая.

— Что случилось, Сандро? — крикнули в один голос гости, когда он появился в дверях.

— В зеркало въехала, — ответил дядя Сандро на лету, перемахивая через столик.

— Она думала, другая лошадь едет, — приземлившись, стал пояснять дядя Сандро, поглаживая по шее, чтобы немного успокоить, разгоряченную лошадь, — но она не знает, что в Абхазии другой такой лошади нет...

В самом деле, это была лошадь хоть и местной породы, но довольно странной масти — гнедая и в то же время ярко-пятнистая, как рысь. Дядя Сандро говорил, что конокрады дважды бежали из отцовской конюшни, неожиданно увидев ее среди лошадей. И хотя трудно установить, отчего бежали конокрады, по словам дяди Сандро получилось, что они принимали его лошадь за дикого зверя, поставленного сторожить обычных лошадей.

— Никак голову не мог удержать, — радостно продолжал пояснять дядя Сандро, выезжая из зала и отряхиваясь от мельчайших осколков зеркала как от воды.

— Почему? — восторженно спросили сторонники грека.

— Такую шею имеет, — уже в дверях сказал дядя Сандро, — парочка может поднять. — И, не оборачиваясь, выехал из зала.

— Эта лошадь ему идет, — задумчиво сказала Даша, глядя ему вслед.

Стоит ли говорить, что скотопромышленник проигрывал партию за партией. Примерно на четыре прыжка приходился один проигрыш.



— Ну как? — спрашивал дядя Сандро, перебросив лошадь через играющих.

— «Оин», мой,— радостно отвечал грек, раскладывая фишки, если партия была закончена.

Два с половиной часа длилась эта необычайная игра под брюхом летящей лошади. За это время Коля Зархиди успел отыграть весь свой проигрыш, всю наличность и выиграть коляску скотопромышленника, на которой тот приехал из Эндурии.

Наверное, в ход были бы пущены эндурские боины, если бы лошадь и в самом деле не устала. После сорокового прыжка дядя Сандро не стал выезжать из зала, а, вплотную подъехав к столику играющих, поднял лошадь на дыбы и несколько сокрушительных секунд стоял над столом, задрав хрипящую и шмякающую кровавую пену на игральную доску голову лошади.

Как только лошадь опустила копыта, скотопромышленник встал.

— Я в проигрыше, и я кончаю,— сказал он, как-то странно зашпешив, и тут все заметили, что это уже не тот всеильный скотопромышленник, а просто пожилой, сломленный человек.

— Ваше дело,— ответил Коля, пряча пистолет в карман. К нему вернулась корректность крупного табачного дельца.

Все еще разгоряченный, дядя Сандро выехал на балкон и, расстегнув рубаху, подставил грудь под прохладный утренний ветерок.

Окрестные крестьяне, погоняя своих осликов, навьюченных огромными корзинами с зеленью, фруктами, краснозобыми индюшками, шагали в сторону базара. Портовые рабочие, ежась от утренней прохлады, плелись в сторону порта, и только стайки алкоголиков, оживленно узнавая друг друга, целенаправленно торопились в хашные и кофейни.

С видом усталого триумфатора дядя Сандро глядел на утренний город.

— Сандро, прошу как брата,— крикнул ему Коля,— кто-нибудь увидит и матери расскажет за лошадь!

— Ты моей лошади должен задницу целовать,— сказал дядя Сандро, въезжая в зал.

— И я буду, клянусь прахом отца,— ответил Коля.

Выпущенная служанка выносила полное ведро разбитых тарелок. В столовой лошадь дяди Сандро врезалась задней ногой в буфет. Кроме зеркала и буфета да еще куска мрамора величиной с кулак, отбитого от лестницы копытом лошади, когда он выезжал из особняка, никакого другого ущерба прыжки и скачки дяди Сандро особняку не нанесли.

Скотопромышленнику дали на его коляске доехать до гостиницы «Ориentalь», откуда он в тот же день выехал в Эндурию в местном дилижансе.

Говорят, именно в тот год дела его пошли прахом. В Эндурии выдвинулся другой скотопромышленник. Он тайно закупил на Кубани огромную партию истощенного бескормицей скота, перегнал его на летние пастбища альпийских лугов, и осенью орды ожиревшего кубанского скота ринулись на рынки Эндурии и разорили старого скотопромышленника.

Говорят, старик после такого двойного удара тронулся. Коля Зархиди, надо отдать ему справедливость, узнав об этом, снарядил из Сухума в Эндурию известного городского психиатра и велел его лечить за свой счет, пока тот не войдет в ум.

Как это ни странно, вылечил его не психиатр, а Октябрьская революция, когда она реально утвердилась в Закавказье. В день, когда старик узнал, что все имущество молодого скотопромышленника кон-

Фисковала новая власть, он поставил в ее здравие в Иллорском монастыре пятьдесят свечей в человеческий рост из самого благоухающего цебельдинского воска. Кроме того, он устроил народное пиршество, на котором скормил эндурским нищим десяток последних быков.

Старик настолько оправился, что через некоторое время пошел работать мясником в одну из своих бывших лавок, где проработал до конца своих дней.

Потрясение от знаменитой игры с Колей осталось у него в виде небольшой странности: заслышав цоканье лошадиных копыт, даже если это были обычные извозчицы дроги, старик, втянув голову в плечи, замирал в той позе, в какой застал его тревожащий душу звук. Покупатели к этой его небольшой странности быстро привыкли и не тормозили его до тех пор, пока он сам не отходил.

После этой знаменитой победы пиры в доме Коли Зархиди и в окрестных ресторанах длились почти непрерывно до самой Октябрьской революции.

Злые языки утверждают, что Коля Зархиди вознаградил дядю Сандро через Дашу, но другие говорят, что этого не могло быть потому, что было и так. Сам дядя Сандро оба эти предположения до сих пор с негодованием отвергает.

Возможно, вмешательство дяди Сандро в эту знаменитую игру (хотя она тем и знаменита, что он вмешался в нее), с точки зрения содержателей европейских игорных домов, и покажется недопустимым давлением на психику игрока, я все-таки склонен считать поступок дяди Сандро исторически прогрессивным.

Так или иначе, он помог сохранить имущество Коли Зархиди, которое за исключением настенного зеркала, проломанного буфета и других мелочей полностью перешло в руки советской власти.

— Я же говорила, чтой-то будет,— напомнила Даша, когда в согласии с решением местного Совета им предложили покинуть особняк, что они и сделали.

Правда, мать Коли Зархиди опять ухитрилась оставить при особняке служанку, которая теперь работала уборщицей и жила во дворе в одной из пристроек. На этот раз мать Коли оставила ее здесь, с тем чтобы она присматривала за советской властью, что, безусловно, было гораздо сложнее. В особняке были размещены учреждения местной власти.

Хотя Коля, конечно, был разорен, все же многое в его жизни прояснилось. Во-первых, мать примирилась с его любовницей, которая теперь не могла ему сделать ничего плохого, польстясь на его добро. Она даже сама настояла на том, чтобы Коля женился на ней, что он и сделал, быстро оформив легкий в те времена советский брак.

Сначала им пришлось довольно туго, но потом, во времена нэпа, персидский коммерсант снова открыл свою кофейню-кондитерскую, на этот раз осторожно назвав ее «Кейфующий пролетарий». Он взял в долю бывшего табачника, все еще пытаясь осуществить свои хоросанские виды на Дашу. Коля числился на работе, хотя целыми днями только и делал, что пил кофе и водку за счет бывших друзей, а иногда даже и за счет своих бывших рабочих табачных складов.

В связи с последним обстоятельством некоторые люди узнавали, не баламутит ли он своих бывших рабочих. Как выяснилось, Коля рабочих не баламутил, и его оставили в покое, с тем чтобы он в согласии с ходом истории перековывался или отмирал вместе с нэпом.

Иногда, раздухарившись со своими бывшими друзьями, а ныне деклассированными собутыльниками, он кричал Алихану, чтобы тот прислал за его счет пару бутылок. Алихан целыми днями стоял за при-

лавком, варил с утра до вечера кофе в джезвеях и отпускал напитки.

— Какой счет? — неизменно спрашивал Алихан, услышав этот нахальный призыв, и, разводя руками, удивленно подымал свои круглые брови.

Тем не менее он все-таки посылал запрещенные бутылки, потому что Даша была рядом. С сонной медлительностью она разносила заказы, и на нее никто не обижался, потому что для этого и приходили тогда в кофейни, чтобы помедлить, покейфовать, согласно названию кофейни, передохнуть от мчащегося и гремящего времени.

Но судьбе было угодно еще раз возвысить Колю Зархиди.

Стране нужна была валюта. Абхазские высокогорные табаки все еще помнили на международных рынках. Необходимо было восстановить старые торговые связи и организовать новые.

Нарком республики пригласил его в свой кабинет, расположенный в бывшем особняке Коли. Он рассказал Коле суть дела и предложил честно работать с советской властью. За это он обещал предоставить Коле приличную квартиру и вернуть все, что найдется из рекуперированной мебели.

— Я согласен, — сказал Коля, — только мебель не надо.

— Почему? — удивился нарком и, наклонившись над столом, приложил ладонь к уху: он был глуховат, наш нарком.

С плутовской улыбкой (каждый грек немножко Одиссей) Коля кивнул на фамильные часы, стоявшие за спиной наркома. Тот обернулся и сказал со своей милой, обезоруживающей улыбкой:

— У них бой хороший, а я плохо слышу...

Но я отвлекся. Таким образом, Коля Зархиди снова оказался при деле. В ближайший год он наладил закупку табаков у населения, переработку и дальнейшую продажу за границей.

Нарком республики доверил ему самому съездить с табаками в Стамбул, откуда он через некоторое время привез золото. Через год Зархиди повез в Турцию еще большую партию табаков и получил за нее еще больше валюты. А еще через два года он увез в Турцию чуть ли не целый пароход душистого высокогорного табака и не вернулся. В Стамбуле играют прямо в кофейнях, и, видно, Коля не удержался...

Это вероломство (вольное или невольное) сильно огорчило наркома. Пожалуй, всех огорчил Коля Зархиди своим поступком, кроме персидского коммерсанта, что в достаточной степени говорит о его аполитичности. Он добился своего — Даша осталась с ним.

Но и ему пришлось не сладко — кончался нэп, наступал государственный сектор. Для начала Алихану предложили расчленить кофейню-кондитерскую и свободно выбрать одно из двух: или кофейню, или кондитерскую. Алихан подумал и выбрал кофейню. Через некоторое время ему предложили прекратить в кофейне продажу горячительных напитков, одновременно расширив ассортимент прохладительных. Алихан согласился, но схитрил, продолжая из-под прилавка продавать горячительные напитки. Так как дело шло к полному подавлению частного сектора, ему предложили прекратить в кофейне продажу кофе, но оставить прохладительные напитки. На этот раз Алихан не согласился и совсем закрыл кофейню.

Алихан крепился. Он приобрел лоток на колесиках, на котором продавал восточные сладости собственного изготовления: рахат-лукум, козинаки, халву, шербет... Бесплезно упорствуя, он все еще продолжал именовать себя коммерсантом.

В этом качестве его привел в наш двор мой отец. Он переехал к нам вместе со своей простоволосой, неряшливой женой, которую во дворе называли иногда бывшей красавицей, а иногда, по-видимому для сокращения, просто бывшей.

Целыми днями, я об этом смутно помню, она варила себе кофе на мангале, помыкала худым высоким стариком и что-то кричала ему вслед, когда он вывозил со двора на своем лотке маленькую витрину магометанского рая.

Потом он почему-то перестал продавать восточные сладости и перешел на жареные каштаны и, как непонятно говорили взрослые, стал морфинистом. Через несколько лет он вместе с женой переехал в Крым, и запах жареных каштанов постепенно выветрился со двора.

А бывало, вечерами дядя Алихан сидел на пороге своей комнаты, парил мозоли в теплой воде, курил и напевал персидские песни. Помню стекленеющий взгляд каштанщика, мелодию, цепящую сладкой горечью бессмысленности жизни, бесконечную, как караванный путь в никуда.

Аллах, псимилах, рахмани до сур аллах! — блажен, кто блажен...

### Битва на Кодоре

В те далекие времена, говаривал дядя Сандро, бывало, носа не высунешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю.

В тот день дядя Сандро гостил у своего друга в селе Анхара, расположенном на живописном берегу Кодора. В этом большом и зажиточном селе уже с полгода стоял меньшевистский отряд. На другом берегу реки стояли красные. В этом месте был проложен, тогда еще единственный, мост через Кодор.

В то время было или казалось, а то и делали вид, что было, временное равновесие сил. Так или иначе, обе стороны, как та, так и наша, скучали и от нечего делать, а также для разнообразия солдатского стола глушили рыбу.

Глушили рыбу километра за два выше моста, и мертвая форель плыла сверху брюхом вниз по течению. Иногда рыба, оглушенная с нашего берега, прибывалась к другому, иногда наоборот.

Как только раздавались взрывы, по обе стороны реки появлялись мальчишки, потому что солдаты и красноармейцы, как ни старались, не могли выловить всю рыбу — течение даже здесь, в низовьях Кодора, очень быстрое.

Так как было еще не ясно, кто будет наступать, обе стороны по взаимному согласию и договоренности, чтобы не повредить мост, глушили рыбу на достаточно большом расстоянии от него. Таким образом, сравнительно мирные взрывы раздавались почти каждый день.

Меньшевики в первое время, когда расположились в этом селе, объявили его Закрытым Городом, чтобы красные лазутчики не могли шпионить за ними. Кроме того, они побаивались и партизан, хотя, как потом выяснилось, в этих местах никаких партизан не было, потому что те, кто хотел воевать на стороне большевиков, могли просто переплыть Кодор и присоединиться к ним.

Как только меньшевики объявили село Закрытым Городом и стали ограничивать впуск и выпуск людей из села, жители его с особенной остротой стали переживать вынужденную разлуку со своими близкими и не могли успокоиться до тех пор, пока те не приезжали или они сами не навещали к ним.

А как быть с освященными древними традициями — необходимостью побывать на свадьбе и других родовых торжествах? А дежурство у постели больного родственника? А годовщины смерти, а сорокадневье? Я уж не говорю о похоронах.

Одним словом, поднимался ропот, и командование, не решаясь осложнять свои отношения с местным населением, тем более что отряд в значительной степени кормился за счет него, и в то же время

стараясь сохранить престиж, отменило свой приказ и, наоборот, объявило село Анхара Открытым Городом для всех, кроме большевиков.

Тут местные жители успокоились и уже разлуку с близкими стали переживать менее болезненно, и уже никто никого не приглашал чересчур настойчиво и никто никуда не уезжал без особой надобности, а все делалось в меру, как того требуют обычаи и собственное желание.

Так обстояли дела в селе Анхара до первых дней мая 1918 года. Именно в эти дни дядя Сандро гостил у своего друга, жителя этого села, и на его глазах, можно сказать, история сдвинулась с места и не вполне уверенно покатилась по черноморскому шоссе.

Друга дяди Сандро звали Миха. Был он, по его описаниям, человеком статным, приятным с виду и умным. Слегка разводя руками и оглядывая свою сановитую фигуру, дядя Сандро так о нем говорил:

— Видишь, какой я? Так вот он был почти не хуже.

По словам дяди Сандро, этот самый друг его разбогател на свиньях. Каждую осень он перегонял своих свиней в самые глухие каштановые и буковые урочища и держал их там вплоть до первого снега.

В те времена в этих урочищах каштанов и буковых орешков лежало на земле по колено. Свиньи жирели с невероятной быстротой, так что к концу осени некоторые уже не могли стать на ноги и, ползая на брюхе, продолжали пастись и жиреть. В конце концов, когда выпал первый снег, свиней перегоняли домой, а оттуда на базар.

Наиболее преуспевших в ожирении приходилось перевозить на ослах, потому что сами они передвигаться не могли. Конечно, какую-то часть уничтожали волки и медведи, но все равно выручка от продажи свиней покрывала эту усушку и утруску за счет хищников.

Ни до него, ни, кажется, после него никто не догадывался перегонять свиней на осенний выпас в каштановые леса, подобно тому как перегоняют травоядных на летние пастбища.

Впрочем, все это не имеет никакого отношения к самой сути моего рассказа. Вернее, почти никакого.

Правда, время было тревожное. И когда на дорогах Абхазии люди стали встречать ослов, навьюченных свиньями, этими злобно визжащими многопудовыми бурдюками жира верхом на длинноухих терпеливцах, то многие, особенно старики, видели в этом зрелище мрачное предзнаменование.

— Накличешь беду,— говаривали они Михе, останавливаясь на дороге и провожая глазами этот странный караван.

— Я сам не ем,— пояснил тот мимоходом,— я только нечестивцам продаю.

Так вот, в то утро дядя Сандро вместе со своим другом сидели за столом и завтракали. Они ели холодное мясо с горячей мамалыгой. Дядя Сандро нарезал аккуратные кусочки мяса, обмазывал их аджикой, клал в рот, после чего досылал туда же ломоть мамалыги, не забыв предварительно окунуть его в алычовый соус. Хозяин время от времени подливал красное вино.

Разговор шел о том, что горные абхазцы в отличие от долинных более консервативны и все еще не хотят разводить свиней, тогда как это очень выгодное дело, потому что в горах полным-полно буковых и каштановых рощ.

Хозяин давал знать, что ценит широту взглядов, которую проявляет дядя Сандро как представитель горной Абхазии, тем более что в самом селе Анхара многие никак не могли смириться с тем, что Миха

вот так вот, запросто, ни с того ни с сего взял да и разбогател на свиньях.

Земляки завидовали Михе, а так как догнать его в обогащении на свиньях уже не могли, им ничего не оставалось, как кричать ему вслед, что он плохой абхазец.

Дядя Сандро жаловался, что у него нет времени заниматься свиньями, а отец не соглашается их разводить из глупого мусульманского упрямства. Миха обещал ему при случае поговорить по этому поводу с отцом дяди Сандро, хотя ему было и не ясно, почему у дяди Сандро находится время на всякое мало-мальски заметное застолье (в пределах Абхазии), а на разведение свиней не хватает. Миха, разговаривая с гостем, по привычке прислушивался к мирному похрюкиванию свиней в загоне и глухим взрывам со стороны реки. Сегодня взрывы эти доносились отчетливей, и разговор невольно обратился к последним новостям, вызвавшим усиление этих неприятных звуков.

Дело в том, что позапрошлой ночью к меньшевикам прибыло подкрепление и они стали готовиться к штурму моста. И то и другое они старались, насколько это возможно, скрыть от постороннего глаза. Скрыть, разумеется, не удавалось, и тот берег обо всем знал.

Во всяком случае, сразу же после прибытия подкрепления, то есть на следующий день с утра красные стали глушить рыбу совсем рядом с мостом, тем самым показывая, что они знают и о прибывшем подкреплении и о готовящемся штурме.

Меньшевики после прибытия подкрепления заняли большой сарай местного князя, который использовал его обычно для общественных собраний (понимай — пиршеств) при плохой погоде.

Они выставили усиленную охрану и стали что-то строить внутри сарая. А что они строят, никто не знал. Знали только одно: что меньшевики купили у местного населения десять арб, но использовали от них только колеса, а почему не использовали остальные деревянные части, было неизвестно. Кроме того, они купили у местных крестьян каштановые балки и доски, и, надо честно сказать, купили щедро, по хорошей цене.

Одним словом, было ясно, что там что-то строится, что это что-то будет на колесах арб, но что из себя представляет это что-то, никто не знал.

Одни говорили, что меньшевики строят огромную бомбу, которую на колесах арб довезут до Сухума и там, раскатав ее с пригорка Чернявской горы, пустят на город и взорвут его. Другие говорили, что строится не бомба, а деревянный броневик. Правда, на вопрос, что же послужит тягловой силой этому броневику, никто ничего определенного не мог ответить.

Рядом с этим сараем лежало зеленое поле, общественный выгон, и некоторые крестьяне беспокоились, как бы во время строительства этого сооружения оно не взорвалось и не покалечило скот или кого-нибудь из людей.

На этот день, который мы сейчас описываем пером, свободным от предрассудков, была назначена сходка перед конторой старшины. На нее должно было явиться взрослое население мужского пола.

Насильственная мобилизация была маловероятна, хотя и не вполне исключена, поэтому Миха не спешил на сходку, а ждал оттуда вестей, тем более что для неявки у него была достаточно уважительная причина — в доме гость.

После того как жена его прибежала от соседей и сказала, что мобилизации не будет, потому что сходку уговаривать уговаривают, а оцеплять не оцепляют, хозяин решил пойти туда вместе с дядей Сандро.

Верный своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий, дядя Сандро тщательно выскоблил из кости, лежавшей перед ним, костный мозг, слегка обмазал его аджикой и отправил все в рот, жестом показав хозяину, что теперь он готов идти на сходку.

Дядя Сандро и Миха вышли на веранду, где вымыли руки и сполоснули рты. Спустились вниз, во двор. Здесь их встретил десятилетний хозяйский мальчик, всем своим видом показывая готовность пополнить любое поручение.

Дядя Сандро подумал, что друг его, несмотря на то, что занимается разведением свиней, все-таки правильно, по-нашему воспитывает детей. Он одобрительно посмотрел на мальчика и поручил ему поймать свою лошадь и загнать ее во двор. Он хотел быть готовым ко всему.

— Теперь никогда не знаешь, то ли гнаться за кем, то ли бежать от кого, — сказал он своему другу, на что тот понимающе кивнул.

Дядя Сандро и Миха вышли на проселочную дорогу. Со стороны моря дул свежий бриз, внизу под обрывистым склоном желтела всеми своими рукавами дельта Кодора. Солнце играло на зелени до того свежей и пушистой, что хотелось стать возле молодого куста дикого ореха и кротко обглодать его.

Дядя Сандро подумал, что такие мысли не ко времени, и, щелкнув камчой по мягкому голенищу своего сапога, бодро зашагал, как бы подгарцовывая небесной музыке этого цветущего и тревожного дня.

Дядя Сандро любил, спешившись, ходить вот так вот с камчой. Он чувствовал, что человек с камчой всегда производит на других благоприятное впечатление. Держа в руке камчу, прохаживаясь и постукивая ею по голенищу, дядя Сандро чувствовал, как в нем крепнет хозяйская готовность оседлать ближнего. тогда как та же камча нередко на глазах у дяди Сандро вызывала и укрепляла в ближнем способность быть оседланным. А у иных, замечал дядя Сандро, при взмахе камчи в глазах появлялась даже как бы робкая тоска по оседланности.

Дядя Сандро любил прогуливаться с камчой, но не потому, что стремился оседлать ближнего. Здесь была своего рода военная хитрость, самооборона. Если у тебя вид человека, стремящегося оседлать ближнего, говаривал дядя Сандро, то уж, во всяком случае, тебя не слишком будут стремиться оседлать другие.

Конечно, бывали случаи, когда у некоторых людей вид этой камчи вызывал раздражение, но дядя Сандро считал, что это просто зависть или ревность к его хозяйской готовности оседлать ближнего.

По дороге стали попадаться жители села, верхом или пешком идущие на сходку. Кое-кто торопился, а кое-кто не спешил. Через некоторое время они догнали арбу, груженную песком. Друзья заторопились, потому что знали — она направляется к этому сараю, где меньшевики строят свое секретное оружие. Оказывается, для этого оружия им понадобился песок и они наняли крестьян возить его.

Было известно, что аробщиков, привозящих песок, к самому сараю не подпускают. Им приказывают отойти в сторону и сами заводят арбу в сарай, сами ее разгружают и потом подводят пустую арбу к хозяину, с тем чтобы он снова ехал за песком.

Поравнявшись с арбой, дядя Сандро сразу же узнал аробщика, это был Кунта Маргания, когда-то работавший пастухом и живший в их доме.

Увидев дядю Сандро, Кунта обрадовался и на ходу спрыгнул с арбы. Обнялись. Кунта теперь шел рядом с дядей Сандро, изредка помахивая над буйволами длинным прутом:

— Ор! Хи!

Арба немилосердно скрипела, а буйволы, наклонив рогатые головы, тянули ее, как бы стараясь разъехаться в разные стороны.

Разговаривая с Кунтой, дядя Сандро поглядывал на него и думал о том, что рановато постарел Кунта. Ему было не больше сорока, но выглядел он уже чуть ли не старичком. Маленького роста, большеушый, с отработанной, очень сутулой спиной, он был похож на горбуна. В чувяках из сыромятной кожи сейчас он бесшумно шагал рядом, напоминая дяде Сандро о собственном детстве, таком далеком и таком безгрешном.

Кунта был человеком добрым и, прямо скажем, глупым. Он почти не мог самостоятельно вести хозяйство — разорялся. Обычно после этого он шел пастушить к кому-нибудь, за несколько лет пастушества становился на ноги, брался за самостоятельную жизнь и снова разорялся.

Правда, по слухам, теперь у Кунты взрослый сын и он с его помощью справляется со своим нехитрым хозяйством. После обычных расспросов о здоровье родных и близких Кунта вдруг ожил.

— Слыхали? — спросил он и заглянул в глаза дяде Сандро.

— Смотри что, — сказал тот.

— Большевики добровольцев берут, — важно заметил Кунта.

— Это и так все знают, — сказал Миха.

— Говорят, — пояснил Кунта с хитрецей, — если возьмут Сухум, разрешат потеребить лавки большевистских купцов.

— Выходит, если Сухум возьмем, что хочешь бери? — спросил дядя Сандро, потешаясь над Кунтой и подмигивая Михе.

— Сколько хочешь не разрешается, — сказал Кунта, не чувствуя, что над ним смеются, — разрешается только то, что один человек на себе может унести.

— Что же ты хотел бы унести? — спросил дядя Сандро.

— Мануфактуру, гвозди, соль, резиновые сапоги, халву, — с удовольствием перечислял Кунта, — в хозяйстве все нужно.

— Слушай, Кунта, — серьезно сказал дядя Сандро, — сиди дома и кушай свою мамалыгу, а то худо тебе будет...

— Переполох, — вздохнул Кунта, — в такое время многие добро добывают.

— Сиди дома, — подтвердил Миха, — сейчас не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

— Тебе хорошо, у тебя свиньи, — как о надежной твердой валюте напомнил Кунта и, немного подумав, добавил: — Я-то сам не иду, сына посылаю...

Они вышли на лужайку перед конторой, и сразу же гул толпы донесся до них. Под большой, развесистой шелковицей стояли человек триста — четыреста крестьян. Те, что уместились в тени шелковицы, сидели прямо на траве. Позади них, стоя, толпились остальные. Среди них выделялось десятка полтора всадников, что так и не захотели спешиться. У коновязи трепыхалась сотня лошадиных хвостов.

Кунта попрощался с друзьями и легко вскочил на арбу.

— Подожди, — вспомнил дядя Сандро про тайное оружие меньшевиков, — ты о нем что-нибудь знаешь? — Он кивнул в сторону сарая.

— Нас близко не подпускают, — сказал Кунта.

— А ты попробуй, придуришься как-нибудь, — попросил дядя Сандро.

— Хорошо, — уныло согласился Кунта и, взмахнув прутом, огрел вдоль спины сначала одного, а потом и второго буйвола, так что два столбика пыли взлетели над могучими спинами животных.



— Да ему, бедняге, и придуриваться не надо, — заметил Миха.

Дядя Сандро кивнул с тем теплым выражением согласия, с которым все мы киваем, когда речь идет об умственной слабости наших знакомых.

— Эртоба! Эртоба! — первое, что уловил дядя Сандро, когда они с Михой приблизились к толпе. Это были незнакомые дяде Сандро слова. Они подошли к толпе и осторожно заглянули внутрь.

У самого подножья дерева за длинным столом сидели несколько человек. Стол этот, давно вбитый в землю для всяких общественных надобностей, сейчас из уважения к происходящему был покрыт персидским ковром, принадлежащим местному князю.

Сам князь, пожилой подтянутый мужчина, тоже сидел за столом. Кроме него, за столом сидели два офицера — тот, что был с отрядом, и тот, что прибыл с подкреплением. Дядя Сандро сразу же по глазам определил, что оба настоящие игроки, ночные птицы.

Рядом с князем сидел и явно дремал огромный дряхлый старик в череске, с длинным кинжалом за поясом, с башлыком, криво, поянычарски повязанным на большой усатой голове. Усы были длинные, но как бы изъеденные временем, негустые. Это был известный в прошлом головорез Нахарбей.

Хотя по происхождению он был простым крестьянином, за неслышанную дерзость и свирепость в расправе со своими недругами он пользовался уважением почти наравне с самыми почтенными представителями княжеских фамилий, что, в свою очередь, рождало догадку о характере заслуг далеких предков нынешних князей, которые вывели их когда-то из толпы обыкновенных людей и сделали князьями.

Нахарбей дремал, склонив голову над столом, иногда сквозь дрему лова губами нависающий ус. Порой он открывал глаза и смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом.

У края стола возвышался оратор. Никто не знал его должности, но дядя Сандро, оценивая происходящее, решил, что он меньшевистский комиссар. Это был человек с бледно-желтым лицом, с чересчур размашистыми движениями рук и блестящими глазами.

Говорил он на чистом абхазском языке, но иногда вставлял в свою речь русские и грузинские слова. Каждый раз, когда он вставлял в свою речь русские или грузинские слова, старый Нахарбей открывал глаза и направлял на него смутно-враждебный взгляд, а рука его сжимала рукоятку кинжала. Но пока он это делал, оратор снова переходил на абхазский язык, и взгляд престарелого джигита затягивался дремотной пленкой, голова опускалась на грудь, а рука, сжимавшая рукоятку кинжала, разжималась и сползала на колено.

Время от времени оратор хватался за стакан и отпивал несколько глотков. Когда в стакане кончалась вода, сидевший рядом с оратором писарь услужливо наливал ему из графина. Звук льющейся воды или звяканье графина о стакан тоже ненадолго будили престарелого джигита.

Перед писарем лежала раскрытая тетрадь. Слушая оратора, он постукивал по столу карандашом, держа его длинным отточенным концом вверх. Оглядывая крестьян, он взглядом давал знать, что с удовольствием внесет в свою тетрадь эту замечательную речь, но только плодотворно преобразованную в виде списков добровольцев.

Во время своей речи оратор то и дело выбрасывал руку вперед и сверкающими глазами как бы указывал на какой-то важный предмет, появившийся вдали. Дядя Сандро уже знал, что это делается просто так, для красивой убедительности слов, но многие крестьяне еще не привыкли к этому жесту, тем более в сочетании со сверкаю-

щими глазами, и то и дело оглядывались назад, стараясь разглядеть, на что он им показывает. Те, что попривыкли к этому жесту, посмеивались над теми, кто все еще оглядывался.

Справа от дяди Сандро сидел на лошади незнакомый крестьянин. Лошадь его, косясь на камчу дяди Сандро, беспокоилась и все норовила отойти в сторону, но отойти было некуда, и хозяин, не понимая причины ее беспокойства, тихонько ругался, каким-то образом связывая в один узел это ее беспокойство и суетливость оратора.

После очередного выбрасывания руки, когда многие крестьяне невольно оглянулись в ее направлении, всадник этот с довольной улыбкой посмотрел на дядю Сандро и сказал:

— В первый раз как увидел, думаю: на что это он там показывает? Может, думаю, скот в поле... На траву показывает... Как же, думаю, я с лошади не вижу, а он со своего места замечает?

В конце лужайки за плетнем виднелось кукурузное поле. Всадник, поглядывая на дядю Сандро и одновременно косясь на это поле, давал убедительное своему собеседнику, что у него кругозор гораздо шире, чем у оратора, и, стало быть, оратор никак не может видеть что-нибудь такое, чего не видит он со своей лошади.

После этого он неожиданно притянул одну из веток, нависающую над его головой, и стал бросать в рот, посасывая и причмокивая, мокрые продолговатые ягоды шелковицы.

— А ну тряхни,— сказал кто-то из сидящих впереди.

Всадник покрепче ухватился за ветку и несколько раз тряхнул ее. Черный дождь шелковиц посыпался вниз. Впереди образовалась небольшая суматоха, и писарь, заметив ее, направил на всадника осуждающий взгляд. Дядя Сандро с усмешкой отметил, что писарь старается придать своим глазам такой же блеск, как у оратора. Постепенно крестьяне притихли, и только лошадь, шумно дыша на траву, дотягивалась до рассыпанных ягод.

А между тем оратор продолжал говорить, стараясь разгорячить сходку и довести ее до состояния митинга. Но сходка до состояния митинга никак не доходила. Самому оратору почему-то мешали взрывы, то и дело доносившиеся со стороны реки, да и сами крестьяне, задававшие всякие уводящие от митинга вопросы.

Как только слышался очередной взрыв, оратор замирал, поворачивал к реке свое бледное подвижное лицо и говорил:

— Слышите?! Сами нарушают, а потом сами будут жаловаться, что мы наступаем!

Дядя Сандро никак не мог понять, кому будут жаловаться большевики, если меньшевики начнут наступать. Вообще, он многого из речи оратора не понимал, объясняя это отчасти своим опозданием на сходку, отчасти всеобщим безумием.

Оратор, по-видимому, еще до прихода дяди Сандро объяснил, почему меньшевистская власть хорошая, а советская плохая. Теперь, уже исходя из этого, он останавливался на выгодах, которые получают крестьяне при меньшевистской власти именно потому, что она хорошая, а не наоборот. А раз так, говорил он, крестьяне должны проявить сознательность и вступать в ряды добровольцев. Каждый, говорил он, кто не превышает тридцатипятилетнего возраста и еще не потерял совести под влиянием большевиков, должен в это трудное время вступать в ряды добровольцев.

Для тех, пояснил он, кто превышает этот возраст и в то же время не потерял совести под влиянием большевиков, командование делает исключение и будет принимать в ряды добровольцев. Так пояснил он, хотя никто у него не просил пояснения.

— Эртоба! Эртоба! — при каждом удобном случае выкрикивал он.

— Что это за слово? — спросил дядя Сандро у своего товарища, который во всех отношениях был почти не хуже дяди Сандро, а в отношении грузинского и русского языков даже лучше.

— Эртоба значит единство, — ответил Миха, — он хочет, чтобы мы с ним были заодно.

Слева от дяди Сандро стоял незнакомый крестьянин. Дядя Сандро заметил, что тот каждый раз, когда недослышивал или недопонимал оратора, приоткрывал рот, словно включая инструмент, усиливающий как смысл, так и звук ораторской речи. Сейчас он обернулся на слова Михи.

— Я могу быть с родственником заодно, — сказал он, загибая палец и с дурашливой улыбкой кивая на оратора, — с соседом заодно, с односельчанином заодно, но с этим эндурцем, которого первый раз вижу, как я могу быть заодно?

— В том-то и дело, что чушь болтает, — отозвался верховой, снова пригибая ветку шелковицы и ища глазами, где она гуще облеплена ягодами. — Стоящий человек никогда не будет показывать на то, чего сам не видит.

— Завтра наступаем, — объявил оратор, — кто с нами, записывайтесь до шести утра, а после шести, хоть золотом осыпьте, ни одного человека не возьмем... Спешите в наши ряды! Эртоба, эртоба! — крикнул он и взмахнул рукой, как бы призывая весь оркестр зазвучать в едином марше.

— Эртоба! — повторили за ним несколько голосов, да и те запнулись на ходу, смущаясь своим одиночеством.

Видя, что люди слишком мнутя, оратор решил им помочь и сказал, что если прямо сейчас некоторым записываться стыдно перед близкими, у которых родственники ушли с большевиками, то такие позже могут заходить в контору и записываться тайно, потому что командование в отличие от тех (кивок в сторону реки) уважает родственные чувства.

Писарь, оглядывая собрание и молча останавливая взгляд то на одном, то на другом, предлагал вписать их в свою тетрадь, но те, на ком он останавливал свой взгляд, чаще всего отворачивались или, не успев отвернуться, прикладывали руку к груди и отказывались, смягчая отказ этим жестом благодарности за доверие.

Все же человек пятнадцать—двадцать записались. Первым по предложению князя зачислили в отряд в качестве Почетного Добровольца старого Нахарбея. При этом все радостно зашумели, писарь медленно, словно продлевая удовольствие, вписывал его в тетрадь, а оратор в это время уверял сходку, что дух Нахарбея осенит правое дело меньшевиков.

Сам престарелый джигит, услышав свое имя в сопровождении слишком громкого шума, кусанул ус и уставился на оратора до того неподвижным и долгим взглядом, что тот не на шутку смутился. Но тут к Нахарбею склонился князь и что-то зашептал ему на ухо. Тот кивнул усатой головой и успокоился.

— Задавайте вопросы, — сказал оратор, ободренный тем, что все-таки кое-кто записался. Потом добавил с намеком на тех, кто за рекой: — Мы вопросов не боимся...

Он победно оглядел собравшихся и, теперь уже сам налив себе воду из графина, стал ее пить большими глотками.

— Как мельница на воде работает, — сказал кто-то из задних рядов.

— Работает-то как мельница, да муки не видать, — добавил другой.

— Сынок, — обратились к оратору из толпы, — говорят, если

Сухум возьмете, большевистских купцов разрешат потеревить. Интересно, это правда?

Оратор все еще пил воду, когда прозвучал вопрос; но, услышав его, он быстро отставил стакан и замахал рукой.

— Ничего такого я не говорил и даже не имею права говорить! — как-то чересчур сварливо открестился он, из чего многие поняли, что так оно и будет, только прямо говорить об этом не хотят.

— Послушай,— вдруг закричал тот, что стоял слева от дяди Сандро,— а что будет с нами, если мы с вами пойдем, а большевики нас побьют?

Сразу же установилась неловкая тишина. Стало слышно, как у коновязи щелкает железо во рту лошадей и шуршат их хвосты, отмахивающиеся от мух. С одной стороны, всем не терпелось узнать, что скажет оратор, а с другой стороны, вопрос прозвучал слишком дерзко для этих гостелюбивых краев. А ведь меньшевики были некоторым образом гостями, хотя и незваными.

— Интересный вопрос,— сказал оратор и посмотрел на сидящих рядом с ним за столом.

Оба офицера презрительно закачали головами, показывая, что исход предстоящего сражения у них не вызывает тревоги.

— Интересный вопрос,— повторил оратор и прибавил: — Но нас коммунисты никогда не побьют, тем более...

Оратор умолк и многозначительно кивнул в сторону сарая, откуда доносился приглушенный перестук топоров.

— Кто его знает,— миролюбиво заметил сосед дяди Сандро, задававший вопрос. Он был рад, что кое-как выкарабкался из своего вопроса.

— А почему вы не говорите, что у вас там делается, в сарае? — раздался чей-то раздраженный голос из задних рядов.

Люди, видно, продолжали подходить. Дядя Сандро говорящего не видел, но по голосу почувствовал, что тот стоит на солнце, и, может, даже без шапки.

— ...Может взорваться,— продолжал раздраженный голос,— а у нас там скот пасется, женщины ходят...

— Взорваться не может, не допустим... Но военную тайну разглашать не имею права,— ответил оратор и прибавил: — Завтра сами увидите.

— А как быть с теми абхазцами,— вдруг кто-то выкрикнул из толпы,— которые, пользуясь суматохой, всюю разводят свиней?

— Каких свиней? — растерялся оратор.

— Да, да, как быть? — с нескольких сторон оживились завистники Михи.

Оратор растерялся, но зато сам Миха ничуть не растерялся.

— Я сам не ем, черт вас подери! — громко выкрикнул он. — Я только нечестивцам продаю!

— И я как гость подтверждаю! — зычно добавил дядя Сандро.

Все оглянулись на него, многие удивленно, потому что видели его в первый раз.

— Сандро из Чегема,— теплым, ласкающим слух ветерком прошепестело по толпе.

— Ты гость, ты можешь не все знать,— вяло огрызнулся тот, кто выкрикнул насчет свиней.

— Вы у человека про дело спрашивайте,— вставил князь,— а со своими свиньями мы тут сами разберемся.

Князь тоже был противником свиноводства. Он считал, что вместе со свиньями в чистую жизнь абхазцев проникает губительное неу-

важение к старшинству, хамская односложность отношений. Но сейчас заниматься этим было неуместно.

— А сколько продлится поход? — раздался голос из толпы.

— Думаю, с месяц,— сказал оратор довольно уверенно.

— Ого! — громко удивился тот же голос.— Как же я пойду, если мне через две недели кукурузу мотыжить, а там и табак подспеет?!

— Пусть родственники...— начал было оратор, но не договорил, потому что со стороны реки опять раздалась взрывы.— Видите, что делают! — дернулся он в сторону взрывов.— Сами нарушают, а потом сами будут говорить, что мы первые...

— Интересуюсь,— раздался голос,— до какого места будем воевать, до Гагр или до Сочи?

— До Сочи и даже дальше...

— Зачем дальше? Дальше Россия...

— Чтобы окончательно победить, надо идти и на Россию! — выкрикнул оратор.— Но для этого нам нужны три вещи...

Он замолк и, поджав губы, уставился в толпу нагло-стекленеющими глазами, стараясь заранее внушить важность того, что он собирается сказать.

— Тише, говорит — какие-то вещи нужны...

— Лошадь, седло, винтовка — вот тебе три вещи...

— Эртоба, эртоба, эртоба! — разрядился наконец оратор с таким видом, словно сказал что-то новое.

— Надоед со своим единством...

— Попомните мое слово,— опять заметил всадник и, деловито оглядев шелковицу, слегка савинул коня, чтобы достать ветку получше,— человек, который показывает на то, чего сам не видит,— порченный...

— Ты хоть шелковицы налопаешься.— заметил крестьянин, что стоял слева от дяди Сандро,— а мы чего сюда притащились?

— Ша! Кто-то из наших будет говорить...

Какой-то старик пробрался в толпе, вышел из первого ряда, спокойно всадил посох в землю, положил на него обе руки и сказал, что выступит от имени многих, хотя и не всех.

Он сказал, что некоторые согласны служить в армии меньшевиков, но с тем условием, чтобы охранять склады, готовить еду, приглядывать за лошадьми. Но стрелять те многие, хотя и не все, от имени которых он выступает, не согласны, потому что среди большевиков немало родственников и односельчан.

Поэтому, сказал он, если наши добровольцы сейчас начнут стрелять по большевикам, то не исключено, что кто-нибудь из них попадет в нашего, а пролитая кровь будет взывать к мести и погибнет много невинных. Особенно неприятно, сказал он, что большевики с меньшевиками или замиряются, или (добавил он с какой-то обидной непричастностью) победят друг друга, а кровная месть будет продолжаться годами.

Поэтому те многие, хотя и не все, от имени которых он говорит, решили, что нашим добровольцам можно идти в поход, но от стрельбы их следовало бы освободить. С этими словами он вытащил свой посох из земли и, уважительно, но с достоинством пятясь, вошел в толпу, которая поддерживала его речь одобрительными выкриками, может быть, как раз тех многих, хотя и не всех, от имени которых он говорил.

— Когда дело касается свободы, не будем торговаться,— заметил оратор, сделав кислую мину. Видно, речь старика ему совсем не понравилась.

— Будем торговаться! — злобно выкрикнул тот, что говорил о сарае.

Дядя Сандро, узнав его по голосу, удивился, что тот все еще стоит на солнце.

— ...Одни говорят — не будем торговаться, другие — не будем торговаться, — окончательно закипел тот, что стоял на солнце, и притом, возможно, без шапки, — а мы отрезаны от города: соли нет, мануфактуры нет!

— Вы не так поняли! — крикнул оратор, но тут другие ему не дали говорить.

— Так поняли, потому что и стекло для ламп тоже нет! — крикнул кто-то, и всем почему-то сделалось смешно.

Толпа задвигалась и стала распадаться на части, и уже ни оратор, ни как бы пораженный неуважительностью своих земляков князь никого остановить не могли. Некоторые стали отходить к коновязи, другие, что пришли пешком, уходили, громко зовя родственников и попутчиков.

Последнее, что успел прокричать оратор, это чтобы родственники ушедших с большевиками не мешали односельчанам вступать в ряды добровольцев.

— Мы вас не агитируем, вы их не агитируйте! — прокричал он, выбросив вперед руки с выпяченными ладонями, как бы намекая на необходимость соблюдать равенство шансов.

Дядя Сандро вместе со своим другом отошли к дороге, где должен был проехать Кунта. Во время сходки он то и дело поглядывал на дорогу, чтобы не пропустить его. Наконец Кунта появился на дороге.

— Я придурился, но ничего не получается, — сказал он, поравнявшись с друзьями. Он остановил арбу и хотел сойти с нее.

— Ладно, поезжай, — сказал дядя Сандро, не давая ему сойти с арбы.

— Может, зайдешь, — неуверенно попросил Кунта, глядя в лицо дяде Сандро, — уж цыпленочка-то для тебя отыщем...

— Спасибо, Кунта, в другой раз, — сказал дядя Сандро, думая о своем.

Кунта заскрипел дальше, поигрывая хворостиной и мурлыкая песню аробщика. Миха и дядя Сандро оглянулись на шелковицу. Там уже почти никого не было. Князь и один из офицеров сидели за столом друг против друга, расставляя фишки для нарда. Вокруг собралось несколько любопытных, а может, и желающих принять участие в игре.

Из усадьбы князя, которая примыкала к площади, три женщины тащили корзины с закусками и вином. У опустевшей коновязи двое княжеских людей, хозяйственно переговариваясь, громоздили на лошадь престарелого Нахарбея.

— Что думаешь о сходке? — спросил Миха, когда они повернули к дому.

Дядя Сандро долго не отвечал, и Миха терпеливо ждал, зная, что слово дяди Сандро чего-то стоит.

— Это не власть, — сказал дядя Сандро, шлепнув камчой по голенищу, и громко, как бы стараясь преодолеть его социальную тугоухость, повторил: — Попомни мое слово, Миха, это не власть!

— Что же делать? — спросил Миха, прислушиваясь к своему заговну, хотя до дому еще было далеко и ничего не было слышно.

— Надо попробовать с большевиками, — сказал дядя Сандро и выразительно посмотрел на Миху, — но к ним с голыми руками не пойдешь...

— А как узнать? — пожал плечами Миха, все еще безуспешно

продолжая прислушиваться к своему загону,— чтобы стражников купить, надо время, а завтра начнется...

— Я что-то придумал,— кивнул дядя Сандро в сторону засекреченного сарая,— попробуем...

Судя по тому, что Миха на лету ухватил мысль дяди Сандро, можно заключить, что он быстро одолел свою социальную тугоухость. Не забудем, что он при этом прислушивался, правда безуспешно, к своему загону, словно всем своим видом хотел сказать: да выйдем мы, в конце концов, в зону хрюканья или все еще будем болтаться черт знает где?!

\* \* \*

Через два часа в зарослях папоротника неподвижно лежал дядя Сандро и в цейсовский бинокль следил за тем, что делается у засекреченного сарая.

Он видел, как время от времени к нему подъезжает арба, как она останавливается, как с нее лениво спрыгивает аробщик, отходит в сторону под жидкую тень алычи, как один из солдат залезает на арбу, а другой в это время распахивает ворота, где виднеется...

О возможности заглянуть в ворота сарая дядя Сандро догадался, когда оглядывал его еще на площади. Но чтобы использовать промежуток в пять—десять минут, пока арба не пройдет в открытые ворота, надо было находиться прямо напротив них, то есть на выгоне, который хорошо просматривался со всех сторон.

В конце выгона, примерно в полкилометре от сарая, начинались заросли. Часовым никак не могло прийти в голову, что на таком расстоянии кто-то наблюдает за воротами. Да и кто мог подумать, что в этом селе окажется человек с великолепным биноклем, когда-то принадлежавшим принцу Ольденбургскому, а теперь ставшим собственностью неведомого меньшевикам дяди Сандро?

Но что же он увидел? Он увидел деревянное сооружение чуть выше человеческого роста, гигантский ящик, слегка приподнятый колесами над землей. Колеса были закреплены изнутри и едва высовывались из-под боковой стены сооружения.

Дядя Сандро сразу же догадался, что это так сделано для того, чтобы защищать колеса от вражеских пуль, и удивился военной хитрости эндурских меньшевиков.

Продолжая наблюдать, дядя Сандро пришел к выводу, что боковые стены сооружения сдвоены, потому что на одной из них довольно свободно стоял солдат и что-то продельвал лопатой. Как только дядя Сандро догадался, что стены сдвоены и только потому солдат так свободно стоит на стене, он тут же сообразил, что солдат выравнивает и трамбуется песок, насыпанный между стенами.

Тут дядя Сандро окончательно раскусил назначение этой крепости на колесах. Он понял, что меньшевики под ее прикрытием постараются переехать через мост. «Вот тебе и эндурцы,— подумал дядя Сандро, опуская бинокль,— а мы-то всю жизнь считали их дураками».

Он повернулся на спину, с трудом вытянул затекшую в неудобной позе ногу и стал смотреть на синее небо. По кустам прошелестел ветерок, и дядя Сандро почувствовал запах еще влажной земли, высохших прошлогодних стеблей папоротника, услышал высоко над собой пение жаворонков и вдруг подумал: «Зачем я здесь лежу и выслеживаю это деревянное чудище?»

Боясь шевельнуть затекшей ногой, он смотрел на небо и думал о брэнности человеческих усилий. Да и стоит ли делать какие-то усилия, думал он, если оттуда, сверху, Главный Тамада следит в свой

небесный бинокль за всеми людьми, чтобы каждый делал предписанное ему в согласии с его великим замыслом?

Так думал дядя Сандро, чувствуя, что постепенно нога его отходит и начинает подчиняться ему. Дядя Сандро пошевелил ею и ощутил, как последние мурашки пробежали по ней и исчезли вместе с расслабляющими мыслями о брэнности человеческих усилий.

«Подобно тому,— подумал дядя Сандро,— как моя нога после некоторого застоя пришла в подчинение моему замыслу пошевелив ею, так и я после некоторой слабости должен подчиниться его замыслу, который скорее состоит в том, чтобы мне лежать в этих кустах и следить за приготовлениями эндурцев. Иначе с чего бы я здесь мог очутиться»,— решил дядя Сандро и, перевернувшись на живот, приподнял бинокль.

Теперь одно недоумение оставалось у него: какая сила будет тащить это огромное и тяжеловесное сооружение? Мотор? Но если это мотор от автомобилей, которые, фырча и воняя, сейчас бегают по приморскому шоссе, то почему его никто не слышал? А если это мотор от парохода, то где же труба? Без трубы ни один пароход не движется. Это дядя Сандро знал точно. Правда, некоторые говорили, что деревянный броневик может двигаться на буйволах, запряженных изнутри, но дядя Сандро сомневался в этом.

...Арбы все еще подъезжали к сараю. Ворота открывались и закрывались, но увидеть больше того, что он уже увидел, не удавалось. Потом один из солдат вышел из сарая и ушел куда-то, а через некоторое время к сараю подошли человек сорок солдат, и все они вошли внутрь. Дядя Сандро догадался, что их привел солдат, который выходил из сарая.

Часовой, стоявший у ворот, сейчас вместе со всеми вошел в сарай и закрыл за собой ворота. Дядя Сандро заерзал от нетерпения, до того ему было любопытно узнать, чего это они там заперлись.

Подошла арба. Один из солдат вышел из сарая и, как обычно, ввел ее внутрь. Аробщик, как обычно, отошел и присел в тени алычи. Может быть, потому, что сейчас у ворот не было часового, их забыли закрыть за въехавшей в сарай арбой.

Дядя Сандро впился биноклем в открытые ворота. Даже аробщик, который сидел в холодке, на этот раз заметив, что за ним никто не следит, а ворота остаются распахнутыми, осторожно поднялся и перешел на такое место, откуда было видно, что делается внутри.

Дядя Сандро улыбнулся. Издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим. Он опять вспомнил про Главного Тамаду и подумал, что, может быть, ему так же забавно в свой небесный бинокль следить за мной, как мне за этим аробщиком? Так вот и живем, послеживая друг за другом, подумал дядя Сандро и, уже больше не отвлекаясь, следил за тем, что происходит в сарае.

На глазах дяди Сандро сооружение сдвинулось с места и отошло в глубь сарая. Он увидел множество ног, примерно по шиколотку торчащих из-под боковой стены. Казалось, чудище ожило и поползло, передвигая множеством коротких лап.

Потом оно в раздумии остановилось, постояло и снова двинулось вперед. Потом опять отъехало назад и наконец остановилось прямо напротив ворот. Из чудища посыпались солдаты. Они влезали на боковые стены и прыгивали на землю. Один из них подвел арбу к задней стене и вместе с несколькими товарищами стал лопатами засыпать в нее песок.

Теперь дяде Сандро было все ясно. Он понял, что солдаты сами же и будут изнутри толкать свою крепость. «Ну и эндурцы, ну и хитрецы»,— думал дядя Сандро, потихоньку покидая свою засаду. А все



же эндурец он и есть эндурец: голову спрячет, а хвост торчит. Ноги виднеются, значит, по ногам и можно будет стрелять.

В это время солдаты стали выходить из сарая, аробщик быстро отошел к алыче, а следом за солдатами выехала из сарая пустая арба. Ворота закрылись, и возле них, как обычно, стал часовой.

«Дурачок,— подумал дядя Сандро,— теперь-то уж мог бы и не стоять». Все-таки он чувствовал некоторую ревность к аробщику, которому и без хитроумной выдумки дяди Сандро удалось узнать, что делается в сарае. Продираясь в кустах, кружным путем дядя Сандро возвращался к дому своего друга.

\* \* \*

Ночью, дождавшись луны, дядя Сандро выехал со двора своего друга и направился в сторону Кодора. Он решил отъехать на несколько километров выше моста, чтобы не встречаться с красными часовыми, и там перейти реку. Миха сопровождал его до реки.

— Пожалуй, здесь дно полуще будет,— сказал Миха, останавливаясь возле заброшенных мостков. Видно, раньше здесь был паром, но сейчас его перенесли в другое место. От парома остался ржавый железный канат, переброшенный через реку, да столбы на обоих берегах.

В призрачном лунном свете неслись к морю воды Кодора. От весеннего таянья снегов река взбухла и помутнела. Слышался беспрерывный гул воды, кляцанье и глухие удары камней о камни, сносимых течением. Миха еще раз напомнил ему, как найти дом, где живет комиссар.

— Не забудь за меня словечко,— прокричал он сквозь шум воды,— с богом!

Дядя Сандро кивнул ему и ударом камчи загнал упирающуюся лошадь в воду. Миха криками и свистом взбадривал ее сзади.

Дядя Сандро договорился с Михой, что в случае победы красных он постарается уверить комиссара в том, что Миха всегда сочувствовал красным. Кроме того, если дела пойдут очень хорошо, они договорились, что дядя Сандро прямо оттуда, с левого берега, покажет комиссару на дом своего друга, благо он стоял на возвышенном месте и возле него росли два кипариса, чтобы комиссар предупредил своих бойцов и во время завтрашнего боя они стреляли бы поосторожней, оберегая дом левеющего свиновода.

Осторожно перебирая ногами, вздрагивая и останавливаясь каждый раз, когда копыта соскальзывали с камней, лошадь шла вперед.

Вдруг дядя Сандро услышал сквозь гул реки голос Михи и обернулся. Миха показывал рукой куда-то вверх по течению и что-то кричал. Грохот воды не давал расслышать слов, но дядя Сандро почувствовал опасность и посмотрел вверх по течению. Огромная коряга, то высовываясь из воды, то погружаясь, неслась вниз.

«Конец»,— подумал он и в то же время сделал единственное, что мог. Он остановил лошадь и вытащил ноги из стремян. Лошадь, не понимая причины остановки, попыталась повернуть, но дядя Сандро натянул поводья и удержал ее.

Он перебрал камчу в левую руку, чтобы правая была совсем свободна. Дядя Сандро решил, что, если коряга налетит на них, он попытается оттолкнуться от нее рукой. Если же она все-таки ударит лошадь и опрокинет ее, надо быть готовым к тому, чтобы бросить ее.

В эти несколько секунд решалась судьба лошади и всадника. Он навсегда запомнил эти мгновенья, когда черная коряга, мокрая и бле-

стящая, погружаясь и выныривая, неслась на него, а рядом в мутной воде, бешено подпрыгивая, шатался блик луны и лошадь мелко и беспрерывно дрожала под ним.

Метрах в десяти от них коряга погрузилась в воду, и дядя Сандро, замерев, сосредоточив всю свою волю, глядел в воду, чтобы успеть опередить любую неожиданность. И все-таки он не успел.

Она вынырнула перед самой лошадиной мордой, со страшной силой хлестнула лошадь и дядю Сандро мокрыми тонкими ветками, так что дядя Сандро на мгновение ослеп от боли и неожиданности. Лошадь мотнула головой, дядя Сандро еле-еле успел удержать поводья, а в следующее мгновение он увидел хвост коряги, вынырнувшей ниже по течению, и убедился, что это была не коряга, а целое дерево, подмытое водой. Если б оно напоролось на них, он, конечно, ничего бы не смог сделать.

— Чоу, аннасыни! — крикнул он и погнал лошадь.

Лошадь пошла, и он почувствовал первые ожоги ледяной воды сначала в сапогах, а потом все выше и выше.

— Чоу, аннасыни, чоу! — кричал дядя Сандро и гнал и гнал лошадь, чтобы она ни на миг не останавливалась.

Теперь над водой торчали только головы лошади и всадника. Дядя Сандро чувствовал, как напрягается тело животного, скособо-ченное мощным течением, и все кричал и кричал на нее, чтобы перешибить власть страха перед человеческой волей, власть страха перед стихией воды. И она шла все вперед и вперед, и у дяди Сандро уже покруживалась голова от этого тошнотворного обилия несущихся вод и неотвязчивой пляски мутного блика луны на мутной поверхности реки.

Вдруг лошадь, екнув, погрузилась в воду, копыта потеряли дно, и дядя Сандро почувствовал, что их уносит течение. Ледяная вода перекатилась через голову. За спиной мгновенно пузырьем вздулась бурка, и этот пузырь приподнял его над лошадью и стал смывать с нее. Дядя Сандро до судороги в костях стиснул ногами лошадиный живот, и в этот миг их снова вынесло над водой.

— Чоу, аннасыни! — крикнул он что есть сил.

Лошадь рванулась вперед и в каком-то допотопном земноводном прыжке нащупала ногами дно и, клацая копытами о камни, все уверенней, все яростней, все победней вынесла его на мелководе того берега. Дядя Сандро оглянулся назад, махнул рукой Михе и, еще разгоряченный смертельной опасностью, погнал лошадь вверх по отлогому берегу.

Примерно через час он подъехал к дому, где остановился комиссар. Хозяин дома был еще более редкий, чем Миха, для того времени абхазец, потому что он целиком жил торговлей, держал в деревне лавку, которая стояла прямо во дворе его дома.

Абхазец этот хорошо говорил по-русски, и дом его на высоких сваях выглядел даже на взыскательный взгляд дяди Сандро внушительно и красиво. Так что, учитывая, что дом стоял у самой дороги на Сухум, все удобства у комиссара оказывались под рукой: и толмач рядом, и дом зажиточный, и ближе всех к проезжей дороге.

Обо всем этом думал дядя Сандро, открывая себе ворота и удивляясь, что на этом чистом дворике с голубеющей от лунного света травой не видно собаки.

Въехав во двор, он заметил в черной, густой тени лавровишни двух русских лошадей под кавалерийскими седлами. Еще раньше он заметил часового, сидевшего на крыльце, и так как тот его не окликнул, дядя Сандро догадался, что он спит.

Дядя Сандро бесшумно соскочил с седла и привязал свою лошадь

рядом с этими огромными и, на его взгляд, неудобными лошадьми. Одна из них потянулась укусить его лошадь, но дядя Сандро незаметно для часового, хотя и знал, что тот спит, огрел ее камчой.

Пощелкивая камчой о голенище, стараясь этим мирным, но и достаточно независимым звуком разбудить часового, он подошел к крыльцу. На полу веранды, загородив ногами верхнюю ступеньку крыльца, обняв руками винтовку и откинувшись головой на барьер, спал боец.

Дядя Сандро, подойдя к нему совсем близко, поразился его юности, его стриженной, вытянутой кубышкой голове и тоненькой, прямотаки замученной шее, подогнувшейся под тяжестью даже этой маленькой головки.

«Как бы не выстрелил спросонья»,— подумал дядя Сандро и притронулся камчой к его плечу.

— Эй! — позвал он и осторожно добавил новое слово: — Товарищ...

Часовой не просыпался. Дядя Сандро оглядел веранду, заглянул в пустые темные окна комнат, обратил внимание, что над барьером веранды висит незнакомый предмет, как догадался дядя Сандро — бачок для умывания с торчащим из него стерженьком. Рядом на гвозде висело полотенце. Дядя Сандро уже видел в богатых домах большие мраморные умывальники, а такого маленького и удобного еще не видел. Он решил, что эту умывалку с собой привез комиссар.

«Чего только не напридумают эти русские»,— с удивлением думал дядя Сандро, оглядывая умывалку. Ему захотелось поддеть стерженек кончиком камчи, чтобы полилась вода, но он не решился, боясь владельца.

Дядя Сандро снова притронулся камчой к плечу красноармейца. Тот что-то промышчал во сне, горло у него заходило, словно он делал над собой усилия, чтобы проснуться. Он и в самом деле проснулся и хмуро, а главное, бесстрашно, что неприятно удивило дядю Сандро, оглядел его.

— Комиссара хочу,— сказал дядя Сандро просто и выразительно, чтобы боец спросонья не усомнился в его миролюбии.

— Не велено будить, — хмуро ответил боец и, поуютней обхватив винтовку, снова уснул.

Дядя Сандро вдруг почувствовал, как непривычно тяжело давит ему на плечи мокрая бурка и едва подчиняется его воле окоченевшее тело. Он снова ткнул часового камчой, теперь гораздо решительней.

— Сказано — не велено, значит, все,— сказал боец сердито и тут же закрыл глаза.

Тут дядя Сандро заметил, что рядом в кухне зажегся свет, оттуда донеслось какое-то перешептывание. Он понял, что там хозяин. Он уже хотел было пройти туда, но отворилась дверь и из кухни вышел человек. Почему-то прикрыв глаза ладонью, он стал неуверенно приближаться к дяде Сандро, стараясь издали его узнать, даже как бы испытывая, поддается ли этот человек узнаванию.

— По обличью вижу, что ты наш,— сказал человек, слегка сожалея, что узнавание остановилось на самой общей этнографической стадии.

— Да,— сказал дядя Сандро,— я Сандро из Чегема.

— Добро пожаловать,— сказал хозяин, радуясь родной речи и удивляясь визиту,— но что тебя пригнало в такое время из Чегема?

— Я сейчас не из Чегема, я оттуда,— сказал дядя Сандро и кивнул в сторону Кодора. Он покосился на бойца, но тот безмятежно спал.

— Да ты, я вижу, весь мокрый. Эй,— оглянулся он в сторону кухни,— пораздвинь головешки, человеку погреться надо. Войдем,— повернулся он к дяде Сандро. Тайный жар любопытства придавал его голосу воркующие нотки.

— Мне комиссара надо увидеть, да этот паренек не пускает,— сказал дядя Сандро.

— Эти целый день готовятся к завтрашнему,— заметил хозяин и кивнул на часового,— вот этот мальчишка сегодня два раза скакал в Сухум. Если его лошадь выживет, значит, я ничего в жизни не понимаю.

— Да, такое время,— протянул дядя Сандро неопределенно.

В щелях дощатой кухонной стены посветлело, и дядя Сандро понял, что это занялся очаг. Он уж было хотел войти туда, но тут скрипнула дверь и из комнаты на веранду вышел человек в нижней рубашке. Уверенно шлепая босыми ногами, он подошел к барьеру. Это был комиссар. Боец, как только скрипнула дверь, мгновенно вскочил и стал с винтовкой.

— Что случилось?— спросил комиссар, наклоняясь над барьером веранды и одновременно почесывая лохматую грудь.

— Я оттуда,— кивнул дядя Сандро в сторону Кодора.

— Ну и что?— спросил комиссар и, перестав чесаться, подтолкнул стерженек умывалки и провел мокрой ладонью по ржавой щетине лица.

Дядя Сандро, ожидавший более достойного приема, обиженно молчал.

— Может, еще расскажешь про деревянный броневик?— спросил комиссар, не слишком торопясь и любуясь, как показалось дяде Сандро, его растерянностью. Комиссар еще раз подтолкнул ладонью стерженек, плеснул воду на лицо и посмотрел на дядю Сандро более осмысленно.

— Для этого приехал,— сказал дядя Сандро и, стараясь остаться независимым, шлепнул камчой по сапогу.

— Вот люди,— усмехнулся комиссар,— шестой человек приезжает с этой чепухой, да еще просит учесть его заслуги...

Дяде Сандро слышать это было очень неприятно. Мало того что его опередили другие (чертов аробщик не только не стал держать про себя тайну, но, как выяснилось позднее, даже слегка поторговывал ею в ту последнюю ночь), но особенно неприятно было то, что дядя Сандро в самом деле ждал от комиссара хотя бы скромного вознаграждения. Ну, скажем, хотя бы обещания оберегать во время боя дом его друга.

— Да передай ты своим...— тут комиссар запнулся, потому что дядя Сандро особенно независимо и ловко щелкнул камчой по голенищу сапога,— что нам не страшно никакое меньшевистское пугало и пусть больше с этим никто не приезжает,— закончил он, уже с ненавистью глядя на руку дяди Сандро, сжимающую камчу.

Возможно, от раздражения он чересчур сильно ударил ладонью стерженек умывалки и вбил его в бачок. Струйка воды безостановочно полилась. «Интересно, что он сейчас будет делать?»— подумал дядя Сандро.

Комиссар ничего не стал делать, а неожиданно подставил голову под эту струйку, тем самым, как показалось дяде Сандро, намекая ему, что для красных никаких неожиданностей не бывает и он, комиссар, эту безостановочную струйку предвидел так же, как и деревянный броневик меньшевиков.

Дядя Сандро мог поклясться, что за мгновение до удара по стерженьку комиссар ничего такого не предвидел, но доказать это было

невозможно. Комиссар, сопя и потирая руками шею, держал голову под струей. Дядя Сандро ждал то ли конца струи, то ли когда комиссар, не дожидаясь конца, все-таки подымет голову.

— Он говорит, что они и так управятся,— пояснил хозяин по-абхазски, чтобы смягчить обстановку, и тихо прибавил:— Не щелкай камчой... Эти этого не любят...

Дядя Сандро был оскорблен приемом, но все-таки считал, что дело надо довести до конца, тем более что он еще не изложил комиссару главного, а именно: как надо бороться с этой движущейся крепостью. Все же в знак обиды за плохой прием он решил с комиссаром по-русски больше не говорить.

— Скажи ему,— обратился он к хозяину, несмотря на опасность, похлестывая камчой по голенищу,— чтобы они пулеметы под самый мост поставили.

Хозяин переводил и, делая страшные глаза, косился на щелкающую камчу, но дядя Сандро предпочел не заметить намека.

В это время комиссар уже поднимал голову, а юный часовой, окунув руку в бачок, шарил в нем, стараясь просунуть стерженек на место. Наконец стерженек с лязгом затвора выщелкнулся в отверстие, а комиссар, подняв голову, стал утираться полотенцем. Часовой опять отошел к крыльцу.

Комиссар, слушая перевод, все пристальней вглядывался в дядю Сандро.

— Это почему же я должен огневые точки менять?— спросил он, не спуская глаз с щелкающей камчи.

— Скажи ему, что в крепость нужно стрелять сбоку и снизу, потому что у солдат ноги высовываются по щиколотку,— сказал дядя Сандро и опять же кончиком плети провел по сапогу, показывая, до какого места высовываются ноги у меньшевистских солдат из-под деревянного броневика.

— Да припрятал бы ты свою камчу подальше,— успел проговорить хозяин дядю, но было уже поздно.

— Марш отсюда!— заревел комиссар страшным голосом, и дядя Сандро услышал, как рука его зашуршала в поисках кобуры.

Кажется, дядя Сандро никогда так не пугался. Он почувствовал, что тело его все туже и туже стягивается кожей, словно сама плоть его старалась уменьшить себя, перепеленать, перетянуть, дожать себя до размера кокона и притаиться в нем.

И в то же время он краем глаза видел, как рука комиссара продолжает шарить на боку, он успел решить, что, как только она вытащит пистолет, надо прыгать под дом (дом стоял на высоких сваях), пробежать под ним, перемахнуть через изгородь и дальше рвать огородом. Краем глаза он успел заметить огромное корыто для выжимки винограда, стоящее под домом, старую соху, прислоненную к нему, подумал, как бы не споткнуться о нее, заметил собаку, вернее догадался, что серое бесформенное пятно, лежащее у корыта, это собака, и вдруг на долю секунды вспомнил, что в детстве вечно его чувяки из сыромятной кожи таскала собака и вот так, забравшись под дом, грызла их там часами. И вдруг это воспоминание как-то зацепило другую, более важную догадку, что комиссар без пояса и, значит, без пистолета и сколько ни шарь он у себя на боку, все же в этот миг он выстрелить не сможет, а там видно будет.

— Товарищ комиссар, разрешите, я его сниму,— сказал красноармеец и вскинул винтовку.

Но тут очнулся хозяин и, бросившись вперед, загородил дядю Сандро.

— Нельзя, мальчик! Гость! Гость!— крикнул он, глядя на бойца и отчаянно махая перед лицом ладонью.

— Ладно тебе,— махнул комиссар своему часовому и обернулся на хозяина.— А своему гостю скажи, чтобы не вмешивался.

— Хорошо, дорогой,— сказал хозяин и потащил дядю Сандро на кухню.

— Плеткой играют,— вздохнул красноармеец, жалея, что не смог выразить свое возмущение более решительным способом.

— Они у меня доиграются,— проворчал комиссар,— буди командира, совещаться будем...

В кухне у очага уже пылал большой огонь, и дядю Сандро к нему подсадили. Хозяин приказал достать водки, и через мгновение жена его, быстрая и бесшумная, как летучая мышь, принесла бутылку розовой чачи, две рюмки и тарелку наломанных чурчхелин на закуску.

Только выпив подряд шесть-семь рюмок, дядя Сандро почувствовал, что к нему возвращается жизнь. Хозяин предложил ему дожидаться мамалыги и поесть поплотней, но дядя Сандро встал.

Хозяин вывел его со двора и проводил до самого конца усадьбы.

Когда дядя Сандро сел на лошадь, он почувствовал, что хозяин как-то неловко замешкался.

— Сдается, хочешь что-то сказать?— спросил он.

— Ты не ошибся,— согласился хозяин и прибавил:— Сам видишь, что за время. Боюсь, что завтра здесь окажутся меньшевики... Как бы семья не пострадала за то, что у меня комиссар остановился...

— Сделаю что могу,— кивнул дядя Сандро, отвечая долгим взглядом на долгий взгляд хозяина.

— С богом,— сказал хозяин и отпустил поводья лошади, которую он придерживал, пока разговаривал с гостем.

Следующий день выдался таким же ясным и погожим. С утра по всему селу перекликались коровы и телята, буйволицы и буйволята, овцы и ягнята, козы и козлята. И только ослы кричали сами по себе, и голос их был одинок, как голос пророка.

Многие очевидцы этого утра теперь утверждают, что скот села Анхара предчувствовал начало боя, хотя с достоверностью, этого утверждения трудно согласиться, потому что он, то есть скот, по приказу командования и по собственному желанию крестьян держался взаперти.

Если б его, как обычно, выпустили на выгон, может быть, он и не кричал бы. Но так как голодный скот, находясь взаперти, всегда дает о себе знать, теперь трудно установить, в самом деле он предчувствовал кровопролитие или нет. Тем более кровопролитие не своих собратьев, а именно людей, то есть тех, кто перерезает им глотки, сушит их шкуры на распялках и варит их мясо в огромных пиршеских котлах. Так что с какой стати он, то есть скот, должен предчувствовать человеческое кровопролитие и тревожиться по этому поводу, непонятно.

Ссылка на то, что скот перестал кричать, как только началась перестрелка, тоже ни о чем не говорит. Во-первых, после такого шумового воздействия, как перестрелка двух армий, что ни говори, скотина могла испугаться и замолкнуть. А с другой стороны, не исключено, что скотина и не замолкла, но просто ее перестали слышать за грохотом битвы. В конце концов, скотина могла замолкнуть из здравого смысла, то есть поняв, что пока люди что-то говорят друг другу своими хлопущками и трещотками, ей, пожалуй, лучше помолчать, потому что все равно ее никто не услышит.

По всему по этому я думаю, что утверждение некоторых очевид-

цев, что скот села Анхара, проявляя массовое ясновиденье, предсказывал бой, не имеет под собой серьезной научной почвы.

Итак, ровно в восемь часов утра меньшевики открыли сильный пулеметный и ружейный огонь по позициям красных. Наши отвечали им тем же, хотя, по скорбному наблюдению очевидцев, на этот раз их огневая мощь уступала противнику.

Через полчаса на глазах всего села Анхара из сарая выползло деревянное чудище и направилось в сторону моста. Сначала, проходя по селу, оно шло равномерно и грозно, но потом, на спуске возле моста, оно чересчур разогналось. Ударилось о боковое перило и, выломав его, чуть не вывалилось в реку.

Внутри чудища, пока оно, потеряв управление, несло на перила, говорят, раздавались вопли людей. Так что, возможно, оно, еще не успев поразить красных, покалечило кое-кого из меньшевистского отряда.

Когда чудище вышло к реке, стрельба с обеих сторон прекратилась. По-видимому, на красных произвели сильное впечатление огромные размеры этого сооружения. Если красные перестали стрелять, изумившись этому первому и, может быть, последнему в мире деревянному танку, то меньшевики перестали стрелять, вероятно, для того, чтобы дать красным спокойно ужаснуться своему положению. Психологически это было верным шагом, во всяком случае так находят знатоки военной тактики.

Но потом, когда танк (или чудище? или броневик? или крепость? — дядя Сандро его все время называет по-разному), — так вот, когда он раскатился и проломил перила моста, чуть ли не на треть высунулся над рекой, а главное, когда послышались крики раздавленных им своих же солдат, красные очнулись, и с того берега раздались довольно обидные для меньшевиков смех и улюлюканье. Для меньшевиков это было особенно обидно, потому что и то и другое было хорошо слышно жителям села Анхара.

Однако через некоторое время (переменчиво военное счастье) выяснилось, что смех и улюлюканье оказались преждевременными. Дело в том, что солдаты, находившиеся внутри крепости, сумели взять себя в руки, дать задний ход, выровнять свою машину и, помня издевательский смех и особенно улюлюканье, с удвоенной яростью ринулись на позиции красных. По словам дяди Сандро, эндурцы издевательский смех кое-как еще переносят, но улюлюканье приводит их в неимоверную свирепость.

Конечно, наши встретили приближающийся танк пулеметным и ружейным огнем, но это было все равно что по буйволу стрелять из рогатки. Наш каштан крепок, как железо. К тому же строительный материал, как мы знаем, был получен меньшевиками не по каким-то там казенным поставкам, а свеженьким, из рук в руки.

Надо сказать, что чудище не только приближалось, но и довольно густо поливало позиции красных ружейным огнем. Для этой цели между балок были проделаны смотровые щели. И когда оно стало подходить к той стороне моста, наши дрогнули, тем более что помнили свой издевательский смех и улюлюканье. Сначала побежали неопытные бойцы по причине своей неопытности, а потом дрогнули и стыдливо побежали опытные бойцы именно потому, что были опытные и никогда ничего такого не видели.

Правда, комиссару и командиру удалось остановить бойцов и создать новую линию обороны. Кто его знает, может, комиссар в эту минуту и жалел, что не послушался дядю Сандро, может, разговаривать он с ним по-хорошему, дядя Сандро рассказал бы ему немало интересного о нравах эндурцев, в частности дал бы ему знать, что

улюлюканье в обращении с эндурцами должно быть полностью исключено, хотя бы на время боя.

Может, теперь жалел обо всем этом комиссар, хотя, может, и не жалел, потому что в суматохе мог и не припомнить о предложении дяди Сандро, что в чудовище надо было стрелять сбоку и снизу, потому что ноги эндурцев по щиколотку оставались открытыми.

Когда с левого берега заметили, что красные побежали, меньшевики ринулись за ними конными и пешими рядами. То ли порыв был так велик, то ли по мосту двигаться было все-таки опасно, но многие конники бросились в реку и стали переходить ее вброд, благо здесь она несколько шире и мелководней, чем там, где ее переходил дядя Сандро.

Тут кое-кого красные перебили, конечно, а кое-кого смыла вода, так что они сами захлебнулись. Все же большинство добралось до другого берега. Кстати, в самом конце моста деревянный танк одним задним колесом проломил настил и, осев, уже никак не хотел сдвигаться с места.

Именно эта заминка помогла красным укрепить новую линию обороны, но меньшевики были уже на том берегу.

Говорят, когда всадники вброд переходили Кодор, вдруг над всеми винтовочными выстрелами и трескотней пулеметов раздался страшный человеческий крик. Это кричала жена Кунты.

Сын Кунты сидел на белой лошади, и его все, кто из села следил за боем, видели. Видел его и дядя Сандро, который следил вместе с Михой за этим интересным сражением, стоя за одним из кипарисов, украшавших двор его друга. И так как дядя Сандро следил за происходящим в свой бинокль, он это видел лучше остальных.

Сын Кунты спустился вместе с остальными конниками к дельте Кодора и уже перешел один из ее мелких рукавов, как вдруг лошадь идущего впереди рванулась в сторону, сбросила своего всадника и помчалась назад.

Разгоряченный всадник вскочил и уцепился за хвост подвернувшейся ему белой лошади. Это был солдат, а не доброволец, потому что, по словам дяди Сандро, доброволец побежал бы за своей лошадью, а не стал бы цепляться за хвост чужой.

В бинокль было видно, как сын Кунты обернулся к нему и стал спорить, а лошадь, разбрызгивая гальку, кружилась между основным руслом и рукавом. Видно, они пришли к согласию, потому что Кунта остановил лошадь, солдат животом вспрыгнул на нее, лошадь пошла вперед, и уже в воде солдат сумел перебросить ногу и усесться за спиной всадника.

Они прошли самую стремнину, когда вдруг лошадь и оба всадника исчезли под водой. Село ахнуло в один голос, но тут над водой, уже гораздо ниже, появилась голова лошади и две человеческие головы. Через мгновение опять все исчезли, а потом появилась над водой одна человеческая голова. Было видно, как человек борется с течением, как его относит и относит вниз.

Он выплыл под самым мостом, и когда вылез на берег, по одежде все поняли, что уцелел солдат. Тогда-то и раздался страшный крик жены Кунты, видно, она до последнего мгновения надеялась, что выплывет ее сын.

В тот день сражение окончательно перекинулось на ту сторону, и когда до вечера оставалось два-три часа, жители Анхара решились выпустить на выгон проголодавшийся скот.

С неделю поблизости от этих мест шли упорные бои. Так рассказывают об этом учебники истории, ссылаясь на очевидцев, а так-



же подтверждают очевидцы, отчасти ссылаясь на учебники истории. Но потом бойцы славной Десятой армии разбили и отбросили противника из пределов Абхазии.

Но до этого, к сожалению, еще было далеко как в описанный, так и на следующий день, когда дядя Сандро встретил Кунту на проселочной дороге.

Кунта шел с мокрым, разбухшим седлом за плечами. Увидев дядю Сандро, он молча остановился и уставился на него недоумевающим взглядом. Дядя Сандро и Миха, который его провожал, спешились и подошли к нему выразить соболезнование.

Кунта молчал. Дядя Сандро, глядя на его покрасневшие веки, на его большой, сейчас скорбный нос, на его жилистые кулаки, сжимавшие подпругу седла, с трудом удержался, чтобы не разрыдаться, как женщина.

Оказывается, в нескольких километрах от моста вынесло труп лошади. Кунта снял с него седло, чтоб не украли. Сейчас он нес его домой, откуда собирался выйти вместе с односельчанами на поиски тела сына. Он сказал, что как только похоронит сына, пойдет догонять меньшевиков, чтобы встретиться с тем парнем, что подсел к нему на лошадь.

— Зачем?— спросил дядя Сандро.

— Может, мальчик перед смертью что-то ему сказал,— проговорил Кунта и беззвучно заплакал, одними глазами. Слезы вместе с потом стекали по его лицу, и он время от времени утирал их кулаком, напряженно сжимавшим подпругу.

Что ему мог сказать дядя Сандро? Он молча обнял Кунту, и тот поплелся по дороге с мокрым старым седлом на плечах.

— Каким был вчера и какой сегодня,— вздохнул Миха, глядя ему вслед.

Дядя Сандро ничего не ответил, и они снова сели на лошадей.

*(Продолжение следует)*



---

*К 600-летию со дня рождения Имадеддина Насими*

## ВЕЛИКИЙ СЫН АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

*С азербайджанского*

В многовековой истории поэзии Азербайджана великий поэт и философ Сейид Имадеддин Насими занимает особое место. В его творчестве ярко и своеобразно воплотились идейные течения и прогрессивная мысль отдаленного от нас века. Он был в подлинном смысле слова сыном своего времени, активным и деятельным гражданином общества и страны, которым принадлежал.

Имадеддин Насими родился в городе Шемахе, который на протяжении более трехсот лет являлся одним из крупных политических, экономических и культурных центров средневекового Азербайджана и славился высокими поэтическими традициями. Не случайно в зрелом возрасте, кроме своего родного азербайджанского языка, Насими в совершенстве владел персидским и арабским языками, прекрасно знал классическую литературу Азербайджана, Ирана, Древней Греции. Так же как и его предшественники Хагани, Низами, Хайям, он был энциклопедически образован: знал астрономию и математику, биологию, географию, философию и логику, мусульманскую и христианскую теологию.

Великий поэт жил и творил в трагическое время. Азербайджан и весь Ближний Восток жестоко страдали от нашествий полчищ Тимуленга, повсеместно сеявших страх. В таких исторических условиях в 80-х годах XIV века в Азербайджане возникло еретическое социально-философское движение хуруфизма, виднейшим деятелем и величайшим певцом которого впоследствии стал Насими. Хуруфизм, хотя и имел религиозную окраску, по существу был антифеодальным движением, направленным против догм ортодоксального ислама и господства тимуридов. Произведениями, полными образов, метафор, откликнулся Насими на все современные ему события, на религиозные, философские, социально-политические, нравственные и житейские проблемы.

Наряду с философскими газелями он создал чудесные образцы любовной лирики, в которой воспел тончайшие чувства человеческого сердца, его благородную потребность в прекрасном и возвышенном. Собственно лирические газели поэта отличаются романтической приподнятостью, неожиданными поворотами мысли, натуральностью чувств и искренностью интонаций, изяществом и блеском поэтического языка.

Трагически сложилась судьба поэта. Он был убит в 1417 году в сирийском городе Халебе (Алеппо), куда вынужден был бежать от преследования тимуридов за свободолюбивые стихи, за провозглашение человека «средоточием всего сущего», за «Ана-хагт!» («Я — истина, я — бог!»). Власть имущие и фанатическое духовенство приговорили Насими к страшной казни: с него живого содрали кожу. Но поэт до последнего вздоха держался мужественно, он не отрекся от своих убеждений.

Юбилей великого сына Азербайджана широко отмечается и в нашей стране и за рубежом.

**Мирза ИБРАГИМОВ,**

первый секретарь правления Союза  
писателей Азербайджанской ССР.

## *Ты в моих глазах*

Аллах, который в нас вселяет страх,  
Тебя в обоих пусть простит мирах.

Период красоты твоей извечен,  
Я это вижу: ты в моих глазах.

Ты — чудный райский сад, и силы злые  
Не могут обитать в таких садах.

«На смерть обречено все в этом мире» —  
Я стих такой прочел в твоих кудрях.

Хоть вечен мир, но без красы нетленной  
Весь мир давно поник бы и зачах.

От сладких губ твоих — Исы<sup>1</sup> дыханье,  
В твой сад спустил архангела аллах.

Мне ведомо: твой облик переняли  
Все гурии в надоблачных краях.

Святой аят<sup>2</sup> «Я воскрешаю мертвых!»  
Спит на твоих рубиновых губах.

Твой чудный лик стал красотой вечной,  
И вера Насими в твоих чертах.

## *Нужен...*

Чтоб увидеть тебя, мне знак нелживый нужен,  
Чтоб гайну толковать, благочестивый нужен.

Чтобы явилась ты кому-то, как Муса,  
И посох, и Синай, и огонь счастливый нужен.

Пленяет в мире всех дыхание твое,  
Аскету и тому твой лик красивый нужен.

Незрячему вовек не увидеть тебя.  
Чтоб видеть, и в раю взгляд прозорливый нужен.

Не ведать людям злым достоинства твои.  
Чтобы тебя узнать, нрав негневливый нужен.

Чтоб мог я, Насими, увидеться с тобой,  
Мне от тебя привет хоть молчаливый нужен.

---

<sup>1</sup> Мусульманский пророк.

<sup>2</sup> Стих Корана.

## *Нашел*

От горя я бальзам в твоих глазах нашел,  
Живую воду я в твоих слезах нашел.

Одновременно я неверие и веру  
Нашел в твоих устах, в твоих кудрях нашел.

Чтобы запрятать клад твоей красоты, я место  
В развалинах души, велик аллах, нашел.

Зачем грядущий рай, я рай обрел сегодня,  
Когда от ног твоих у двери прах нашел.

Что в небесах луна,— я лунное сиянье  
На грешной сей земле, не в облаках нашел.

Нашел я утра свет, свет ночи в полнолунье,  
Я знаменье свое в твоих лучах нашел.

С чем мне сравнить твой лик, твои ресницы, брови?  
Я алкоран<sup>3</sup> святой в твоих чертах нашел.

Тому, что человек — частица сути божьей,  
Я доказательство в твоих словах нашел.

О ты, чей лик — Кыбла<sup>4</sup>, михраб<sup>5</sup> — глаза и брови,  
Я жертву для тебя в людских сердцах нашел.

*Перевел Н. ГРЕБНЕВ.*

## *Я жадно слушаю тебя...*

Сгорает сердце, как свеча, с тех пор, как мы разлучены  
Так гибнет каждый, кто влюблен, своей не ведая вины.

Я сердце превратил в мишень во имя истинной любви,  
Я — цель для стрельчатых ресниц, мне злые муки  
суждены.

Я жадно слушаю тебя, впивая сладостный дурман.  
Другие речи и слова отныне смысла лишены.

В силках рассыпанных кудрей маняще родинка сквозит,  
Приманка, дивное зерно в сетях, которые нежны.

Тебе подобной не найти ни в небесах, ни на земле,  
Приди, молю, мой ясный свет, перл, не имеющий цены.

Я добровольным стал рабом, но умоляю об одном —  
Меня на рынке не меняй, другие в рабстве неверны.

<sup>3</sup> Коран.

<sup>4</sup> Место, к которому обращаются во время молитвы.

<sup>5</sup> Ниша во внутренней стене мечети, указывающей направление к Мекке.

Пусть ходит праведный в мечеть, должна иных ты  
лицезреть.  
Тех, кто пирует в кабаке, чьи кубки горечи полны.

Тот, кто достойно хочет жить, не должен жизнью  
дорожить,  
Миг встречи или вечный рай для истомленного равны.

Средь глины золото найдут, в горах добудут изумруд,  
Но кто поднимет дивный перл из недоступной глубины?

Сегодня с милой будь своей, напрасно ждать грядущих  
дней.  
Вы будете всего верней судьбой навек разобщены.

Знай: Насими, слагая стих, в кудрях запутался твоих,—  
В тугие звенья черных кос влюбленных души влетены.

*Перевела ТАТЬЯНА СТРЕШНЕВА.*



---

---

НИКОЛАЙ АТАРОВ

★

## ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Ты думал когда-нибудь о дорогах, Саша? О том, что они нигде не кончаются? Вот этой дорогой можно поехать далеко-далеко, а там она сольется с другой, а та перейдет в новую дорогу, и от той пойдут куда-то проселки, тропки. Нигде не кончаются. Куда бы ни поехал, ни пошел — дорога, дорога без конца.

В. Овечкин.

### *Глава первая*

1

**В** последний год случались с Овечкиным непонятные обмороки. Врачи строили догадки. Екатерина Владимировна как-то вышла в сумерках посидеть на лавочке во дворе, в Ташкенте жили они на первом этаже. Муж остался в комнатах. Вдруг в окне кабинета свет зажегся и сразу погас. В предчувствии беды она побежала в квартиру. Он лежал на полу, а кругом стеклянные осколки настольной лампы.

Я сблизился с ним в тяжелые дни на Керченском фронте весной сорок второго года. О тех событиях ничего не написано, да и я еще не решаюсь. Но тем, кто там был, забывать их не следует хотя бы потому, что, как сказал Хемингуэй в похожих обстоятельствах, «то было время, когда всем казалось, что все потеряно, и у каждого сохранилась более ценная, чем отличия и награды, память о том, как он поступает, когда кажется, что все потеряно».

В Керчь я выехал с назначением во фронтовую газету в марте. Под вечер проводницы истопили печь. Стало душно.

Вынужденное безделье в московской квартире в ожидании нового назначения и новое прощание с семьей, провода меня немножко душевно расслабили. С начала войны я находился в войсках под Ленинградом, в кольце блокады, и сейчас думал об оставшихся там товарищах, а теперь и домашних было жаль, представлял, как жена возвращается одна с Казанского вокзала. Я находился в том странном разладе чувств, что даже вид из окна вызывал приступ жалости и вины, как будто личной вины за вражеское нашествие. Чем дальше к югу, тем бесприютнее казались потемневшие сугробы зимы. Вдоль полосы отчуждения полузаметенные зигзаги окопов, радиальные черные следы вокруг воронок. И я твердил про себя: ведь это толстовские места, тургеневские, буинские.

И ехал к тому же не по-солдатски: в мягком вагоне. Вот и окно зашторили. Синий свет плафона. Лежу на спине и думаю. О чем же? Напротив седая глазастая женщина. Она то раскрывает и закрывает

сумочку, то нервно листает книжку. И вдруг, уткнувшись в платок, рыдает. Рассказывает, как муж в сентябре отправил ее в Ульяновск к ее подруге консерваторской, а в феврале, когда вернулась, он не захотел прописать ее в их собственной квартире. Даже не проводил на вокзал, а ведь расстались навсегда, она едет к сестре в Баку. Она перла ладошку о ладошку, показывала нервную экзему на пальцах. Она была наглухо отключена своим непоправимым горем ото всего — от взорванных водокачек, от фанерныхobelisks над бугорками братских могил.

Горе? Конечно, горе. Жаль ее? Конечно, жаль. Но я не мог ее жалеть, как пожалел бы год назад. Мыслями моими все еще владел Ленинград. И снами моими, слухом моим. Я засыпал, и перестук вагонных колес тотчас переходил в монотонный звук метронома ленинградской радиосети. Я видел себя застигнутым воздушной тревогой в каком-то узком дворе. Потом все затихало. И только высокий белый след в небе. Все понимают: наши идут. Воздушный патруль. Значит, небо чисто, сейчас будет отбой... От этого я просыпался. А перед глазами трамваи, вмерзшие, как корабли в лед, в площадь Финляндского вокзала, и защищенный мешками знакомый броневик. Лежа с открытыми глазами в спальном купе, я размышлял о том, что много невероятно правдивых подробностей уже упустил, не записал: как в теплушки товарного поезда закидывали и отправляли из сестрорецкого леса роту лыжников, совсем ослабевших от голода — самим им было уже не дойти; как с вязанками хвороста за плечами старухи гуськом, точно брейгелевские слепые, брели по Дворцовой площади мимо карриатид Эрмитажа. Потом вспоминался звук пилы на рассвете — звук был какой-то синеватый. Помнится, я тогда на рассвете писал статью для своей армейской газеты: «Наши резервы неисчислимы». Спросонок мне нравилась фраза «С гор спускаются чеченцы», я повторял ее и просыпался. Но уже в вагоне. Жужжа фонариком, смотрел на часы. Нет, еще рано вставать...

Где стоит наш поезд? Что-то не слышно стука колес, но зато кружится, кружится в ушах старинный куплет: «Питер—город, не село. Ходит птичка веселю; Питер — город...» Впервые в свои тридцать четыре года ты понял в Ленинграде самое важное — что ты не единственный со своей драгоценной жизнью.

...Ночью долго стояли без паровоза. Я вышел. На соседнем пути — встречный. На буферах и на крышах оочевенвшие бабы с мешками, похоже как в восемнадцатом году. Я это видел только в кино. И опять на всем белом свете свистит, задувает метель. И опять какая-то неловкость: своими шторами в мягком вагоне мы ограждены от этих волн запоздалой белой бури.

С трудом протискиваюсь в коридоре меж сидящих, лежащих, как на привале, бойцов. В купе меняются, теснятся попутчики, спят посменно. От Москвы несменяемый только один старшина Тихоокеанского флота. Ему — в Севастополь. Он веселый. На станциях развлекает колхозниц: продается «на мыло». Проводницам называет себя хитроумным Одиссеем, нашей грустной попутнице предлагает обучить ее китайской игре в кости под названием «ма-джонг».

— Где же кости? — спрашивает она, кутаясь в платок.

— Под Москвой, на волоколамском направлении... — И взгляд сразу становится холодным, трезвым.

В Тихорецкой весна — кавказский воздух без ветра, обжигающий лицо, и серебро пирамидальных тополей, и южный говор. Черная земля усыпана подсолнечной лузгой. В бричке поверх толстых чувалов сидят грудастые казачки, сытые, озорноватые, с загорелыми руками. Моряк высадил седую даму, ставшую сразу похожей на обезьянку,

и в приступе великодушия прогуливает ее из конца в конец поезда. И она повеселела, кокегничает.

На дальнем пути эшелон. И голос из рупора:

— Ленинградцы! Ваш поезд отходит через тридцать минут!

В дверях теплушек — сразу видно — городская публика. Три студентки, все три в роговых очках, в лыжных штанах, у одной меховая горжетка на плече. Они сидят, свесив ноги в фетровых ботах. Дистрофия — нет сил соскочить на землю. В пути их восстанавливают гущенным молоком, маслом, сахаром. Я-то уже скоро три месяца как из Ленинграда, и они рассказывают мне, что зима там никогда не кончится, там все вымерзло.

Небритый студент с грязно-смуглым лицом, в котиковой, верно, отцовской шапке прикурил у одной из сидящих и побрел с чайником к кипяильнику.

— Опоздаешь, Владик!

Из местного поезда вышел рослый бородач в кубанке, зычно, чтобы слышали, спросил:

— Стало быть, из Питера одну интеллигенцию вакуируют? А нам-то уши загуляют по радио.

Студентки как будто не заметили его пугачевскую ухмылку. А мне она что-то напомнила. Так ведь он же описан Овечкиным! Вылитый дед Ошибка из рассказа Овечкина — упрямый старик, который натерпелся когда-то от царского режима и потому ничему не верит, все новое меряет старым: районного инспектора — десятским и сотским, политотдел — становым. До войны я прочитал этот рассказ и вскоре познакомился с Овечкиным в писательском клубе в Москве. Увидел, послушал, и понравился он мне как-то по-особому. Прощаясь, он запросто пригласил: «Приезжайте ко мне на Кубань». Вот — приехал. Где-то он теперь, на каких фронтах?

Паровозы заголосили — это воздушная тревога. А я и не думал, что здесь столько зенитных батарей. Все небо зарябилось клубками разрывов. Местный поезд погнали в один край станции, нас — в другой, а ленинградский остался — к нему только подходил паровоз.

В полутьме небрежного затемнения тыловой Краснодар взволновал знакомый с детства атмосферой южного города. Был звездный вечер пасхального воскресенья. Повсюду пели, смеялись. А ведь рядом война. В кафе подали блинчики с вареньем. Потом я долго сидел на бульваре, судачил с ночным сторожем — о филлоксере, загубившей виноградники, о журавлиных косяках, уже летящих из Персии.

— А война?

— Чего-с?..

Когда в шестом часу утра я отправился на аэродром, чтобы лететь в Керчь, все неожиданно переменилось: погода нелетная, низкий туман. Горбоносые лейтенанты, выпускники пехотного училища, по-кавказски жестикулируя, напирают на оперативного дежурного, чтобы он выпустил самолет безо всякой погоды. Летчик хлопает перчаткой по столу и, не устаивая даже улыбкой, поглядывает на джигитов.

Чуть прояснилось, и нас отправили. Шли низко над измокшей плюшевой приазовской степью. От нас бежали коровы и овцы. Потом потянулись ставки и камыши гнилого моря. Мы летели в полупустом «дугласе», можно было переходить от иллюминатора к иллюминатору. Над проливом горизонт накренился, и с ним торпедные катера и баржи. И сразу в лоб двинулись коричневые скалы крымского берега.

Улицы Керчи, когда я зашагал по ним в поисках комендатуры,



меня ошеломили. Даже после Ленинграда. Женщина, выглянувшая из подъезда, сказала: только что был очередной налет. Восемнадцать «юнкеров». Пошвырялись неаккуратно, потому что зенитчики работают хорошо — сбили не то пять, не то шесть.

А в конце дня я ехал в попутной «эмке» в штаб фронта с каким-то полковым комиссаром. Небо в косматых тучах. А вокруг — степь. Ни огонька. Ни бугорка. После северной лесистой зимы и вчерашнего пасхального Краснодара впечатление библейской первоначальности бытия. От Керчи до передовых — сто километров, а вся ширина фронта — шестнадцать километров от моря до моря.

Обогнали медленный обоз. Ездовые в зеленых панاماх везут из Керчи чердачные балки, крашенные двери, половицы.

— Не хватает топлива, — рассказывает попутчик и вдруг ни с того ни с сего: — А знаете, что останется от войны? Дороги!

В штабе фронта нелегко найти корреспондентский пункт и сотрудника, передающего информацию для газеты. От села Ленинского до хутора Тайгуч, конечной цели моего путешествия, оказывается всего восемь километров. Но при мне чемодан, пишущая машинка. Как добраться? Не пешком же ночью. Мы сгоняли две-три партии в шахматы, и я взгромоздился спать на столе, когда меня тронул за плечо человек, которого буду называть Главным. Я вручил предписание и письмо от моего ленинградского главного, добрейшего и деликатнейшего подполковника Прусьяна.

— Ну что ж, поехали, — сказал Главный и натянул на затылок высокую папаху.

Всю дорогу он недоступно помалкивал. Я не стал нарушать его привычек. Он не выдержал первый.

— Знаете, я одному товарищу сейчас назвал вашу фамилию. Он плечами пожал: не слышал о таком писателе. Это он о вас.

Зачем так со мной? Чтобы сразу установить субординацию?

— Я незнаменит, — пробормотал.

Мы замолчали.

Тьма непроглядная. Шофер вел машину с полуоткрытой дверцей, стоя на подножке. Вдали справа мерцала заревами Керчь, там бомбили.

— Самый шумный город в России, — сказал шофер.

Звук человеческого голоса снял напряженность. Ради разговора я спросил Главного:

— Кто у вас писатели?

— Илья Сельвинский. Расул Рза, азербайджанский поэт. Валентин Лосев, москвич.

Помолчали. Потом он припомнил:

— Есть еще Овечкин. Но, впрочем, я его не читал. Он по вольному найму.

— Овечкин!

В моем восклициании было что-то для него неожиданное.

— А что вас так удивило? В Москве его знают?

— Как же, он печатался в «Красной нови». В каком он звании?

— Я же вам сказал: по вольному найму. Щеголяет в кубанке с красным верхом, чтобы видели, куда бомбить.

Я не слушал, о чем он еще бормотал сквозь зубы.

Вот мы и встретимся! Пусть хоть в Крыму, не на Кубани. «Не аттестован... По вольному найму».

Не аттестован?

Всего год назад мы именно аттестовали Овечкина. Был вечер встречи с ним в московском писательском клубе. Многие тогда приш-

ли в уютную «комнату с камином». Вступительное слово говорил Яков Рыкачев. И до позднего часа, когда усталые гардеробщики понесли и свалили на спинки кресел наши шубы и шапки, мы обсуждали рассказы и очерки вчера еще неизвестного журналиста. Редко когда приходил в литературу человек с таким малым запасом: два-три рассказа. Но все в столичных кругах, в редакциях догадались: этот проложит свою борозду.

Спустя тридцать лет я разыскал в комплекте «Литературной газеты» 1940 года статью Рыкачева под названием «Доверие обязывает»; на встречу пришли, уже прочитав ее. И вот ее начало:

«Мало кто из нас читал рассказы краснодарского писателя В. Овечкина. Разве только местные краснодарские люди. Но сейчас В. Овечкин напечатал в № 8—9 журнала «Красная новь» не то очерк, не то рассказ под названием «Прасковья Максимовна» — и о нем должны узнать все. В нашей литературе имеется несколько хороших рассказов, повестей, романов о стахановцах, быть может, в каком-то смысле — правда, для меня непостижимом — и более талантливых, чем скромный, непритязательный очерк-рассказ Овечкина. Но на такое интимное-близкое расстояние еще ни один писатель не приближал образ стахановца, стахановки — к глазам, к сознанию и к сердцу читателя; и ни один писатель не дал нашей литературе такого прекрасного, естественного, цельного и привлекательного образа современного, сегодняшнего колхозного человека. В рассказе Овечкина нет ни одного высокопарного слова, но он весь исполнен той высокой настроенности, которая не может не охватить искреннего и честного советского писателя при близком соприкосновении с подлинной жизнью народа, в каждодневном труде творящего новые, небывалые социальные формы».

Такая рекомендация хоть кого заинтересует! Каков же он, этот Овечкин? За круглым столом рядом с хозяевами клуба, признанными мастерами рассказа — Олешей, Славиным, Платоновым, Паустовским, — присел смуглый казак в косоворотке (что он казак, я не сомневался). Запомнились прищуренные серо-голубые глаза, красота нечастой улыбки, нахальный вихор на макушке. Большие уши, будто еще сызмальства оттопыренные твердым картузом. Он слушал, весь сосредоточась, «затуляя уши» и записывал. Все это молчком: не топорился обнаружиться.

Как водится, нашлись педантичные дегустаторы: упрекнули в иллюстративности, фотографизме. Тотчас же со всех сторон посыпались возражения: фотография фиксирует внешние перемены, Овечкин же как внутреннюю необходимость показывает развитие колхозного строя и без претензии на обобщение дает зрелище сдвинутого революцией крестьянского массива, перевалившего через вековую черту между «думать» и «не думать». Почитайте небольшую рассказ «Гости в Стукачах»: он именно не по-газетному открывает изнутри души малограмотных станичников. Или возьмите, к примеру, «Ошибку»: он заполняет самый драматический промежуток между «до» и «после», то, чего в газетном очерке не найдешь.

И этот спор, вдруг разгоревшийся к концу, Овечкин выслушал молча. Но когда получил слово, то, ни разу не повысив голоса, заставил себя слушать. Голос у него был тихий — таким запомнился.

Трудно воспроизвести, что он тогда сказал. Если свести весь колхозный строй к одному колхозу, а еще лучше к коммуне «от того места, где восходит солнце, до того, где садится», то вот она такая и будет — вся ранняя песня Овечкина... Да, если свести все пятнадцать лет выстрелов из обрезов, крови, конского топота, бабьего горя,

вдовства и сиротства к одному году решающего перелома... И чтобы еще впроголодь, но с верой увидеть завтрашний день... дожить бы до него, до хорошего урожая, триста пудов снять с гектара... И чтоб не вмешивать сюда семейный быт, много раз описанный в крестьянских романах, а людей показать не в семейных и соседских связях, а только лишь в бригадных, звеньевых. То вот она такая и будет — вся ранняя песня Овечкина.

Будто придвинулся к нам говорливый люд: речи станичных людей полны юмора, в юморе — разум, в голосах узнаются характеры.

«Ждут все, только по-разному», — разговаривала с собой ночью Прасковья Максимовна. «У одних больше терпения, у других — меньше. Одни рассуждают: и без нас построят, раз уж начали, то достроят, нечего сомневаться, а другие хотят помочь, насколько возможно ускорить...»

Я тогда, в первую встречу, и не подозревал, как близок был самому автору этот «невроз ожидания». Сколько отчаяния, столь понятного, близкого ему по собственной жизни, распознал он в бабьей доле. Как она «забегала наперед трактора», расставив руки, кричала кривулившему борозду трактористу: «Стой, бо все одно с этого места не сойду, хоть дави меня машиной!» Как по прямому проводу хотела вызвать самого Михаила Ивановича, потому что несправедливо отобрали лучший участок у бригады, в эту землю за три года сколько труда бабы вложили. Как она пропесочила на людях бригадира за то, что новую никелевую кровать унес на чердак и жену дома рожать оставил.

Оплакивал ли Овечкин судьбу несчастной — немолодой, усталой, безмужней — женщины? Нет, он утверждал, как о себе самом, возможность быть ей счастливой.

Упоенная работой, готовая за урожай в огонь и в воду, захваченная новизной, как порывом ветра, измученная в злой драке с завистью и клеветой, с дубогреями и нашейницами... Любуясь ею, Овечкин наградил ее смуглотой, бунтарскими кровями, черкесской или цыганской статью; дальний предок ее, донской казак, командовал у Пугачева полком; дед зарубил офицера, ненавистного солдатам, и ушел к черкесам за Кубань; дядя поднимал в пятом году Урупский казачий полк и заработал двадцать лет каторги; отца повесили белые на пустыре за мельницей...

Тут, в эпическом замахе рассказа, Овечкин крестился шолоховским крестом.

Помню, расходясь, братья писатели отгеснили казака к буфетной стойке и, за поздним часом, выпили без закуски. И расспрашивали его, есть ли еще рукописи в столе, как собирает материал, много ли ездит, отчего так хорошо ему все видно. Он ответил без улыбки: «Снизу виднее».

Спустя много лет я узнал, что в начале тридцать седьмого года, когда он работал в газете «Молот», его исключали из партии за неуместное по времени заступничество: товарищ был несправедливо объявлен врагом народа. Я узнал, что он помчался тогда в Вешенскую к незнакомому Шолохову — не за себя хлопотать. И помощь была оказана.

А наутро после шумно-восторженной встречи в Москве он, оказывается, тоже за кого-то хлопотал. Что же сказал принявший его товарищ, прочитав просьбу о восстановлении справедливости? «Сейчас такое время, товарищ Овечкин, что самому себе нельзя верить. Это я вам говорю как старый коммунист молодому». Овечкин ушел, сказав в двери: «Никогда не соглашусь, чтобы товарищу по партии не верить».

Тогда я всего этого не знал. Недавно прочитал где-то метафору: «Память — это руль человека, ведь не зря руль помещается на корме». Хочу, чтобы память была не рулем на корме, а веслами, толкающими лодку вперед.

## 2

Ночью ординарец привел на квартиру. Небольшая хата, точь-в-точь как в лермонтовской «Тамани», дремала под камышовой крышей.

Кто бывал на фронте, знает ночные нашествия приезжего в штабную деревню и прерванный сон постояльцев. Пока я искал гвоздь, чтобы повесить шинель, а старуха при свете огарка прибирала угол и стелила набитый соломой матрац на снятую с петель дверь, до меня доносился знакомый по Москве виолончельный голос Ильи Львовича Сельвинского — он расспрашивал о домашних и, между прочим, «утешил»: письма приходят на пятнадцатый день, как в лермонтовские времена. На земляном полу сказочно дергалась тень старухи — то с простыней, то с наволочкой. Вдруг выростала до притолоки. Молча глядел с койки Расул Рза, грустно таращились его большие глаза.

Я осмотрелся. Подходяще! Даже уютно. На столе Сельвинского пишущая машинка, остро отточенные карандаши в снаряжной гильзе, карточки дочек, свеча с необгорелым еще фитилем. Я быстро стащил с себя гимнастерку, бросил подальше сапоги и портянки, а старуха все носила и ставила возле меня на подоконник то две баночки — одну с молоком, другую с бумажной розой, — то пустой флакончик из-под одеколона — просто так, для красоты. Под головой — надоевшая мне кобура и полевая сумка. На табурете — часы и очки...

— Ну, спать, спать! — по праву старшего приказал Илья Львович.

Утром он читал стихи, только что перепечатанные на машинке. Он часто выступал на газетном листе — то это «Песня кубанских казаков», то виртуозная подтекстовка к карикатурам художника, затерявшаяся теперь в пожелтевших от времени страницах газеты.

Генерал: Я брел сквозь горящие станции  
По Африке, Греции, Франции  
И вот сквозь метели косые  
Шагаю теперь по России.  
Гох, фюрер!

Солдат: А я, извините, беспечно-с так  
На собственных шель конечностях  
И вот среди нищих, жалких  
Шагаю на двух на палках.  
Ох, фюрер...

Добродушный, очень талантливый человек — его одинаково радовала и найденная ночью рифма, и хорошая машинка, которую подарил какой-то высокий начальник взамен той, что прошлой осенью пострадала при бомбежке под Алуштой.

Мы по-домашнему пили чай. Расул предупреждал меня, новичка, что сырую воду пить не рекомендуется — в ставках много конских трупов.

Я вышел с хозяйкой за порог. Впервые я был в местах, где недавно враги пили воду из колодца, гадили в отхожем, галдели не по-нашему. Одним словом, квартировали. Отвратительное ощущение от всего, побывавшего под пятой оккупантов, при том, что все как будто буднично, обыкновенно. Известняковый колодец. Короткая тень его укрыла от солнца жалкого пса с больными глазами. Мальчик ласково тискает терпеливого котенка. Из клетушки доносятся голоса прибыв-

ших из Тбилиси кинооператоров, поют с детства мною любимые, хотя и непонятные песни; солдаты белят стены и потолок. Старуха за зиму всего навидалась и теперь рассказывает, какие поганые были немецкие постояльцы.

За воротами горстка белых хатенок, сбившихся, как овечьё стадо. И негде будет укрыться от зноя. Подумалось: год назад мы с женой жили в Феодосии в татарском дворике, под решеткой, увитой изумрудной зеленью винограда. Совсем рядом со здешними местами. Теперь там немцы.

В первый же день я понял: ту голодную, по-братски тесную и стойкую семью армейской газеты «Знамя победы» нечего вспоминать, с ней нечего и сравнивать. Разобщенные недоброй волей Главного, многие не знают друг друга по фамилии. Сельвинский, например, затруднился сказать, где квартирует Овечкин. И позже в течение долгого дня никто не помог мне его найти. Здесь, в Крыму, плечом к плечу с русскими сражались в национальных воинских формированиях армяне, грузины, азербайджанцы, и газета издавалась не только на русском, но и на языках трех закавказских народов. В тот день приехали писатели из Армении с дарами своей земли. Но Главный умчался в штаб к армейскому комиссару Льву Мехлису, а без него никто не хотел их принять, и они не знали, как укрыть «от воздуха» свои машины. Возле столовой шумно спорили, где кому обедать. И повар в белом колпаке на кудрявой голове вопил:

— Расстреляйте! Кормить не буду!

Где же нужный мне человек? В час обеда в столовой я искал его по кубанке с алым верхом, так и не нашел.

— Завтра увидите на летучке,— успокоил Сельвинский.

На летучку сошлись в хате секретариата в семь утра— минута в минуту по редакторским часам. А кто опоздал, тем была дана команда: «Кругом марш!» Сидели только те, чьи столы были в комнате. Остальные мумро стояли, не прикасаясь спинами к плохо побеленным стенам. Докладчика не слушали. Потом начался всеми ожидаемый разнос: Ковшова— за опоздание тиража, Подхомутника— за пропуски в радиоприеме, художника Высоцкого— за неудачное оформление четвертой полосы. Тон разговора был грубо-насмешливый, тем более бессмысленный, что делового обсуждения так и не было.

Я позабыл, что в тесной толпе стоявших у стен надо найти Овечкина. Главный поставил по стойке «смирно» журналиста, вызванного на летучку с КП одного из полков: он обвинялся в том, что «отсидивается» в штабе полка, не зная ходов к боевому охранению. Пожилой человек был оскорблен, опозорен— дрожащие руки держал по швам, плохо заправленная гимнастерка топорщилась на животе. Он был старше всех, и я почему-то подумал о его детях— наверно, он отец большой семьи: что, если б они слышали?

Овечкин ждал меня на улице. Так получилось, что под впечатлением только что увиденного я стал рассказывать ему о своей ленинградской редакции— какие там люди, какие бывали летучки. И как в тот вечер, когда меня провожали, принесли из столовой по кусочку хлеба, и было на шестнадцать человек две селедки, раздобыли по бутылке пива и пели. И к нам в редакцию стали звонить из разных отделов штаба армии: «Говорит «Качан», спойте «Рябину»... «Говорит «Унжа», не споете ли «Солнце низенько?»»

А наш тамошний главный, маленький подполковник Левушка Прусьян,— вот это редкий человек! Настоящий опекун в голодные дни всех подчиненных. В типографии упал без сознания, его подхватили, уложили. И мы просто запретили ему раздавать свой паек дев-

чонкам-наборщицам. С голоду никогда не курившие стали курить, благо табаку было вдоволь, и однажды главный, читая мою статью, предложил папироску, а я почему-то со слезами на глазах пробормотал: «Но я еще не курю, товарищ подполковник...» И он внимательно поглядел на меня.

Мы шли по единственной хуторской улице, и я рассказывал, разволновавшись, как Ленинград уже отдалился для меня на дистанцию бесконечной гордости за него и за людей, даже не сознающих своего каждодневного подвига: там в семь утра на углу Садовой и Невского темные дома темнее неба и черная толпа под артобстрелом медленно спешит на заводы и фабрики.

Овечкин слушал молча, наверно, составлял мнение обо мне. Потом сказал тихим голосом, возвращая меня в Тайгуч:

— Он у нас, знаете, шестиствольный.

— О ком вы?

— О нашем Главном.

Когда мы подошли к моей хате, я уже знал почти обо всем, что скоро обернулось катастрофой фронта. Показуха. Сплошной мажор. Армейский комиссар Мехлис находится в плену иллюзий и как будто под тамбурмажорский жезл готовится к весенней кампании — при штабе в самом деле создан духовой оркестр. Даже название газеты — «Боевой натиск» — не удовлетворяет, нужно что-то погромче. И в редакции, как бы в зеркальном отражении, — бахвальство, и спесь, и полная неозабоченность вероятным по весне пробуждением вражеской активности на юге.

За какой-нибудь час, проведенный в хате вдвоем, о чем мы только не переговорили. И о фронтовой авиации, которую зачем-то разукрупнили по трем армиям, и это на нашем-то пятачке! И о недавних и уже таких далеких мирных днях — о «Красной нови», где оба мы печатались, неужели этот журнал закрыт? Проклятые немцы!.. Овечкин истосковался по такому разговору.

Я поставил на подоконник свою пишущую машинку, и он рассеянно потыкал пальцем. Его позабавило, что в клавиатуре не было вопросительного знака. Улыбнулся, заметив, что пола моей шинели опалена: рыжее пятно выгоревших ворсинок.

— Значит, прижимался-таки к костру?

Наверно, я казался ему неопытным городским мальчиком, и, догадываясь об этом, я хотел оспорить его предположение. Я рассказал ему о поездке на Ладогу с голодными женщинами — товарищи-ленинградцы доверили мне собрать свои семьи и отвезти на Ледовую дорогу. Там на барже, вмерзшей в лед, ночью крыса отгрызла край полевой сумки у меня под головой. Он повертел в руках полевую сумку. Из нее посыпались письма жены еще из эвакуации, из Чистополя, и томик стихов Пастернака, с ним я не разлучался с первого дня войны. Пока я укладывал в сумку чистопольские треугольнички, он полистал Пастернака.

— Когда-то я читал Андрея Белого, Пильняка. Хотел поучиться у них, как писать, — сказал он и равнодушно положил книжку на подоконник. — Я тогда отчаялся. Думал — если это и есть литература, так я никогда не стану писателем. А Пастернак, я считаю, того же полка барабанщик.

Мы и потом на этом не сошлись взглядами. Но ощущение личной удачи нарастало во мне: есть близкий мне человек! Будем держаться вместе.

В хату заглянул вчерашний мальчишка, он не расставался с котенком. Дядю в кубанке он уже знал: Овечкин заглядывал к нам, а мальш ночевал в соседней хате.

— Как тебя зовут, мальчик?—спросил Овечкин.

— Полкан.

И они рассмеялись. Такую игру придумали — дядя задаст глупый вопрос, мальчишка отвечает невпопад. И дядя должен ему не верить. Им было весело. Про котенка мальчик придумал — будто у него зубы болят. Овечкин сел на корточки и выспрашивал, не даваясь в обман. Старуха ступила на порог и тоже повеселела от этой игры.

— Він брехливый,— сказала она,— ніколы правды не скажет.

И когда мальчик ушел из хаты, рассказала его грустную историю. Он из Владиславовки, а там теперь немец. Где его мать потеряла, никто не знает. Так он и живет один на чужом хуторе.

Когда в другой раз Овечкин зашел к нам, мальчик тотчас явился, в руках у него было письмо от мамки. Сельвинскому не дал понять, мне тоже не дал, а Валентину Владимировичу доверчиво отдал. Тот заглянул в конверт, но там было не письмо, а кленовый листок. Опять игра?..

— Ну чего ты?—как-то неуклюже спросил Валентин, повертев зеленый лист в руках.

— Ничего. Я уже прочитал.

— Ну и как она там живет? Соскучилась небось?

— Ничего.

Я в первый раз увидел Овечкина совершенно обескураженным. Выйдя со мной за ворота, он заговорил о своей семье. В станице Родниковской он оставил жену и двух маленьких — Валентина и Валерку. Видно, скучал по ним, потому что вдруг вспомнил, как в лесу за Лабой искал с ними грибы.

— Никакой я не казак,— неохотно отозвался на мои расспросы.— А оказился, живя подолгу в тамошних станицах. И, конечно, люблю Кубань, много там пережито. В начале войны приписали меня в казачье ополчение, была кобыла Краля, а потом жеребец Кузнец.— Он улыбнулся воспоминанию.— А потом казаки ушли в состав кадровых войск, а меня в военкомат. Я один вернулся с вещевым мешком. Шел по улице, и было стыдно станичниц.

Мы к этому времени перешли на «ты», и я о нем написал жене. Нравилась в нем черта скромности в соединении с достоинством, был скуп в рассказах о себе, в редакции держался в тени, подальше от начальства, занятого приемами гостей — писателей из Москвы и Закавказья. Съездил в казачий кавалерийский корпус, которым командовал буденновский соратник генерал Книга, вернулся, отписался и на три дня засел в отделе писем: разбирать солдатскую почту.

По вечерам сходились в нашей хате. Белые стены ее странно светились, земляной пол чернел, в окне — сполохи далекого фронта. Склонясь над трофейной плоской и покачиваясь в такт стихам, Расул Рза читал нам Омара Хайяма на языке фарси, и я дивился всем поворотам моей военной судьбы: прелестные рубаи на непонятном языке лились, как струи родника, освещенные розовым светом. Сельвинский ненасытно заучивал, не понимая слов — одно звучание стиха. Записывал с голоса русскими буквами.

Вот какая была здесь война. А на передовых воздушные бои в небе, ночная разведка, минометный обстрел и снайперские дуэли.

По вечерам Расул усердно что-то писал в толстую тетрадь арабской вязью справа налево. Сельвинский баритонально напевал, лежа на койке: «Ну-ка, чайка, отвечай-ка...»

Наконец гость уходил, а Илья Львович, погасив свечу, еще долго рассказывал — о Маяковском, о себе молодом, времен «Улялаевщины» и «Пушторга». Конечно, ему импонировало, что я, молодой человек, знаю наизусть главы «Улялаевщины». Себя он считал прежде-

временно вышедшим из моды и делился самочувствием своим: трудно пережить всероссийскую славу, сознавая свою именно теперь возросшую мощь поэта. Мерил себя Маяковским. Маяковский тоже при жизни вышел из моды — он приводил как улику «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» Багрицкого:

А в походной сумке —  
спички и табак,  
Тихонов,  
Сельвинский,  
Пастернак...

— Маяковского-то упустил, не назвал! А Владим Владимыч еще ходил по Москве!

О скоротечности славы Илья Львович мог рассказывать долго — ведь и Пушкин рано вышел из моды. Я уже задремывал и, очнувшись, слышал рочучий голос поэта.

Такая была наша война в апрельском затишье, и я записал за несколько дней до катастрофы: «Лучше совсем не знать фронта, чем иметь о нем штабное представление».

Однажды мы с Овечкиным, со стариками и соседским мальчишкой вышли в степь к мельнице, которая махала и махала себе крыльями неподалеку, будто и нет фронта и работает она со времен самого Сервантеса. Не только наш затерявшийся в степных просторах хуторок, но и большое село Ленинское, где был размещен штаб фронта, не подвергался воздушным атакам — немецкое командование до времени берегло нашу «военную тайну».

Мы сидели у стены уцелевшего после немцев длинного низкого амбара.

Мальчишка изнывал от жажды.

— Вишь чего захотел — воды-ы-ы? — передразнила старуха. — А ее скоро совсем не будет. Будет жара — наша, керченская. Черный будешь, нос распухнет. Як гарбуз!

Старуха угощала яйцами и медом, старик разглагольствовал:

— Земля у нас погана, бык помочится — не проедешь...

В солнечный полдень хутор вдали сверкал белыми хатами, будто кто-то колупнул, поцарапал травянистую степь, а там поглубже — мел. Старуха рассказывала, как драпал их постоялец-немец, всполошился враз, попихал свое в мешок, «только его и бачили»: видно, хотела и нас постращать.

— А вреда причинил уйму, — досказывал старик. — Что в Семи Колодезях натворил! Из Семи Колодезей семьдесят семь сделали.

В тени амбара Овечкин расположился как дома, извлек из полевой сумки солдатские треугольнички. Его снабжали солдатской почтой девушки из отдела писем, и он отвечал. Каждое письмо было ему разговором с человеком о самом больном, неотложном. Один просил, чтобы вернули его семейству корову, отбившуюся от обоза где-то еще за Джанкоем. Пожилой солдат жаловался, почему его дочка, разутая-раздетая, работает в пригородном хозяйстве под Кемеровом и не имеет помощи от администрации. Третий, потерявший жену, встретился было с ней на марше, она стояла тогда регулировщицей на днепровской переправе, а теперь он снова не знает, где ее искать, жива ли... Этот был, на удачу, как раз из Родниковской — Овечкин знал станичника и его жену, и он, помню, задумался.

Я пошутил:

— Небось и детей у них крестил?

Он не принял шутки.

— Вот и со мной так будет. Потеряю Катю. И малых буду искать, не сыщу...



## 3

Главный был весьма непопулярен в коллективе за грубость и подозрительность, хотя все отдавали должное его редакторскому опыту. Но его самодурство и барские замашки создавали атмосферу лести и выслуживания. Приказы о взысканиях висели на стенах; кем-то было подсчитано, что за короткий срок он роздал двести суток арестов.

— Душно. К черту!—сказал наконец Овечкин.—Снова возьму командировку в часть, только меня и видели. Поедем вместе? И подольше не возвращаться.

Он уже исходил весь Керченский полуостров. Два дня мы нарочно пешком и не спеша шли степной дорогой к переднему краю фронта сквозь всю его эшелонированную глубину. Заходили в землянки, присаживались у батальонных кухонь, заполняя блокноты в попутных беседах. Овечкин начинал любой разговор с середины и все больше нравился мне тем, как он жил, каким выглядел в обиходе солдатского быта, за этим чувствовалась не только сноровка опытного журналиста. Ему было с людьми удобно и просто. То мы забредали в оружейную мастерскую, укрытую в яме под абрикосовым деревцом, то заговаривали с молодыми закавказцами, которые, как дети, веселились, облепив застрявший в сухой глине тягач, кричали нам:

— Сегодня в опере не бывать! Ва!..

То мы просто ложились на свежую траву, и он предлагал послушать, как перекликаются незнакомые мне птцы с оранжевыми хохолками.

Мы шли по земле, раскопанной и разрытой, как всегда в местах, где фронт задержался надолго.

Трудная была дорога в апреле сорок второго года! Жара. Укрыться негде, усядешься на камешек и пишешь в тени своего карандаша. Раздутые лошадиные тулова торчали из зеленой воды ставков. И волнами — запахи то мертвечины, то полынной засоленной земли. В глубоких укрытиях — машины с откинутыми бортами, орудия в маскировочных сетках. Артиллерийские кони задирают головы, чтобы достать себе травы на брустверах. Белые стены хат разобраны «до нулевой отметки», камень пошел где на блиндажи, где на братские могилы. А чем ближе к передовой, тем больше наставлено боевой техники. И нет ориентиров — трудно понять, куда идешь. Скучная земля, вся в загаженных воронках.

— Ну, степь... черт на ней гопака плясал!

Но спустя минуту Овечкин все забывал, что-то придумав, и разрешался неожиданным выводом:

— Теперь понятно, на чем взрастил свой вкус Верещагин: на известковых холмах в знойный полдень!

Медленно тащила мухрастая лошадь связную двуколку. За ней брел связист и скатывал телефонный провод — сын солнечной Армении в зеленой панаме пограничника, — и вот уже Овечкин, угостив его табачком из красного кисета, слушал рассказ о прошлогоднем тавризском походе:

— Очень интэрэсно! Бабы чадру носят, лицо прячут, а сзади ж... вся в дырках.

Уже в зоне минометного обстрела Овечкин первый услышал в стороне непонятный, какой-то кашляющий звук — это стонала смертельно раненная лошадь: в глубине шеи в ней пела какая-то тонкая струна, и дрожь бежала по всей спине, и желтые зубы оскаливались, а глаза плакали. Я никогда ничего подобного не видел, не слышал,

пошел быстрее прочь. Валентин подождал, пока я отойду, и я услышал револьверный выстрел. Он догнал меня, ничего не сказав.

К батальонам и ротам можно было идти только ночью ходами сообщений. И днем нам труднее всего было добраться перебежками до КП полка. В сумерках осколки летели, взрывая комья, глаза воспалились от пыли, и мы оглохли. И помню, не проронили ни слова, остановясь на повороте окопа над мертвыми, ожидавшими захоронения. Плащ-палатка сползла с них. У одного было маленькое отверстие над виском на бритой голове. Второй был разворочен снарядом, и лицевая повязка, сделанная еще на живом, наново разорвана осколком, будто кто-то жадно любопытствовал, — на бинте кровь смешалась с мясом и землей.

В поздних сумерках низко, почти по ногам, летели трассирующие пули, красные, белые, в небе зажглись осветительные ракеты, создавалось впечатление начинающейся атаки. Меня удивили солдаты, голышом бежавшие от зенитных батарей с бельем под мышкой.

— В баню! — весело отозвался один на вопрос Овечкина.

— Где она? — крикнул он вдогонку.

— У третьего столба! За вторым!..

Но в баню мы не свернули. С утра он тянулся к одному командиру стрелкового полка, кубанскому, из бывших эскадронцев. Мы с трудом обнаружили в хаосе всеобщей развороченности его блиндаж. Вошли. Огляделись в свете трофейной плошки. Свод укреплен трубами шестиствольных немецких минометов. По стенам висят на гвоздях сапоги, котелки, каски, полотенца. А сам командир — грузный чернявый майор, красный, потный от долгого чаепития, — восседал за столом и благодушно принял нас с тем хладнокровием станичного байбака, которое обозначало, что никакой атаки нынче ждать не приходится и он вообще чувствует себя тут как дома. Ему ничего другого и не надобно, разве что назад в эскадрон, к Белову, там они сейчас царствуют, «не то что мы, пехтура».

В те первые дни на Керченском фронте я старательно записывал все, что попадалось на глаза, и только сейчас, перечитывая блокнот, понимаю, о чем тогда не догадывался: колхозному очеркисту хотелось взглядеться, как же теперь, в смертельных обстоятельствах, проявляется хорошо ему знакомый по мирным дням характер.

— В глотке что-то першит, — жаловался майор. — Хорошо, что вас ветром принесло. Вот и кумпанья. Сейчас полечусь. А то комиссар совсем водки не признает. — И он зверски подморгнул в сторону темного угла, где кто-то спал на глиняном топчане.

— А может, чайком угостишь? — слукавил Овечкин.

— Надо бы село Киёт брать. Туточки. Вот где вода хорошая, — уклончиво приговаривал майор, разливая из фляги по алюминиевым кружкам.

Война была ему, как станичная тяжба, — гарную водичку надобно оттягать у немца. И блиндажи обустроить. Днем — поспать. Война не мешает, а как долго ей тянуться, не от нас зависит. Лишь бы с комиссаром ладить и чтобы ординарец был понятливый. И немец ему уже привычный, вроде своего домового, он знал его повадки.

Понятливый ординарец, чтобы не беспокоить, не спускался внутрь блиндажа, а ловко присаживался на верхней ступеньке, готовый слушать и выполнять.

Командир полка любил тех, кто склок не затевает, стерпит начальника и зла не помнит. Если такой у него в полку и струсит, он расскажет о нем не с гневом, а с детской обидой. И полученное письмо он при нас читал без суеты. Казалось, ему не так дорого было уз-

нать, что там с семьей, как важно получить письмо. На войне все должны получать. Пришла почта — значит, порядок и уют.

Запомнились простодушные обороты его рассказа о самых кровавых атаках осеннего десанта.

— Я его немецкую натуру насквозь вижу. Ночью стреляет куда попало, абы трассирующими. И ракеты жжет без толку. Большая насыщенность огня. Как он за Владиславовку цеплялся! Вышибли из первой линии, а удержать-то ее нельзя: он свои окопы пристрелял и проволоки до черта натянул. Люди окапывались под самой проволокой, атаковали еще раз, еще, еще... Глядишь, а повторять-то уж некем...

И так же простодушно майор препирался с вызванным старшиной; тот жаловался, что не хватает воды и дров, а вместо мяса дают колбасу в общий котел. А у него, у старшины, в Огюс-Тепе пасхальный поросенок припасен у хозяев. И если бы ночью отрядить двуколку...

— А ты за победу думай,— притворно огрызался майор.— Что ты заладил со своим поросенком. Плешь мне проел со своим огюс-тепинским!

Он часто глядел на часы, их стеклышко сверкало на волосатой руке, но к самому ходу времени относился, по-видимому, равнодушно. Он уже успел «полечиться» с нами и только усмехнулся, когда старшина, лихо откозыряв, ни с чем ушел в ночь, расцвеченную ракетами.

— Придется-таки отрядить двуколку,— вслед ему принял решение майор.

В сопровождении вестового мы пошли ночевать в соседний медсанбат. Дорогу боец находил по проводам, низко натянутым от столба к столбу. Прожектор шарил в небе. Становилось светлее. Ночью не прекращался воздушный бой, а когда смолкали зенитки, нас обступал крошечный мрак. Помню, в тишине свистнул между нами осколок.

— Вот барбос! Слышал, как он выразился: «Надо село Киёт брать, там вода хорошая».— Овечкин выдул носом воздух, так он иногда усмехался в свое удовольствие.

За брезентовым пологом, укрывшим дверь мазанки, в ярком электрическом свете два парикмахера в белых халатах, верно из выздоравливающих, обрабатывали головы вновь прибывших. Здесь, как и всюду вблизи переднего края, по ночам жизнь оживала. Нас накормили ужином из двух котелков. Замполит выписывал вновь поступившим расписки за сданные партбилеты, люди входили и выходили, и толстая нянька товала в мешки их личные вещи. Дезкамера источала сладкий запах — сильно щипало в носу. Врач хвастал книжкой стихов Беранже, которую в прошлый раз оставил ему Овечкин. Он был не из кубанских, этот врач Банкин — перед войной работал в Болшеве в доме отдыха ученых, — но чем-то привлек его Овечкин. Он снабдил нас химическими грелками («Море близко, можно продрогнуть ночью») и увел на ночлег в какую-то кладовочку, вызвал туда сестру с гитарой, так что ужин кончился в концертной обстановке. Толстухе сестре, видно, тоже Овечкин нравился, но по-другому — красивый, смуглый, с прядью каштановых волос из-под кубанки. Я с удовольствием и не без зависти наблюдал за всей этой суматохой и вспоминал, как Петр Андреевич Павленко, гостивший недавно в нашей редакции, назидал другого заезжего писателя: «Пройдет пять лет — и ты, Мдивани, будешь ставить на него как на скаковую лошадь».

— Ну, что вам еще исполнить? Заказывайте.

— «Садок вишневый била хаты»... — попросил Овечкин.

Сестра играла по ночному времени тихо, удобно уложив правую грудь в выем гитары. Овечкин шутил:

— Чувствуешь, как поет? Баритональная колоратура! В ней мужчина борется с девушкой.

— Вот вы какие насмешники.

Валентин пояснил: сестру ранили под Ак-Монаем и вкатили ей полтора литра крови — половину женской, половину мужской. И она знает фамилии доноров.

Медсанбат часто находился в зоне огня. Замполит принес Овечкину письмо от знакомого санитара Гришко — о нем Валентин напечатал в газете. Письмо по привычке прочитал вслух, и я потом переписал его с сохранением орфографии:

«Здравствуйте, товарищ политрук. Я сейчас нахожусь в госпитале г. Армавир. За дорогу я здорово ослаб, ну а сейчас стала нормальная жизнь и дело идет лучше. Руку обривали, и она стала хорошо заживать. А грудь, где немного зафатило осколком, то тут дело пошло сложнее, потому что проходит воздух. Вот кратко о моем здоровье. А теперь я вас попрошу насчет того, что я подал в кандидаты ВКП(б) или это пропало или вы можете переслать? До свидания. Передавай-те привет всем. Гришко».

По совету врача легли спать не снимая сапог. За окном в щели маскировочной шторы блистал огонь зениток. Но он не мешал. Нам не мешала кошка, выходившая и входившая в кладовушку. Не мешали ласточки, хотя с рассветом они стали залетать в разбитое окно. Мы говорили о многом неожиданном и тревожном: о том, как нацистская пропаганда, сулившая раздел несметных богатств при захвате чужих земель, нашла отклик даже в рабочем классе Германии, как и себя мы усыпили — «Любимый город может спать спокойно...». Говорили о фильме «Линия Маннергейма», показанном после зимней войны с финнами так, что молодежь, которой завтра предстояло идти на большую войну, не совсем поняла, какая она будет на самом деле, настоящая.

Между слов сквозила тревога и за свой фронт. Эта прорва стрелковых дивизий, арtpолков, закопавшихся в плоской степи, — сколько превосходных людей мы увидели за день пути! Я был еще слаб после блокадной зимы. Овечкин это чувствовал, всю дорогу брал на себя за двоих и тут ночью с шутками, между делом уступил мне в изголовье мягкое автобусное сиденье. Разговаривали долго. Под утро кто-то зашевелился в углу. В военных ночлегах всегда утром оказывается кто-то, кого не видел ночью. И он вмешался в наш разговор — майор, артиллерист, воевавший в Испании, как он выразился, «от Аликанте до французской границы».

Овечкин не шевелясь лежал. Видно, думал о чем-то. Потом непонятно сказал:

— Ведь я знаю, он хороший мужик.

— О ком ты?

— Да этот... который Киёт хочет отвоевать. Кавалерист. Сейчас, в обороне, малость обленился. Засиделся. Так и у нас в колхозах бывало с председателями.

После завтрака собрались, вышли. Легкораненые копали «змеяку» в сторону колодца. Няни приводили в порядок бывшую школьную клумбу. Прошлой весной была она в полной форме, вся в цветах, потом ее переехали танки, затоптали сапогами, а сейчас по весне зеленый круг упрямо выступил, напомнив счастливые времена.

— Откуда рассаду возьмут? — усмехнулся Овечкин.

В тот день мы побывали у зенитчиков. От них спустились тро-

пинкой к прибрежным камням, напоминавшим пушкинский Гурзуф. С нами пошел лейтенант, показал в море; там в двухстах метрах торчал из воды фюзеляж «юнкерса», сбитого вчера его зенитчиками.

Лейтенант ушел, а мы долго сидели над стремниной.

Азовское море катило прибрежную волну.

— Ты помнишь у Короленко «Огоньки»?— вдруг спросил Валентин и, немного помедлив, восстанавливая в памяти, стал читать наизусть:— «Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...

— Ну, слава богу,— сказал я с радостью,— близко ночлег!

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.

— Далече!»

Овечкин легко читал, как бы уже и не припоминая. Я слушал. Прибой омывал камни у наших ног. Мне кажется, если выйти к тем мокрым мшистым камням, там сквозь прибой и сейчас звучит голос Валентина. Странное свойство русской истории: когда-то при неизвестных мне обстоятельствах один писатель увидел во тьме огоньки на берегу какой-то великой сибирской реки и они подсказали ему что-то очень важное. И вот другой молодой писатель в тяжелейший год нашей жизни вспомнил тот голос думы и надежды — и отозвался своей думой, своей надеждой...

«...Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось действительно далеко.

Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своей близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом — и путь кончен... А между тем — далеко!..»

Удивительно! Мы были вместе меньше двух месяцев, но так все сошлось в последующие дни—«когда казалось, что все потеряно», оскалилось и прогрохотало над головой,— что эти короленковские «огоньки» под шум прибоя на берегу моря стали чертой отсчета, зарубкой в памяти до конца дней. Да еще той ночью в медсанбате мы разрешили себе приоткрыть свои тяжелые раздумья. Может быть, того разговора и не было бы, если б не обстановка в редакции, от которой мы убежали. А там, на пустынном азовском берегу, мы возвратили себе надежду, и было доверие друг к другу. Такое доверие само рождает дружбу, оно не ждет, пока дружба родит доверие.

Сейчас мне кажется, у каждого из живущих бывает такая минута.

Как же продолжать рассказ о тех несчастливых днях, когда воздушная армада Рихтгофена обрушила на все разобщенные аэродромы Керченского фронта, на всю глубину его оборонительных линий свой массивированный бомбовый удар? Узел связи штаба фронта был парализован, три армии начали отходить с ожесточенными боями. Но войска дробились на отряды. И на третий день под вечер я увидел тысячи врозь идущих с фронта солдат. А там уже и трагические перемены на рыбацких суденышках, на резиновых крышках через пролив...

Как рассказать об этом? А никак... Разве что письма за четверть века перелистать.

Уже после победы Овечкин письмом от 13 сентября сорок пятого года просил меня найти журнал «Октябрь» и прочитать его повесть «С фронтовым приветом». «В повести ты найдешь многое из того,

чем делился я с тобой, и кое-что из нашего разговора у Азовского моря».

Шли годы. И снова он писал: «Вспоминаешь ли ты Тайгуч, Коля? Я — очень часто. Это признак старости — очень ярко встает в памяти прошлое... Мехлис».

И снова, снова спустя годы: «А помнишь, как мы блиндаж соорудили с тобой? Ты был явно не приспособлен к земляным работам, но все же копал неплохо... А приезд Мдивани с дарами грузинской земли — помнишь? А разбомбленных овец на улице села после налета «юнкеров»? А мандариновую настойку в Краснодаре?»

И я писал ему 9 мая 1963 года: «С Днем Победы, Валя! Хорошо начать этот день в шесть утра письмом к тебе спустя восемнадцать лет после победы, спустя двадцать один год после керченской нашей прогулки от Азовского до Черного и чтения короленковских «Огоньков» на камешках неудобного берега...»

И в последний раз, уже в сентябре 1965 года, он писал мне в Коктебель, где я отдыхал с семьей, — это ведь близко от тех памятных мест: «Как Крым выглядит? Лучше, чем в сорок втором? Хотя что же я спрашиваю — вы по Керченскому полуострову не проезжали. И воды из Семи Колодезей не пили. И Тайгуч с тем блиндажом, что мы с тобой, Коля, вырыли, далеко от вас остался. Не тот Крым...»

Я вспоминал тот Крым, песчаный пляж у пролива, куда все медсанбаты разгромленного фронта свозили своих раненых и под непрерывной бомбежкой и расстрелом из пулеметов с воздуха ожидали катеров и рыбацких шаланд. И те героически принимали на борт всех, кто имел силы доплыть до них, хотя бы сто метров, а врачи с медсестрами оставались до последнего, строили плоты из автобаллонов, и когда отплывали, это было ночами, то «юнкеры» в пепельном свете ракет топили их, а многих течением из Азовского навсегда уносило в Черное...

В повести «С фронтовым приветом» полковой агитатор спрашивает солдата: «Отступить приходилось?» И он отвечает: «Приходилось, товарищ капитан. Из Керчи в сорок втором. На Кубани у казачек совестно было стакан воды попросить...»

Это, конечно, отвечал за солдата сам Овечкин.

Совестно.

И в пьесе «Летние дожди» кто-то из экскурсантов у обелиска на Сапун-горе также вдруг восклицает: «Стыдно!» — от имени тех, кто с боями, не сдавая оружия, ушел за пролив, на Кубань: «Все равно — стыдно!»

Судьбу обороны Севастополя Валентин справедливо мерил катастрофой Керчи.

А совсем недавно, уже работая над рукописью, нашел я в комплекте нашей фронтовой газеты заметку Валентина «Казачки в бою», это в номере от 11 июня, когда уже все было позади на пустынном керченском берегу. Нигде она потом не публиковалась. Почему-то хочется именно в этом месте вставить ее в свои воспоминания.

«...На Кубани реки текут быстрые, горные, природа края полнокровна, буйные грозы шумят здесь летом, тучные хлеба вырастают на напоенном кровью многих войн черноземе, и люди, выросшие на этой земле, горячие сердцем, любят родину, ненавидят страстно врагов ее.

Пулеметчики-казачки Рыбаков и Засидский работали четырнадцать лет в одном колхозе бок о бок. То Засидский был председателем, а Рыбаков его заместителем, то наоборот: Рыбаков был членом

правления, а Засидский его бригадиром. И на войне легли рядом за один пулемет — Засидский первым номером, Рыбаков вторым.

...Это был бой! Сотни немцев уничтожили два пулеметчика. Унесли санитары Засидского лишь тогда, когда нога распухла вся, как бревно, почернела, и он уже не мог двигаться. Попрощались друзья...»

## 4

Позади была переломная зима войны — в ноябре 1942 года победоносный прорыв у Клетской и Серафимовича, наши стремительные танковые рейды в излучине Дона и новый бросок в декабре от Верхнего Мамона через Кантемировку на Украину. В феврале 1943 года меня послали в десятидневную командировку в Москву.

...Когда летишь из Старобельска на север, и «дуглас» на высоте пятидесяти метров выходит на разбомбленные села, пересекает реки в ледяных заторах, и в круглом окне ты видишь то мельницу с недвижными крыльями, то волчьи, то заячьи следы на лесных порубках, то одну-единственную телегу на сизом проселке — тогда начинаешь постигать, как стало пусто в стране, воюющей скоро уже третий год. Все, кто способен воевать, сбились тесно где-то в окопах и блиндажах на западе от трассы полета.

Наверно, потому, пока летели, я вспоминал Овечкина. Я простился с ним уже в июне сорок второго в Краснодаре, откуда он отправился со школой политсостава пешим маршем через Кавказский хребет. Он сам отчислил себя. Придя к Главному как работающий «по вольному найму», а на самом деле прикомандированный к редакции крайкомом партии, попросил об освобождении. Неприятная была минута... Главный домогался узнать причину.

Прошли годы, семнадцать лет, в одном из писем Овечкин признался: «Было одно желание — скорее кончить этот разговор. Неловкость какая-то. Как будто я виноват, что он...»

Явился ко мне проститься с пакетом под мышкой. Завтра в военкомат. Две справки. Первая, за подписью Главного, лаконична: работал с 30.12.41 по 8.6.42 и «уволен по собственному желанию». Вторая справка — характеристика, выданная партторгом, старшим батальонным комиссаром Я. Литовченко: «...материал для очередных очерков брал из первоисточников непосредственно на передовых позициях, хорошо был связан с бойцами и коммунистами-фронтовиками, в боевой обстановке вел себя, как подобает большевику, — смел, предан партии и родине».

— Он за все заплатит на партколлегии. — сказал я убежденно.

— На том свете угольками, — откликнулся Овечкин.

Он был весел — «прошел комиссию, ноги разные, одна правая, другая левая...», — выкладывал на стол из сумки буханку южного пышного хлеба, толстый квадрат розоватого, серебрящегося солью шпика, в салфетке — молодые вареные початки кукурузы.

— Станичница торговала. Я спикировал. Искусство снабжать войска на фронте — одно из труднейших, — балагурил он, больше не вспоминая виновника нашего пиршества.

Расставаясь, мы медлили. Пили медленно и медленно хмелели. Читали стихи, что кому запомнилось. Овечкин прочитал из сербской, что ли, поэзии, я сейчас не знаю — откуда, хотя переписал и сунул в полевую сумку:

Кто на бой на Косово не выйдет,  
Ничего от рук тех не родится —  
Ни на поле белая пшеница,  
Ни в баштане виноград зеленый.

Помню, после этих строк заговорили о втором фронте. Овечкин включил приемник. В то лето все ждали — вот сейчас по радио скажут. Так напряженно было это ожидание подмоги...

«А где он сейчас? — раздумывал я по дороге домой. — Политрук роты или полковой агитатор? Остался ли жив после сталинградской зимы?»

В первые же дни в Москве я отправил письмо на освобожденную Кубань, в станицу Родниковскую. Оно дошло до Екатерины Владимировны и сохранилось в семейном архиве в Ташкенте, как и многие другие письма. Я просил ее ответить, как она с детьми пережила оккупацию и где, по ее сведениям, находится Валентин. «Если неизвестно — напишите. Будем искать вместе. Последнюю телеграмму от него моя жена получила в Москве в октябре прошлого года. Он находился в Кутаиси на курсах политсостава. Адрес был: Кутаиси, п. я. 63, часть № 4, курсанту Овечкину. Пожалуйста, напишите немедленно. Очень надеюсь, что с Вами и сыновьями все благополучно, что Валя цел и невредим и что вы с ним, хоть на день, встретились».

Я как в воду глядел — в самом деле они встретились! На пять минут, а свиделись! Как тот станичник с женой на переправе. Сейчас это похоже на вымысел беллетриста. Но где-то я прочитал, что цепочка фактов часто кажется преднамеренной — ничто так не похоже на преднамеренность, как цепочка фактов.

Овечкины встретились на кавказских дорогах летнего отступления, когда смешались войска и гражданские обозы. В этом хаосе они повстречали друг друга и через минуту-другую расстались. Случилось это под Владикавказом, в садах Михайловки. (Там в детские годы я отрясал яблоны и бегал с мальчишками от сторожей.) Походная колонна школы политсостава шагала, вся черная от пыли, по шоссе мимо медсанбатовских грузовиков, укрывшихся от зноя на дневку под яблонями. Овечкин зачем-то выбежал из рядов и увидел сидящего на борту кузова своего меньшого, Валерку. Была минута как во сне — семья сбилась тесно, у всех на виду обнимались, целовались... И бессвязные слова, слезы. Впопыхах припоминали знакомых и дальнюю родню, куда писать, где искать после войны. Он побежал догонять облако пыли — там его рота. Он еще услышал: вслед что-то кричали мальчишки.

А потом, рассказывал он позже, была теплая зимняя ночь в Грузии. Школа политсостава отправлялась железнодорожным эшеленом из Кутаиси поближе к фронту, к Сталинграду. В Тбилиси он проснулся, будто кто-то толкнул в спину, выскочил из теплушки, обежал на незнакомом вокзале все залы ожидания, вглядываясь в спящих женщин и детей. Он верил, что чудо должно повториться! Он снова их встретит и отдаст аттестат. Он-то знал, что значит для жены с малыши детьми зима без аттестата, в чужих местах... Не нашел. Догнал свой вагон на ходу, подхватили руки товарищей.

И была — без писем, без надежд — неуютная курсантская зима в мерзлой степи за Волгой. В Сталинграде жесточайшая битва, а голодные курсанты меняли питой чай на казахские лепешки. Овечкин подружился с Сергеем Петренко, который впоследствии, как многие в войну, сгинул из его жизни. Сергей раздобыл где-то баранью шкурку, Овечкин сшил две шапки.

Напрасно я ждал ответа и в Москве и на фронте. Первое письмо разыскало Овечкина на Северском Донце только в мае 1943 года. Он был уже полковым агитатором, его аттестовали старшим лейтенантом в приказе по войскам Второй гвардейской армии. Позади, пожалуй, было самое страшное — отчаяние неизвестности. Екатерина Владимировна вернулась с детьми из Грузии на Кубань, в Армавир, без



вещей, без гроша за душой. Он выправил аттестат, писал: «Кажется, десять лет не виделись. За осень и зиму я исходил около 2000 километров пешком, ночевал на снегу, дьявольский холод, когда по целым неделям не имеешь теплого угла, чтобы хоть чуть отогреться...» Он спрашивал жену, что знает она о казаках-родниковцах: кто жив, кто убит? И, не дожидаясь ответного письма, отправлял одно за другим целые послания с толковыми советами: чем заработать, куда пойти — в буфет или в госпиталь, подработать шитьем или лучше всего в колхоз. Он мог уже собрать посылку — отослал лишнюю гимнастерку, бумагу для писем, ребятам немного сахара, конфет, бутылку смородинового сока. «Коробочку, в которой мне вручили медаль «За оборону Сталинграда», посылаю в награду Лерику за то, что сам застегивает пуговицы и умывается».

Много лет спустя мне показали его фронтовые письма домой, и на одном из них в уголке я прочитал грустную строчку: «Уехал казак на чужбину далеко». Это по-детски тосковал старший сын Валентин.

18 июля 1943 года Овечкин получил звание капитана приказом по Южному фронту за № 0573.

Забегая вперед, скажу, что в Ташкенте, когда отца уже не стало, сыновья дали познакомиться с записными книжками — их за всю жизнь набралось больше семидесяти! Керченского блокнота я не нашел, он был потерян в зимнем походе школы политсостава. Но зато в миусском блокноте, помеченном под № 51, я нашел заметки полкового агитатора Овечкина и подивился, какие они все по-овечкински целенаправленные. И сказки и басни — все годилось к случаю, к беседе.

Там была запись о жене полицая, ушедшего с немцами, у нее в дому теперь кучи нестираных тряпок, грязь. «О, при немцах все блестяло в хате. Она думала: пускай пропадают миллионы людей, а она разжиреет, как свинья, и будет барыней жить, с прислугой. Нет, миллионы не пропали. Она пропала».

И еще запись о разоренном селе. «Как мы шли к нему ночью! Ночь весенняя, но холодная, резкий ветер. Обрадовались — село, обогремся. Но подошли ближе — одна хата сожженная, другая в развалинах, третья без крыши, дымоход с трубой торчит над развалинами; все село прошли, хат двести, — все пусто, мертво. Кто-то сказал: мертвое село. Да, мертвое село. Есть Мертвое море, есть мертвые пустыни, это — мертвое село. Я никогда бы не стал его восстанавливать. Так бы и оставил руины на тысячу лет. Водил бы сюда людей и показывал: здесь в 1941 году побывали немцы». (В Ташкенте, вспомнив фильм «Председатель», в котором он усмотрел большую и обидную неправду, потому что колхозницы показаны как стадо, Овечкин рассказывал мне, какую он видел первую посевную после немцев, когда ни одной лошади не осталось — лопатами копали землю. Полк проходил вблизи тех мест, где когда-то была сельскохозяйственная коммуна Овечкина. И он надеялся побывать, увидеть своими глазами, что было при немцах и после них. Или с войсками, если путь ляжет. Или после войны.)

Я увидел адреса, где он ночевал, где хозяйка хорошим борцом угостила в Ворошиловграде; где пришлось за войну курятинки попробовать в Варваровке. Эти записи как бы погашены временем. Но зато живут и полны веками негасимого смысла имена солдат — какого-нибудь старика бурята Тонеева, особо отличившегося на снайперской охоте. Видно было, что Валентин уточнял списки бойцов, пропавших без вести, крестьян, казненных немцами или погибших в партизанских отрядах, составлял списки семей, которых надо известить о награждениях. Он записывал конспект беседы о боевых

традициях полка с явной целью, чтобы после госпиталя каждый рвался в свой полк. И другой беседы, приуроченной ко дню принятия присяги, чтобы необстрелянная молодежь готовилась к нему как к празднику. И еще была там беседа об отношении к местному населению. Про какого-то тракториста Степана была подробная запись в духе толстовской притчи: Степан раньше не видел Гитлера, Гитлер не слышал о существовании Степана, а вот случилось же, что на фронте тракторист понял, против кого пошел Гитлер — против него, против его бригады, «перепавшей до материка целину мерзостной собственнической жизни».

В полном собрании сочинений Валентина Овечкина когда-нибудь мы, конечно, найдем место и для его полковых бесед. Как агитатор он знал, что к разговору надо суметь подойти с шутки, и когда ругался, то весело: «Вот барбос! Расшиби его душу!» Или выдумывал смешные, необидные фамилии — Раздобудько, Циферблат, Слабчук, — записывал притяжки и коротенькие анекдоты. Но вдруг хмурая мысль прожигала трофейный блокнот 1943 года: «В гражданской жизни воспитываешь, формируешь человека, и он живет и работает; приедешь через два-три года и любишь, что с человеком сделалось! А тут воспитываешь людей, а они долго не живут. Больно жалко, как работа рушится».

22 июля 1943 года он получил назначение во фронтовую газету «Сын отечества». Я разыскал в Ленинской библиотеке почти полный комплект этой газеты. Солдаты называли ее «Сынок», на ее страницах много овечкинского. Он имел преимущество перед другими, он сам прошел солдатскую жизнь — собственно, то же преимущество, что и в мирные годы, когда писал о колхозах. И кобура была у него уже истрепанная, с дырой от осколка. Спустя много лет он мне показал ее, чтобы я не очень-то форсил со своей полевой сумкой. Посмеялись. Помолчали... А когда отца уже не стало, Валентин-младший рассказал мне, как они с Валеркой спросили его, когда он только с фронта вернулся, приходилось ли на войне убивать. Отца всего передернуло, он как-то жестко рубанул: «Даже своих приходилось».

И уж потом, разбирая архив, сын встретил запись о том, как страшна паника и как ее нужно бывает остановить любыми способами.

И еще была одна запись, помеченная 22 июня 1943 года, а это день его рождения:

«Иду по обочине степного грейдера. Вперед и назад на километры — ни души. Выпуклость грейдера блестит на солнце, как ручей. В кюветах мягкая крупитчатая земляная осыпь, хрустящая под сапогами. Иду под шорох собственных сапог, вешмешок за плечами, шинель на руке, и ничего и никого вокруг. Словно один в мире. Хорошо думается на степных дорогах. Хорошо идти так в день рождения».

Эти строки напомнили мне, как мы шли керченской степью и он говорил о любви к полевым проселкам. Он и тогда хотел верить, что война кончится к уборочной и что вообще эта война последняя.

Сейчас мне трудно выровнять события его жизни во второй половине войны — когда его демобилизовали и отправили в распоряжение «Правды Украины» и как он вытащил семью из Армавира в Киев. Беспорядочной была наша почтовая связь. И не до того. Знаю, что в Киеве они жили очень худо. Было продано последнее на базаре вплоть до пайковой водки и американских ботинок, полученных по ордеру, мать лежала в больнице, и не всегда был целковый на хлеб. А у Валентина два стола: на одном он писал повесть, за другим мастерил игрушечные саночки, и сын продавал их на толчке перед Новым годом.

Никогда никто ни до, ни после так не связал будни фронта с жизнью деревни предвоенных лет, как это сумел Овечкин в написанной тогда повести «С фронтовым приветом». В ней была уже завязь «Районных будней». Надо же было так случиться, что первый же рецензент издательства, куда отнес автор свою рукопись, обнаружил в ней клевету на советское офицерство, «охаивание» тыловых работников, противопоставление фронта тылу.

Понадобилось вмешательство Александра Фадеева, он знал автора еще как главный редактор «Красной нови» и влюбился в привланную ему рукопись. С его поддержкой она вышла в свет сперва в журнале «Октябрь», потом книгой. Я прочитал ее с большим опозданием. Думается, не погрешу против скромности, если полностью приведу свое тогдашнее письмо. Что-то в нем характерно для молодых настроений тех лет.

«Милый Валя, ты, наверно, сердисься за молчание и не пове-ришь, что только сейчас я прочитал твою повесть. Зачем же было переписываться, если молчать о главном. Надо было мне приехать в Москву, чтобы наконец раздобыть номер журнала. Вчера и сегодня прочитал вприсест.

Впечатление, что ночь целую проговорил с тобой, узнал все твои мысли, о чем беспокоишься. Из всех московских встреч эта — самая радостная и важная.

Натоптал ты за десятерых, Валька! Радует за тебя твое беспокойство, с которым ты толкался на фронте среди людей в эти два года. Ты как ванька-встанька — куда тебя ни кинь, куда ни обрати, ты все об одном. Печально, конечно, что я еще не вижу в твоих писаниях влюбленной пары — все это откладывается, очевидно, до поры, когда мир будет окончательно счастливым.

Позавчера мне прочитал свою первую рукопись после фронта приятель, дважды контуженный, больной, но упрямый человек. Поразил изощренностью художественных деталей, мастерством художественной отделки. Но главной красоты не нашел у него — красоты человеческих отношений. Она составляет все существо твоей корявой повести. Пожалуйста, не обижайся определению — как раз я считаю совсем не важным и почти излишним упрек в несовершенстве твоего произведения, и в частности в его композиции. Ты даже не драматизировал разговор двух твоих героев, просто накатал монолог на два голоса. Не сумел иначе. Или не желал? Не важно. Вижу тебя сидящего за столом в ночных трудах — раскладываешь пасьянс из написанных кусков: куда бы вставить портрет Петренко со слов: «Петренко был простым агрономом», или как связать, черт бы их побрал, конец третьей главы с началом четвертой.

Цельности твоей, Валя, завидую. Любую изощренность деталей можно постигнуть, а вот стать рупором с таким широким раструбом — сумеешь ли? Вряд ли. Есть у тебя что-то, чему может позавидовать не я один, а любой самый знаменитый наш писатель. Стараюсь не преувеличить и пишу обдуманно.

Замечательно, что вся забота твоя не о завтрашнем, а о сегодняшнем. Ей-богу, вроде колхозной газеты! А такая позиция, гляди, спустя полсотни лет окажется самой времяустойчивой. Потому что характер некоего Валентина Овечкина будет читаться в повести несколько не хуже характеров его героев, а в характере этом красота и нравственность соединились по вечным рецептам. Нетерпеливая и потому прекрасная жажда вмешаться в отношения между людьми во всей стране, как в собственном батальоне или колхозе. Вот откуда твоя вооруженность мыслью и чувством. И это создает красоту

формы и художественную силу не так уж отшлифованного произведения.

Штурм мельницы и следующий вечер ты написал просто отлично. А монологи о жизни в тылу!.. Сколько ты подслушал и как хорошо понял. Дело в том, что для того, чтобы подслушивать точно и верно, необходимо быть при деле, на месте, и это факт биографии, тут особой заслуги нет. Но для того, чтобы хорошо понять это подслушанное, нужно и самого себя уметь услышать. Это главное. И в этом я тоже тебе позавидовал.

Каждому пишущему ясно, что правда требует от писателя отношения «тоски и горя и жажды хорошей жизни». И оказалось, что повесть не стала менее оптимистической оттого, что в ней, по моему счету, тридцать пять человек погибают и сотни людей истекают кровью, а иные слепые, безрукие, опустошенные и, как всегда в жизни, много еще недоумков. Но сделать все это убедительным, сделать смешным твоего рецензента, киевского могильщика — а я слышал об этом печальном эпизоде еще в Румынии, — вот это трудно и сложно. И ты это сделал на радость всем пишущим.

Вот, Валя, радуюсь и жму твою руку. О себе писать пока нет охоты. Хочу повидать тебя, говорят, что ты можешь приехать».

Если бы сегодня я мог передать ему свое впечатление, я ничего не убавил бы. В книгах о войне, прочитанных за четверть века, я не нашел ничего равного небольшому эпизоду (кто читал, помнит), где бойцы идут в обход немцам ночным полем, без дороги, и вдруг... «Спивак нагнулся, сорвал на ходу пучок травы, растер в ладонях ее мохнатые влажные листочки, поднес к лицу и понюхал. Кто-то из бойцов тоже нагнулся, за ним другой, третий.

— Мята,— сказал один из них,— по мяте идем. Э-эх! Толково пахнет.

— Мята,— удивленно подтвердил другой тихо: по колонне было приказано двигаться без лишнего шума.— Да сколько же здесь! Откуда взялась? Дикая, что ли?

— Нет, не дикая,— сказал первый.— Посев. Ее нарочно сеют, как пшеницу».

И начинается вполголоса крестьянский разговор о мяте — «доходная штука — эта травка». Потом — о колхозе, который гектар роз посадил: «...все смеялись — пустяками занимаются, бабье занятие — цветочки сажать. А они, знаешь, какую денгу огребли за те розы?»

« — Букеты продавали, что ли?

— Нет, тоже сдавали государству. По-простому, видишь, как назвать розу — ну, цветок, и все. А по-научному называется — финонос...»

Заговорили и о посевах кориандра. Но вмешался командир батальона:

« — Отставить молотьбу и разговоры!.. Вы, хлеборобы, гречко-сеи! Дома будете заниматься молотьбой...»

Несколько минут идут в молчании. Но тишину нарушает сам комбат.

— Не коляндр, а — кориандр!.. Это кто там беседу об эфирносах проводил? Завалишин? Ко-ри-андр. И не финоносы, а — эфирносы, так называются эти растения. Понятно? Потому что содержат в себе эфирные масла, которые в парфюмерной промышленности употребляются. Это — валюта, золото. А пуд розового масла стоил до войны не десять тысяч рублей, а если уж хочешь знать точно, то пятьдесят пять тысяч. Не растягивайтесь! Шире шаг, задние! В балку придем, покурим.

Спивак невольно улыбнулся этому замечанию комбата.

— Уточнил, агроном! Ни в чем не любит беспорядка».

Так в повести Овечкина шел атаковать село Липицы не одичалый от крови, воюющий третий год батальон — шла в бой ради жизни на земле единственная в своей сути армия. И она не могла не победить. Поле битвы пахло мятой...

## 5

Когда знаешь человека не один год, а он умрет, нелегко бывает восстановить историю отношений, порядок событий. Они вспоминаются по обрывкам слов, выхваченных памятью, по каким-то жестам, случайным черточкам, которые заслоняют важное, из-за чего, собственно, и стоило помнить. Смуглота степного загара в марте, железная оправа очков. Иногда он по-стариковски сдвигал их поверх лба. И то, что, одеваясь утром в ванной, галстуков не терпел, называл удавками. И предпочтение, какое отдавал фасолевым супам и грибам. И то, что отдыхать не умел. И то, что детям по вечерам показывал тень от пальцев на стене: зайца с шевелящимися ушами, козла, бабу-ягу.

И все потом сливается по прошествии времени, и попробуй разберись, что несущественно, а что самое главное, равнозначно всей судьбе человека.

Так у меня со многими овечкинскими гощениями в Москве: не разобрать, что память сохранила лишь потому, что это близко меня самого касается и, значит, надо бы оставить для личного пользования. А что нужно всем. Как будто дым от двух папиросок под потолком смешался.

Он приезжал.

Иногда не заставал дома. Интеллигентная старушка, жившая у нас при дочке, говорила: «К вам приходил мсье Овечкин». Мы рассказали ему, он очень развеселился и однажды привез ей пестро расшитые варежки: «Это из Парижа...»

Он открывал чемодан и, наскоро позавтракав, еще до редакции спешил на улицу Кирова в хозяйственный магазин, где каждый раз обзаводился сапожным, столярным, слесарным инструментом.

Возвращался с трофеями — с книгами от букинистов, с охотничьими и рыбацкими припасами, — и начинались взаимные подтрунивания. Таких, как я, «интеллигентов» он высмеивал, ну, хотя бы за то, что бутылку без штопора не откроем. Он был столяр-любитель. Позже я видел, какие он внучке Олечке ювелирно мастерил (при одном-то глазе) цепочки, корзиночки, бабочек для елки, санки для недолгой зимы в Ташкенте. Он был не только заядлый охотник, но и оружейник и в молодые годы сам сотворил себе охотничье ружье, укоротив, расточив ствол австрийского карабина и приладив красивое резное ложе. А сыновья показывали, как отец-сагожник учил их вгонять деревянные шпильки в подошву с одного удара.

Говорят, на вечерах комсомольской самодеятельности в Ефремовке он играл на скрипке, правда по слуху. А в Москве он любил под мандолину петь «Ноченьку»: «Эх ты, ноченька, ночь осенняя...» И теперь, когда я слышу фронтовые песни «Эх, дороги...» или «Давай закурим, товарищ, по одной...», передо мной встает его лицо. Он пел душевно, как солдат на третьем году войны.

Однажды явился в полном восторге от концерта Поля Робсона с участием Козловского.

У него был дар водиться с детьми. Теперь они выросли, своими обзавелись. Но глаза их загораются, когда вспоминают, как он приезжал к старшим. В семье Геннадия Фиша, с которым он, влюбившись в

Терентия Мальцева, писал пьесу «Народный академик», праздником бывал для Наташи, как и у нас, каждый приезд Валентина. Взрослые, конечно, пили — он любил салаты с острой приправой и не стеснялся, пил рассол прямо из опустевшего блюда: «Я гость, мне можно». А потом он бегал с детьми купаться к реке, и там начинался конный бой верхом на плечах друг у друга.

Разговорившись, он засиживался до трех часов ночи. Иногда хозяева ему намекали, что пора бы и на покой, а он все не прощался. Ему мстили: звонили спозаранку в номер или просили дежурную постучать в дверь. А потом с невинным коварством спрашивали: как спалось? Он догадывался, кто ему мешал спать, задира лоб: «Ах так! Так кого же из вас я послал по матушке?»

Человек иронический, он и в людях ценил понимание смешного. Слово «осточертело» казалось ему слишком благопристойным для выражения чувства, и он в самом корне обламывал его. Серьезный разговор с веселыми непристойностями любил, как тот же салат с острой приправой. И помню — это не ставилось в укор даже женщинами, он был окружен атмосферой их легкой влюбленности. И не отклоняя легкомысленные намеки, говорил уклончиво: «Не за то волка бьют, что овцу зарезал, а за то, что попался. — И еще добавлял: — Черт угодит нашим женам! Одна жалуется, что муж всем бабам нравится, другая — что на него смотреть не хотят».

Рассказывая, он умел заставить смеяться, а сам при этом только щурился. Помню, развеселил фронтовым происшествием — как провалился к генералу, о котором шел слух, что не любит корреспондентов. Отрекомендовался: «Капитан Овечкин». Тот откозырял: «Генерал Баранов». Бывают же совпадения! Рассмеялись. Беседа, что называется, прошла в атмосфере взаимной сердечности.

Самую заветную мысль он выдавал в упаковке анекдота, комического диалога. Повесть «С фронтовым приветом» он населил множеством смешных персонажей. Старик по Мюллеру занимался гимнастикой. Лейтенанта Кудрю контузило, когда он ел колбасу на сале, и отшибло аппетит на все мясное. Дьякон на венчании не ту молитву запел. Он любил и сам поговорить и чтобы герои его высказывались без помех, без цензуры. Тут он не признавал меры, преувеличивал, жертвовал стройностью композиции, прибегал к гротеску.

Есть превосходная книга М. Бахтина о творчестве Рабле. Жаль, что Валентин не прочитал ее. Бахтин исследует нечто близкое Овечкину. Раблезианское начало — это многовековая стихия народного юмора, противопоставлявшего себя церковному унынию. Стихия эта бушевала в карнавалах, в праздниках шутов, дураков, богатырей и карликов, в ругательствах, уравнивавших всех, в божбе, во всем, в чем народ освобождал себя от церковных и светских установлений, приземляя постную святость и догматизм ханжей.

Многие сегодня еще помнят его. Одним он сейчас привиделся бы в ватнике, в болотных сапогах, с заплечным мешком, другим — в офицерском кителе с орденской планкой, третьим — в штатском, очки торчат из кармашка пиджака. Но и тем, и другим, и третьим запомнился он озорным в разговоре, с едким словцом, бьющим в бюрократов и дураков. «Видать птицу по помету», — скажет и не улыбнется.

Я вычитал у него злую сентенцию о том, что от глупости партийным взысканием не излечишь. Помню, как он привел китайскую, кажется, поговорку: «Чужой дурак — радость, свой — горе».

Когда слегка постарел и по сумме болезней предстояло ему выйти на пенсию, то и в этом нашел повод для горькой шутки: «В утиль-сырье меня? Шиш! В металлолом!»

Что же, спрашиваю я теперь себя, это главное в нем? Или мелочь, пустяк?

Люди думают иногда поверхностно, иногда глубоко, иногда заодно с тобой, иногда по-другому, чем ты. У Овечкина же была такая нервная цепкость суждений, обостренная многолетним чтением Ленина, такое ощущение кожей всего происходившего, что обо всех переменных было у него всегда точное и глубокое мнение. Он не любил выболтаться, отвести душу — и, дескать, ладно, пошли дальше. К концу разговора он становился сосредоточенно-серьезен и так властно и заразительно думал, что рядом с ним и ты заражался потребностью к размышлению, и в этом он видел назначение своего общения с тобой. И плохо тебе приходилось, когда ты этому не соответствовал.

Был ли он большой художник или нет — вопрос этот оставим решать литературоведам. Но он был несомненно властным хозяином своей мысли, своей совести, своего суждения о жизни и не очень понимал писателей, которые загоняли в глубокий подтекст то, что казалось им важным, — л а в у л и р о в а л и. Никогда он не обижал читателя недомолвками. Прямое слово, даже если о самом горьком, — так, он считал, будет по-ленински. Я на всю жизнь прихватил с собой в дорогу одну его запись в блокноте: «Не дай бог помнить только росписи на рейхстаге и забыть про Керчь, забыть немцев под Эльбрусом».

Люди могут быть по-человечески симпатичны в быту — простые, компанейские, общительные. Таким выглядел в хорошую пору и Валентин. И фамилия ему была уготована — такая незлобивая. А характер бычий, упрямый, напролом. И был еще «довесочек»: он представал цельным человеком, таким, какого ищешь годами. И потому что он был таков, ты обретал веру, что, раз случаются такие, таких должно быть много и это только твоя неудача, что они не попадают тебе каждый день.

Всю жизнь он брал под прицел забуревших чиновников, которые, как он писал, «сами не ошибаются, их аппарат подводит», и тех, кого называл «служителями культа». Трижды подчеркнул он в том же двадцать пятом Ленина на странице двадцать третьей: «Без «гнева» писать о вредном — значит, скучно писать».

В своих очерках и рассказах он высмеивал и казнил всяческих кабинетчиков, презирал их кабинетное прожекторство. И я сам однажды ненароком на себе это испытал. Будучи проездом в Москве, он не застал меня дома и только увидел мою дверь из прихожей в кабинет: я ради звуконепроницаемости обил ее войлоком и гобеленовой тканью, да еще на обойных гвоздиках. Получилось как на двери кабинета начальника. Он написал записку и наколол булавкой на двери: «Коля, был у тебя, не застал. Звуконепроницаемую дверь не одобрил. Не тот материал. Надо бы — дерматином...» И вместо подписи — ехидное напоминание: «Керченский полуостров».

В ту счастливую пору он являлся в Москву с новыми рукописями, и был успех, и были деньги, и в его гостиничный номер набегали новые и новые люди. Споры, остроты, смех... Но и в конце жизни, в Ташкенте, тяжело больной, он был все тот же; в записной книжке есть упрямый наказ самому себе: «Будешь лежать при смерти — и то надо шутить и улыбаться. Чтобы друзьям было не так жалко тебя, а враги боялись до последней минуты». И в его последнем письме, какое я получил под новый, 1968 год, все то же: «Весело провести вам праздники! Дерябни, Коля, и за меня, грешного».

Но шутить и улыбаться, даже в домашнем кругу, было не главное. Главное — ругаться. «Жалею, что недоругались», — писал он иной раз по возвращении из Москвы домой. А означало это, что недоспорили.

«Знаю, что найдешь в пьесе много несовершенств. Ну, будем спорить и ругаться, когда приеду». В лермонтовские времена он прослыл бы бретером, вечно искал, с кем столкнуться, и не без тщеславия соглашался, что характер у него скверный. Друзья тоже часто оговаривались: «Зная твой скверный характер...» Он не был ни хитрым, ни скрытным: что имел в мыслях, то и на словах. Его прямота выражалась в том, что не любил за глаза говорить слова осуждения о человеке и его работе. И предпочитал, чтобы и о нем все было сказано напрямую. И я иногда писал ему, приглашая в Москву: «Приезжай, намылим тебе голову, и пусть уж тогда венчают ее лавровым венком».

В речах на писательских съездах он штурмовал тех, кто «за Москву держится», но при этом обнаруживал нежность ко многим столичным литераторам, и это было им тем дороже, что они знали: три дня назад он ночевал в будке трактористов, — а я зримо представлял его полевую жизнь, помня нашу дорогу к Ак-Монаю и ночлеги на керченской земле. И еще привлекал он к себе тем, что, говоря тихим голосом, локтем как бы тебя подталкивал, если ты без внимания: дескать, слушай! И то, что он втемяшивал тебе в башку, было важно для него не этой данной минутой, когда он поровну делит в стаканах остаточек, а важно целой жизнью.

Он дарил свою книжку, но и в дарственной надписи на ней не мог высказаться без полемики: «...от основоположника «прикладной» литературы, от ярого противника сюжетов, театральных канонов и воды».

До рассвета, до сизого дыма под потолком прокуренной комнаты продолжался спор; не принимая возражений, он искал врагов, которых надо «исключать немедленно из партии, невзирая на заслуги и чины». Или: «Расстрелять мало мерзавцев!» В таких спорах, по крайней мере на словах, он выглядел явным загибщиком и волюнтаристом.

К чести его сказать, я не помню при этом, чтобы он увлекался агроновшествами, панацеями от всех бед, какими в ту минувшую эпоху с успехом торговали ученые-конъюнктуристы. Весной 1955 года в его Курской области 257 тысяч гектаров — четверть всех посевных площадей — заняли под кукурузу, и, главное, там, где никогда не сеяли ее. Он знал, сколько в Курской области выдавали в некоторых колхозах на трудодень — по четыре копейки. И он места себе не находил от негодования. К тому же весна затянулась, в мае еще стояли холода, сады зацвели на месяц позже.

— Ну, жители... — гневно шипел он, врываясь в квартиру с вокзала. — Так дальше нельзя! — И тут же объяснил причину своего гнева: — Ведь пересев-то на полях скрыли от правительства! Осталось домашним секретом. Будто неблагоприятный случай с дочкой в порядочном семействе.

Он говорил о таких безобразиях как о своем кровном горе и со злостью называл кукурузу «барыней», как окрестил ее тогда народ, а не «королевой полей», как писали в газетах. И мы имели право считаться хорошими собеседниками только при том, что будем хорошими слушателями. Вряд ли он мог бы с удовольствием провести вечер в Москве в обществе такого же, как он сам, фанатика — допустим, градостроителя или космонавта. Он так ожесточенно ругался по поводу очередной газетной конъюнктуры — сеять кукурузу под Вологдой или доить коров дважды, а не трижды в сутки, — как будто это моя жена дважды доила корову, как будто это я распахал клевера и люцерну. «А мне стыдно, стыдно, понимаешь? И иди ты к чертовой матери!»

Успокоившись, он давал прочитать привезенную с собой рукопись, и вдруг оказывалось, что обо всем этом он успел написать. Теперь только редакторов убедить напечатать.



С утра, уже за чаем, отстранялся от журналистского треп. В глазах возникла некая ультимативность. Он готовился в поход: «Иду ругаться».

Не раз я слышал — в цехах, в лабораториях, на промыслах, если не ладится, чего-то недостает, — это наше советское, напористое «иду ругаться». И Валентин не догадывался, что в этом он как все.

Часто задают вопрос: так ли уж яростно ему приходилось отстаивать свои рукописи? Да, отвечаю, яростно! И не его vezучество можно объяснить, что в конце концов он находил единомышленников, как нашел для своей повести Александра Фадеева.. И ст и ны могут быть приемлемые и неприемлемые. Но тут получалось, что взгляды Овечкина по всем вопросам и истинные и приемлемые. Только вот входил он в заповедник правды как бы без пропуска и действовал вроде бы от себя, в одиночку, по-охотничьи. Овечкин часто опережал общественное мнение, пробивая право на жизнь каждому абзацу, и возвращался из редакции взмыленный. Где-то рядом с ним безотказно печатались журналисты-деревенщики, те, которые бездумно подтверждали уже и без них утвердившуюся мысль. А он ее контролировал всем своим опытом. Вот и считайте теперь, был ли он еретиком.

И как доверчив был он в жадном поиске союзников! Послушает иных краснобаев, поддакивающих ему по моде, провожает их ласковым взглядом — хорошие ребята! И так же мгновенно отшатывается от них, распознав бесчестную конъюнктуру.

Он часто менял свои пристрастные оценки людям и при этом не испытывал никакого почтения к авторитетам: то боготворил какого-нибудь писателя, а спустя год бросал ему в письме обвинение в том, что тот обленился и вроде бы, по Лескову, «возлежит на платовской кушетке»; то остронеприязненно не принимал фронтовую прозу другого писателя и в письме ко мне презрительно бросал: «Этот твой К...». А потом — проходили годы — признавал и уважал его. В таких переменях была постоянная внутренняя перестройка, работа движущейся мысли.

Вспомнить хотя бы эпизод с военной прозой Твардовского. Все мы тогда были в восхищении от кристально ясной «Родины и чужбины» и ведь понимали, как писалась она: прямо на фронте, вровень с «Василием Теркиным». И тем не менее вскоре после победы он увлек меня в писательский клуб на обсуждение «Родины и чужбины», и чтобы не хвалить, а ругать любимую книгу! Мы не постеснялись отсутствием автора. За что же мы осуждали его? За узкую якобы, «смоленскую» прописку на фронте! Что, если бы пришлось Твардовскому воевать не в родном краю, говорили мы, а там, где Макар телят не гонял — на голой глине, среди керченских вонючих ставков? Я вспоминал старика в Тайгуче, его справедливую отповедь: «Для вас, сыночки, что керченская степь, что какая-нибудь мексиканская — все едино. А для меня и моей старухи она — в нашем государстве, наша земля».

Прошло немного лет, и нам стала ясна наша вина перед Твардовским, наша неправота, когда стали выходить в свет главы его поэмы «За далью — даль». Но к разговору о керченской и смоленской прописке Овечкин не возвращался. Не хотел! Тут была, на мой взгляд, какая-то мальчишеская гордыня — не отвергать на людях своих былых, хотя бы уже осознанных заблуждений.

«Важно не быть кем-то, а оставаться им» — в этой сомнительной позиции была своя привлекательность: соединение упрямства и достоинства, — и трудно было понять, как это сочеталось: меняя взгляды на лица и явления, он ухитрялся сохранять свою главную неизменность.

Пьеса «Народный академик» не имела успеха и не была

поставлена на сцене. Авторы упрекали в несценичности. Овечкин-драматург, написавший, кроме лирического шедевра «Бабье лето», талантливой пьесы «Настя Колосова», еще несколько не слишком удавшихся пьес, всегда, как репей на хвосте, носил этот упрек в несценичности. Он яростно дрался за судьбу своих пьес. И даже явно неудачных. «Ну, хорошо, будем драться не на живот, а на смерть!» — писал он мне по поводу критики «Народного академика».

Он уже получал со всех краев страны, а потом и из Венгрии, Польши, ГДР огромное количество откликов на «Районные будни», буквально тысячи читательских писем. Однажды он прислал мне в толстых бандеролях удивительные письма, которые только по нашему нелюбопытству до сих пор не изданы книгой. Но уже на третий день встревожился и написал: «Коля! Получил ли ты письма моих читателей — три больших пакета? Сохрани их, они мне очень дороги, и если не нужны уже тебе — верни.— И с бесконечной заносчивостью добавил: — Такие же душевные письма пишут читатели и о «Народном академике», причем нисколько не сомневаются в «сценичности»...»

Отношение прессы к своей драматургии он называл иезуитством. «Опять то же иезуитство,— писал он,— все, дескать, хорошо, замечательно, но... не сценично. Главное пугало для театров!»

Готовилась премьера «Настя Колосовой» в Ярославле. Я тогда работал в «Литературной газете» и, зная взрывчатую натуру и ранимость автора, отправился в Ярославль, сопровождая будущего рецензента Александра Марьямова и тоже ныне покойного Александра Макарова. Спектакль понравился. Можно было с чистой совестью готовить положительную статью. После ночной автомобильной езды я еще спал, когда «над моим ложем» возник Овечкин. Что я мог ему пробормотать спросонок? Порадовать похвалой спектакля? Преувеличить успех у публики? Гарантировать положительную оценку в газете? Я все это сделал с искренним удовольствием и лишь добавил с той же искренностью, что актриса, исполнявшая роль Настя, талантливая и обаятельная, а все-таки горожанка и что-то ускользнуло от нее в понимании крестьянской натуры героини. Что я наделал, я пропал! Я и сейчас вспоминаю шекспировский жест и вдруг огрубевший голос драматурга, его казнящую интонацию, с которой он, прежде чем удалиться на год из моей жизни, тихо проговорил: «Ну, мне все ясно. Обрекли на провал. Спасибо... Эх вы, проработчики».

Рецензия была хвалебная. Никто в газете не хотел ему зла. Пьеса пошла и в Москве, и я впоследствии послал Валентину статью режиссера Зубова — о том, как готовили в Малом театре «Настю Колосову». Мир между нами был восстановлен. Но когда в щадящих выражениях я напомнил Валентину о несправедливости его тогдашнего гнева, я услышал благодушный ответ, не похожий на замешательство, нечто вроде того, что потом прочитал в его записях: «У тебя удивительно хорошая совесть. Очень добрая! Она тебя никогда не грызет, не мучает».

Утешаю себя тем, что с другими он бывал еще беспощаднее. Мнимой консолидации не признавал и мог под запал сказать земляку тихим голосом: «„Консолидация“. Тоже словечко выискали! Я с тобой на одной десятине... на корточках не присяду. А ты ко мне с консолидацией!»

## 6

«Горожане! А знаете ли вы, на чем булки растут?»

В этой расхожей его шутке я никогда не ощущал неуважения к городу или к столичной литературе.

Он-то знал, на чем булки растут. А в городе, известно, живут горожане.

Можно сказать, не много наберется писателей, которые так знали бы почву народной жизни — сельскохозяйственное производство. Так всесторонне и объемно. Думаю, что по сумме практических знаний книги его могут заменить учебник агротехники.

Социализм и хлеб — вот все небо его и вся его земля.

Стране всегда был нужен хлеб, чтобы мог работать, набирать силу город, рабочий класс, Советская Армия. Разверстка, реквизиция, продналог, поставки, натуроплата, закуп... Телефонограммы... Дополнительный... На семена... Сдача сверх плана... Перерасчет по высшей группе... В счет будущего года...

Проследите по всем его книгам: он ненавидел исполнительскую глупость оторвавшихся от народа чиновников, но еще яростнее — их исполнительский страх. Молчалиных бичевал больше, чем дураков, потому что «дурак — от бога, а молчаливыми сами становятся».

Непорядок на земле! Эй вы, борзовы! Уважайте хлебороба!

Ко всем пленумам, конференциям, слетам, ко всем полночным заседаниям, ко всем инструкциям, положениям, договорам что-то надо было добавить. Не было на земле порядка — вот состояние дел, с которым годами не могла свыкнуться партия. Поговорить об этом со всеми — в общежитиях трактористов, в поселках, на зимниках, проложенных от села к селу, в санях по косогорам, обдутым ветрами, на топких болотах и залитых водой ольшаниках. Днем и ночью не прерывалась дума об урожае. Большая дума. И для того, чтобы держать ее со всем крестьянским народом и его партийными руководителями, надо было писателю все досконально знать, обо всем иметь твердое мнение и говорить прямо. Самой этой прямоотой облегчалась накапливавшая боль души.

Чего только не найдешь в «Районных буднях», по ходу дела он рассказывал горожанам, в чем разница между «биологическим» урожаем, тем, что подсчитан на корню, и амбарным, довезенным до крыши. Сообщал походя, что такое капитальный ремонт тракторов, а что — восстановительный, что для весенней пахоты дизельный трактор, а что — колесный. Вам становилось и то понятно, почему невыгодно убирать высокоурожайное поле или почему трактор иной раз мелко пашет: да потому, что парень хитрит, покрывая вчерашний перерасход горючего на тяжелой земле. Овечкину была близка эта черта нетерпеливых хозяев земли — дожидаться скорого полнолуния, чтобы сеять светлыми ночами. Он много раз видел, как люди в затяжные дожди вывозят на поля, закрепленные за комбайнами, не только жатки — несут и дедовские косы, бабкины серпы. Он утверждал, что бессмысленно выписывать на Курщину с Кубани или Крыма отличные семена арбузов или помидоров — там ведь лето на полтора месяца длиннее и местные, какие ни есть, оказываются все-таки урожайнее хороших привозных. Он легко разгадывал загадку, почему позакрывались мельницы по всей стране: да чтобы зерно не растекалось по сусекам, чтобы не перемололи, часом, по домашней надобности то зерно, которое можно сдать в счет плана на элеватор.

В своем знании всех частностей, как и главного смысла многолетней битвы за хлеб, он становился похож на того старого война, командира дивизии, о котором написал в «Районных буднях». Вот он какой: «Когда Мартынов предстал перед генералом, с первых же его слов он почувствовал, что разговаривает с человеком, который съел с солдатами не один пуд соли и видел смерть в глаза, вероятно, тысячу раз. И не мудрено. Этот генерал начинал свою армейскую служ-

бу с должности рядового стрелка на турецком фронте в первую мировую войну, был ефрейтором, унтер-офицером, командиром эскадрона в гражданскую войну, командиром полка в финскую и, наконец, на тридцатом году службы дотянул до генерала. Но и в этом чине он ежедневно не меньше трех-четырёх часов проводил в частях, в окопах на передовой, чтобы не забывать солдатскую жизнь и не отрываться от нее; слышал перед собой близкие пулеметные очереди и обонял весь букет запахов обжитого в долговременной обороне бойцами переднего края — все то же, что слышал и обонял он, будучи еще ефрейтором. Видимо, генерал был не только храбрым солдатом, но и мудрым человеком и знал, что отрыв на длительное время от трудностей, которые несет на переднем крае народ, иной раз притупляет у начальника способности чутко улавливать настроение людей, обрывает те душевные нити, что незримо связывают его волю, чувства, устремления с чувствами и волей подчиненных ему рядовых бойцов».

Да, рядовой боец, хлебороб, был в глазах Овечкина высшей инстанцией, и только заодно с его волей можно было решить хлебную задачу государства — и текущей осенью, и на долгие будущие времена. Выше всего прочего ставил он руки труженика — «длинные руки в синих натруженных жилах, с ороговевшими мозолями на ладонях».

«Районные будни» появились в сентябрьской книжке «Нового мира» 1952 года, не в открытие номера, как художественная проза, а во второй половине, под рубрикой «Дневник писателя».

Все внимание читателей и критики сразу захватили две фигуры — Борзов и Мартынов. Спроси сегодня многих читателей — им запомнился поединок двух районных секретарей. Интерес возбудила острота ситуации: Борзов сам себя отзывает из отпуска, но этот его будто бы похвальный поступок обращается в глазах читателя против него: ведь в поступках важны их мотивы. Мартынов стал героем дня. Два лица — два характера. А между тем сколько историй о людях деревни было введено автором во вставных новеллах! Пожалуй, вся история колхозной России была эскизно представлена Овечкиным в судьбах и характерах. Целая галерея лиц! И то сказать, была такая возможность: в те годы почти все мужики перебивали на начальственных должностях в колхозах, а потом устранились по разным причинам: кто добровольно (шел в сторожа, лесники), кто спивался с круга, кого «затягали по судам».

Люди не задерживались на председательских, бригадирских местах. И Овечкин писал об этом точно так же, как если бы взялся за историю полка в наступлении: шла убыль офицерского состава, кто-то исчезал в медсанбатах и эвакогоспиталях, чтобы через полгода вернуться исхудавшим, бледным, с потухшими глазами, кого-то переводили на повышение, кого-то перебрасывали на другой фронт, кого-то отсылали в штрафные батальоны.

Торопясь, почти захлеб он раскрывал картину, можно сказать, «кулачной стенки» мужицкого себялюбия с трудовым бескорыстием тех, «у кого сердце изболелось». Жажда порядка среди хозяйственного разора — эта тема ожидала большого художника, и он, конечно, не обольщался, знал, какого гения ждет эта тема. Но не сидеть же сложа руки. Тот не писатель, кто не заносится в мечтах. Гоголевская поэма о России тоже не по заказу явилась, а ведь блокноты полны сюжетов! В «Районных буднях» шла настоящая облава на все плохое. Коммунисту надо было во всем разобраться: «такой вид собственности не страшен, когда колхозница свою хату белит, а муж ее по-хозяйски обносит плетнем усадьбу. То страшнее, когда все двory разгоро-

жены и у людей руки не поднимаются на своем же доме крышу починить».

Или вот хотя бы о том, как майор Дорохов по пути из армии домой дрался на дуэли с капитаном Калмыковым. Вероятно, не Мартынов, а сам писатель услышал рассказ об этом в старом темном лесу, в избе лесника, бывшего майора, исключенного за дуэль из партии. Как выпил самогону этот майор со своим случайным попутчиком на случайном ночлеге за бедным ужином у хозяйки, так и пошел кругой разговор. Да все о том же: как будем восстанавливать хозяйство? Деревня разорена, мужиков кого повесили немцы, кого расстреляли. И в избе все наглядно: топчаны застланы травяными мешками, стол из снарядных ящиков, консервные банки вместо тарелок.

И когда развезло капитана Калмыкова, когда зло посмеялся он над нищетой разорения, то и предложил этот «попутчик» свой ликвидаторский способ быстрого восстановления колхоза. «Как быстренько?» — спрашивают его. «А так. Раздать ту землю, что у вас гуляет под бурьянами, хозяевам, кто сколько поднимет, каждый бы для себя постарался!» Коротко написано, короче трудно. Тетя Поля, хозяйка нищеты, стоя возле печки, прислонилась к стене, а лицо бледнее мела. Пьяный человек выкладывал перед ней из вещевого мешка трофейные золотые часы, портсигар золотой, какие-то брошки. Бахвалился, звал хозяйку: «Ко мне придешь! Прокормлю! Не одну такую! Возле сильных хозяев и вы не пропадете!»

И тогда вышли во двор — будто пострелять в цель. Пьяный капитан — в банку, а майор — в его пуговицу, «вон в ту, с левой стороны». Два раза выстрелил. Сколько было у него патронов, столько и выстрелил. «Эти люди, говорю, колхоз как самое святое берегут, а ты! Ее — в батрачки? Застрелю гадину, чтобы от вас таких и племени не было!» Вот она, классовая ненависть, крик сердца под выстрелы трофейного «вальтера» на темном дворе.

Таковыми вставными новеллами изобиловала повесть, как у него же прежде — очерки и пьесы. Он был так переполнен впечатлениями жизни, что пренебрегал планом, стройностью развития сюжета. Герои вдруг вспоминали случай — «был такой случай...». Иногда это были маленькие отступления о комсомолке Кострикиной, которую вражьи души — воры заставляли держать продукцию на уровне, то есть показывать сто яиц от кур, несущих в день по двести тридцать, и о том, как она сбежала, испугалась наглого воровства; то о Филиппе Касьяновиче, кого тоже воровская шайка вытеснила, и он кадушки делал, по вечерам книжки почитывал; то о колхозном альфонсе Харитоне Голубчике; то о попе-греховоднике... «А еще был у нас в том районе, где я работал, такой председатель Тихон Петрович Глуценко...»

И Настя Колосова, и капитан Спивак, и гневный оратор дед Чмелев из «Гостей в Стукачах», и те же Мартынов, Долгушин. Овечкин знал истоки их непримиримости — тех, «у кого сердце изболелось». Братски близки ему по духу были люди, злые на воров и разгильдяев, на самодуров и трухляков, на рвачей-горлохватов и «лавулирующих» — на всех, кто «не по любви, а по расчету».

Таков и Горшков в колхозе «Сеятель». Прицепщик Горшков в тракторной бригаде, многодетный, с большой женой, сам из себя неказистый, в опорках. милицейской фуражке... Когда некого стало выбирать в председатели, с горьким смехом выкрикнули его имя на собрании: « Степа! Встань, покажись народу!» Он попросил слова: «Товарищи, пока не поздно, не проголосовали — подумайте получше. За доверие спасибо, но все же подумайте еще. Как бы не пришлось после пожалеть. Может, кой-кому хуже будет». И на другой же день потре-

бывал проверки всех дел старого правления. Вызвал ревизора из района — «две недели копался, перевешали весь хлеб в амбарах, продукты в кладовых, сам каждую бумажку в бухгалтерии проверил, поднял дела и трехлетней давности — в общем, так принял колхоз, что человек пять бывших правленцев и членов ревкомиссии пошли под суд...». Решаюсь высказать предположение, что Горшков, конечно, сродни праведному бурмистру Ермилу Гирину из некрасовской поэмы. И образ этого Степана Егорыча, поднявшего колхоз из разорения, образ хмурого, разозленного человека, по-моему, и был самый близкий писателю и, может, даже снился ему, когда, наработавшись до зари над тетрадкой, он спал в кабинете на локте, как спят чутким сном пастухи в степи.

В деревне пили с горя и с радости. Надо было обладать мужеством, чтобы не умолчать обидную правду: «Пьют же сукины сыны до умопомрачения! От водки болеют, водкой лечатся, водкой все дела вершат. Один пьет с баловства, другой со страху, что рано ли, поздно придется отвечать, а третий — от стыда, ежели еще остался стыд. Сами пьют и кого хочешь возле себя споят».

И в другой главе: «Объездчиком в поле держали пьянчугу Мишку Святкина, который за литру голый среди дня по селу пробежит...»

И в третьей: «Секретарь Могутный, он же начальник сельской пожарной команды... однажды в воскресный день прокатил по селу на дрожжах-бегунках без колес: пока выпивал в хате у одной знакомой вдовы, мальчишки пооткручивали гайки на осях».

Жизнь колючая. Что ж, такая и правда о ней.

Я помню вечер, уже в пятидесятые годы, когда писатели снова сошлись в Центральном Доме литераторов — должен был явиться заезжий гость. Многие не знали его в лицо, а он был уже у всех на устах: в тот год «Районные будни» печатались в «Правде» и в «Новом мире».

Я задержался в редакции и опоздал. В восьмой комнате тесновато и накурено. Люблю эти сборища моих давних товарищей, когда слышишь прямой, неподкупный разговор о профессии, спор о твоём деле, и совсем не похоже на некоторые общие собрания, где перед аудиторией, нехотя заполнившей ряды большого зала, выступают записные, точнее — заранее записанные, говоруны. Не часто, а все же бываю и у нас в Доме литераторов такие вечера, что остаются в памяти надолго. У каждого такого вечера, я заметил, своя драматургия. И ничего отрепетированного. Никто заранее не пишет резолюций. Писатели — каждый со своим опытом, иногда кто-нибудь перехлестнет так, что весь разговор собьет на сторону, с ним тут же поспорят, а все-таки получается верная оценка.

В тот вечер Валентин Владимирович услышал о себе то, о чем только догадывался. От людей, которых сам уважал за опыт и ценность сделанного. Говорил Борис Галин, старый правдист, пропагандист, агитатор. Говорил Александр Бек, давно нашедший себя в документальной прозе о металлургах и ставший непререкаемым в этой теме авторитетом, а потом прославившийся военной книгой «Волоколамское шоссе». В сфере труда и производства Бек, как и Овечкин, видел людей, поглощенных одной страстью, и изображал их личную жизнь не «наряду с общественным делом», как часто приглашают нас критики, не наряду, а в самом общественном деле. И другие собравшиеся — все были важны Валентину Владимировичу, многих он знал заглазно, по книгам, он дымил и то и дело втыкал окурки в пепельницу.

Об его очерках говорили как о партийном поступке — вот главное, что он услышал. Безоглядой убежденностью в своей правоте

писателя-коммуниста был продиктован образ Борзова. Впервые впрямую осужденный перед всем народом секретарь районного партийного комитета! Разговор начистоту — он воспринимался даже не как литература, а как письмо в ЦК. Помню, именно такими словами охарактеризовала поступок писательница, которая и сама писала на деревенские темы и могла оценить смелость Овечкина и то, из чего она родится. Жгучая заинтересованность в деле и в людях, о которых он пишет, была сродни заинтересованности самих этих людей, о которых он писал. Он увлекал своих читателей за собой, как агитатор в атаку: «Хочешь жить — броском вперед!»

Многие цитировали устав партии: коммунист не может проходить мимо того, что он видит неправильным, и должен добиваться исправления того, что он считает неправильным. Говорили: это передний край боя — о людях, производящих хлеб. (Впрочем, когда же он не был в нашей стране передним краем боя?) Старый беспартийный литератор говорил, что острополитический по содержанию разговор Овечкин умеет передать в такой удивительно душевной тональности, что весь заряд попадает в сознание читателя.

Обо всем можно сказать всю правду — и самую колючую, неудобную. Обо всем! — так говорили воодушевленные его опытом люди. Лишь бы нашелся единственно верный партийный угол зрения. Читая Овечкина, писатели сознавали, что им самим тоже пора писать по-другому.

Точно в прорыв, образованный успехом первой части «Районных будней», бросил он в последующие главы весь резерв своих практически-неотложных мыслей и предложений. Двинулись в бой проблемы, доводы — все рациональное. Некоторые авторские практические предложения заполнили дневник Мартынова, другие излагались совсем статейно от лица Долгушина или Опенкина. В «Трудной весне» движение приостанавливалось уже в судьбах самих героев. Мартынов лежал в больнице после автомобильной аварии, о Борзове только доходили слухи из другого района. Долгушин мешкотно знакомился с районом, изучал, осматривался. И, конечно, пошла при этом на убыль драма характеров, меньше стало сцен, пейзажей и того немножко грустного настроения, что был сродни «Бабьему лету».

И об этом говорили Валентину Владимировичу в тот вечер. Упрекали: тут художник расплавляется за свою одержимость, за то, что торопится поскорее навязать свои мысли и таким образом учредить порядок на земле. Все, все построить разумно — и кормовые рационы, и всякие системы севооборотов, и колхозную бухгалтерию. Опережая жизнь на несколько лет, его Опенкин уже разрабатывал в повести нечто вроде положения о пенсиях для пожилых крестьян.

Я не взял слова в тот вечер, смущала мысль о неловкости публичного вторжения в душевный строй товарища. А мысль была о том, что, лирик по всей своей сути, он хочет в литературе делать только полезную работу, смертельный враг волюнтаризма, он сам в этом грешен, его произведения, даже для театра, должны директивно подсказывать, как нужно организовать жизнь сельского народа, — и никаких украшений, никакого чириканья! Он хочет впрямую участвовать в производстве хлеба.

Мне казалось, неловко сопоставлять его с Маяковским, но ведь тот тоже был лирик. В одной забытой статье Луначарского я прочитал в те дни то, что можно было бы отчасти соотнести с Овечкиным: «Маяковский не хотел, чтобы жизнь украшали, потому что украшение жизни, да еще такой поганой, по его мнению, было предательским делом: дешевыми бумажными цветами хотят закрыть безобразную морду действительности, вместо того чтобы ее переделать».

Вероятно, честный художник во всякую эпоху, если хочет найти свое место в борьбе за реконструкцию жизни, чувствует себя немножко Маяковским. И всегда он где-то в самой сердцевине лирик и грустный человек.

Можно ли такое сказать на людях о живом, тем более о близком человеке? Очень он противоречив, этот живой. Я тогда уже смутно ощущал, что характер Валентина становился каким-то острым углом по отношению к нему как художнику.

В ту пору успеха и позже, еще много лет спустя, о нем часто высказывались в печати, и похвально. Только иногда невпопад, по какой-то, впрочем, никем не установленной схеме. Тогда он очень не одобрял: «Такому критику можно только посоветовать, чтобы он читал газеты не до работы, а после». Не одобрил он и книгу И. Виноградова, вышедшую в свет в 1966 году, несмотря на заключенные в ней почти-тельные суждения о его, Овечкина, приоритете в деревенском очерке. Но молодой критик говорил, что Овечкин видел решение колхозной проблемы только в подборе кадров руководителей, а экономическая тема возникла в очерках уже после него — под пером Дороша, Радова, Иванова. Он, дескать, еще не касался материальных стимулов.

«Может, я и не буду писать, но очень хочется с ним поругаться», — написал он мне, прочитав похвалу И. Виноградова.

Тут он был, пожалуй, прав, потому что автор книги нечаянно оказался несправедлив к нему. Это верно — своему Мартынову Овечкин дал реплику «Все дело в председателях!». Но все же не было вопроса, большого или малого, в который бы он не вложил экономического смысла. Как гонят скот из мясокомбината, сколько в МТС уходит металла в обрезках, как идет торговля капустой или помидорами на городских рынках, какова порочная система оплаты труда сельских механизаторов, каково отношение закупочных цен к заготовительным. Все это экономика. Но он знал главное: что в средней русской полосе — в Великих Луках или в Калуге — после войны осталось меньше половины трудоспособных мужчин, на двенадцать миллионов уменьшилось в стране мужское население деревни, мы потеряли самых талантливых организаторов сельского хозяйства. И в этом, естественно, он видел одну из причин отставания многих колхозов. И он ждал, что из городов придут в деревню люди с конвейера, с заводского «потока», и если только не начнут привычно администрировать и «нукать», то и хлебобобы перестанут бежать из отсталых колхозов.

Нет, не в щегольстве агротехническими тонкостями, а в понимании всей перспективы отношений партии и государства с колхозным строем заключалось знание писателем деревни. Он шел буквально по пятам жизни. Очерк «Своими руками», датированный 1954 годом, он начинал так: «В сентябре 1953 года состоялся пленум Центрального Комитета КПСС, приковавший внимание всей страны к деревне».

Не на словах, а на деле он жил на переднем крае. И не как писатель, а как практический работник перешагнул даже через своего Мартынова, почувствовав его объективную ограниченность.

Волна жизни вынесла в его очерках новое достойное лицо, и ему была отдана вся любовь: Долгушин — вот руководитель, который не в пример Мартынову дошел уже до внимания к рядовому хлебобобу. Городской человек, до смешного не знакомый с деревенским обиходом, Долгушин по телефону ночью дозванивается до Москвы и советуется со своей женой, знающей по детским годам деревню. Писатель отдал свою любовь этому человеку, директору МТС, которому тракторист может доверить свою тревогу о старике отце: тот заболел где-то в Сибири и как же ему до дому добраться без сиделки? Сколько нежности к Долгушину, нежности и юмора в той сцене, где Володя,



шофер, прямо в поле, при дороге, показывает ему, как пашут с предплужником.

На полевых дорогах рождалась его мысль. И на фронте, за Керчью, у Семи Колодезей, у Ак-Моная. И в мирные годы — на Кубани или за Льговом и Рыльском. «А дороги нигде не кончаются, одна сходится с другой, и бегут от них проселки, тропки...» Верно, от самих немереных просторов России повелись у нас дорожные думы, дорожный разговор с самим собой. Кибитка ли, тарантас, рыдван, бричка или, как у Овечкина, «эмочка», «газик» — все едино Россия. Только в новые времена дорога побежала не к помещичьим усадьбам и постоянным дворам, а к полеводческим бригадам, в колхозные парники, в машинно-тракторные мастерские... «Машина быстро скрылась за поворотом дороги, спускавшейся под гору к реке, но долго курилась в той стороне над улицами пыль и истошно визжала чья-то собака — видимо, попав под колесо».

Ездил по району Мартынов, ездил Долгушин. Вечным толкачом по колхозам шел пешком по полям районный инструктор Зеленский. «Надоело уж мне, Христофор Данилыч, — говорил он, — ходить вот так, пешим апостолом, из колхоза в колхоз...»

А сам Овечкин — не так же ли? Из Льгова он писал мальчишкам-сыновьям, давая полный отчет: «В Курской области началась уборка. Урожай очень пестрый, местами попортила хлеба сильная жара, так что и в этом году будет кое-где трудное положение...»

Налюбовавшись на русскую природу своего Троицка, Надежда Кирилловна на последней странице «Районных будней» шуточно гадала Мартынову по ладони:

«—...разговор в казенном доме, а после того казенного дома будет тебе дальняя дорога...»

— Не миновать, значит? — засмеялся Мартынов.

— Не миновать, золотой! Дал бог тебе ума, не дал разума. Богатым не будешь, профессором не будешь, академиком не будешь, всю жизнь будет тебе дальняя дорога!»

## 7

Всех удивил его переезд в Ташкент.

Знали — это потому, что болен всерьез и надолго, а там сыновья, молодые геологи на изысканиях в Средней Азии. Узбекистан принял русского писателя гостеприимно, ему предоставили хорошую квартиру, дали республиканскую пенсию, выпустили книгу, он подружился с отличным колхозом. Чего же еще? Дали вторую жизнь. Но одолевало сомнение. Твардовский писал — жара, непривычная среда, отдаленность от Москвы, отдаленность от друзей и врачей, в том числе от врачей-друзей... «Что ты оттуда сбежишь, нет никакого сомнения».

Не сбежал.

В письмах теперь — все больше о сыновьях, о внучке. И как всегда с юморком. Младший, отбывавший службу в армии, «сдал уже экзамен на младшего лейтенанта запаса. Но, конечно, до капитана — я-то капитан! — ему еще далеко... Живет в военном городке с односторонним населением, женщин на весь городок всего лишь одна, и та — кобыла Люся, на которой полковые повара возят воду. А у старшего внука растет, не болеет, и пока еще не на полевых работах. Растет, что ей еще остается делать».

Больницу называл узилищем. «Лечусь, но толку мало. Совсем нельзя волноваться. А как жить без волнений?» Требовал писем —

«хочется мне, чтобы вы на мои письма отвечали, а то они остаются гласом непьющего в пустыне». Его лечили новокаиновыми блокадами, сердце барахлило — приступы удушья, болей и бешеного сердцебиения не отпускали по восемь часов. Но как же хотелось голову держать прямо — не сдаваться, чтобы и друзьям было его не так жалко. И он подслащал: «...такие блокады попутно и омолаживают, первые признаки уже есть — не растут волосы в ноздрях и на ушах, а раньше чуть не каждый день приходилось выстригать...»

Труднее всего бывало весной и осенью. Зимой, конечно, снежок неказистый, воробью даже не по колено, а по щиколотку. Все же подбеливает землю. А летом, в самое пекло, тут прекрасно! Так он писал. Проводив мать на курорт, они с сыном лепили вишневые вареники, готовили баклажанную икру, окрошку и, поставив тесто на дрожжах, пекали пирожки. Ставилась на стол и бутылка с наливкой.

От предложений о переезде поближе к Москве, о том, чтобы начать поиски квартиры в Тарусе или в Звенигороде, в Обнинске, резко отказывался. «Нет, вопрос о московской квартире закроем. Как говорила одна председательница колхоза, когда уполномоченный повалил ее на копну: «Что ни к чаму, то ни к чаму»...»

В мае 1965 года я прилетел в Ташкент. Он встретил в аэропорту в полдень, когда асфальт плавился под ногами,— стоял расставив ноги, в фетровой шляпе, в шерстяном костюме еще «курского пошива» и в шерстяном галстуке из тех, что когда-то называл удавками. В южной толпе он как будто нарочно выглядел упрямо-неуступчивым, неподдающимся. «Как ты вырядился в такую жару?» — спросил я, радуясь тому, что он все же смог встретить. «Я человек старомодный».

Запомнились пять дней последней встречи, прогулки по шумным улицам. Его одышка. Он скрывал ее, хотя на ботинке шнурок завязать и то был труд. Старый солдат — не старый, а давний, как он выразился,— робел переходить людные перекрестки и удивил меня, в страхе схватившись за мой локоть.

Квартира прохладная. Кабинет хорошо затенен. Книжные полки до потолка. Неудобно отнимать у недолгой встречи время на разглядывание книг — отложим до другого случая.

— Кабинетчиком стал...— сказал он и криво улыбнулся.

— Иди ты!

За полчаса перед тем он рассказывал о последних поездках — в Голодную степь, в Самарканд и Фергану, на Иссык-Куль.

Высокими стопами по обе стороны рабочего стола лежали газеты. Вот их-то я полистал: Овечкин читал газеты из всех краев и республик — из Сибири и Дальнего Востока, с Кубани, с Рязанщины. Он должен был находиться в курсе дел всего сельского хозяйства, изучать, сопоставлять с тем, что думают, чем живут, как пишат. И ему присылали интересные номера друзья-газетчики.

— Ты как Дон-Кихот. Тот рыцарскими романами обложился, а ты газетами.

Он долго смотрел на меня.

— Вы что, сговорились, что ли?

И, помолодевший в эту минуту, он стал рассказывать, как сыновья ко дню рождения подарили ему не сговариваясь двух Дон-Кихотов — статуэтки чугунной каслинской работы. Просто не нашлось в магазинах никакого выбора. Он сказал: «Значит, уже два. Как вы заодно думаете об отце. А может, я все-таки не Дон-Кихот? Или донкихоты не такие уж чудачки не от мира сего и чего-то в жизни делали и делают?»

А я про себя подумал, что и в моем сценарии, тогда снимавшемся, девушка-практикантка дарит такую же фигурку со съемной шпагой таежному изыскателю, похожему на седого служивого солдата, и, кстати, с лицом Овечкина.

Он и меня спросил:

— Какой же я Дон-Кихот?

Я не мог ответить. В самом деле обидно. Потом нашел у Белинского: «Дон-Кихот — благородный и умный человек, который весь, со всем жаром энергической души, предался любимой идее... Каждый человек есть немножко Дон-Кихот; но более всего бывают Дон-Кихотами люди с пламенным воображением, любящею душою, благородным сердцем, даже с сильною волею и с умом, но без рассудка и такта действительности».

А потом и у самого Овечкина в «Районных буднях» вычитал: «Ты вообще, товарищ Мартынов, не из породы донкихотов?»

Всего, о чем было переговорено в Ташкенте, не расскажешь. Большого как не бывало — он оказался полон новых интересов, следил за решениями пленумов ЦК по сельскому хозяйству, об этом я знал и по письмам, по нетерпению этих строк: «Но когда же будет пленум ЦК по сельскому хозяйству? Каждый день жду сообщения об открытии, а его все откладывают» (21 марта 1965 года). Он одобрял найденные пути подъема и первые реальные результаты. Он читал и художественную литературу, но, помню, был зол на некоторых писателей, которые всю проблему культа личности свели к лагерной теме и репрессиям.

Мысли его уже устремлялись в сторону новой работы. Он ездил и подолгу жил в приташкентском колхозе «Политотдел». Он сообщал мне о нем все только деловое, точно собирался лично взяться за руководство им и пока только примеривался. Он волновался, снова горел, как сухое дерево на ветру, рассказывая про всякие заботы и трудности Тимофея Хвана. Особенно прс молодых.

— Цинизм-то в один год можно снять. Если повести с ними настоящий разговор.

— Разговором тут не поможешь.

— Зачем же ты меня перевираешь! Я имею в виду разговор делами!

Екатерина Владимировна входила с рюмочкой, спокойно говорила:

— Прими лекарство.

— Оставь... — Он тяжело дышал.

Я слушал, глядел и думал: если все это так — твоя жизнь продолжается, Валентин.

Жизнь продолжается.

## **Глава вторая**

Талант писателя — от бога. Талант быть человеком — от него самого. Это — важнее.

*В. Овечкин.*

### **1**

Вот и Ташкент.

Снова Ташкент, где так недавно была наша последняя встреча, торопливые, захлеб разговоры за полночь. Теперь-то мне спешить некуда, потому что сильно опоздал.

Его вдова Екатерина Владимировна и сыновья со своими женами по-прежнему живут в Ташкенте. Летом сыновья в пустыне, на изы-

сканиях, зимой в городе, камеральничают, и я приехал к ним погостить в декабре.

Я застал их в хорошую минуту: готовилось как бы начерно новоселье. Младший, отслуживший в армии, Валерий, только что переехал в новый дом. Он, как и старший, Валентин, геолог, его молоденькая жена Нина — лаборантка в Институте сейсмологии. Дом новый — из тех, что целыми кварталами выросли на пустырях после землетрясения. Жизнь продолжается. Еще не обжита квартира: надо занавески повесить, врезать замок на входную дверь и утеплить другую — в лоджию. Образцовый порядок пока лишь в одной комнате из двух — в ней сыновья с поражающим вниманием к любой мелочи собрали все, что было связано с работой и жизнью отца. Вдоль стен — отцовские книжные полки, на них отцовские книги; на этажерках — комплекты районных газет, в которых когда-то на Кубани работал отец, знакомый мне огромный отцовский стол, на нем — ящики с письмами, ящики с записными книжками, ящик с ворохом любительских фотоснимков. Настоящий мемориальный музей. Кажется, я оказался его первым посетителем.

В другой, еще не прибранной комнате, ставили на стол бутылки и плов. За окном, как в России, шел снег, и ярко светил уличный фонарь. Было по-молодому весело и было грустно. И самое большое, самое лучшее, что в мыслях, осталось невысказанным — так тоже бывает. Не все же сразу в первый вечер. Уходя в гостиницу уже в полночь, я получил ключ от квартиры — приходите, читайте, работайте... Молодые утром бегут на службу.

Я работал несколько дней.

Почти половину жизни я наблюдал Валентина то вблизи, то, чаще, издали, а все же в одной литературной упряжке, и все было недосуг остановиться, обдумать своеобразие человека, его характер. А теперь...

Перелистывая тома Успенского, я вдруг отчетливо постигал, что ведь хозяин библиотеки уже не видел в деревенской жизни России то сплошное, что видел Успенский. Я начинал понимать, что Овечкину всегда, начиная с коммуны, хотелось быть веселым и деятельным комиссаром вроде Фурманова, чтобы суметь покрепче спать разобщенную деревню в единое целое. А ведь об Успенском или о Фурманове никогда не разговаривали — было некогда.

Собрание сочинений Салтыкова-Щедрина он сам переплел. Теперь не стало переплетчика, а красивые ребристые корешки и обрез в два цвета — вот они, разглядывай, догадывайся, чем была занята голова переплетчика. Он глубоко чтит Щедрина и был благодарен ему как раз за то, что тот подсказал ему не в пример себе избегать в новые времена полунамеков, эзоповских иносказаний, писать «просто и безфигурно».

Но самое главное открытие — тома Ленина! Я снимал с полки тома Ленина и заново зачитывался ими, следя при этом за всеми пометками Валентина. Я начинал понимать, что он не просто, как некоторые из нас, заглядывал по мере необходимости в том Ленина как в некий справочник. Он буквально сливал себя с его мыслью. Вечный полемист искал и находил у Ленина аргументы против всех борзовых, то есть тех, кто, желая выслужиться, пускает в ход принуждение, администрирование и думает, что это хорошо.

Читая Ленина в библиотеке Овечкина, я заново открывал для себя, как мучительно участвовал он всей своей жизнью в рождении нового колхозного строя, этого прообраза всех будущих отношений человека с землей, с природой. И я припоминал, как в последнюю встречу мою с ним в Ташкенте он сказал:

— Когда баба рождает первенца, у нее все нутро выворачивается. А тут побольше дело: на полвека родов! Неслыханные муки.

Нужно ли говорить, что он, как прилежный школяр, штудировал книги Докучаева, Мичурина, Прянишникова, Бербанка. А когда попалась ему работа Вильямса по частному вопросу — «О системе земледелия на полях орошения», — то он и тут нашел шутиливую форму одобрения:

— Г-ое дело, а сделал предметом пользы для людей!

И, наверно, в ту минуту сличал себя с Маяковским, как там у него: «Я, ассенизатор и водовоз...»

Во Льгове он впервые прочитал «Четверть лошади» Глеба Успенского и возлюбил цифры. Кто-то сказал: «...это не поэзия, но, может быть, больше поэзии». Льговские блокноты Овечкина полны столбиков цифр — удоя молока, затрат на центнер и так далее. По его записным книжкам, которые сыновья аккуратно перенумеровали — от № 1 до № 71, — ясно видно, что он нисколько не идеализировал деревню, не представлял ее себе сусально-раззолоченной, и вообще он не искал правды в деревне — он для деревни правды добивался.

Настоящий интеллигент, он не просто читал книгу — читая, он думал. Письма его к подрастающим сыновьям полны рекомендаций: советую вам найти и прочитать... Тут и «Люди и животные» Веркора, и «В поисках героев Бреста» С. С. Смирнова, и «Ходжа Насреддин» Леонида Соловьева, и «Три товарища» Ремарка. Я заметил, что многие мои сверстники, не получившие образования, самоучки, склонны хвалиться своими книжными полками, не прочь козырнуть ими в разговоре. Овечкин не щеголял ни книжной эрудицией, ни своими привязанностями в музыке, в живописи. Одной из любимых им картин был сомовский портрет «Дамы в голубом», той, что с выплаканными глазами и нервными пальцами. Но об этом я узнал только в Ташкенте. Узнал и о том, что его заветной мечтой было найти Библию с иллюстрациями Дорэ. В его записных книжках я обнаружил тонкую избирательную способность, ту же цельность, что и во всем. Он был гораздо глубже и богаче, чем казался. Это было видно и по его выпискам из прочитанного.

Юлиус Фучик: «Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что должен сделать».

Н. Жуковский: «Талант — это обязанность».

Вольтер: «Я могу не соглашаться с тем, что вы говорите, но буду бороться на смерть за ваше право говорить это». (Овечкин добавил: «И сам же буду яростно спорить с вами, опровергать вас! Если не согласен с вами, не имею права молчать».)

Эразм Роттердамский: «Весьма дивлюсь я нежности современных ушей, которые, кажется, ничего не выносят, кроме торжественных титулов. Не мало также увидишь в наш век таких богомол, которые скорее стерпят тягчайшую хулу на Христа, нежели самую безобидную шутку насчет папы или государя, в особенности когда дело затрагивает интересы кармана».

Гоголь: «...смеха боится даже тот, кто уже ничего не боится».

Тут было о чем подумать... Для какой надобности, спрашивается, он не только прочитал «Последнюю экспедицию Р. Скотта», но и сделал выписки из его трагического дневника? И откуда выкопал корейскую заповедь: «Принуждение убивает желание»? И откуда китайскую: «Если стоишь прямо, не бойся, что твоя тень кривая»? И почему выписал из Паустовского лишь одну фразу: «Когда я думаю плохо о людях, я не могу писать»...

Маяковский сказал о себе: «Я — поэт. Этим и интересен».

В семью товарища, к его вдове и сыновьям, я приехал тоже пре-

жде всего как член комиссии по литературному наследию. Твардовский — ее председатель, но он тяжело болен, уже никогда не поедет в Ташкент. Что же там, в архиве, в черновиках, в незаконченном, в замыслах? В самом деле он «поэт. Этим и интересен»? Но странное дело: чем больше я вчитывался в бумаги, изучал библиотеку, рылся в комплектах старых газет, расспрашивал близких, тем более жгучим становился новый интерес — уже не к писателю, а просто к человеку, моему современнику. Этот интерес становился глубоким личным, захватывал в круг исследования и меня самого, мою судьбу, я задавался вопросом: почему мой сверстник видел дальше меня, хотел сильнее, чем я?

Кого и что он любил? Кого и за что ненавидел? С кем воевал и во имя чего? Зачем? Я и прежде кое-что знал из прямого общения с ним, многое в записных книжках показалось знакомым. Это, по существу, тот же дневник Мартынова. А кое-что я припоминал, ведь я изустно слышал от него. Может быть, в разговорах и спорах он повторял собственную мысль, уже записанную прежде, а может, возвратясь в гостиницу, заносил в блокнот то, что только что придумал. Теперь я вел как бы следствие о нем, и эта работа затягивала меня еще и потому, что человек, которого уже нет среди нас, яснее многих живых предлагал мне ту сетку координат — мыслей, желаний, поступков, — по которой можно проверить самого себя.

На полке его авторских книг среди советских и зарубежных изданий я наткнулся на тоненькую книжку, когда-то стоявшую на моей полке. На обложке: В. Овечкин, «Прасковья Максимовна», Ростов-на-Дону, 1941. И на первой странице чернильная надпись: «Другу Николаю Атарову в память о тайгучской встрече, которая, быть может, положит начало встрече на всю жизнь. 8 июня 1942». (В один из приездов в Москву Валентину понадобился экземпляр этой книжки, наверно, для переиздания, он взял у меня на время, да так, конечно, и «зачитал».) Я по-новому обдумал эти забытые строки.

В один из ташкентских вечеров замыслили мы с Екатериной Владимировной начать готовить сборник воспоминаний. Сыновья тотчас набросали длинный список адресов всех, кого следует опросить, не напишут ли. Вернувшись домой, я разослал письма. Каждому свое: «Не стесняйтесь в выборе самых простых подробностей... Один-два эпизода, какие запомнились. Лишь бы из фактов жизни, а не с помощью высоких эпитетов возник перед читателем подлинный характер человека».

Хорошо знаю по себе, как люди затеснены текучкой будней. Я не верил, что отзовутся многие и что напишут.

Но вот пришло первое письмо, пришло из незнакомого мне Волгодонска, с Морской улицы, от А. Виделина. Сыновья в Ташкенте рассказывали, что Анатолий Виделин знал отца по партийной работе в довоенные годы. А письмо было написано старательным детским почерком: «Прошу позвонить мне по телефону в любой час, я сижу дома, потому что стал инвалидом первой группы. Я слепой. Но все равно смогу отдиктовать».

Итак, первым отозвался человек незрячий! Отдиктовал, верно, какой-то школьнице, она и отнесла на почту. Сказать правду, я немного оторопел: несколько дней назад в одном из овечкинских блокнотов я наткнулся на фронтовую запись притчи: «Слепые и зрячие вместе работали в одной мастерской. Бывало, не различишь, где слепые, где зрячие. Но однажды ночью в час воздушной тревоги погасло электричество. Зрячие бросили работу, а слепые продолжают».

Прошло немного времени, и почтовый ящик стал наполняться. Что ни день — три-четыре письма. Авиапочтой — живые и теплые,

краткие и длинные ответы. «Напишу!», «Спасибо, очень рад и даже благодарен», «Непременно попробую, хотя писатель из меня никудышный», «Не откладывая в долгий ящик...» Сорок три ответа — из Армавира и Курска, из села Федоровки и с хутора Пухляковского, из колхоза «Красный Октябрь» Рыльского района и зерносовхоза «Целинский», из Таганрога и Омска... Будто все ждали этого приглашения.

Вчитывался в письма, сортировал их и снова раскладывал на столе. С каждой новой почтой становилось сильнее внутреннее требование — понять, что же соединило вокруг писателя столь разных людей: председателя колхоза и старого журналиста, доцента Тимирязевской академии и провинциального режиссера, уральского опытного-селекционера и штурмана портового катера, бывшего начальника политотдела МТС и арктического летчика.

Василию Деркачеву с хутора Ефремовка, на полпути между Мариуполем и Таганрогом, не было десяти лет, когда он впервые увидел голодного и отощалого парня, явившегося из Таганрога и, приглядевшись, убедившего хуторян основать на помещичьей земле коммуну. Шла осень 1925 года. Ничего не стоило в те годы сыновьям бедняцких семей обосноваться в помещичьей усадьбе и еще прихватить «бесхозный» яблоневый сад другого беглеца-помещика. Нужен был лишь одержимый зачинщик, рвущийся к делу и вселяющий доверие. А этот приписал себе два года, чтобы пораньше вступить в комсомол. Тогда принимали с шестнадцати, а он, если не ошибаюсь, уже с девятнадцати лет возглавил первую в Приазовье коммуну. Много лет спустя он сказал устами Мартынова: «Для чего же мы и существуем, коммунисты, как не для того, чтобы сделать жизнь во всех колхозах богатой, радостной».

Василий Деркачев сейчас уже пожилой человек, живет в том же Неклиновском районе, в селе Федоровка, и написал он о раздумьях тогдашнего Овечкина над коровой кормушкой, над катушечным радиоприемником, над известковой печью, над яблоневым садом. Пожилой человек вспоминает, как в воскресные дни, чтобы отвлечь коммунаров от церкви, молодой председатель устраивал игру в городки, мастерил качели, затевал «французскую борьбу» среди двора — вместо ковра была солома.

Легко было представить себе обеих сельскими пацанами двадцатых годов, каких я видел на фотоснимке с Лениным и Крупской среди крестьян деревни Кашино, — в натянутых на уши черных отцовских треухах, в шинелях, застегнутых до последнего крючка, с широким воротом на тощей шее... Хотел бы я пройти под окном той крытой очеретом хаты, где спал молодой председатель, и так же постучать пальцами к нему в стекло, как он однажды на утренней зорьке в Тайгуче стучал ко мне копать окоп на двоих и дожидался у ворот с лопатой на плече, пока я умывался.

Несколько лет он жил всеми делами коммуны — ходил за плугом и сочинял пьесы, тесал бревна и рисовал стенгазеты, плакаты. Водил трактор. Много лет спустя он писал мне, что «в первые годы мы двумя маленькими фордзонами обрабатывали полностью, с очень небольшой помощью лошадей, 400 гектаров — пахали, бороили, засеивали, косили хлеб и трактором крутили молотилку. На лошадях лишь подвозили снопы с поля. Значит, нагрузка — по 200 га пашни на один трактор мощностью всего лишь 10—20 сил (10 — на тяге, 20 — на шкиву)... Несколько месяцев тому назад, — писал он, — газеты заговорили как о новинке, как о важном открытии, что трактор — не лошадь, в отдыхе и сне не нуждается, и должен работать круглосуточно, в 2—3 смены рулевых. Открытие! Да у нас в Коммуне еще в 26—27 годах тракторы работали круглосуточно. А в начале 30-х годов, когда

работал я в райкоме, помню, мы на бюро до полусмерти избивали тех директоров МТС, у которых хоть на один трактор не хватало трактористов для двухсменной работы».

Со свирепым кулачем, кубанскими богатеями, Овечкин столкнулся позже, когда был уже инструктором райкома партии в Родниковской и послали его секретарем станичного парткома в Темиргоевскую. Надо было провести с голодными людьми, без лошадей и тракторов весенний сев. И провели! И станица, стоявшая на черной доске, получила краевое переходящее знамя.

Надо понять, какое время было: он видел такие сорняки, что даже улицы в станицах становились из-за них непроезжими, а на полях во время цветения осота при сильном ветре поднималась метель, как зимою. Такое сохранилось в его памяти навсегда. Была пора кровавого классового размежевания по всей стране, а про Кубань что и говорить... В чернолесье за Лабой-рекой обосновалась Маруськина банда — кулачье с сыновьями — и наводила на всю округу ужас своими зверствами. Жил за Лабой один лесничий, к нему приехали продармейцы и все вывезли, а Валентин дал ему немного хлеба, чтобы не упал с голоду. Этот человек пришел в станичный партком и с великим страхом признался Овечкину: «У меня ночуют, я дам знак, берите их, только, чур, всех, иначе не сдобровать мне и детям моим...» И взяли. И когда вели по станице, то коммунистам пришлось тесным кольцом окружить их, чтобы бабы не растерзали самосудом.

Видно, тогда выстраивался характер коммуниста Овечкина, и он стал яснее понимать правду ненависти. «Мужицкое единоличное богатство питается тем же разорением,— писал он впоследствии.— Если один не в меру богат, значит, сосед его беден. Где кулачество, там и батрачество, одно без другого не живет».

Из тех времен откликнулся на наше обращение старый армавирский журналист Михаил Мазанов, который когда-то приохотил Овечкина к Глебу Успенскому, откликнулся и Тарас Касьянович Мных, бывший начальник политотдела МТС, один из героев рассказа «Ошибака». Он пригласил к себе в гости: «Хорошо, кабы вы навестили меня, старика (а мне 74 года), можно многое рассказать такого, что не напишешь». Тарас Касьянович говорил о своем молодом друге, что был он «неспокойный человек, человек при своем сердце».

Кто и где живет из персонажей писателя, о том лучше других знал Николай Глушков из Ростова-на-Дону — литературовед, он, можно сказать, не прочитал, а прошагал книги Овечкина, у всех побывал.

А Николай Заприводин, таганрогский журналист, друживший с Валентином Владимировичем после войны, написал, как «на птичьей заутрене», слушая коротенькие рулады жаворонков, Овечкин признался ему, что хочет перебраться в Курскую область, во Льгов. В тот год он чувствовал опасность отстать. «Недоглядишь что-то важное — события уйдут вперед, а ты останешься на отшибе».

В старой квартире, где осталась жить Екатерина Владимировна, за семейным чаепитием я спросил ее:

— Вся жизнь небось провели в ожидании мужа?

— И в переездах,— отозвалась она и показала куда-то в угол.— Вон старый сундук стоит, живой свидетель. Он все помнит. Много квартир переменил. Стали как-то для смеху подсчитывать — больше квартир, чем лет, вместе прожитых.

Подумалось неволью: похоже на цитату из «Районных будней»,— и, возвратясь в гостиницу, нашел запомнившуюся страницу, там жена Мартынова говорит: «...переезжали с места на место три раза в году. Кадушки, ведрушки, горшки, корыто — только наживешь, обзаве-



дешься хозяйством — бросай все, наживай сызнава!» И я увидел всю дорожную одиссею Овечкиных, она вся в записных книжках и письмах.

## 2

Тридцатые годы — сплошь письма с дороги. Тоска по дому: «Напиши, как идет снег, как воет ветер на дворе за окном...» Заботы, желание хоть издали помочь: «Отдаю приказ по семье: продать свинью и кукурузу», «Сходи на вокзал: берут ли багаж? Не забудь, что надо взять носильщиков», «Здесь хорошо, будешь летом ходить в лес, орехи собирать, а пацан будет полные мешки домой оттаскивать...», «Отдал твоё заявление в школу имени Крупской. Вспомни, что проходила по арифметике — четыре действия, и по русскому — грамматику», «...Повторяй с Валюшкой азбуку, учи цифрам, стихи пусть учит. Пусть загорит на солнце, как галчонок, пока я приеду».

Где только он не работал в те годы — развездным корреспондентом в «Молоте», в краевой «Колхозной правде», в «Армавирской коммуне», в краснодарском «Большевике». Корреспондент ездил в командировку в одном пиджаке, ночью на грузовике его продувало, он простуживался. К тому же мучила малярия — озноб сотрясал в пути, мерещились горы и незнакомые города. А когда впервые полетел на самолете — маленьком восьмиместном «К-5», — несколько ночей, засыпая, снова и снова переживал ни с чем не сравнимое чувство полета. И вернувшись домой, смастерил сыну самолетик, приладил колеса из катушек.

Сыновей он любил страстно, но с чувством ответственности за их судьбу и воспитание. «Вот приеду, покатаю верхом на лошадке или в весельной лодке по Протоке». Когда уехал от «Колхозной правды» в Сибирь, совсем истосковался. И утишал свою тоску щедрыми обещаниями привезти то белку, то живого медведя — «старого, пудов на десять».

А потом снова заботы о переезде, подсчет подъемных, предложения жене нового места, чтобы ожидать его возвращения из командировок, — Курганную или Родниковскую, Армавир или Краснодар. И снова заочные советы насчет зимнего топлива, обещание привезти Валюшке крабов или морского чертика.

Летом 1948 года семья переехала в Курскую область, во Льгов, а осенью 1953 года — в Курск.

Так шла жизнь, о которой он никогда не рассказывал, так бесплацкартно мотался он в те штурмовые («Даешь пять в четыре!»), авральные годы, которые по-разному формировали наше поколение. Между строк о Мартынове — теперь то понятно — беглая мысль о самом себе: неудавшийся писатель... «Лет двадцать назад написал один очеркишко, напечатали его в «Комсомольской правде» и с тех пор заболел литературой. Центнера два бумаги извел на романы — ничего путного не вышло. Пошел по газетной работе. Много ездил, спецкором был...» Конечно же, это о себе — он тоже незаконченный роман уничтожил и черновики не оставил (подражательно написал, «под Шолохова») и тоже всюду устраивался временно, искал квартиру, чтобы взяли в жильцы, а с семьей встречался, чтобы тут же расстаться. Он кочевал вроде Глеба Успенского, «бурлачил». (И письма получал — то нет ничего целый месяц, то вернется из командировки — сразу десяток, надо разложить по штемпелям на конвертах и читать по порядку). Он изучал экономику «богатых урожаев» Юга России, но, испугавшись, «как бы не подобреть», ехал в скудные льговские, курские колхозы или устремлялся «за наукой» к Терентию Мальцеву на его шадринские опытные поля.

Казалось бы, всюду похожее: петухи на заре, рыночный привоз по четвергам, осенью — варенья-соленья, и каждый вечер мычанье стада, запах молока, плывущий с лугов во все дворы... Он простодушно просил жену: «А ты поговори со стариками, Катя, и со старухами, может, что скажут интересное, материал для рассказа...» Но с годами все тревожнее расширялся горизонт жизни страны. «Когда я думал только о своей коммуне,— писал он,— забот хватало, но все же спал спокойно. Нароботаешься, набегаешься по полям... Когда думал о районе — тоже жил сравнительно спокойно. Хороший край! Там природа за тебя наполовину сработает. Надо быть полным дураком, чтобы на Кубани не получить урожая. Переселился в среднюю полосу России — пропал сон».

Пропал сон. Его в самом деле мучила бессонница. Сыновья рассказывали мне, как он лежал среди ночи с открытыми глазами, подложив кулак под голову. Бессонница особого рода — тоска по избыликому, чтобы сопоставить. Еще раз у Мальцева побывать. А там и омские земли, о них Леонид Иванов написал — зачитаешься! Надо бы самому проверить. И снова в путь — на Дальний Восток, в совхозы Приморья, в Биробиджан. «Напишу хотя бы тоненькую книжку, лишь бы вовремя. Назову ее, долго не размышляя, «Рассказ об одной поездке», поагитирую за переселение на Дальний Восток...» И книжка выходит в срок и служит назначенному делу. Где-то в Приморье, верно, вспоминает сейчас ночные разговоры с писателем директор совхоза Константин Горяинов.

В дни нашей последней встречи как-то сдержанно, косвенно, боясь показаться нескромным, вытаскивал он с полки дорогие читательские сувениры, следы дальневосточной дороги — запомнились моржовый клык и кабаньих, срезы рога пятнистого оленя, морская раковина, которой пятнадцать миллионов лет, тяжелая даже для заплечного мешка глыба свинцовой руды. И бесценная награда писателю-очеркисту: поднятый с морского дна кусочек ветхой корабельной обшивки гончаровского фрегата «Паллада».

В 1963 году он писал мне: «Ездил по Узбекистану с Рашидовым. Рашидов понравился — хорошо ведет себя с людьми и дело знает, и мыслей много умных. Скоро поеду опять в Сибирь на уборку. Перед Сибирью смотаюсь еще в Таджикистан. Там, может быть, поеду на Памир. Хочется поглядеть настоящие горы, в них я еще мало бывал. И тамошнюю жизнь...»

Но еще ничего не сказано о его заграничных странствованиях. Не все же родных петухов слушать. И недаром в детские годы он хотел быть то летчиком, то путешественником, первопроходцем. «Неужели становлюсь с годами тяжеловат на подъем? Нет,— в Венгрию, в ГДР, в Югославию...»

В бурлящий, голодный Китай он поехал, сколько мне известно, в 1954 году, чтобы увидеть ту деревенскую нищету, с которой все начинается, когда голые спят на канах, ночью рубахи сушатся,— увидеть и ту форму колхозного строя, с которой он знался в юности. И был предельно обескуражен. Оттуда он привез с собой... Но лучше я подробней расскажу этот эпизод. В китайской поездке Овечкин сблизился с молодым писателем, которого назовем для ясности просто Лю.

В конце 1956 года мы собирали первый номер нового журнала «Москва». Естественно, захотелось, чтобы Овечкин принял участие в новом издании. Он немедленно откликнулся, пришел, принес рукопись.

— Вот вам мой китайский товарищ. Считайте, мой двойник. Только еще молоденький. Если напечатаете, дам предисловие.

И новый журнал вышел с рассказом писателя-коммуниста «Что нового у нас в редакции» и предисловием В. Овечкина. Не скрывая восхищения, он писал о смелом проникновении Лю в сложные проблемы китайской деревни, писал о его сатирической издевке над формалистами и заклинателями.

«Заклинатели» — одним этим словом Овечкин, я думаю, предвосхитил в те уже давние годы все, что позже стряслось с народным Китаем. А ведь он поехал в Китай, я так понимал, как бы на встречу с юностью, с дорогой ему коммуной в Деркачевке. Истребление воробьев и прочие нелепости уже тогда ошеломили его, но если есть в Китае коммуны, то должен быть и свой Овечкин!

Разбирая его архивы, я открыл для себя переписку двух коммунистов. Оказывается, Лю изучил русский язык и, поехав в Советский Союз, несколько дней провел в Курске, гостил в доме у Овечкина и потом подписывал свои письма к нему — «Ваш ученик и друг Лю». Сколько скрытой нежности в этих строках: «В Пекине стоит суровая зима, недавно выпал большой снег, что редко бывает в нашей столице, и теперь на улицах Пекина почти такая же картина, как в Курске за Вашим окном,— белый снег». С бескорыстной влюбленностью ученика Лю писал: «Не знаю отчего, я все время чувствовал себя маленьким, даже чем-то виноватым перед своим народом, когда жил у Вас и слушал Вас, смотря, как Вы работаете...» И еще в другом письме: «Слова похвал меня беспокоят и настораживают: если очерк так благополучно прошел и не вызвал (пока) сопротивления, может, это признак его слабости?»

Он угадал, этот юноша, оправдались худшие опасения, его скоро покарали вдохновители «культурной революции»: Лю очутился в отдаленной деревне «на исправлении». Оттуда он писал в Курск, приоткрывая за стоическим спокойствием тона и признанием будто бы совершенных им ошибок чудовищную картину жизни деревни, где мясо едят один раз в год и питьевую воду возят с речки за двадцать пять километров. «...так буду жить пять лет, руководители знают, что мы совершили ошибки, и относятся к нам по-товарищески...» Сын Овечкина побывал в Пекине и слушал о Лю, как его прорабатывали: «Скажи, что ты правый уклонист». Он долго не соглашался. И жену его тоже добывали проработкой.

Что же писал Овечкин в провинцию Шаньси? «Больше всего я ценю в человеке смелость». И еще: «Часто подхожу к карте, что висит у меня за спиной на стене, и гляжу на тот кусок земли, где находится сейчас очень близкий, родной мне человек...».

А в конце одного из писем я прочитал: «И опять приходится налегать на весла. Но все-таки впереди — огни. Помнишь «Огоньки» Короленко?..» Значит, Овечкин успел ознакомить Лю с Короленко? Значит, в далекий бедствующий Китай Овечкин послал для ободрения те же строки, какие и мне прочитал однажды в страшный год на скалистом берегу Азовского моря?

В 1960 году он прислал из Исландии банальную открытку с фонтанами гейзеров, но то, что написал на ней быстрым малоразборчивым почерком, было горячо, от сердца: «Об этой стране можно писать только с нежностью, хочется стать на колени и погладить траву, как голову ребенку: боже мой, ты сумела вырасти... Там ведь на камнях люди сделали свое благополучие. И как же они полюбили за это свою суровую землю — совсем по Маяковскому: «...но землю, которую вынуждал...»

На фотоснимке, что хранится в семейном альбоме, он с писателем

Лакснессом. В шляпе, в долгополом пальто, нахохленный, наморщенный, насупленный, прищуренный, как будто делится из ружья. Вероятно, и в Исландии он размышлял об урожайности курских полей.

Так в Ташкенте я продолжал узнавать о жизни Овечкина.

По вечерам прощался с сыновьями и их молодыми женами, загружал портфель очередной пачкой писем или записных книжек и уходил в гостиницу. Через весь незнакомый город, встающий краше прежнего из руин землетрясения, хорошо брести пешком. Снег валит. Южная зима. Медленный нарядный снегопад. Когда уже гасил ночью свет в номере гостиницы, просто глаза трудно было отвести от окна — так славно роились пухлые снежинки вокруг матовых шаров уличных фонарей.

## 3

Бесконечная, я сказал бы — журавлиная тяга в дальний путь.

Заочно он подружился с одним своим читателем. Это был не колхозник, а летчик Михаил Николаевич Каминский, и ныне здравствующий в Москве. Более четверти века летал в Арктике и Антарктике. Наступила пора прощаться с Севером, с авиацией. Валентин написал ему: «Тянет меня полететь с тобой в один из твоих рейсов по Арктике. Учти, что летал я много, переносу хорошо любую болтанку. Сердце здоровое... Хотелось бы быть с тобой в самых последних твоих полетах — поприсутствовать при твоём прощании с Арктикой, с воздухом. Это будут грустные минуты в твоей жизни, но именно в эти минуты мне бы хотелось побыть с тобой».

Я думал и над этим письмом, сохраненным и возвращенным Михаилом Николаевичем в архив писателя. Что же это — мелочь, подробность, манера выражаться? Или это главное в человеке?

Михаил Николаевич нравился ему за широту шага в жизни. Однажды Овечкин позвонил из Курска в Москву на квартиру Каминскому, и тамошняя старушка ответила:

— Нету дома, улетел.

— Куда? — спросил Овечкин.

— Да недалеко, в Арктику. В субботу будет дома. Что ему передать?

Теперь я понимал: он хотел, чтобы и о нем так могли сказать домашние: да недалеко, в Арктику, в субботу будет дома.

Осенью шестьдесят четвертого исполнилось сорокалетие его степной коммуны. Еще в мае, когда я гостил в Ташкенте и мы заговорили об этой дате, он загорелся мгновенно.

— Поедем? Я спишусь с секретарем райкома...

Мысль еще об одной дороге в юность его воодушевила, он тут же на листке бумаги стал чертить карандашом план родных мест: сады, пашни, кружок — это хутор Федоровский, кружок — это деревня Деркачевка. А это Ефремовка, там сапожничал, а в воскресные дни раскапывал скифские курганы, ташил в избу черепа, мечи, наконецники стрел. Хотел стать археологом... Он вспоминал, как его коммуну имени Михаила Ивановича Калинина в другие времена почему-то переименовали в колхоз имени Мичурина, потом сделали из него два колхоза, снова их объединили. Шла чехарда председателей. Был среди них такой Минка, в эвакуацию он увел стадо за Волгу, и в сталинградскую зиму сорок второго года курсант школы политсостава Овечкин повстречал и это стадо и этого председателя в заволжской глуши.

Только и разговору было о задуманной поездке. И грустно было видеть его сдавшим физически. И радостно — таким душевно неизменным.

Но, видно, прав поэт, сочинивший двустиише:

С каждым годом одной зимой больше.  
С каждым годом одной весной меньше.

В тот год стало «одной весной меньше» в жизни Овечкина, и он не смог, когда пришла осень, поехать. Друзья прислали ему телеграмму, поздравили с сорокалетием коммуны. Он отозвался: «...такое поздравление мне дороже всего самого дорогого. Сколь бы я ни наделал за свою жизнь глупостей и не того, что нужно бы делать, а вот в те годы, еще мальчишкой, я делал действительно то, что нужно было людям, и это ляжет на правую чашу весов на судилище у великого Тойона — те шесть лет коммунарских много грехов перетянут... Проклятая болезнь помешала мне съездить в бывшую коммуну, все мои планы поломались, и там ничего никто не предпринял, чтобы как-то отметить 40-летие. Ну, ладно, может, зимой съезжу...»

А далеко не поедешь — самолетом стражайше запрещено, поездом сил не хватит. Ежедневные вливания строфантина. Овечкин отшучивался в очередном послании: «С сердцем как будто неплохо. Так что, может, и прав один врач-оптимист, уверявший меня, что у многих после инфаркта сердце становится даже здоровее и работает лучше».

Если так, думал он, надо искать поближе. Да и есть ли такое место на советской земле, где нельзя было бы жить с народом? Как я сказал раньше, он познакомился с колхозом «Политотдел», тот оказался ему воплощением чаяний времен коммуны. Это была его последняя любовь — захотелось написать книгу, где рассказ о коммуне двадцатых годов сошелся бы с рассказом о колхозе шестидесятых. Он подружился с людьми, с умным председателем Тимофеем Хваном. По душе было то, что в колхозе работали люди тринадцати национальностей, в основном корейцы, но и узбеки, русские, казахи, настоящий интернационал.

Уже в 1965 году он писал мне: «Лучшего колхоза я за свою жизнь нигде не видел и лучшего председателя нигде никогда не встречал. Об этом колхозе надо рассказать — для всех людей, а в первую очередь для всех колхозников Советского Союза». Тимофей Хван упоминался как хорошо мне знакомый человек, хоть я его никогда в глаза не видел: «У Хвана в «Политотделе» горячая пора, кончается план по хлопку. Когда эта история кончится, я сяду в их колхозе надолго, осенью и зимой, в общем, буду жить больше в «Политотделе», чем дома». Он только сожалел, что, кажется, не будет повода ругаться. Когда началась всесоюзная подготовка к созданию единого Устава колхозной жизни, Валентин с Тимофеем Хваном и своим другом журналистом Узилевским сели и написали свой проект Устава.

Я наткнулся на черновик его письма к Хвану или памятку для разговора с ним: «Мне хочется большего с вами, чем просто знакомство как с объектом очередной литературной работы,— хочется настоящей человеческой дружбы...» И были такие строки — для себя: «Очень важно спросить Хвана: где, когда и как он вступил в партию? Какие вопросы задавали? И вообще — начать издалека. Кто были его отец, мать, дед, как жили в Корее братья, сестры, дядья, тетки. И все-таки — крестьянин он? А образование? Агрономическое?» И была короткая запись — обнажить все...

По методу работы, по предварительному сбору материала он оставался журналистом — не раз беседовал с секретарем парткома, встречался с партактивом, просматривал протоколы за много лет, вчитывался в персональные дела, сравнивал годовые отчеты, вечером подстерегал усталого бухгалтера и провожал его до дому. Особо интересовал его молодежный вопрос: причины текучести, где учатся, куда идут после армии, чем увлекаются. И, конечно, браки, разводы, дети.

В подготовке себя к новой книге он оставался журналистом, но понемногу материал превращался в событие его внутренней жизни, преломлялся сквозь всю интенсивность личного восприятия...

Он был тяжело болен. Как в той фронтовой песне: до смерти уже совсем ничего не оставалось. Четыре шага. Пожалуй, три. А он только начинал свою главную книгу, работал до последнего дня, ездил к своим новым друзьям... Вернулся домой к обеду, сел в семейном кругу за стол, но недообедал, встал из-за стола, сказав: «Устал».

Устал?

Как это странно звучит.

А между тем это была правда: Овечкин умер.

## 4

Когда вникаешь во что-нибудь важное, твоя всей прежней жизнью подготовленная мысль всюду находит себе ответ — в подтверждении или опровержении. В квартире Валерия и Нины среди книг отца раскопал я «Литературные портреты» Горького и по-новому, свежо воспринял то, что Коцюбинский говорил Алексею Максимовичу: «Нужно бы вести из года в год «Летопись проявлений человеческого» — ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было бы прекрасное пособие людям для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас ведь больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение». И Горький добавил о Коцюбинском: «...в нем живет чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра».

Я подумал: что сказал бы Валентин о культурном значении и добра? И тотчас вечером как бы наткнулся на его ответ. «Почему так обидно, так грустно, — писал он, — когда видишь испорченного ребенка? Потому что это только начатая жизнь. Думаешь, что еще на 50—60 лет подлость — туда, дальше...» Такая тоска по добру, — загадя, вперед! И опасение еще не совершённого зла... И потом куда это — «туда, дальше»? Дальше — значит, и после тебя? Я нашел и об этом сокровенную запись: «Есть люди, у которых с их жизнью кончается все. Трусливо, отвратительно умирают...».

Так он размышлял наедине с собой и, может быть, думал о том испорченном ребенке. А что, если о себе? Или обо мне?

## 5

Солнечно было в гостиничном номере, выходящем окном на юг, и так хорошо, что я не пошел к Валерию, остался: было над чем и дома поработать.

Первый этаж — за окном в мохнатой заснеженной сосенке прячется кошка: не то воробьев караулит, не то глядит, как я стучу по клавишам машинки. Неожиданно зашел Валентин. Сидели, односложно переговаривались — о кошке, чего это она засиделась на сосне, об особой породе каких-то индийских воробьев, залетающих в последние годы в Ташкент, одним словом, о пустяках. О южной экзотике — на базарах горы арбузов и дынь, а отцу всегда нравилось другое: запахи укропа, полыни, растертых в пальцах помидорных листьев.

Я спросил, какие стихи любил отец. Знал ли он что-нибудь наилучшее? Валентин добросовестно, по-овечкински, задумался и прочитал:

Смоют ли слезы всего человечества  
Грязь со всего человечества —  
Вот что узнать мне хочется!

— Вы это из книги? Или от отца? Чьи это стихи?  
— Петефи... Я только кое-что помню. А он знал наизусть. Хотите, еще кусочек:

Что ела ты, земля,  
Ответь на мой вопрос,  
Что столько крови пьешь  
И столько пьешь ты слез? —

Он улыбнулся. — «Человек — это звучит горько» — так отец по-своему, в шутку... обломал. А может, услышал где-нибудь? Или в «Крокодиле»? Маяковского любил, только читал его не как принято — громко, зычно, — а тихим голосом, для себя одного.

— А кого он считал главным человеком в своей жизни?

Валентин не понял вопроса, да и трудно было понять. Я объяснил: в «Известиях» печатались читательские письма под такой рубрикой, люди рассказывали о своей матери или даже мачехе. О сельском учителе, о враче военных лет из эвакогоспиталя.

— Для меня таким человеком в какие-то годы был твой отец, — подсказал я. — А для отца?

— Думаю, что дед Маслов.

Сказано убежденно, с ударением на последнем слог в фамилии. Я знал об этом неграмотном старике из коммуны, осенявшем себя крестом за общим столом, но охотно ходившем на безбожные лекции. Он был труженик, неистовый до самозабвения. Соседка приносила грабли: «Сделай к ним палку». Он брался за шкурку и шкурил, шкурил до блеска. «Да як-нэбудь», — уже смущенно умоляла заказчица. «Як-нэбудь»? Он мог даже огреть за такие слова. Валентин сшил ему тогда сапоги. Сшил за сутки, но из уважения двое суток не снимал с колодок. И, кажется, в сапогах его работы дед Маслов проходил до могилы. Стыдно было сработать для него не на совесть. Однажды молодой председатель сел при нем на верстак, дед Маслов так его шуганул, что запомнилось. «Я на нем хлеб зарабатываю, а ты на него задом». Мог ли он украсть? Никогда, говорил о нем отец. Соврать? Никогда. Слукавить в работе? Никогда. Простить человеку подлость? Никогда. Простить ошибку?.. Да.

## 6

Но неужели я не знал этого раньше? Его беспокойство, горячность сердца не могли быть моим столь запоздалым открытием. В этот приезд со мной случилось что-то другое — произошла почти мгновенная кристаллизация всех впечатлений от человека. Бывает — высоко пролетит реактивный самолет, а ты потом взглянешь туда, в высоту, и увидишь как бы чиркнувший по небу тонкий след его пути, составленный весь из кристалликов пара.

Теперь я увидел весь белый след, от горизонта до горизонта. Вся его жизнь загудела нетерпеливым набатом, заговорила страстной молитвой, мольбой о беспримесной правде, о счастье всех.

Нетерпение... Когда колосья первого урожая сжигал суховей, молодой председатель уходил в поле, падал на землю. «Неужели дождей не будет? Неужели провал?» Кристаллик нетерпенья и в том нежном имени, какое дал Овечкин первому трактору: Орлик!

Нетерпение... В станице Родниковской он сам, газетчик, органи-

зует соревнование двух колхозов, чтобы, не отходя от правды, написать своей рассказ «Гости в Стукачах».

Нетерпение... Бревна таскать под огнем, трактор тащить из воды под вой снарядов, ночами пахать по заминированному полю, не теряя времени,— такой увидел Овечкин всю окровавленную, обугленную поэзию освобождения от врага родной земли.

Его раскаленное состояние я понимал и в год сдачи в печать «Районных будней». Перестраховщики придерживали его, остужали.

— Не все же такие, как Борзов. Он нетипичен.

— Так что же, ждать, пока все станут такими?

Я догадывался, что это он о самом себе: «А ты горяч, товарищ Мартынов! Не укатали бы сивку крутые горки».

Он был литератором, можно сказать, «без термоса и кофея с лимоном»,— попросту презирал расхожую беллетристику за ее верхоглядство, пренебрежение земными целями, за дачное самоварничанье. В нетерпимости он не щадил ни врагов, ни друзей. Но по-разному.

Друзьям он не стеснялся показаться заносчивым: лез напролом. «Разве ж это человек? Самопал!» — говорили о нем. (Теперь я вспомнил даже такую деталь, как в горячем разговоре он сунул в зубы папироску, протянул и мне пачку «Беломора»: «Давай закурим по одной...— И вдруг быстро спрятал в карман и со злобой: — А, да ты некурящий!»)

Впоследствии, читая желчные, обидные письма графоманам или добрые рекомендации молодым и равнодушным провинциалам, я почти на ощупь чувствовал его самонагревание от каждого факта соприкосновения с литературой или подлинной, или поддельной.

Человек крайностей, он становился предельно резок, разрывая с принятым у нас обтекаемым тоном ответов на самотек. «Пьесу вашу до конца не прочитал, не одолел, это грубейшая подделка под литературу...», «Глубже надо пахать — это пока лущевка...», «Прошу не обижаться, но литература — дело очень серьезное и тут надо начинать автору говорить только правду...», «Неужели вы сами не понимаете, что написали не пьесу, а пародию?..»

Но как же расхваливал чью-то рукопись, увидев в ней активное вмешательство в жизнь и непримиримость. Так случилось, когда Гавриил Троепольский опубликовал свои заметки «О реках, почвах и прочем» — о том, как, выполняя по-казенному план мелиорации лугов, погубили в Воронежской области пятнадцать рек, — он всем друзьям развонил: «Читайте, читайте!» И сразу в редакцию: «Желаю статью Троепольского не литературного, главным образом, успеха, а делового — чтобы она была прочитана всеми людьми, близко заинтересованными в поднятых вопросах, и чтобы журнал наш («Новый мир».— Н. А.) получил множество писем. Может быть, редакции следовало бы связаться с областными газетами, не полагаясь на самотек».

Злой отзыв в сельскохозяйственное издательство: «...в рукописи только уже признанные и награжденные передовики: герои и депутаты, нет борьбы передовиков с трудностями. Автор не замечает несовершенств в оплате, в отношениях МТС и колхозов...» Такой приговор он выносил на книгу близкого товарища, с кем много было связано в молодые годы.

Отложив эту заметку, я почему-то вспомнил, как на новогодней елке у друзей его попросили: «Погаси свечи» — и он стал дуть, все сильнее дуть, но свечи не гасли, потому что со своей повязкой, закрывшей глаз, он дул мимо. И рассердился на себя в конце концов...

И когда другого, до конца дней любимого товарища-земляка занесло в печати неточным, слишком пафосным утверждением, что «вряд ли можно любить реку такой ни с чем не сравнимой сладкой



и грустной ревнивой любовью, как люди любят здесь свой Дон», могли не заметить и пропустить мимо ушей это преувеличение Овечкин? Что он тогда отписал ему? «А Волга? А сибирские реки? А Амур? — распытывал он его с аввакумовской одержимостью. — Так-таки нигде нет мест красивее, чем на Дону? А песни волжские, сибирские, архангельские? Наивный хуторской патриотизм. И в таком хуторском патриотизме есть что-то обидное для России. Ведь не зря казаки раньше всё за Доном называли Россией, не причисляя себя к ней. Зачем же это повторять и культивировать сейчас? Родной уголок можно больше всего жалеть, но любить надо всю Россию».

Вероятно, если бы я и заметил, промолчал бы, а он не захотел. И ведь что поучительно: они остались друзьями.

Бывают дружеские отношения, которые тянутся годами — и ни бугорка, ни трещинки. Теперь я понимал, что значит в дружбе настоящее: наши отношения также были полны полемиического азарта. Однажды я горяча заметил, что надо бы ему поберечь свою добрую репутацию, потому что зарубежной пропаганде всегда интересно привлечь «фрондера» на свою сторону, и вот доказательство: «Тебя, Валя, не зря пригласили в одно посольство на прием в честь дня рождения королевы». Ему, видно, это не приходило в голову. Мы грубо поссорились, подробностей не помню, но в письме я вынужден был объяснить ему, что он неверно истолковал мои слова и что я ему не враг. Ответил он самой яростной филиппикой: «Николай! Никакого иного толкования твоих слов быть не могло. Я думаю, тебе не отшибло память и ты не забыл того, что сказал мне насчет одного посольского приема. Да, ты настолько был обозлен на меня, что, не владея собой, ударился уже в злейшую демагогию. Худшие враги мои еще не додумались напасть на меня с этой стороны. А тебе — пришло в голову. Тебе — патент. Могу подкинуть еще немало «убийственных» фактов: «Районные будни» комментировали много раз и «Голос Америки» и «Би-би-си» и передавали всякие выжимки из них. Ну и что? Что посоветуешь? Отказаться от нашей внутренней самокритики? А ты чувствуешь, что она сейчас нужна, может быть, в тысячу раз больше, чем когда бы то ни было? Не люблю громких слов, а то бы сказал, что ты замахнулся мне в спину ножом. Ну, не кинжалом — перочинным ножиком. Но все же замахнулся. Друг!»

Потом помирились.

Как я уже сказал, он нежной любовью любил Твардовского. Читая нам вслух и перечитывая его, и смеялся и плакал. И радовался «тому, что есть у нас, в нашем советском хозяйстве, такая поэзия». Я увидел, как при всем том он нетерпеливо вменял ему в вину при чтении в рукописи поэмы «За далью — даль» любую маленькую неточность мысли. Так же был он нетерпелив, составляя одну за другой реляции и докладные записки о путях и перспективах развития колхозного хозяйства. И плакал, не стесняясь хмельных слез, делясь в узком кругу обидой: надо было ему, чтобы услышали и немедленно отзвались. А этого не всегда дожидался. И сила, не находившая выхода, превращалась в импульс человеческой слабости.

Чем разборчивее я вникал день ото дня во все реликвии комнаты-музея этого самоуправного на вид человека, тем яснее становилось мне, что про себя он всегда верил в приказную безотлагательность своих писаний: только щелкнуть выключателем — и будет свет. Ему тоже не чужда была заветная мечта сказочной Руси: «По щучьему велению, по моему хотению». Слишком нетерпеливый и оттого несчастный, он мог в минуту отчаяния извлечь из сердца и черкнуть: «Пишешь, пишешь и — ни хрена, ни на градус не повернулся шар земной». И в малом, как и в большом и главном, — то же нетерпенье,

та же искренность, та же боль. (Старший, Валентин, так похожий на отца лицом и всем душевным строем, нехотя рассказал об одном случае из времен станичного детства. Так было только раз в жизни, он схлопотал обидный крутой отцовский подзатыльник: «Не подворачивайся под горячую руку!» Но навсегда запомнилось, как, тотчас подойдя мириться, отец тяжело вздохнул: «Мне тяжелее, чем тебе».) В последние годы, больной, усталый, он был особенно раздражителен в спорах, а довод был такой: «У меня не так много времени осталось жить, чтобы я мог слушать эти глупости. Некогда!»

Отдохнуть? Отвлечься? Значит, самоустраниться? Не тот человек! И Прасковья Максимовна не одобрила бы. И он нацарапал однажды на клочке бумаги: «Когда у меня руки опускаются, я поднимаю левой рукой правую руку и заставляю ее писать».

Читая, слушая, вспоминая, я видел теперь — нет, не дымок от двух папиросок, смешавшийся под потолком, а белую дорогу, след высокого полета до самой черты горизонта.

Там, на теневой стороне планеты, пламенные революционеры, лучшие люди человечества, тоже хотят осуществить себя в большом и в малом — делать историю, направлять ее бег ко всеобщему счастью людей. Как хорошо, что и у нас в битве жизни таких много — даже больше! Напоследок они всегда наши герои. И славить их — значит, славить их оружие. Но порой при жизни они вырываются из общего ряда и тогда напрасно сльвут неуправляемыми — в этом, кажется, видим их единственное неудобство. На самом деле ох какими же на поверку временем они оказываются управляемыми! При всей их горячности, ошибках, ими надежно управляет коммунистическая убежденность и совесть — да, убежденность и совесть, от природы одаренная свойством призмы с ее одноостной, концентрированной преломляемостью света.



## БОРИС ПАСТЕРНАК



### ПЕРЕВОДЫ ИЗ ЮЛИУША СЛОВАЦКОГО

Публикуемые переводы сделаны Борисом Пастернаком тридцать лет назад в Чистополе, куда он был эвакуирован в конце октября 1941 года.

Наступала зима в отдаленном городке со сравнительно сохранившимся укладом. Пастернаку удалось снять небольшую комнату. Он возобновил прерванные войной ежедневные занятия. Зимние месяцы оказались для него плодотворными. Из его писем и по воспоминаниям очевидцев мы знаем, что он тогда написал пьесу из прифронтовой жизни начала войны, почти полностью утраченную впоследствии, перевел трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта», подготовил свой перевод «Гамлета» для второго издания. Было известно, что по довоенной договоренности с Гослитиздатом он должен был переводить знаменитого польского поэта Юлиуша Словацкого<sup>1</sup>. Подготовительная работа была выполнена Д. А. Горбовым. Действительно, «Кулиг» и «Песня литовского легиона» Словацкого в переводе Пастернака были напечатаны в журнале «Красная новь» (1942, № 7). В 1948 году Борис Леонидович включил перевод двух этих стихотворений в рукопись сборника своих переводов, но ни о каких других работах военного времени, связанных со Словацким, не вспоминал.

Читая письма Пастернака, мы обратили внимание на то, что в них речь идет о переводе целого сборника.

16 сентября 1942 года он писал Евгении Владимировне Пастернак в Ташкент: «Я тут около года. Я провел его очень производительно. Перевел «Ромео и Джульетту», избранный томик польского поэта Словацкого и начал драму».

Поиски переводов из Словацкого в архиве Гослитиздата не дали никаких результатов.

Мария Антоновна Чагина любезно предоставила нам текст писем Бориса Пастернака к ее покойному мужу, виднейшему советскому издателю П. И. Чагину. Деловая переписка полностью воссоздает обстоятельства выполнения работы. Вот эти последовательные упоминания:

12 декабря 1941 года: «Я ответил Вам телеграммой: «Перевод готовлю». Вот объяснение. Когда я сюда приехал, у меня было два обязательства, перед Вами (Словацкий) и перед Храпченко (перевод «Ромео и Джульетты»). Это согла-

---

Из литературного наследия.

<sup>1</sup> Юлиуш Словацкий (1809—1849) — выдающийся польский поэт. Родился на Украине, в Кременце, в семье профессора местного лицея. По окончании Виленского университета, в котором учился с 1825 по 1828 год, служил в комиссии финансов в Варшаве. В эти годы Ю. Словацкий осознает себя поэтом. Первые его поэмы («Гуго», «Монах», «Ян Белецкий») и драмы («Миндовг, король литовский», «Мария Стюарт»), при всей их очевидной зависимости от творчества Шекспира, Байрона, Мицкевича, несли на себе печать яркой талантливости. Словацкий принимал участие в польском восстании 1830—1831 годов, во время которого создал стихотворения, проникнутые страстной любовью к своей родине. «Ода к свободе», «Гимн», «Кулиг». По поручению руководства восстания выехал за границу и навсегда остался в изгнании. Испытывая обычные для эмигранта тяготы и лишения, страдая неизлечимой болезнью легких, Юлиуш Словацкий напряженно и плодотворно работает. Помимо разнообразных по жанру и тематике стихотворений, им в эту пору написаны: поэмы — «Ламбро», «Час раздумья», «Путешествие

шенье было заключено раньше, незадолго до войны... Теперь о Словацком. Я с завтрашнего дня засяду за него...»

22 мая 1942 года: «Перевод Словацкого сделан. Он у машинистки и при ближайшей оказии, какая представится, будет послан Вам при письме, где поговорим о нем поподробнее. Переведено все, что подстрочно было подготовлено Горбовым, около половины договорного объема (до 1200 строк). Кажется, он хотел дать еще подстрочник драмы «Лилла Венета», но, может быть, ограничиться сделанным? Мне это было бы очень по душе».

30 мая 1942 года: «Вот Ваш Словацкий. Я уже писал Вам о нем в прошлом письме, остается добавить немного. Не откажите мне в милости и протелеграфируйте, получили ли Вы его и удовлетворены ли. Очень, очень прошу Вас...»

14 июня 1942 года: «Сейчас пришла Ваша телеграмма о получении Словацкого».

Посланный в издательство текст найти так и не удалось. Неожиданно нашелся оставшийся в Чистополе автограф. Он был подарен Пастернаком Валерию Дмитриевичу Авдееву после отправки перепечатанной рукописи.

Благодарную память о главном враче чистопольской больницы В. Д. Авдееве, его семье и доме сохранили многие из проводших в этом городе тяжелые месяцы эвакуации. В их числе был и Пастернак. Краткий очерк их отношений дан в статье Р. М. Пормана «Пастернак в Чистополе», опубликованной в журнале «Русская литература» (1966, № 3).

Особенно близок оказался Пастернаку Валерий Дмитриевич Авдеев, в молодости писавший стихи, занимавшийся живописью и фотографией. Его участие и интерес были дороги Пастернаку, который написал ему в альбом два стихотворения; в первом из них, неоконченном, есть такие строки о Чистополе:

...И старое перебирать начну  
И городок на Каме обнаружу.

Я с палубы увижу огоньки,  
И даль в снегу, и отмели под сплавом,  
И домки на берегу реки.  
Задумавшейся перед рекоставом...

Второе стихотворение отчетливее характеризует конкретные обстоятельства знакомства Пастернака с Авдеевыми.

...Каким тогда я буду старым!  
Как мне покажется далек  
Ваш дом, нас обдававший жаром,  
Как разожженный камелек.

Я вспомню длинный стол и залу,  
Где в мягких креслах у конца  
Таланты братьев завершала  
Усмешна умного отца.

на восток», «В Швейцарии». «Бенёвский»; драмы — «Горштыньский» «Мазепа», «Лилла Венета», «Ксендз Марек», «Серебряный сон Саломеи». Как и многие польские изгнанники, Словацкий не избежал воздействия мистицизма, но до конца своих дней он был предан революционным и демократическим идеалам. Несмотря на то, что временами его охватывало разочарование и отчаяние (отзвуки этих настроений явственно слышатся в предлагаемой читателю подборке), поэт неколебимо верил в грядущее освобождение своей родины.

Юлиуш Словацкий умер от скоротечной чахотки в Париже.

В России художественное наследие Словацкого, заслоненное поэзией его прославленного старшего современника Адама Мицкевича, до конца века было сравнительно мало известно. Заметный вклад в знакомство русского читателя с произведениями Словацкого внесли Константин Бальмонт и Валерий Брюсов. На русский язык Словацкого переводили Николай Асеев, Анна Ахматова, Марк Живов, Вильгельм Левик, Леонид Мартынов, Борис Слуцкий.

И дни авдеевских салонов,  
Где, лучшие среди живых,  
Читали Федин и Леонов,  
Тренев, Асеев, Петровых...

В дальнейшем Пастернак переписывался с Авдеевым, письма которого сохранились среди бумаг Бориса Леонидовича в Переделкине.

Было известно, что Валерий Дмитриевич сделал в Чистополе удивительную серию фотографий Бориса Пастернака. Разыскивая их летом 1971 года вместе с М. А. Балцвинником, ленинградским почитателем поэзии Пастернака и собирателем относящихся к нему фотодокументов, мы узнали, что профессор биологии Валерий Дмитриевич Авдеев живет в городе Ровно. Он написал, что в его архиве целый ряд автографов Бориса Пастернака и он охотно нас с ними познакомит.

Прошлой весной в Ровно поехал ленинградский знаток творчества Пастернака А. Д. Левинсон, которого я просил сделать фотокопию бумаг, имеющих отношение к переводам из Словацкого.

Валерий Дмитриевич прочел ему наизусть стихотворение и сказал: «Вы, конечно, это помните. Из переводов Пастернака я больше всего люблю эти строфы:

У какого другого хватило порыва  
Одиноко, без всякой подмоги чужой,  
Неуклонно, как кормчие и водоливы,  
Править доверху душами полной баржой.

И как раз глубина моего сумасбродства,  
От которой таких навидался я бед,  
Скоро даст вам почувствовать ваше сиротство  
И забросит в грядущее издали свет».

Он был поражен, когда Левинсон сказал ему, что не знает этих стихов. Валерий Дмитриевич тут же достал рукопись, на титульном листе которой стояло: «Стихотворения Юлия Словацкого, избранные Д. А. Горбовым, в переводе и сокращениях Бориса Пастернака». Для него было полной неожиданностью, что только он один знает эти переводы.

Пора изменить это положение и ознакомить с ними читающую публику<sup>2</sup>.

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК.

## Ода к свободе

### I

Ангел вольности, пари  
Над поверженной вселенной!  
Родина, восстав из плена,  
Ставит правде алтари.  
Только здесь сказался вслух  
Новой жизни новый дух.

И, летя за облака,  
Задержись в ее пределе,  
Чтоб к тебе издалека  
Песни Польши долетели.

<sup>2</sup> В журнальную публикацию переводов из Юлиуша Словацкого не вошли стихотворения «Песнопение», «Кулиг» и «Песня литовского легиона». Переводы печатаются в последовательности, определенной Б. Пастернаком. (Ред.).

## II

А позади, во тьме, остался дух неволи.  
 Оглянемся, он нам на память дан.  
 Что завещал векам душитель на престоле?  
 Надменно-непонятен истукан.  
 Так древний обелиск, пугавший встарь феллаха,  
 Пока могли прочесть иероглиф,  
 Стоит на площади, и не внушает страха,  
 И в наши дни, как камень, молчалив.

## III

В незапамятную старину,  
 Хоронящуюся от взора,  
 Вся Европа росла в вышину,  
 Как готические соборы.  
 Слабым голосом дряхлый старик  
 Отрешал венценосцев от власти  
 И в жилище у грозных владык  
 Пересматривал судьбы династий.  
 Просвещение скупое текло  
 Сквозь церквей расписное стекло.

Вдруг поднялся безвестный монах.  
 Не клонивший пред церковью шею  
 С божьим словом на смелых устах  
 Стал он силами мериться с нею.  
 Пошатнулось созданье веков.  
 Обвалились старинные своды,  
 И, избавясь от тесных оков,  
 Вера вышла сама на свободу.

## IV

А по странам крепили короли.  
 Жители безропотно терпели.  
 Уроженцы Англии нашли  
 Мстителя за родину в Кромвеле.  
 Он Стюартов кровью залил трон,  
 Сам же отказался от короны.

Чем же в Альбионе тех времен  
 Стала королевская персона?  
 Это только символ показной  
 Самоуправляемой державы.  
 Это месяц в небе, белизной  
 Ярко отразивший солнце права.

За рулем великие умы.  
 Отданное мнениям и спорам,  
 Выше башен Тауэрской тюрьмы  
 Зданье за Вестминстерским собором.

## V

О Новый Свет ударилось весло  
 Испанского фрегата.

Там дерево недоброе росло  
 И брат вставал на брата.  
 Под деревом, уставши от труда,  
 Убитые печалью,  
 В мечтах о счастье люди навсегда  
 Сном смерти засыпали.

Они платили смертью за мечту.  
 С благословенья папства  
 Тропическое дерево в порту  
 Считалось пальмой рабства.

И вдруг по всей Америке — отказ  
 От подати исконной.  
 Страна в единодушьи поднялась  
 По зову Вашингтона.

Он добыл уважение и хвалу  
 Соединенным Штатам,  
 И свет забыл о мачте на молу  
 И дереве проклятом.

#### VI

Хвала краям, добившимся свободы.  
 В лучах неугасающей зари  
 Там, как хотят, на солнце без захода  
 Растут богатыри.

#### VII

Заунывный похоронный звон  
 Долетел из сельского костела.  
 Зрелище печальных похорон,  
 Провожатых поезд невеселый.  
 Гроб, за гробом дети и семья,  
 Скорбных свеч мерцающее пламя,  
 И молитву шепчут сыновья,  
 Шевеля беззвучными губами.  
 Вот в ворота кладбища вошли.  
 Гроб отцовский на плече у сына,  
 И сырой кладбищенской земли  
 Глубже и чернее их кручина.

Что ж так плачут? Жалко ль им себя?  
 Их богатство ждет по завещанью.  
 По покойном плачут ли, скорбя?  
 Мертвые не чувствуют страданья.

Этот деревенский старикан  
 Был не просто пахарь престарелый.  
 Он последним был из могикан,  
 Вспоминавших Польшу до раздела.

Свеж его могильный бугорок,  
 Вдруг раскаты вести громогласной:

Совершилось то, что он предрек,  
Он свободы ждал не понапрасну.

### VIII

Вспоминаю: юноша в расцвете  
Проклинал огонь своей души.  
«Господи, к чему мне муки эти!  
Лучше искру духа потуши!  
Я ль своей свободе не хозяин?» —  
Себялюбья страшные слова!  
Гордый этот вопль был так отчаян,  
Что у всех кружилась голова.  
Дерзость породила малoverье.  
Малoverье — вот новейший ад,  
Уподобивший пустой химере  
Все, чем человек высок и свят.  
Добродетель? Это предрассудок.  
Преступленья? Преступленья нет.  
На каких весах, времен ублюдок,  
Взвешивал ты вечности завет?

И, однако, эти самохвалы  
Были только, как нетопыри,  
Призраками ночи небывалой  
Накануне утренней зари.  
Вот ее победное сиянье.  
Иго свергнуто! Мы спасены!  
Впереди простор — как в океане.  
Смело вплавь! Не бойтесь глубины!  
Бросимся в пучину без оглядки.  
Занырем на дно, не жмуря глаз.  
Если не теряться, все в порядке.  
Не один всплывет, как водолаз.  
Кто-нибудь зажал в руке кораллы  
Или трубит в Амфитритин рог.  
Кто-нибудь ударился о скалы  
И себя в волнах не уберег.

## *Гроб Агамемнона*

*Отрывок из поэмы «Путешествие на восток»*

### I

Пусть музыка причудливого строя  
Сопровождает этих мыслей ход,  
Передо мной подземные покои,  
Агамемнона погребальный свод,  
Здесь кровь Атридов обагрила плиты.  
Сижу без слов средь давности забытой.

### II

Невозвратима арфа золотая,  
Которой описанья лишь дошли.



Я старину в расселине читаю,  
Речь элинов мне слышится вдали.  
В шуршаньи трав мне чудится упорно.  
Электры смех доносит ветер горный.

## III

В своей извечной тяжбе с Арахнеей  
Он пряжу рвет ее на сквозняке  
И вносит запах мяты и пырея,  
Цветущих на горах недалеко.  
Как тени мертвых или привиденья,  
Здесь носятся пушинки их цветенья

## IV

Кузнечики в развалинах могилы  
Отшибли треском память у меня.  
Они к молчанью принуждают силой.  
Как песня тишины их трескотня.  
Как это поучительно: преданье,  
Осиленное громом стрекотанья!

## V

В покорности сдаюсь, как вы, Атриды!  
Не стыдно мне, что я к стене прижат.  
Я тоже победителем не выйду  
Из состязанья с трескотней цикад.  
Молчу, как смолкли вы в своей пещере  
Злодейства, славы и высокомерья.

## VI

Над дверью склепа в треугольной нише  
Растет дубок над самой головой.  
Он этому подвалу служит крышей,  
Бросая тень нависшею листвою.  
Как этот дуб попал сюда, в гробницу?  
Росток, наверно, затащили птицы.

## VII

Я обломил отросток нижней ветки,  
Покая мертвых этим не смутив.  
За дерево не заступились предки,  
Лишь солнце жадно ринулось в прорыв.  
Мне в голову пришло, что по размеру  
Такою быть могла струна Гомера.

## VIII

Почти, за ним протягивая руку,  
Я этот луч разрезал пополам.  
Но не извлек и мысленно ни звука  
Из роя мошек, бившегося там.  
А мне уж в мыслях грезились напевы  
Величья, скорби, жалости и гнева.

## IX

Всю жизнь во имя выпренных материй  
Чужих предпочитаю я своим.  
Всю жизнь во сне я властелин империй,  
А въяве проповедую глухим.  
Но полно суматошить прах впустую.  
Скорей на волю! Лошадь верховую!

## X

В седло! По пересохшему потоку,  
Где лавр бушует розовой волной,  
Стрелой по воздуху, как мысль пророка,  
Несется конь ретивый подо мной.  
Он мчится вскачь, сверкая косоглазьем  
И нехотя порой спускаясь наземь.

## XI

У Фермопил, нет, раньше, в Херонее,  
Я останавливаю скакуна.  
Я в Фермопилах отдыхать не смею:  
Мне может вспомниться моя страна.  
А вдруг пред славной тенью полководца  
С разбега конь мой в страхе отшатнется.

## XII

Едва ль меня подпустят к Фермопилам  
Спартанцы, погребенные во рву,  
Я б наших странностей не объяснил им.  
Их удивит, что я еще живу.  
На этот счет их взгляды непреклонны.  
Для древних побежденный вне закона.

## XIII

Нет, я по фермопильскому ущелью  
Проеду, не косясь по сторонам.  
Там каждый камень говорит о деле,  
И этих скал должно быть стыдно нам.  
Нельзя в цепях входить к великим грекам,  
Но только равным, вольным человеком.

## XIV

О, как я был бы пристыжен вопросом,  
Когда б, блистая бронзою кирас,  
Толпа теней перед входным утесом  
Меня спросила: «Много ль было вас?»  
Что прокричал бы я в минуты эти  
Через пропасть разделивших нас столетий?

## XV

Но я без слез из Фермопил не выйду.  
Средь них без пояса и кунтуша

Лежит нагое тело Леонида,  
Из камня высеченная душа.  
Она из века в век и год за годом  
Воспета и оплакана народом.

## XVI

Пока, о Польша, ты не снимешь вретисц  
И рубища из грубого рядна,  
Ты жалости ни у кого не встретишь  
И в нищем виде людям не страшна.  
До этих пор твой путь — палач и плаха,  
Не выпрямиться и не встать из праха.

## XVII

Как Деяниры жгучую тунику,  
Сорви с себя монашескую ткань.  
Подобно торсу статуи великой,  
В неустыдимой наготе предстань.  
Без тряпок ты возвышенной и чище,  
Чем в этом виде странницы и нищей.

## XVIII

Пускай народ, как прошлого обломок,  
Откопанный из-под известняка,  
Представится, явившись из потемок,  
Громадою из одного куска.  
Пусть поразят воображенье наше  
Его неистребимость и бесстрашие.

## XIX

Но, Польша, для любителей безделиц  
Ты — редкий попугай или павлин.  
Как у игрушек должен быть владелец,  
Так кто-нибудь всегда твой господин.  
Я вправе говорить об этом с болью,  
Но никому другому не позволю.

## XX

Предай меня проклятьям за обиду,  
Но если ты страдалец Прометей,  
Народ, я буду, словно Евмениды,  
Подхлестывать тебя плетями змей.  
Я жалобами и словами гнева  
Тебе, как коршун, истерзаю чрево.

## XXI

Безропотно сноси мои нападки.  
Анафему твою я перерос.  
Твоя рука отсохнет до лопатки,  
Когда ее поднимешь для угроз.  
Да чем и угрожать тебе отныне,  
О родина, бесправная рабыня!

## *Восход солнца на Саламине*

Я вспоминаю об одной минуте.  
Я в лодке плыл. Перегоняя нас  
И выпятив, как раковины вздутые,  
Свой парус, за баркасом шел баркас.  
На всех толпились моряки на юте  
Или стоял албанец-водолаз.  
В воде желтело тускло полнолуние.  
Мы шли из Каламаки по лагуне.

Зажглась заря. Повевал бриз с востока.  
Раз или два трягнуло нас в длину.  
Как всадники съезжаются с наскоку,  
Так лодка налетела на волну.  
Устав с дороги долгой и далекой,  
Она прошла по лодочному дну  
И вся была как вестница пучины  
От гроба Фемистокла с Саламина.

Я приподнялся. Пенились буруны,  
Окрашенные заревом в сандал.  
Я солнца с этой стороны лагуны  
Из-за могилы Фемистокла ждал.  
Оно ж взошло из-за песчаной дюны,  
Где Ксерксов трон стоял, и он со скал  
В безмолвьи властолюбья и злорадства  
Смотрел, как гибло Греции богатство.

О, как мне жалки стали в это время  
И море, и могила, и восход,  
И помыслы о греческой триреме!  
Как загляделся я на берег тот,  
Где в золотой мидийской диадеме  
На греческий вдали тонувший флот  
Смотрел часами победитель сытый  
Перед посторонившеюся свитой.

## *Закат на море*

### *Гимн*

Грустно мне. По вечерам с небосвода  
В воду спускается огненный мост.  
Тянется хвост  
Блещущих звезд.  
Свежесть, погожая ночь... Отчего же  
Грустно мне, боже?

Пусты, как годы неурожая,  
Наши сердца.  
Маской лица  
Я от других свой покой ограждаю.  
Но от творца не прикроюсь я ложью.  
Грустно мне, боже!

Точно по матери дети в кровати,—  
 Выйдет — и в рев,—  
 Так я готов  
 Солнце оплакивать на закате.  
 Знаю, что утром вернется, и все же  
 Грустно мне, боже!

Аистов польских, на палубе лежа,  
 Видел я нынче на крыльях в пути  
 Милях в пяти  
 Или шести.  
 И оттого-то я жалобы множу:  
 Грустно мне, боже!

И оттого, что не ведал я дома,  
 Как пилигрим,  
 Тягой томим  
 По незнакомому и чужому,  
 И, вероятно, умру в бездорожьях.  
 Грустно мне, боже!

Знаю, что я не на польском погосте  
 Кости сложу близ угла своего.  
 И оттого  
 Все существо  
 Жаждет покойного, верного ложа.  
 Грустно мне, боже!

Молится дома ребенок невинный,  
 Чтобы приблизил господь мой возврат.  
 Я же навряд  
 Буду назад,  
 И что с чужбины его я тревожу,  
 Грустно мне, боже!

Впрочем, довольно. В морской панораме  
 Звезды и впредь  
 Будут гореть  
 Через сто лет, как при нас, вечерами,  
 Памяти след обо мне уничтожа.  
 Грустно мне, боже!

### *Песня на Ниле*

Не дышат листья. Тишина.  
 Какое небо и страна!  
 Из плит построенные кручи,  
 На их верхах кирпичных — тучи.

Я тоже мучился и жил,  
 Я тоже воду Леты пил  
 И вот в гнилые волны Нила  
 Смотрю печально и уныло.

Гляжу в тоске на мутный Нил.  
Кто сердце мне заморозил,  
Что все оно в оцепененьи,  
Как спящий лебедь средь теченья?

Нет, дальше, лодка, по воде  
Плыви к рыбацкой слободе,  
Где голуби белее снега.  
Там поищу себе ночлега.

Вперед, вперед, за поворот,  
Где пальмовый лесок растет,  
Дома из камыша и глины  
Покрывают стаей голубиной.

### А р а б

Напрасно. Не завидуй им.  
Смотри, из них не вьется дым.  
Неведом жребий этих хижин,  
Хоть лес и птицами насижен.

Быть может, домик заражен,  
И в хижине чумы притон,  
И дети плачут возле трупа  
Средь этой глиняной халупы.

Без нас умершего в селе  
Родные предадут земле,  
Без лишних с кладбища вернуться,  
А голуби не шевельнутся.

### П о э т

Тогда как раз туда и чаль,  
Где неутешная печаль.  
В том месте на ночь и раскинусь,  
Откуда совершают вынос.

Там буду жить, там изнывать,  
Там жизнь пустую проклинать  
И шумом голубей на кровле  
По капле сердце обескровлю.

### А р а б

Они перелетят к другим:  
С чалмою крест несовместим.  
Твою чужую подоплеку  
Учуют голуби востока.

Ты будешь с четырех сторон  
Песчаным вихрем занесен.  
Твой дом исчезнет под тюрбаном,  
Нагроможденным ураганом.

## П о э т

Ах, если так, то под самым  
 Соваться рано наобум.  
 Пусть спят и птицы, и стихии,  
 На свете есть места другие.  
 Как в молодости, снимем кладь,  
 Чтоб под открытым небом спать.

## А р а б

Я на ночь дам тебе укрыться  
 Внутри Рамзесовой гробницы.

## П о э т

Прекрасно. Хоть на ночь одну  
 Я богатырским сном усну,  
 Кругом доверившись охране  
 Умолкнувшего воркованья.  
 Далеко ль этот саркофаг,  
 Где я и сам усну, как прах?

## А р а б

Могилы за речным откосом,  
 Поросшим кедром и кокосом.

## П о э т

Так он сказал. Густела мгла,  
 И лодка по теченью шла.

*Разговор с пирамидами*

В ваших недрах, пирамиды,  
 Можно ль хоронить обиды  
 И мечи по рукоять  
 В урнах с прахом погребать?  
 Можно ли беречь годами  
 Мечь, как мумию в бальзаме?  
 — Да, такое место есть.  
 Прячь оружие и мечь.

Пирамиды, для ночлегов  
 Нет ли в вашей тьме ковчегов,  
 Чтобы прах борцов поляк  
 Мог сберечь в укрытьях рак  
 И потом вернуть отчизне  
 В дни восстановления жизни?  
 — Да, на временный постой  
 Выбирай любой покой.

Пирамиды, вы одни лишь  
 Место для слезохранилищ.  
 Можно ль слить в ваш водоем  
 Наши слезы о **былом?**

Слезы матерей о детях  
Сохранить в иных столетях?  
— Есть бассейны, подойдут.  
Выбирай любой сосуд.

Пирамиды, нет ли келий  
В вашем черном подземельи,  
Чтоб привести под общий свод  
В целости большой народ  
И до лучших дней в палате  
Водрузить его распятье?  
— Совершай свой переезд,  
Поднимай народ на крест.

Пирамиды, в ваших залах  
Есть ли отдых для усталых?  
Радостно б во тьме исчез,  
Только б наш народ воскрес.  
— Уходи. Борись и действуй  
И не смей бросать семейство.  
Здесь для мертвых только вход.  
Дух бессмертен и живет.

## *В Швейцарии*

### *Поэма*

#### I

Она ушла, как сон, и с тех времен,  
Как умерла, я горько поражен,  
Что жив, и устраниться не умею,  
И не последовал туда за нею,  
Где милая, избавясь от оков,  
Случившееся видит с облаков.

#### II

В горах Швейцарии есть водопад.  
Ревущий столб воды голубоват,  
И радуга пластается в тумане  
Над крутизной и местом бушеванья.  
Она горит, под ней водоворот,  
Никто постройки в пропасть не столкнет.  
Но вдруг сквозь свод оранжево-зеленый  
Пройдет ягненок по крутому склону  
Иль голубь жаждущий рванется вниз  
Попить воды под каменный карниз  
И пролетает радугу до края,  
Меняющейся краскою играя.  
Когда из этой огненной дуги  
Ее навстречу вынесли шаги,  
Я вздрогнул и уверовал мгновенно  
В ее рождение из огня и пены  
И через разделявший нас поток  
Глазами обнял с головы до ног.



Взденье было так великолепно,  
 Что я, казалось, тотчас же ослепну,  
 Когда об этом умолчу и сам  
 Своим восторгам выхода не дам.  
 Уже, приблизившись к какой-то грани,  
 Я мучился во власти обожанья,  
 Уже, волнуясь за нее, стерег,  
 Не сбил бы ветер незнакомки с ног.  
 Уж думал, как бы по вине обвала  
 Она с обрыва в пропасть не упала.  
 Уже хватался за перильный брус,  
 Боясь, что это сон и я проснусь.

### Ш

Прогуливаясь с ней по котловине,  
 Мы подошли к скатившейся лавине.  
 Как выброшенный на берег дельфин,  
 Лежал на брюхе снежный исполин.  
 Бока дымились. Он дышал стесненно.  
 Из синей пасти вытекала Рона,  
 От зноя выси были тяжелы.  
 Мы диких коз спугнули со скалы.  
 Поверенные наших тайн, наверно,  
 Разглядывали нас в упор две серны.  
 И я сказал: «И эти влюблены.  
 Их взоры на тебя устремлены».  
 С улыбкой губы тискаая до боли,  
 Она вдруг рассмеялась против воли,  
 И детский хохот, разорвавши гишь,  
 Порхнул шумливо, как бесстыжий чиж.  
 Когда ж опять вернулся к розе белой,  
 Ее лицо уже пожаром рдело.  
 Юнгфрау, снеговая дева гор,  
 Не так волнует вечерами взор,  
 Как этот недоступный для жеманниц  
 Непроизвольный мраморный румянец,  
 Зажегшийся над ямочками щек,—  
 Правдивости смеющийся залог.

### IV

Настали удивительные дни.  
 Мы были безмятежны и одни.  
 И в первобытности и избыльи  
 На лодке дни и ночи проводили.  
 И тишь была порою такова —  
 Казалось, изволеньем божества  
 Мы режем гладь не лодочным поддоньем,  
 Но по воде шагаем и не тонем.  
 И как бы подзывая: «Подойди»,—  
 Она всегда скользила впереди.  
 Она была озерною мадонной,  
 Владычицею горного кантона.  
 За нами разбегался пенный слой  
 Двойной круговоротною волной.  
 Вся в капельках, как к колдовской прилуке,

К ней рыба из воды кидалась в руки.  
И у нее, как королевы вод,  
Был свой дворец и свой хрустальный грот,  
Где верховодила она и смело  
Могла со мною делать что хотела.

## V

Однажды я блуждал меж антитез,  
Небесный ангел ли она иль бес,  
И несколько позднее в этом панне  
Принес чистосердечно покаянье.  
Вот дело было как. Из валуна  
Часовня Теллю сооружена.  
Мы подошли к скалистому обрыву.  
Она сошла и крикнула шутливо:  
«Я вас люблю!» — вертась живею юлы,  
И оттолкнула лодку от скалы.  
Как опишу я, что со мною стало,  
Пока я удалялся от причала?  
Тоска и ликованье, буря слез,  
Восторг и неотвеченный вопрос,  
Всерьез ли это или же в насмешку,  
В моей душе теснились вперемежку.  
И я не знал, по озеру ль плыву  
Или в заоблачную синеву,  
Теченьем ли от прибережных галек  
На середину увлекает ялик,  
Или я ввысь прокладываю путь  
И встречный вихрь мне разрывает грудь.  
И лишь тогда заметил я, что — в лодке.  
Когда подплыл по озеру к середке  
И с противоположного конца  
Потребовали к берегу гребца.

## VI

Часовню Телля окружает лес.  
Над ней высокий каменный отвес.  
Кругом краса и гишь. Подножье входа  
Ступеньками зачерпывает воду.  
Здесь было нами произнесено  
Все, что переполняло нас давно.  
Здесь колыхались рыжие извивы  
Трех сосен, отразившихся с обрыва.  
Здесь, задохнувшись после первых фраз,  
Мы от воды не поднимали глаз  
И видели в волнующейся раме  
Свои изображенья под ногами.  
Хоть в жизни оба эти существа  
Еще соединяли лишь слова,  
Качая отраженья, как фелуки,  
Волненье им соединяло руки.  
И ветреного полдня суета  
Им приближала лица и уста.  
Ах, как вода, играя и лукавя,  
Была провидицей в своей забаве!

## VII

Однажды, снизу обходя ледник,  
 Мы с ней проникли в ледяной тайник,  
 Разглядывая светлые ледышки.  
 Стояла спутница моя в одышке.  
 Ее прическу убелил мороз.  
 Пушистый иней лег вокруг волос.  
 Как бы из недр взволнованной породы  
 Живые слезы капали со свода  
 Так часто, что немного погодя  
 Она закуталась как от дождя.  
 Когда я увидал, как от капли  
 Росинки в волосах у ней горели,  
 Когда увидел, как на ней хорош  
 Фигуру облежавший макинтош,  
 Когда взглянул в ее глаза святые,  
 Я стал молиться ей: «Ave Maria!»  
 Она зарделась словно маков цвет  
 И спину повернула мне в ответ.  
 Я видел, как она на лед дышала  
 И чье-то имя пальчиком писала.  
 И вдруг услышал: «Если на роду  
 Мне писано за мягкость быть в аду,  
 Я, заживо вмороженная в льдину,  
 Как солнце в этом тайнике застыну,  
 О, если б тот, кто в жизни был мне мил,  
 Меня тогда дыханьем растопил!»

## VIII

Пересечем лесистые бугры.  
 Поднимемся на снежный верх горы.  
 Здесь нет лесов, и веянье прохлады  
 Разносит звон пасущегося стада.  
 Садится солнце. сумрак в глубине,  
 Но долго-долго выси гор в огне.  
 Здесь через пропасти, как привиденья,  
 Бесшумно переносятся олени.  
 И парой крыл орлы сквозь бирюзу  
 Бросают тень на облака внизу.  
 Пойдем и совершим туда подъем,  
 И если мы обратно не придем,  
 Пускай о нас распространятся слухи,  
 Что на прогулке нас украли духи  
 Или что сами мы на Млечный Путь  
 Вступили и идем куда-нибудь,  
 Оставив по себе одно преданье  
 Среди созвездий или на Монблане.

## IX

Едва ли кто слышал о перевале,  
 Где духи гор, бывало, ночевали,  
 Как лебеди, рассевшись тяжело  
 И головы запрятав под крыло.  
 Едва ль имеет кто-нибудь понятие

О горной хате на отлогом скате,  
 И сколько роз под окнами цвело,  
 И сколько вишен торкалось в стекло,  
 И сколько соловьиных гнезд торчало,  
 И сколько звезд молчало и мерцало  
 В часы, когда с раскатом их рулад  
 Ночами состязался водопад,  
 И сколько стад под нами и над нами  
 На пастбищах брэнчало бубенцами.  
 Едва ль еще кому-нибудь вдомек,  
 Где затерялся этот уголок,  
 Который то ль стерег угрюмый траппер,  
 То ль крыльями своими демон запер,  
 Раскинувши их от скалы к скале  
 В глухом ущелье, лучшем на земле.

## X

Но слишком живописны были выси  
 В пахучем и смолистом кипарисе.  
 И надо было пресыщенья ждать  
 Как выкупа за эту благодать.  
 Однажды под садовою оградой  
 Сидели мы внизу у водопада,  
 Где бушевал его могучий сброс,  
 За чтеньем книги, книги, полной слез.  
 Внезапно на какое-то мгновение  
 Я поднял голову, прервавши чтение.  
 Как неземной задумавшийся дух  
 Она сидела, обратившись в слух.  
 Вдруг свежий ветер, налетевший сзади,  
 В лицо ей бросил сбившиеся пряди.  
 Я с силою к себе ее привлек,  
 Целуя в распушившийся висок.  
 Вдруг повалили разные напасти —  
 Стремительно надвинулось несчастье,  
 Как грива, растрепался водопад,  
 На нас обрушив ледяной ушат.  
 Мы вымокли. Запахло как в подвале.  
 С тех пор мы вместе больше не читали.

## XI

С тех пор она, стесняясь и дичась,  
 Грустнее становилась каждый час.  
 Все чаще забывалась на аллее,  
 Закинув руки с мукою за шею  
 И устремив отсутствующий взор  
 Куда-нибудь на небо иль в простор.  
 Все более, подобно хворой птичке,  
 Утрачивала прежние привычки.

## XII

Тогда я, видя, как она убита,  
 Оправдываться стал в свою защиту  
 И что-то искреннейше плел и плел

Про берег речки и ольховый ствол,  
 Из-за которого зарей в тумане  
 Я наблюдал ее возврат с купанья,  
 Про плеск воды и шелест камыша,  
 И хруст песка, и шорох гольша,  
 Что в заводи белела так кувшинка,  
 Как будто на перилах за кабинкой  
 Сушила горничная простыню,  
 Что я лишь их в случившемся вино  
 И что, хоть я ничуть не соглядатай,  
 Мне грусть ее — достойная расплата.

## XIII

Уж я сказал, краснея от стыда,  
 Она о том не знала никогда  
 И безотчетной краской походила  
 На пышущее изнутри кадило.  
 Как бы стараясь уголек раздуть,  
 Смущенье ей приподнимало грудь.  
 Так и сейчас. Казалось, предрассудок  
 Спалит на ней венки из незабудок —  
 Так стала от стыда она ряба,  
 От подбородка вспыхнувши до лба.  
 Все это было точно голос детский,  
 Раздавшийся среди лжи великосветской,  
 И только не присутствовала мать,  
 Чтобы ребенка горе унимать,  
 Да в кругозоре ночи беспредельной  
 Недоставало песни колыбельной.

## XIV

Быть может, с ангелами в вышине  
 Сейчас ты тужишь о своей вине  
 И говоришь им на своем примере  
 О грешнице, о случае в пещере,  
 Или об ослепляющей мечте,  
 Или о перепуге в темноте,  
 Или о карающем господнем громе,  
 Или о том, как в утренней истоме,  
 Среди ночных бесед в какой-то миг  
 Рассвет нас неожиданно застиг  
 Под зарослями в высохшем протоке,  
 Где спали мы, прижав друг к другу щеки.  
 Об этом ты? Про утреннюю рань?  
 И — ангелам? Не надо, перестань!  
 Не кайся перед ними и не сетуй!  
 Какое искушение слушать это,  
 Когда ты исповедуешься им,  
 Жар сказанного непереносим.  
 Ах, если бы и я не ведал тлена  
 И ангелом носился по вселенной  
 И, лучезарный, став во весь свой рост,  
 Мог головою доставать до звезд,  
 О, как охотно все невероятья  
 Я б отдал за одно твое объятье!

## XV

Гроза прошла. Как бы в самозащите  
Она второю вышла из прикрытья.  
От пастбищ пар клубами к небу шел,  
Как будто гром ударил в суходол.  
Еще по-утреннему было сыро,  
И туча тлела радугою мира.  
Ей было странно: так же, как вчера,  
Дышали розы, высилась гора.  
Она дивилась радуги сиянью,  
Столь необычному такую ранью,  
И неба голубому молоку,  
И месяца бледневшему кружку.  
В ней было все так сдвинуто и ново,  
Что и кругом она ждала иного.  
Вдруг, проходя по каменной гряде,  
Она себя увидела в воде.  
В спокойном зеркале озерной глади  
Белела девушка в простом наряде.  
Была до дна недвижна глубина,  
И девушка отчетливо видна —  
И волосы, и губ ее кораллы,  
И бледный облик, как вода, усталый.

## XVI

Мгновенья есть: настанет тишина,  
Ждут соловьи, чтобы взошла луна,  
Листва замрет без шелеста над крышей,  
Ручьи стараются струиться тише,  
И у звезды такой разумный вид,  
Что, кажется, вот-вот заговорит.  
Мгновенья есть, когда из-за тумана  
Показывается лицо Дианы.  
Тут соловьи и поднимают свист,  
И воздух вдруг становится смолист,  
И начинают петь ручьи по склонам,  
И шелест разбегается по кленам,  
И вот шумит и ясней листва,  
И лишними становятся слова.  
В минуты эти предают забвенью  
Обиды, промахи и прегрешенья.  
В одну из этих редкостных минут,  
Оглядывая горный свой приют,  
Мы обо всем на свете понемногу  
Беседовали тихо у порога.

## XVII

Как жаворонок в высях на заре,  
Звонил порой отшельник на горе.  
Прислушиваясь раз к его грезвону,  
Она мне предложила убежденно:  
«Расскажем старцу. Пусть он разберет.  
Мне больше не по силам этот гнет.

Пусть обречет меня огню и муке  
 Иль на любовь соединит нам руки.  
 Пусть снимет с нас обоих этот грех.  
 Я жить привыкла честно, без помех».

Она пошла переодеться в сени  
 И вышла. Это было превращенье!  
 Она надела платье этих мест,  
 С корсажем и шнуровкою невест.  
 От неожиданности я вначале  
 Не узнавал швейцарки под вуалью.  
 На голове, венчая черный ток,  
 Качался проволочный мотылек.  
 Две чайных розы, только что из вазы,  
 Смотрели из-под падавшего газа.  
 Я вел ее, волнуясь, как на бал,  
 И к мотыльку на шляпке ревновал.  
 Дай, думал я, поглядывая с краю,  
 Крыло я этой бабочке сломаю.  
 Но не было мне радости вдвоем:  
 Предчувствия мрачили наш подъем.  
 Когда я сверху посмотрел в долину,  
 Сосновый домик в заросли жасмина  
 Чернел, как гробик, а вишневый сад,  
 Как кладбище в селе, печалил взгляд.  
 Каким все сверху показалось слабым,  
 Каким ничтожным по своим масштабам.  
 Так вот она, пещера изо льда!  
 Так вот они, хваленые стада!  
 Печально я карабкался по круче  
 И вижу как сейчас: утесы, гучи,  
 Орлов на леднике, кровоподтек  
 Садащегося солнца, лес у ног.  
 И след косых заносов: снег и ельник,  
 Где путников откапывал отшельник,  
 Крыльцо, и крест, и старца самого,  
 И сенбернара, и синиц его.  
 Где это все? Я старше стал и строже,  
 И вместе все теперь на сон похоже.  
 Но помню пальчика ее ледок,  
 Когда я надевал ей перстенок,  
 И дрожь ладони при моем пожатьи,  
 И луч зари на каменном распятьи.

### ХVIII

Луга, долины, рощи и потоки,  
 Не жалуйтесь мне, как вы одиноки!  
 Не говорите мне, что я бедняк.  
 Я оглушен, со мной и так столбняк.  
 Я упаду без чувств и в летаргии  
 Опять черты увижу дорогие,  
 И светлый взор, и нитку черных бус  
 И вытянусь навстречу и проснусь.  
 Опять проснусь, опять недоуменно  
 Спрошу, куда я эту тяжесть дену.  
 Опять слоняться буду и в тоске

Писать родное имя на песке.  
Или в знакомой заросли жасмина  
В неподвижности, задумавшись, застыну,  
Как неудачник, потерявший клад  
И шарящий в пространстве наугад.

## XIX

Под окнами ночами неустанно  
Переговариваются фонтаны.  
В садах неистовствуют соловьи,  
И месяц светит в комнаты мои.  
Когда без жизни, вроде рыбы снулой,  
Я пробуждаюсь от ночного гула,  
И слышу плеск, и подхожу к окну,  
И вижу за деревьями луну —  
Все это в сердце растрavляет раны.  
Я смерти жду и скоро тенью стану,  
Но это не конец, и я живу,  
И плач фонтанов льется в синеву.

## XX

Когда я мыслью погружен в былое,  
По-разному я этот образ строю.  
То наклоняется она ко мне,  
Меня внезапно разбудив во сне,  
То близ меня, задумавшись и хмуро,  
Рассматривает книжную гравюру,  
То в горы пред собой вперяет взгляд,  
То, шествуя со свитою ребят  
С величественным видом королевы,  
Подходит с сельской детворою к хлеву,  
То дремлет под платанами в тени,  
То гости в домике, то мы одни,  
То лунный свет деревьев тени движет,  
То зарево заката Альпы лижет!

## XXI

Как только ночью вызвездит, иду  
К воде, на каменистую гряду.  
Последний мой и незавидный жребий:  
Созвездьем Лебеда пленяться в небе.  
Найду и мысленно держу полет  
За ним в бездонный черный небосвод  
Проходит жизнь, и, видно, ниоткуда  
Я больше облегченья не добуду.  
Где б ни был я, что б ни произошло,  
Мне больно.знать и помнить тяжело.  
Но иногда я о далеком крае  
Со слабою надеждою мечтаю,  
Где б я разбитым сердцем овладел  
И положил его тоске предел,  
Где летней ночью водяные хляби



Окрасит месяц золотою рябью  
И где душа, не дожидаясь дня,  
Тихонько ночью выйдет из меня.

## *Тучи*

Тучи, тучи,  
Всем наскуча,  
Вашу стаю  
Безотрадным  
Взглядом жадным  
Провожая.

Как виденье  
Мглы осенней,  
Вместе с вами  
Мыслью всею  
Горько рею  
Над домами.

Тучи божьи,  
Я ведь тоже  
Брежу ширью  
И бездомен,  
Сир и темен  
В этом мире.

Но нежданно  
Я пристану  
К урагану.  
Над трясиной  
Лягушиной  
Ливнем хлыну.

Я грозою  
К небу взмою  
И истлею.  
«К правосудью, —  
Крикну, — люди  
И пигмеи!

Вы засели  
В подземельи,  
А привольней  
Видеть, стоя,  
Под собою  
Колокольни».

## *Мое завещанье*

С вами жил я, и плакал, и мучился с вами.  
Равнодушным не помню себя ни к кому.  
А теперь перед смертью, как в темном предхрамьи,  
Головы опечаленной не подниму.

Никакого наследства я не оставляю  
Ни для лиры умолкнувшей, ни для семьи.  
Бледной молнией имя мое озаряя,  
Догорят средь потомства творенья мои.

Вы же, знавшие близко меня, расскажите,  
Как любил я корабль натерпевшийся наш  
И до этой минуты стоял на бушприте,  
Но тону, потому что погиб экипаж.

И когда-нибудь, в думах о старых утратах,  
Согласитесь, что плащ был на мне без пятна,  
Не из милости выпрошенный у богатых,  
А завещанный дедом на все времена.

Пусть друзья мое сердце на ветках алоэ  
Сообща как-нибудь зимней ночью сожгут  
И родной моей матери урну с золою,  
Давшей сердце мне это, назад отнесут.

А потом за столом пусть наполняют бокалы  
И запьют свое горе и нашу беду.  
Я приду к ним и тенью привижусь средь зала,  
Если узником только не буду в аду.

В заключение, живите, служите народу,  
Не теряйте надежды, чтоб ночь побороть.  
А придется, камнями падайте в воду  
В светлой вере: те камни кидает господь.

Я прощаюсь со счиганною молодежью,  
С горстью близких, которым я чем-либо мил.  
За суровую долгую выслугу божью  
Неоплаканный гроб я с трудом заслужил.

У какого другого хватило б порыва  
Одиноко, без всякой подмоги чужой,  
Неуклонно, как кормчие и водоливы,  
Править доверху душами полной баржой.

И как раз глубина моего сумасбродства,  
От которой таких навидался я бед,  
Скоро даст вам почувствовать ваше сиротство  
И забросит в грядущее издали свет.



---

В. КАРДИН



## ОТКРЫТЫЙ ФЛАНГ

*Документальные записки*

ИЗ ОСОБОЙ В ОБЫКНОВЕННУЮ

**В** армии так: приказ — что гром среди ясного неба. И прощай друзья-товарищи, тебе — дорога, новые края, новые люди вокруг. С ними жить, нести службу, может, встречать смерть.

От деревни, где размещался наш подрывной отряд, поредевшим перелеском я шел до городка, стараясь угадать причину неожиданного вызова к комиссару бригады.

В отрядах Отдельной мотострелковой бригады особого назначения служили чекисты-разведчики, командиры республиканской Испании, коммунисты из европейских стран, захваченных Гитлером, цвет предвоенного советского спорта во главе с братьями Знаменскими, молодые рабочие и московские студенты.

В июле 1941 года вместе с группой студентов Института истории, философии и литературы ЦК ВЛКСМ направил меня в эту бригаду. К осени сорок второго, когда мы поднаотрели в кое-какой нужной на войне премудрости, успели применить ее на практике, я оказался в Отдельном подрывном отряде.

Военкома бригады старшего батальонного комиссара Майсурадзе — он у нас не с самого начала, заменил убитого предшественника — последний раз я видел в августе сорок второго. Мы жили тогда в новеньких — перед самой войной из-под топора — дачах. Отряды небольшие, у каждого своя задача. В нашем — человек пятнадцать, из них два испанца. На соседней даче и того малочисленнее — отряд Орловского.

Оба отряда выстроены в две шеренги. Перед строем — Майсурадзе. Фуражка с зеленым верхом (погранвойска), значок депутата Верховного Совета. Военком читает приказ Сталина № 227: «...Пора кончить отступление. Ни шагу назад!»

Майсурадзе сложил приказ, сунул в планшетку, платком вытер изнутри фуражку, лысеющий лоб, дал «вольное».

Мы застыли онемевшие. Он тоже молчит, бледный, тяжело дышит.

— Можете спрашивать! — Комиссар резко нарушает тишину. — Спрашивайте.

О чем? Однако кто-то не выдерживает:

— Сталинград захватят, Москву... Тогда что?

Майсурадзе не отводит прищуренных глаз:

— Будем выполнять свою задачу.

— Под Москвой партизанишь?

— Да, под Москвой...

...Я вхожу в штаб бригады — наискосок от Курского вокзала, в сторону Таганки — в то время, когда опускают маскировочные шторы, опечатывают сейфы, сдают дежурства. Мне встречаются малознакомые командиры, здороваются, говорят с завистью:

— Повезло тебе...

Майсурадзе кивнул:

— Садитесь.

Смотрит на меня, рассматривает. Подробно объясняет.

Война длится полтора года. А что такое полтора года, раз немцы в Сталинграде

и неподалеку от Москвы? Лучшие командиры, политработники погибли, ранены. (Эту мысль: в войне погибают лучшие — я не однажды услышу еще от него.)

Глубоко в тылу, в Сибири, на Урале, комплектуется армия из старослужащих солдат пограничных войск и некоторых внутренних частей. Майсурадзе назначен комиссаром дивизии. Он отобрал было в нашей бригаде группу толковых командиров, политработников, контрразведчиков. Но начальство отказало: ни одного человека из командного состава.

Майсурадзе толкнул ко мне лист, наотмашь перечеркнутый карандашом.

— А вы не комсостав.

Карандаш обрывался перед самой последней, перед моей фамилией.

— Поскольку остальные товарищи остаются в бригаде, не настаиваю на вашем откомандировании.

Но на меня, видно, произвел сильное впечатление список «толковых», хоть я лежал в самом конце его.

Я сказал о своей готовности ехать в дивизию, и Майсурадзе не без ехидства покосился на меня.

— Здесь особая бригада, там — обыкновенная дивизия. Еще можно отказаться.

— В особой я уже послужил, пора и в обыкновенную.

Он рассмеялся, откинувшись в кресле:

— Я то же самое сказал наркому. .

Я сохранил добрую память об особой бригаде подрывников и разведчиков, о царившем в ней духе дружбы и интернационализма, о ее командирах, о товарищах по батальону Прудникова, по отрядам Золина, Ботина, но никогда не жалел о переводе в обыкновенную дивизию...

В Новосибирске под штадив отвели Дом колхозника. Дивизия находилась в стадии лихорадочного формирования — одни сбивались с ног, другие томилась бездельем, ожидая назначения. Я относился ко вторым.

Сунулся со своим предписанием в штаб, там глянули и направили в политотдел. В политотделе сказали, что никаких замполитруков больше не существует.

Институт комиссаров и политруков недавно был отменен, как и звания политсо-става. Вводилось единоначалие и единые офицерские звания.

Первоначально назначенный комиссаром дивизии, Майсурадзе прибыл к месту новой службы заместителем комдива по политической части. (Вскоре эту должность объединили с должностью начальника политотдела.)

У него хватало забот, и лишь через несколько дней он вызвал меня, не глядя кивнул на стул, протянул газету:

— Читайте.

Я углубился в газетный лист с жирной типографской краской, темными загадочными пятнами клише. Кончив, осторожно положил газету на стол.

Майсурадзе машинально спросил:

— Все? Понравилось?

— Газета как газета.

— Пойдете работать в газету. Понятно?

— Понятно. Не пойду. У меня есть специальность. Я подрывник.

На мгновение Майсурадзе оживился, гневно и недоуменно поднял на меня глаза:

— Кто ты есть?.. Встать!.. Выполняйте приказ!

Много лет спустя, когда мы с Майсурадзе были уже не начальник и подчиненный, а старые знакомые, он продолжал изумляться: «Слушай, как ты мне тогда отвечал: не хочу, не пойду! В Грузии даже на гражданке так не отвечают старшему. Ты был московский хулиган. Почему у тебя не отдал под трибунал?»

Тогда и убеждать меня он не считал нужным:

— Нет времени... По коридору напротив сидит батальонный комиссар Комаров, секретарь парткомиссии. Скажи, чтоб с тобой побеседовал о воинской и партийной дисциплине. Не поймешь, пусть заведет персональное дело. Я так велел. Очень хорошо, ай-яй-яй, исключим из партии молодого коммуниста...

Анатолий Иванович Комаров не спешил заводить персональное дело. Он хотел меня перевоспитать. Он говорил вдохновенно, убежденно, но по-домашнему, без пафо-

са. Маленький, подвижный, быстро перекатывался по комнате, останавливался передо мной, грозил коротким пальцем. Сердился, если я вставал:

— Да сиди ты. Думаешь, дисциплина — когда вскакивают?..

Он красочно описывал, что будет, ежели в условиях войны каждый станет поступать по собственному хотению...

Мне показали политрука Дажина, редактора дивизионной многотиражки. Я подошел к нему на лестничной площадке и доложил, что прибыл в его распоряжение.

Возможно, я доложил недостаточно четко или редактор знал о моем нежелании идти в армейскую прессу. Но не успел я закрыть рот, как он закричал. Кричал долго, прочувствованно. Я смотрел на него, высокого, тощего, в короткой серой шинели и буденовке («кадровый»), и думал, что мне предстоит приятная служба под его началом, что за полтора года в бригаде меня столько не воспитывали, сколько за один день в дивизии.

— Вопросы, просьбы имеются? — закончил Дажин вполне официально.

— Одолжите, пожалуйста, десятку... В кино бы...

Дажин опешил, сменил гнев на удивление. Достал из кармана скомканные бумажки, не разворачивая их, ни слова не говоря, сунул мне и припустился вниз по лестнице, перемахивая через ступеньки. Снизу, будто вспомнив, прокричал:

— Работать надо, а не кино глядеть!

Но уже без ярости, скорее для порядка.

Так началось наше знакомство, которому суждено было стать дружбой, тянущейся три десятилетия.

### ОДНА ИЗ СТО СОРОКОВЫХ

Лет десять назад мы с товарищем задумали проехать по знакомым с войны местам. Ось наступления танковой армии, в которой он служил, пролегла неподалеку от пути нашей дивизии. На ходкой машине, да по асфальту сто верст не крюк. Будем заезжать, куда каждый пожелает...

Я стою в прибрежной траве. С влажными всплесками плюхается рыба, круги, тая, подкатываются к кустам. Под кустами с плетеными корзинами возятся голые пацаны. Заводят корзину под коряги, пенят ногами темную воду, норовя выманить сома или щуку в ловушку. Чуть выше к реке спускается широкая дорога с рыхлой путаницей подковных следов и россышью конского навоза — брод.

...Тогда у брода форсировал реку дивизион майора Чмута. Я к нему пришел еще засветло. НП был оборудован в полуразрушенной хибаре где-то тут поблизости.

Спросить у ребятишек? Да они про ту хибару и слыхом не слыхали.

Я вышагиваю по тому же самому берегу. Но вижу: это не тот берег. Форсирование, пушки, торопливо погруженные на сорванные с петель ворота, связист, разматывающий в лодке катушку и беззвучно рухнувший в воду, — совсем, совсем другое, из другой жизни, неправдоподобной для безмятежного августовского дня, для речушки, потревоженной всплесками окуней.

Человечество давным-давно оповещено о невозможности дважды вступить в одну и ту же реку. Мне предстояло сделать скромное открытие для самого себя: нельзя дважды форсировать одну и ту же реку, первый раз на самом деле, второй — в воображении.

Подумалось: путешествие по дорогам войны, залитым новым гудроном, по рекам войны, доставшимся теперь рыболовам, байдарочным туристам и дачникам, — тоже, конечно, приобщение. Но живая память — в людях. В сегодняшних и вчерашних. Живых и павших...

Молоденькая официантка уставилась на меня:

— Госпитали?.. Сейчас разузнаю.

Я слышал, как она крикнула в окно раздаточной, что посетитель спрашивает про госпитали. Потом обрывки разговора.

Вскоре девушка вернулась. Весь персонал столовой, кроме одной женщины, родился после войны. У женщины сегодня отгул...

Слабеет память у тех, кто был на войне. Естественно неведение тех, кто пришел после. Это закономерности, безразличные к эмоциям. Что остается? Помнить?

Где бы мне ни повстречалась братская могила, обелиск, я читаю всю колонку фамилий — от первой до последней. Почти все, с кем я рос, учился в школе и в институте, многие из тех, с кем служил в армии, — павшие в боях. Я встречаю милые с детства, не такие уж редкие фамилии моих дружков: Соловьев, Алавердов, Григорьев... Но откуда быть могиле у Жоры Григорьева — его корабль потоплен в Балтике, в море. А у меня на фотографии он и сегодня улыбается — трубка в зубах, бескозырка на правую бровь, тельняшка, полуметровый клеш — морской волк девятнадцати лет от роду.

Они ушли из жизни, нашей сообща начавшейся жизни, обнажив один из ее флангов.

Я назвал это памятью о невернувшихся, мой сверстник и однокашник поэт Д. Самойлов — зависимостью: «Я от них завишу». С годами не ослабевает зависимость. Память бьет в открытый фланг, рождая то боль, то тоску, то сложное чувство, в котором и горечь, и печальное сознание невозвратимости нашей юности — трагичной и по-своему величественной...

И это все в меня запало  
И лишь потом во мне очнулось.

Очнулось, заставляя припомнить то, что, казалось, безвозвратно кануло.

Нет, это не воспоминания в прямом и строгом смысле: процент сегодняшнего, доля соучастия других превышают мемуарную норму.

Я не берусь за боевую историю 140-й Сибирской стрелковой дивизии, начатую у Ельца и завершённую у пражских стен. Я вспоминаю людей, которых знал на войне, наблюдал вблизи, их судьбы фронтовые, а иногда и повоенные. Буду пользоваться подлинными именами. Редкие отступления не выведут за границы документальных записок. Читатель легко догадается о причинах вынужденной уклончивости и, полагаю, извинит ее.

Объяснить надо другое. Почему все же «дивизия»?

Я служил в скромных чинах. Был политработником — сотрудником дивизионной газеты, одно время инструктором политотдела, последний год войны, оставаясь в штате многотиражки, — партгором управления дивизии.

Я из числа немногих, кто начал в дивизии с ее первых шагов и кончил с последними.

Произнося слово «дивизия», я очерчиваю примерный круг записок. Не более того.

Отстав на марше, угодив в госпиталь, каждый за редчайшим исключением горючил к себе — в свою дивизию, свой полк, в свою роту. Другое свое отрубил война.

После войны 140-я Сибирская, Новгород-Северская, ордена Ленина, дважды Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова II степени дивизия была расформирована.

Но для тех, для кого «война никогда не кончается», не кончается и дивизия.

У каждого она своя. Помимо официально и документально зафиксированной 140-й сд, было еще столько сго сороковых дивизий, сколько людей прослужило в ней, прошло через ее полки, батальоны, батареи. То, что я пишу, это моя 140-я.

В намерении дополнить, в чем-то оспорить меня, может быть, возьмутся за перо и другие. Тогда из общих воспоминаний, из общих поисков, возможно, и родится «История 140-й Сибирской...».

Ни у кого нет монополии на память о дивизии. Но у каждого есть право вспоминать.

Стоило приняться за свои записки, сомнения полезли со всех сторон. Но многое подталкивало, помогало победить их. Например, праздничная, с орденом Победы почтовая открытка. На ней — старательно круглым почерком отличницы:

«Дорогой друг-однополчанин!

Сердечно поздравляем Тебя и Твою семью с наступающим днем Победы! Желаем большого счастья и здоровья. Приглашаем Тебя на традиционную встречу ветеранов прославленной 140-й сд».

Все уместилось в двух десятках аккуратных строчек: и пожелания, и место встречи, и сколько рублей прислать на «дружеский обед», и адрес, и телефоны, и даже «крепко обнимаем». Лишь приписка — размашистой взрослой рукой: «И целуем. Лидия и Александр».

Так вот о них, подписавших.

Командир дивизии генерал Киселев не слишком поощрял «личную жизнь» и на рапорте одного офицера, просившего узаконить приказом его брак, начертал: «Штаб дивизии — не заг, я — не поп».

Когда «личная жизнь» очень уж расцвела, принимались меры по охлаждению: накачки, а также «задушевные беседы» о моральном облике, товарищеском отношении к женщине. Не помню, помогали они или нет.

Но женитьбу военврача Лидии Ждановой и начальника штаба батальона связи Александра Гаркавенко генерал Киселев благословил. Явился на свадьбу и, желая молодым счастья, сказал вроде бы так (я при этом не был, передаю из вторых рук):

— Кончится война. Убитые останутся в земле, а живые разбредутся по ней. Хорошо бы иметь дом, где и через десять лет смогут встретиться однополчане...

Командир дивизии попросил супругов Гаркавенко взять эту заботу на себя. Сам он, может быть, не надеялся дожить до мирных дней.

Сухощавый капитан и маленькая кругленькая врачиха обещали выполнить наказ. Но кто отнесся к этому серьезно, кто мог тогда загадывать на десять лет вперед. Да и чего не посулишь в час свадьбы!

Однако Саша и Лида сдержали свое слово. И через десять и через двадцать лет.

Догадывался ли кто-нибудь из нас, что как раз они через годы нащупают потерянные нити, срastят их. Эти нити, сплетаясь, образуют заповедный мир — непредвиденное продолжение того давнего, пылающего, грохочущего.

В нем, давнем мире, где неумолимо являла себя истинная ценность слова и поступка, ты, застигнутый сегодня бедой или обидой, порой безотчетно ищешь прибежища. Вспоминаешь тех, с кем связан войной, и счастлив, когда связь уцелела, возобновляется без усилий («...Мы тогда лежали в Мшанах на холодной печке в похилившейся хатенке», — напомнил мне Саша Болонин через четверть века).

9 мая у памятника Марксу многолюдно. Я не всех узнавал, и не все меня узнавали. С кем-то поздоровался, с кем-то обнимался, кому-то неуверенно пожимал руку.

В суматошном потоке, который обрушивается на каждого, что ни встреча — печальные вести («Журавлева помнишь?» — «Ну да, полковник в песне». — «Помер»).

И неотвратимые эти напоминания укрепляют властную зависимость. Закон тающего ряда (как давно, как неумолимо он тает!): оставшимся достается то, что несли ушедшие. Покуда ты в ряду, слушай, вспоминай, всматривайся в лица...

Мы сели на скамейку с Катей Камышловой, врачом из Канска. В сорок третьем она, свежееиспеченный командир госпитального взвода, входила по утрам в нашу палатку решительная и суровая, с головой, напоминавшей одуванчик, — только еще отрастали волосы после весеннего сыпняка.

4 августа 1944 года Камышлова была ранена в ногу, в коленную чашечку. Плохое ранение. Госпитали, операции, больницы...

Долгие годы я ничего не знал о Кате. Сейчас — постоянные письма, ежегодные встречи.

Катя написала мне, как ее ночью вызвали к заболевшему ребенку и она ехала в буран, в мороз. Я посочувствовал: легко ли! Она ответила: вы ничего не поняли, это — счастье...

К нам на скамейку подсаживались, заговаривали. Многие искали Камышлову. Она сидела, склонив седую голову, застегнув до ворота плащ.

140-я в нарядных платьях, туфлях, в отутуженных пиджаках, с воскресными галстуками собирается на площади Свердлова. Шесть вечера. Очередной послевоенный год.

## ОБРЕТЕНИЕ

Комплектоваться дивизия начала в недостроенных цехах Новосибирского авиазавода, а кончила в землянках и деревнях.

По снежной целине, проваливаясь по пояс, пехота атакует обозначенного противника. Отрабатывается тема: стрелковый взвод в наступлении. Потом рота. Отработали батальон. И — «по вагонам!».

С курьерской скоростью мчались эшелоны. На станциях под парами ожидали сменные паровозы. Утром останавливается состав, со скрипом откатываются по железному желобу двери теплушки, солдаты спрыскивают, на ходу расстегивают штаны, а над паровозом уже белое облачко гудка.

Под Москвой скорость иссякла. В морозном тумане прорисовался шпиль Казанского вокзала. Поворот, еще...

От Ельца пеший марш на запад. Продовольствия и фуража — две сутолачи Механической тяги нет, автотранспорта нет... Пальцев не хватит перечислить, чего нет. А что есть? Приказ идти, метельное бездорожье.

Минометы, пулеметы волокли на себе. Пушки — в бурлацкой упряжке, тридцать, а то и сорок километров в сутки.

Днем пригревало солнце, набухал снег, мокли валенки. К вечеру замерзали, звенели, как железные.

Двадцать суток длился марш — около четырех сотен километров. Едва приняв боевой участок, не успев подтянуться полностью, без тылов, снарядов — даже сносный огневой налет нечем дать, — мартовским вечером дивизия с ходу бросилась в наступление.

Солдаты бежали по рыхлому снегу. Вскидывали винтовки, стреляли, помня наказ экономить патроны. Перебегали, стараясь не высыпать из котелков вырытую перед боем картошку. Падали убитые, и из вещевых мешков высыпались картофелины.

Из-за ледяных укрытий, бревенчатых огневых точек немцы били пулеметными очередями. Когда наши цепи все же приблизились, вышли фашистские танки.

Откатывались поредевшие роты.

Был ранен и отправлен в госпиталь командир дивизии генерал М. Еншин, убит его заместитель, убит начальник разведки.

Две недели бесплодных атак, две сотни метров отбитой у врага и возвращенной ему земли. Из окрестных хуторов и деревень застряли в памяти два названия: Ржавчик и Муравчик.

В мае 1943 года дивизию принял генерал-майор А. Я. Киселев. В записках Л. и А. Гаркавенко: «Командование дивизии: командир генерал-майор Киселев Александр Яковлевич, начальник политического отдела полковник Майсурадзе Арчил Семенович, начальник штаба полковник Самуэльсон Сергей Григорьевич готовили командиров, штабы и политический аппарат к предстоящим боям».

Занимались все и помногу. С реальным ощущением будущего боя. Учились прорывать сильно укрепленные позиции, крушить новинки гитлеровской военной техники — «тигров», «пантер», «фердинандов». В газете печаталась схема «Уязвимые места немецкого танка».

И не переставая рыли. Сколько переброшено лопатой курской землицы! Наверно, метрополитен можно было отгрохать.

В последних числах июня я угодил в комиссию, направленную в 96-й полк на предмет проверки котелков и портянок. Угодил единственно по причине недокомплекта. Когда в какой-нибудь комиссии кого-нибудь не хватало, вспоминали про нашу редакцию.

Я видел: в комиссии собрались доки, мне остается быть пятой спицей в колесе. И отправился за материалом для газеты.

Вечера проводил с Ваней Сытником, комсоргом полка, Ваней Маломановым, комсоргом батальона. Мой друг Коля Абраменко стал адъютантом полковника Григорьева, командира полка, и зазывал в гости. Мы читали «Красную звезду», размышляли, как оно будет после войны, спорили, кто к кому должен ехать в гости... Через год его, уже командира батальона, сразило прямым попаданием.

В самом начале июля комиссия завершила деятельность. Среди прочих подписей я поставил свой крючок и хотел возвращаться в редакцию. Но последовал приказ Майсурадзе: оставаться в полку представителем политотдела.

Григорьев объяснил: дивизия приведена в боевую готовность, с минуты на минуту начнется...

Из всего сонма представителей я был самым «неглавным», самым «своим», особенно в 96-м полку. С советами не лез, ценных указаний, «пру», как говорят в армии, не



давал. Занимался своим газетным делом, смотрел по сторонам, наблюдал из любопытства и по долгу представителя. Но положил себе за правило: прежде чем уйти из полка, из батальона, доложить замполиту все, что доложу Майсурадзе. Никаких сюрпризов за спиной. Да и как знать, не сгодится ли замполиту что-нибудь из замеченного мною. Все-таки лишний глаз.

Поэтому, вероятно, на меня не обижались, не косились, я не чувствовал себя ни ревизором, ни ворягом, поэтому сохранялись добрые отношения с замполитами Прохором Ивановичем Черновым, Александром Ильичом Шматовым, Иваном Михайловичем Филатовым, Иваном Пименовичем Татаринцевым, Сергеем Николаевичем Косяковым, Иваном Филипповичем Яцурой. Вспоминаю их с уважением. Думаю, и они не таят против меня дурного.

Утро 5 июля так же безоблачно, как предыдущие дни. Безоблачно над боевыми порядками нашей дивизии. А правее — мы отлично видим — подымались и оседали грузные облака. Самолеты — и это нам видно — снижались каруселью и взмывали, будто подброшенные взрывной волной собственных бомб.

Не отводя глаз глядели мы на северо-восток и ждали команды. Приказ последовал назавтра, 6 июля. Дивизия — машинами и в пешем строю — перебрасывалась на стык 70-й и 13-й армий.

Наши полки занимали рубеж, к которому отходили, сдерживая натиск, 6-я гвардейская и 175-я стрелковая дивизии. 96-й закрепился в тылу 175-й дивизии, зная: завтра тыл этот стане огненной чертой переднего края.

Я попросился с полковником Григорьевым. Он сказал:

— Ты вольный казак. Сам выбирай пулю для своей головы.

Возле «тридцатьчетверки» со свежими рваными вмятинами на броне Григорьев окликнул командира. Из башни вылез лейтенант, соскочил на землю. Полковник отозвал его в сторону, усадил рядом на траву. Григорьева интересовало, какие танки немцы пустили, сколько, как взаимодействуют с пехотой, какой наш снаряд берет «тигра».

Командир экипажа отвечал толково, когда не знал, не придумывал.

— А сами подбили? — прощаясь, спросил Александр Сергеевич.

— Так точно, товарищ полковник!

— Спасибо за помощь и службу.

Утром слегка познабливало — от рассветной ли свежести от бессонной ночи или от того, что открывалось перед глазами.

По южному склону лавиной спускались танки.

Мы на артиллерийском НП — изгиб окопа, стереотруба, рация, телефонист, рядом замершая пехота. Пробовали считать танки. Получалось по-разному. Да и как считать? Из-за гребня выползают новые машины, а в первых рядах черными чадающими свечами догорают подбитые. Те, что ползут, отбрасывают направо густые разлапистые тени.

Офицеры-артиллеристы кричат в трубку, когда обрывается связь, — на телефониста.

В невозмутимом, настырном упорстве, с каким невредимые немецкие танки огибают уже подбитые, проступает что-то угрожающее, леденящее спину.

Но это еще начало, еще утро, еще солнце видно.

Появится авиация — и солнце утонет в дымной пелене, загорится земля. Сперва займется трава возле окутанных огнем танков — так и останутся черные плешины вокруг почерневшего металла, — сады у пылающих деревьев, запекутся яблоки на обуглившихся яблонях. Потом все вокруг станет ревушим пламенем, воздухом, раскаленным от раскаленного металла — осколков, пуль, орудийных и пулеметных стволов.

В духоте этой, пыльной горечи, неумолчных раскатах и столах минует день, лишенный протяженности. Ночь приглушит дневные звуки. Заурчат машины со снарядами, тягачи зацепят пушки, повезут на новые позиции, командиры будут выкликать, повторяя фамилии, ожидая ответа — ранен, убит, может, заснул в окопе. Заржут лошади, запряженные в батальонные кухни.

Похоронные команды стаскивают тела в воронки — своих и немцев. На обгорев-

шей, недавно еще устрашающей лобовой броней «тигра» надпись мелом: «Учтено трофейной командой».

Можно описывать словами. Можно цифрами.

За каких-нибудь двадцать минут 7 июля противник обрушил три мощнейших артиллерийских налета на Самодуровку и восточную окраину деревни Теплое. В это же время сюда сбросили бомбы полсотни самолетов. Шло в атаку около ста танков.

В первые два дня, то есть 7 и 8 июля, на нашу дивизию наступали две немецкие танковые дивизии (6-я и 20-я) и одна пехотная — 7-я.

8 июля «жесточенность боев нарастала с каждым часом. Особенно сильным был натиск врага в стыке 13-й и 70-й армий в районе населенного пункта Самодуровка»<sup>1</sup>. Там, на рубеже Тепловских высот, и сражалась наша дивизия.

Первейшая задача — лишить немцев бронированного таранного прикрытия, всеми средствами уничтожать танки. Это легло прежде всего на артиллерию. Тогда-то и прославился Иван Митрофанович Чмут, прославилась батарея старшего лейтенанта Ивана Михайловича Кузюкова, расчет сержанта Василия Андреевича Пода.

И. Эренбург писал: «Немцы недаром с ужасом говорят о наших артиллеристах. Я завидую товарищам Поду и Чмуту. Вот кто бьет фашистов оптом. Желаю боевого успеха»<sup>2</sup>.

После войны дотошные школьники подсчитают: на квадратный метр тепловского чернозема приходится до 140 осколков.

Не только артиллеристы уничтожали закованную в броню технику. Пехотинец Сало одним из первых подбил «тигра» противотанковой гранатой. Тяжелую эту гранату далеко не закинешь — надо либо танк подпустить к себе, либо самому подползти к нему. Между солдатом и «тигром» оставалось пятнадцать метров.

Из противотанкового ружья — не ахти какое мощное оружие это самое ПТР — рядовой Горюнович перебил гусеницы у двух машин.

Старший лейтенант Неронов первым в нашей дивизии из ПТР сбил пикирующий бомбардировщик. (Вовек не забуду Колю Неронова, почти мальчика. Попав в медсанбат, он с ложки кормил тех, кто не мог шевельнуть рукой, умывал, выхаживал, как сиделка. Позже Коля погиб...)

Многое ли попало в донесения, реляции, на страницы дивизионки? Лишь часть событий и имен, даже, вероятно, небольшая. Большая погибла вместе с теми, кто совершал подвиги и был их свидетелем.

...С той поры, как я узнал эту цифру, она всплывает в мозгу в самые неожиданные минуты. На эскалаторной лестнице метро, в зале кинотеатра, в воскресной толпе, на праздничной встрече в День Победы. Я пытаюсь представить ее себе не голым числом, а живыми людьми.

513 человек было убито в дивизии за один только день 10 июля 1943 года.

Среди тех, о ком узнала, кого запомнила дивизия, — сержант Петр Алексеевич Ерипалов, парторг третьей роты 96-го полка.

Ерипалов участвовал в рукопашной схватке, когда уже не поймешь где кто. Был ранен, остался в одиночестве. Окруженный немцами, бросил себе под ноги противотанковую гранату.

Взрыв взметнул комья сухой земли, пыль медленно развеивалась, оседая на пшеницу, истоптанную гусеницами и сапогами...

Через два месяца в боях за Новгород-Северский сержант Афанасий Симаков прикрывал своим пулеметом перегруппировку роты. Снаряд ранил Симакова в ноги, разбил пулемет. Когда немцы навалились, сержант взорвал под собой противотанковую гранату.

Известное и неизвестное складывается в один непреложный факт. Кровью своей и своей стойкостью 140-я дивизия обесслила противника. Вместе с соседями вынудила его отказаться от наступления. А потом сломила оборону и рванула вперед.

<sup>1</sup> «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история». М. 1965, стр. 240.

<sup>2</sup> Дажин переписывался с Эренбургом, рассказывал ему о боях и героях дивизии. Два из ответных писем были напечатаны в нашей многотиражке. Генерал Киселев приказал зачитать их перед строем.

К середине августа из медсанбата выписались Леша Подосинников, Валя Оселков, Коля Неронов. После нескольких операций у меня наконец извлекли осколок и рука хоть гноилась, но подживала Правда, как-то уродливо, с какими-то «пышными грануляциями». Зато рана на ноге заросла благополучно. Я поглядел на скошенный парусиновый потолок палатки, достал из-под носилок вещмешок, из-под изголовья свой ТТ и дареный грофейный пистолет — вороненый красавец. (Лейтенанта Николая Эпова отправляли в тыл с тяжелым ранением, он оставил мне свой пистолет — существовал у нас такой обычай.) Закинув на плечо вещевой мешок, никому ничего не сказав, опираясь на палку, я поковылял в сторону КП дивизии.

После орловской победы дивизия получила пополнение — молодые ребята, вчера из школы. Под Севском они гурьбой бежали в атаку. Раненые звали маму...

Немцы зубами вцепились в высокий берег Десны. И все-таки река форсирована, Новгород-Северский освобожден. С того дня дивизия именовалась Новгород-Северской. До 1 ноября она преодолела водные преграды: Снов, Трубеж, Сож. Впереди был Днепр.

Из походных невзгод, марговских неудач, кровавого поединка под Орлом дивизия вышла с победой, большей, чем только фронтовой успех. Она обрела свою истинную сущность — дух и искусство наступления.

### ФАКТЫ И СКАЗАНИЯ О ГЕНЕРАЛЕ КИСЕЛЕВЕ

С опасением принимаюсь за эту главу. Хочется убедить, что человек, чье имя вынесено в ее название, достоин чувств, которые у нас вызывал.

Мы можем расходиться во мнении о том или другом офицере, до одури спорить о подробностях боя, о месте фронтового происшествия. В одном мы все согласны — в памяти о генерале Киселеве, Герое Советского Союза.

Сейчас, после долгих лет армейской службы, после военной академии, я могу лишь подтвердить тогдашнее впечатление, могу сослаться на слова, какие услышал от ныне покойного генерала Владимира Максимовича Шарапова — он наблюдал за нашим комдивом из штаба армии.

Когда мы заговорили о Киселеве, Владимир Максимович принес пачку бумаг, порылся в них, достал один лист, отчеркнул ногтем абзац. Лист был старый, бумага утратила белизну, углы разлохматились. Я прочитал поблекшую машинопись:

«В этой смертельной схватке бились бойцы 140-й сд, ее командир генерал Киселев, человек скромный, спокойный, часто улыбающийся приятной располагающей улыбкой. Беспощаден к проявлению в любом виде трусости. Сам храбр».

— Когда писалось? Давненько. Семнадцатого либо восемнадцатого июля сорок третьего года...

В мае 1943 года к нам пришел внешне ничем не примечательный человек с генеральскими лампасами. Поначалу у него хоть были рыжеватые усы, но вскоре их сбрил. Росту он чуть выше среднего, сероглаз, русоволос, белесые сросшиеся брови. При первой встрече выглядел молодежлив. Тем, кто узнал его в конце сорок четвертого, Киселев уже не казался таким: погрузнел, ввалились глаза, залысины потянулись к макушке. Но по-прежнему охотно смеялся и круто судил.

По рождению его фамилия Распопов. Киселевым он сделался не от хорошей в буквальном смысле слова жизни. Отец, крестьянин села Подеринка, умер, оставив кучу детей мал мала меньше. Мать раздала их добрым людям на воспитание, оставив при себе старшего сына и старшую дочь. Сашу усыновил местный грамотей — писарь Киселев, дал свою фамилию и отчество. Про родителей Саша узнал лет пятнадцати, тогда же увидел впервые настоящую мать. Но приемную — Дарью Гордеевну — почитал как кровную. В знак благодарности сохранил отчество, фамилию второго отца. Так и пошло: старший брат — Василий Макарович Распопов, младший — Александр Яковлевич Киселев.

Старший вовлек младшего в армейскую жизнь. Он учился в школе краскомов (красных командиров), школа усыновила маленького Киселева, взяла его вначале воспитанником, когда подрос — курсантом.

В 1927 году двадцати лет от роду Александр Киселев окончил омскую пехотную школу командиров РККА имени М. В. Фрунзе.

В Омске начиналась и военная карьера Киселева, и семейная его жизнь. В клубе он вел кружок по изучению пулемета системы «максим» и познакомился с рабочей девчонкой Шурой. Они счастливо гуляли по улицам.

Гулять, правда, доводилось мало, шиковать — того меньше. Получал курсант три целковых в месяц.

Их совместная жизнь — странствия и тревоги. В 1929 году молодой взводный воевал на КВЖД. Александра Никаноровна ожидала второго ребенка, ждала писем. Почта доставляла и похоронные.

В переездах простужались, болели сыновья. Юра выжил, Вова умер. Потом родился Саша.

Служба забирала все время и все силы. Киселев готовился в академию. Первый раз не приняли — молод. Сдавал вторично, сдал блестяще. Хотя общеобразовательная подготовка — три класса церковноприходской школы.

Его сын Юрий Александрович показывал мне тетрадь отца. Неизменная «стрелковая рота в наступлении». Ни одно поколение офицеров не миновало ее. Бросилась в глаза тщательность схемы, интеллигентность почерка, абсолютная грамотность.

Киселев обладал врожденной природной культурой. И упорным, поработавшим трудолюбием.

После академии служба вдоль напряженно натянутой линии — границы, финская война, Карельский фронт.

О границе узнают и пишут, когда вспыхивают инциденты, попадают нарушители. Всего этого доставало в предвоенное время в местах, где служил подполковник Киселев. Но помимо событий, становящихся всеобщим достоянием, на границе течет жизнь, отличная от всякой другой.

Границу нарушают не только злонамеренные диверсанты и лазутчики. Собака может перебежать, курица забредет. Во имя добрососедских отношений живность должна быть возвращена. Представители сторон идут в условленную точку «на свидание». Ничего особенного. Одна деталь: пока идет наш командир, его держит на мушке снайпер-пограничник сопредельной державы, а наш снайпер держит офицера, идущего с той стороны. Если что-нибудь не так либо снайперу почудится, что не так, он нажимает спусковой крючок.

По долгу службы Киселев ходил «на свидания». Александра Никаноровна сидела дома, считала минуты. Он-то ей ничего не говорил, она ни о чем не спрашивала...

Немало уже лет было прожито вместе, а Александра Никаноровна все открывала в муже новые свойства. Теперь не приходилось считать копейки, к подъезду подкапывала машина. Но:

— Машина не тебе, Шурочка.

К вещам — безразличие, пренебрежение. Из поездок в Ленинград, Москву привозил только книги. Наведывался кто-нибудь из родни, распахивал шкаф:

— Берите, сделайте милости!

Радовался — может одарить.

Позже, на фронте, ненавидел барахольщиков. Платя партийные взносы, недобро глянул вслед уходившему подполковнику:

— Ему дай волю — все добро в свой блиндаж затащит.

Когда из разбомбленного склада ординарец принес сапоги, выгнал его вместе с добром. В голодный час радист Саша Казанцев раздобыл для «бати» курицу. С курицей и новым назначением пошел в полк. А Киселев был привязан к Казанцеву.

Стоял на одном: только честный смеет глядеть людям в глаза.

Мог вспылить, обидеть, но заставлял себя сдержаться, чтобы понять, правый перед ним или виноватый.

У Сергея Анисимова отказала рация. Ни разу не отказывала, а тут онемела, нет связи ни с полками, ни с корпусом. Пока Сергей возился с РБ, Киселев задремал — третьи сутки на НП не смыкали глаз. Анисимов наладил передатчик, вступил в связь со штабом корпуса. Корпус объявил двадцатиминутный перерыв. Сергей откинул голову к стене, забылся.

Он уснул, Киселев проснулся.

— Где командир корпуса?

Сергей, бедняга, ничего не разберет со сна. Генерал вспылал. Сергей очнулся, доложил. Киселев походил по землянке. Остановился перед старшим сержантом Анисимовым:

— Извини, пожалуйста.

Просил прощения у жены — выругался в ее присутствии. Как не выругаться! Командир одного полка, в прошлом опереточный артист, вздумал развезжать на трофейном «мерседесе», запряженном лошадьми. Киселев поднял майора из оперетты с пружинных подушек и высказался от души, не заметив, как подошла Александра Никаноровна...

Чувство молодых лет — Шура должна быть рядом — сохранилось до конца. Киселев вызвал ее на фронт — в Карелию, потом в 70-ю армию.

Александра Никаноровна припомнила слова Киселева: «Да, тебе тяжело на фронте, тяжело без детей. Но они вырастут и все поймут. Мне ты нужнее». Вот его записка с Карельского фронта: «Мне не хватает времени и тебя, Шуручка».

Постоянно думал о сыновьях, пытался предугадать их будущее, взрослую их жизнь. Письма от детей — праздник. Ходит сияющий. «Батя в добром настроении».

Александра Никаноровна удивляется:

— В кого Юра такой уродился?

Сын мягок до застенчивости.

Но мать знает в кого — в отца.

Генеральские погоны не возносили Киселева над людьми. Не для красного словца он повторял:

— Без солдат я ноль.

Вообще склонностью к красивым фразам не страдал. Умел слушать и любил солдатскую речь, дорожил кстати брошенной репликой, с ходу найденным ответом.

Однажды спросил у солдата, хлебавшего супец:

— Как оно, первое-то?

— Майорский суп, товарищ генерал, просветов много, звездочка одна.

Принял на вооружение: «майорский суп».

Превыше всего он ценил тех, кто крещен в огне, прошел через Курское сражение, Молотычи. До трогательного ценил.

Провинившегося бойца хотели укатать в штрафную роту. Тот к командиру дивизии:

— Товарищ генерал, я ж с вами под Молотычами бился!

— Под Молотычами?

И простил бойца. Отменил штрафную.

Сергей Анисимов — сперва радист Киселева, под конец адъютант — мне рассказывал:

— Получает батя приказ: немедленно взять населенный пункт. «Есть, будет исполнено». А сам не спешит. Можно дуром взять. За потери не взыщут: война, победил — прав. Батя соображает, как меньше людей положить. Разработает маневр, дождетя ночи. Приказ выполнит. Но как, когда — решает по-своему...

Под Дуклей дрогнули бойцы 96-го, не выдержали огня с высот. Киселев бросился наперерез:

— Обратнo! За каждый бугорок кровью плачено!

О Дукле, как и о Молотычах, вспоминал до последнего дня («Мне Дукля две недели снилась»). Подобно Молотычам, она запала в душу Киселева своей ценой, числом отданных жизней.

Он вел счет на единицы, думал о сегодняшней участи солдата и о завтрашней.

На наблюдательный пункт привели двух пареньков в необычном одеянии — долгополые, не по росту немецкие шинели поверх красноармейских гимнастерок.

Оба, по их словам, служили в нашей дивизии, неделю назад попали в плен. Немцы пристроили их на кухню — дрова рубить, воду таскать. Выпал случай, пленные перебежали обратно. Попали в траншею неподалеку от НП командира дивизии, и их доставили к нему. Киселев сам допрашивал. Терпеливо, недоверчиво, сказывалась по-

граничная школа. Задавал вопросы и начальник Смерша, если память не изменяет, подполковник Буторин.

Услышав от беглецов, что родом они из Москвы — один с Красной Пресни, другой с Тверских-Ямских, — генерал подозвал меня:

— Погоняй-ка земляков по столице-матушке.

Я спросил, какой трамвай шел от Белорусского вокзала к Сокольникам, как с Сущевского вала добраться до Красной площади.

Киселев смотрел и слушал.

Обернулся к Майсурадзе, Буторину. Снова к бойцам:

— Марш в свою роту.

Что-то черкнул в блокнотике, вырвал листок.

— Передадите командиру... Чтоб я на вас эту г... шинель не видел. На гимнастерку пришить погоны...

Услышал, что Лида Жданова круглая сирота.

— Будешь моей дочерью. Согласна?

На нем — дивизия. А он:

— Где мой маленький доктор?

Зазывал к себе, угощал.

— Никто не обижает? Замуж захочешь, со мной посоветуйся.

«Пришел, увидел, победил» — это не про Киселева. А все-таки и про него. Он не ошеломил тронной речью, не поразил эффектным жестом. Но каждый ощутил появление нового комдива.

Я пытался вспомнить, с чего он начал. Солдаты уверяли: почувствовали заботу о себе. Командовавший полком Иван Андреевич Гусев сказал: пришел человек, который знал, что нужно дивизии. Полковник в отставке Николай Александрович Суханов, заместитель командира дивизии по тылу, вспомнил, как Киселев на первом же совещании первыми же словами потребовал наладить снабжение и пригрозил: кто не сумеет, будет отстранен. В письме бывшего начальника связи Дмитрия Петровича Давидюка говорилось: «С приходом нового командира дивизии генерала Киселева отношение к связи изменилось. Резко изменился стиль работы штаба. Офицеры штаба стали работать спокойно и уверенно, чувствуя постоянное внимание, поддержку и заботу со стороны командира дивизии».

Нам, 140-й, повезло. А что означал для самого Киселева приход в дивизию?

Я думаю об этом, слушая рассказы, сопоставляя одно с другим...

Кончив Академию имени М. В. Фрунзе, Киселев быстро и успешно продвигался по службе. В сорок втором году он, молодой генерал из пограничников, назначается заместителем командующего общевойсковой армией. После мартовско-апрельской трагедии с ее голодным маршем, неудачными боями и неоправданными потерями командующий был снят. Ответ неудачи падает и на заместителя. Киселеву предлагают корпус — это незначительное понижение. Но он просит дивизию, добивается. Не какую-нибудь, а 140-ю, находившуюся в плачевном состоянии.

В мае сорок третьего года перед нами предстал собранный, деловито-властный генерал. А каково было у него на душе?..

Полководческий авторитет приобретался в боях. Уже под Молотычами выявилась способность Киселева здраво соотносить свои возможности и противника. Минутами захлестывал азарт, но он овладевал собой.

Позже на левом берегу Серета свеженькая немецкая дивизия, только-только из эшелона, пошла под оркестр, развернутым строем в атаку. Киселев запретил вести огонь. Он ждал, ждали части. Прежде чем ударить по атакующим, артполк разбил штурмовые мостики — путей отступления у немцев не осталось. Затем сосредоточенные огневые налеты, контратаки рассеяли роскошно наступавшие немецкие цепи.

Не всегда, конечно, получалось так здорово и удачно. Но и когда не получалось, он знал почему, знал, что необходимо.

Во время затянувшихся боев за Кросно в дивизию прибыл маршал И. С. Конев. НП — под крышей старого костела. паутина. пыль, темень.

— Что требуется для успешного продвижения? — муром спросил маршал.

Киселев не мешкая ответил: минометный полк, основательная артиллерийская поддержка.

К вечеру город был взят.

Полковник Гусев считает, что на первых порах Киселев не всегда быстро ориентировался, не всегда удачно выбирал наблюдательный пункт. Вполне вероятно. Но умел выслушивать чужое мнение. Даже не высказанное прямо.

Не терпел, не выносил лжи, подобострастия. Многого мог простить, если верил в честность. За неправду разносил в пух и прах, выгонял, упекал в штрафбат.

Когда минуют десятилетия и память отстает, о человеке вспоминают общими определениями. Кто бы ни заводил речь о Киселеве, прежде всего произносилось: честный. Подразумевали не только ненависть ко лжи, но и бескорыстие.

Война — это и бой и быт. То и другое во многом определяется командиром.

Мы знали: генерал не жалуется фронтные романы. Не из-за ханжества. Боялся — разрушатся семьи, безотцовщины и так после войны будет хоть отбавляй. Жалел девушек-фронтвинок: как бы окопные связи не изуродовали и без того надломленную молодость, не искверкали будущее.

Возможно, перебарщивал, борясь с «фронтной любовью».

Армейская практика не признает за критикой и самокритикой движущей силы. Единственный человек, которого генерал мог попросить: «Ты за мной следи, ругай меня. Недолго час — зарвусь», была жена.

На исходе сорок четвертого года Александра Никаноровна меня упрекнула: дескать, я, парторг, смотрю сквозь пальцы, что командир дивизии выпивает. Я оправдывался: пальцы-то у меня лейтенантские. Вскоре Киселев остановил меня:

— Моя жаловалась?

Смутившись, я попытался провести беседу о вреде спиртных напитков. Вопреки ожиданию генерал терпеливо слушал. Потом спросил:

— Думаешь, глаза мне открыл?

И тут он рассказал, как жена звонит на НП и спрашивает, почему он торчит на бруствере, а не в окопе.

— Я ей подчиняюсь, лезу в щель, когда таковая имеется. Насчет водки тоже права. Но так, бывает, прижмет — с ног валишься...

В его голосе я почувствовал усталость — физическую, нервную — от бессонных ночей, переходов, вечной близости смерти. А сверх того от постоянной ответственности за тысячи судеб, необходимости принимать решения, оплачиваемые кровью. Передо мной стоял смертельно уставший человек.

Разговор был минутный, а впечатление — осталось...

Он сознавал, какую тяжесть несет его жена. Пытался успокоить:

— Моя пуля еще не отлита.

Могло так показаться. Погибли два его адъютанта, многие офицеры, бывавшие в близости, а Киселева не задело. Ни одной царапины.

Его машину — кто не знал в дивизии роммелевскую амфибию с желтыми разводами — захватили немцы, шинель захватили, а он жив, невредим. Посмеивается.

Лишь однажды, глядя, как уносят раненого:

— Уж если что, меня сразу...

О мечте Киселева я услышал, когда его уже не было в живых. С курсантских лет ему твердили: зеленый массив маскирует сосредоточение войск, затрудняет наблюдение... А он «штатской» любовью любил этот «массив», надеялся: после войны в отставку, в лесники, возьмет внуков, станет ловить рыбу. Александра Никаноровна — варить на всех уху... Таким виделось ему далекое послевоенное счастье.

Об этом я тогда не знал, но один раз наблюдал, как саперы, натываясь лопатами на корни, торопливо роют щель для комдивовского НП. Рыжие комья рассыпаются у начищенных генеральских сапог. А он задрал бинокль на красноголовую птаху в зеленой вышине. Не оторвется...

Недостаточно, видимо, собранные мною и подсказанные памятью сведения о генерале Киселеве. Хочу воспользоваться солдатским фольклором. По дивизии ходили были и небылицы о командире. Прежде чем занести на бумагу, я пересказал некоторые из них Александре Никаноровне.

«В начале Отечественной войны генерал Киселев командовал ОТ<sup>3</sup> Карельского фронта. В Карелии действовали финны. Они на лыжах сызмальства, пробираются там, где не то что человек — зверь не проберется. Проникали в наш тыл, устраивали диверсии.

Генералу Киселеву докладывают: финский лыжник в таком-то квадрате. Он на свой самолет — и туда. Самолет совершает посадку. Генерал Киселев на лыжи — и за нарушителем. Один на один. Бывали случаи, схватывался врукопашную, до финки доходило».

(Александра Никаноровна: «Что начальником ОТ был, подтверждаю. На лыжах ходил как бог. Насчет своего самолета что-то не помню. Ножом сам? Не знаю, не знаю. Финский нож вообще у него имелся. Где-то должен быть...»)

«Приходит генерал Киселев к командиру батальона. Это уже за Днепром было. И говорит: «Как ты командуешь, когда с твоего наблюдательного пункта, извини, пожалуйста, ни хрена не видно». Командир батальона отвечает: «Куда ж податься, впереди немцы». «А вон сосна зачем стоит!» — показывает генерал. «Она ж пристреляна». «Хреновый ты, извини меня, командир батальона — командуешь, не видя поле боя».

Сам приказывает своим саперам и разведчикам сколотить площадочку, приладить наверху на сосне. Саперы сделали, прибили ступеньки. Генерал с биноклем полез.

Немцы, конечно, подсыпали огоньку. Летит наш генерал с дерева, ветки трещат. Поднялся, отряхнулся. «Ни хрена, говорит, полный порядок. Я ихнюю оборону как дважды два видел».

(Александра Никаноровна: «Сомнительно. Очень уж по-мальчишески. Но чем-то на него похоже».

Юрий Александрович Киселев: «Я считаю, вполне могло быть».)

Эту историю мне рассказал когда-то начальник разведки дивизии Алексей Бессонов.

«В полках осталось активных штыков не больше сорока в каждом. Немцы прут со всех сторон. На нашем НП пули жикают. Я докладываю генералу Киселеву: «Находитесь в прямой опасности». Он меня — подальше. Ладно, молчу. Немцы рядом. Я снова к генералу. Он не слушает, схватил автомат убитого бойца, строчит. Я вижу такое дело — приказываю разведчикам: «Хватайте батю силком, унесите». Так и вынесли».

(Александра Никаноровна: «Леша Бессонов был смелый офицер. Киселев его уважал. Но — разведчик: соврет — недорого возьмет. У Киселева ответственности, что ли, не было, не понимал, что нужен?.. Раз ты факты без проверки используешь, я тоже могу привести. Один раз мне сообщили: сегодня не было бы у нас генерала, не прикрой его солдат. Своим телом прикрыл. Так ли, нет — не знаю. И фамилия солдата не знаю».)

Утром 24 января 1945 года близ местечка Тшеболь (Польша) генерал Киселев объяснял задачу подполковнику Харламову, водя карандашом по карте и тем же карандашом указывая на местности направление, ориентиры, — привычная поза. Они стояли на пустой, безлюдной дороге. В тишине грохнули три мины. Две разорвались позади, мелкими осколками впились в спину Киселева. Остался бы жив. Но через полминуты: рванула третья.

...Каких-нибудь недели две назад он отплясывал русского на свадьбе Лиды Ждановой-Гаркавенко...

Упал с перебитыми ногами Харламов. Приподнялся, разглядел комдива, простонал: — Лучше б меня...

### ДИВИЗИЯ И ДИВИЗИОНКА

Мостик как мостик — размочаленный, расшатанный настил, медленная вода сквозь щели, одиноко торчащие доски в память о перилах. Колесо угодило в щель или

<sup>3</sup> ОТ — войска охраны тыла. Обычно эту службу несли пограничные части.



рухнула прогнившая балка — телега резко накренилась, и вся поклажа скрылась под водой.

День был летний, место неглубокое, достать груз не составляло труда.

Но на дно ушел шрифт, высыпавшийся из наборных касс.

Мы бесцельно ныряли, извлекая перемешанные с песком тонкие свинцовые палочки. Однако это пустяки по сравнению с работой, какую предстояло проделать наборщикам, сортируя шрифт по гарнитурам и по гнездам.

И все же газета вышла на следующий день со сводкой Совинформбюро, с дивизионными новостями, с заметками об отличившихся, с известиями из далекого тыла.

Этот непреременный, невзирая ни на что, выход дивизионной многотиражки — одно из фронтовых чудес, право же, достойных удивления. Помимо того, что причиталось по общим нормам: обстрел, бомбежка, холод, распутица, бессонные ночи, недели без крова, — были еще тысячи своих бед, досад, невзгод, и половины которых, наверное, не уцелело в памяти.

Полки неотрывно преследуют врага. Десять, двадцать километров в день. Редакция не смеет отставать, газета должна выходить. Как тут поспеть и двигаться и выпускать номер, когда весь наш транспорт — одна-единственная дребезжащая, того и гляди развалится, подвода, запряженная клячей. А по штату нам положена была специально оборудованная автомашинка, даже вроде две.

Сотни километров оставались позади, когда мы получили сносный автобусик. Он нам служил верой и правдой. Хотя вскоре задним левым колесом угодил на мину. Нас оглушило, тряхануло. Тем и отделались. Да еще Дажин яростно обрушился на меня. Благо это я отыскал на карте самую короткую дорогу...

Если в сорок третьем — в летнем наступлении, в осенней грязищи, в зимних заносах — регулярно выпускалась газета, то заслуга тут прежде всего Дмитрия Павловича Дажина. С него и начинать рассказ о дивизионке, выходящей в 140-й дивизии.

Все, конечно, старались, всем доставалось. Но Дажин не просто возглавлял, не просто вкалывал. Его одержимость выливалась в универсальный, не признающий отдыха газетный труд. Писал передовые, правил и переписывал заметки, составлял макет, придумывал рифмованные шапки, держал корректуру, принимал по радио диктовку ТАСС, вычитывал мокрые полосы, отбитые с набора жесткой щеткой. Все сам. Нам полагалось поставлять материал, сырье, из коего он творил газету. До того, как в штат ввели должность заместителя редактора, Дажин занимался еще и хозяйственными делами: хотя нам положен бензин для несуществующей машины, но не так-то легко добыть неполаженное сено для существующей лошади.

Дажин не столько обучал — он заражал своей истовостью, своим уважением к солдату, которому предназначалась дивизионка. Солдат не часто видел прочие газеты; прочие, даже армейская и фронтовая, адресуются ко многим и многим тысячам. А эта — своя, маленькая, чуть поболее странички письма. Она пишет о знакомых, о твоём отделенном или взводном, о тебе самом. И ты бережешь заметку, шлешь ее домой.

Заметка эта — бывало и так — последний рассказ солдата, последнее его общение с людьми.

К газете и ее представителям относились по-свойски. Тебе могли попенять: почему давненько не наведывался, почему сорт бумаги сменился, плох для курева? Раз к тебе привыкли, доверяют — отведут с тобой душу. Ты вроде бы «сверху», а между тем никакой не начальник — очень привлекательное сочетание.

Во всем этом со временем я убедился, разобрался сам, но еще прежде, чем убедился, начал понимать благодаря Дажину.

Без желанья, однако старательно писал я первые заметки. Но что он с ними делал! Не оставлял ни слова, ни запятой.

Все молча, игнорируя меня, сидевшего рядом. Как же я его ненавидел! И не скрывал этого. Едва я заикался о штампах, газетной серягине, он выкладывал мне такое. в таких порциях.. Когда творческая полемика выходила за уставные границы, Дажин ставил меня на место, высокмерно напоминая о субординации.

В этих поединках, как ни странно, рождалась наша дружба. Оно, конечно, нехудо бы иметь редактора с характером полегче. Но, во-первых, я не слишком обольщался насчет собственного нрава. Во-вторых, видел, что Дажин спит меньше всех нас, рабо-

гает больше. В-третьих, он был одинаково резок и с подчиненными и с вышестоящими. Для меня это много значило. Вспыльчивостью с подчиненными никого не удивишь. Еще Салтыков-Щедрин предлагал средство от такого недуга: достаточно представить себе, что говоришь с генерал-губернатором. Дажину это средство не подходило.

Вспыльчивость — определение смягченное, неточное. Однажды я проснулся, когда вулканическое извержение достигло высшей точки, и увидел дрожащие пальцы Дажина, расстегивающие кобуру. Прямо с лежанки бросился к нему на спину. Этот скандал вызвал тихоня-наборщик, из тех, чье шипящее смирение похлестче всякой вспыльчивости...

Дажин задал такой рабочий ритм, из которого мы не выходили до самого конца войны. Хотя менялись редакторы, менялись обстоятельства. Это, наверно, тоже называется традицией.

Дажину мы обязаны принципами, утвердившимися в жизни маленького человеческого сообщества, выпускающего дивизионку.

Газета — самое святое. Ради нее — под огонь, в грязь, в стужу, в пыль, тридцать, сорок, пятьдесят верст пешком, верхом, на попутных. Быстро ходить, быстро писать, быстро набирать, печатать, доставлять. Но не халтурь, не бреша, не путай. Не смей перевернуть фамилию солдата.

Как кадровый политработник, Дажин почитал дисциплину, старался обращаться на «вы», мог потребовать, чтоб его величали по званию. Но в скученном быту редакции и типографии не признавал никаких различий. Офицеры редакции и солдаты типографии обедали за одним столом, ели из одной миски. Офицерский допцаек (печенье, консервы, сливочное масло) шел на общий стол. Личные вещи отменялись. Рубашки, кальсоны, портянки, полотенца лежали в ящике из-под немецких мин — кому надо, тот и берет.

Когда ввели должность заместителя редактора, Дажин наметил на нее старшего лейтенанта Гороховцева, замполита стрелкового батальона. Но прежде чем докладывать Майсурадзе, посоветовался с нами, с секретарем редакции Зачесовым и со мной, литсотрудником. Мы высказались за.

Но советовался Дажин не всегда. Иные решения принимал единоначально, даже от имени всех.

В мае 1943 года, возвращаясь из полка, я почувствовал, что ноги отказывают, ворот и ремень душат. Кое-как доплелся до Редогощи, до редакции. Вызвали Лиду (тогда еще Жданову, не Гаркавенко). Лида измерила температуру — сорок. Сыпняк. Немедленно в медсанбат.

— Никаких медсанбатов, — возразил Дажин. — Сами выходим. Рядом пустая изба. Пусть там лежит. Мы будем еду носить, а вы лечите.

Он решил за всех, даже за Лиду. Моргнул Гороховцеву — тот ведал продфуражным снабжением. Прокоп Степанович понимающе кивнул и вытащил из НЗ бутылку с самогонкой, налил мне стакан, остальное спрятал.

Это был случай, когда пить не хотелось. Но Дажин так свирепо поглядел, что я, поморщившись, выпил мутную жидкость.

— Ложись, — приказал Дажин. — Сегодня здесь переспшишь. Чтoб мы в случае чего...

Я проспал, не просыпаясь, до утра. Утром поднялся, почувствовал, что здоров, осталась только слабость. Перешагнул через Гороховцева и Дажина, спавших рядом на сене, и сел работать.

Вскоре проснулся Дажин, недоуменно посмотрел на меня:

— Ты что, тронулся?

— Здоров.

— Здоров? Тогда почему картошку варить не поставил?

Первый проснувшийся должен был топить печь и варить картошку в мундире. Потом все поднимались и во главе с редактором сообщая ее чистили.

Я и вправду выздоровел. Скорее всего меня выручила какая-то особая — в бригаде все было «особое» — сыворотка, которую нам впрыскивали в отряде. Или еще одно чудо фронтовой жизни...

Дажин — прирожденный газетчик, им и остался. После нашей 140-й работал во

фронтальной газете, после войны редактировал окружную газету ПВО, служил в «Красной звезде».

При делении на «изменившихся» и «не изменившихся» Дмитрий Павлович относится ко второй категории. Хоть и дед уже, хоть полковник в отставке и много еще всяких «хоть», не считая законченного заочно истфака МГУ.

Первый номер дивизионки, тот, что я читал в Новосибирске, в кабинете Майсурадзе, Дажин выпускал вдвоем с секретарем редакции Зачесовым. Лейтенант Зачесов не прирожденный газетчик. Он учитель по специальности, по склонности душевной. Однако направили в газету, и, человек пунктуальный, работающий, он выполнял свои обязанности, сохраняя хладнокровие и на передовой и в редакции. Безотказно лазил по окопам, возвращался, молчаливо и многозначительно поднимал кружку со своими стаграммами, вздевал на круглый нос очки, закуривал длинную, тщательно закрученную козью ножку и аккуратно — буква к буквке, строчка к строчке — исписывал серые листки.

Он пробыл на фронте с полгода — погиб, подорвавшись на mine.

Если б не эта ранняя смерть Зачесова, я бы лучше его узнал, а он короче сошелся бы с нами, Дажиным, Гороховцевым. А так держался не то что особняком, но оставался какой-то внутренний зазор. В минуты откровенности он сетовал на отсутствие культурного окружения, людей с высшим образованием, сокрушался, обращаясь ко мне:

— Вот вы недоучившийся студент. А они...

Имелись в виду Гороховцев и Дажин. Не продолжая, Зачесов махал рукой.

Меня эти сетования не занимали. Проблема законченного высшего образования не беспокоила. Для Зачесова же она — любимая тема. Он учительски постукивал пальцем:

— Обязательно следует окончить институт. И вам, Дмитрий Павлович, еще не поздно, и вам, Прокоп Степанович...

Никем не поддержанный, он уходил из дому, садился на скамейку и пел. У него был хороший слух и приятный тенорок. Предпочитал «Землянку», «Васю-Васильку», «Синий платочек». Сбегались девчата с полевой почты, подтягивали. Коля Зачесов их не замечал. Он сидел прямо, строго и отрешенно смотрел перед собой.

Когда он погиб, в редакцию принесли его документы. Среди них справка. Зачесов учился на втором курсе заочного института иностранных языков.

На место Зачесова прислали гвардии капитана Зотина. Веснушчатый капитан сверкал золотом зубов, надраенными пуговицами, ременной пряжкой, звездами и миниатюрными танками на погонах. Нам, заросшим, в замусоленном х/б и драной кирзе, посчастливилось лицезреть ожившую цветную фотографию. Гвардии капитан — это выяснилось в ближайшие полчаса — был не только лихим воякой, море по колено, но и газетным волком, зубром газетным. Мы слушали и глядели на его неистощимо сияющую улыбку и не ведали, кого благодарить за ниспосланное счастье. Журналист такого калибра, такого успеха, таких литературных связей — в какую-то заурядную дивизионку.

Дажин, смущенно улыбаясь («Вы уж не взыщите»), представил Гороховцева и меня, познакомил с наборщиками. Знакомство с нами вызвало у Зотина безбрежный энтузиазм. Он издавна мечтал встретиться с такими людьми. Мы вместе двинемся вперед, рука об руку, плечом к плечу.

Дажин сделал знак Гороховцеву. Гороховцев направился к ящику, где хранился НЗ, на ходу укоризненно бросил мне:

— Побрился бы.

Я пристроился с бритвой на подоконнике, наборщики бензином отмывали руки. Дажин и Гороховцев хлопотали у стола.

Капитан Зотин щелкнул замками новенького чемодана, достал запечатанную бутылку с этикеткой, банку шпрот, закуски, о существовании которых мы, привыкшие к вареной картошке и супу-пюре гороховому давно забыли. И все это — широким жестом на стол. То был посланец небес, имевший земные связи не только среди высшего командования, в литературном мире, но и в тыловых учреждениях не ниже фронта. Иначе откуда эти яства, шитые на заказ галифе, гимнастерка, новенькие ремни, порту-

пея, планшет, полевая сумка. И такой человек сидит с нами за одним столом, чокается своим складным алюминиевым стаканчиком, тычет в тарелку своей никелированной вилкой...

С неделю длилось взаимное восхищение. Не терпевший безделья Дажин советовал Зотину не спешить, потихоньку осваиваться. Зотин не спешил. Из своего чемодана извлек ножницы, напильники, молоточки, кусачки и принялся за работу. Прежде всего он осуществил сложную реконструкцию портупей, менял систему колец, которыми она крепилась к ремню. Потом из обрезков металла смастерил подковки и ловко набил их на каблук. Веснушчатые его руки были поистине золотые.

Работая, Зотин не умолкал. О чем только не рассказывал, какие только встречи не вспоминал. Дажин правил гранки, сокращал и дописывал. Гороховцев что-то сочинял, бегал на ДОП<sup>4</sup>, молча исчезал и молча появлялся. А Зотин весело и увлеченно рассказывал:

— ...Вызывает меня командующий: «На вас, Петр Петрович, надежда...» Танк к едреной матери. Гусеница в ключья. Башня на двести метров. Я на вторые сутки пришел в себя... Фадеев меня обнимает: «Петя, друг сердечный...»

Мы, разумеется, видели: Зотин привирает. Но что из того? Ну, прихвостнул. На фронте случается. Не обижается на наш смех, сам хохочет, заливается.

После посещения артполка Зотин вернулся воодушевленный:

— Какие люди! Какие люди! Что им «тигры», «фердинанды»!

Филигранно отточил карандаш уединился в клетушке за печкой. Мы ходили на цыпочках, переговаривались шепотом.

На третий день сияющий, затянутый ремнем, перекрещенный портупеями, шелкнув начищенными сапогами, Зотин торжественно положил перед Дажиным исписанные листки и попросил разрешения погулять, развеяться.

Сперва Дажин подозвал своего зместителя. Гороховцев читал, ничего не говорил и сопел. Дажин кликнул меня.

Я отлично помню этот почерк: высокие худые буквы с загогулинами и хвостиками. Почерк старательный, но его обладатель, видимо, не слишком часто на своем веку писал. В этой догадке укрепляло обилие грамматических ошибок. От запятых рябило в глазах. Их Зотин не ставил только что в середине слова.

Обращала на себя внимание целеустремленность творческих интересов: все три заметки о поварах.

— Ну? — недобро уставился на нас Дажин.

Гороховцев пожал плечами:

— Писатель все-таки...

Я поддакнул:

— Странности художника.

Дажин нелитературно выругался.

Период сомнений длился недолго. Его сменил период разочарования, а затем и отворачивания.

Сияющий гвардеец происходил по прямой линии от Хлестакова. Настолько прямой, что оторопь брала. Дажин его возненавидел со всей страстью, на какую был способен и которой возмещал недавнее свое восхищение и надежды. Невозмутимый Гороховцев просто-напросто перестал замечать Зотина, не отвечал на его бравое «здравия желаю, товарищ старший лейтенант!», набычившись проходил мимо.

Как-то мы вместе с Зотиным шли в полк. Он предложил заглянуть в деревню, перекусить. Я усомнился: места бедные, нещадно разоренные немцами.

— О, молодой друг, вам неведома крестьянская психология!

Он достал из кармана бархотку, провел по хромовым сапогам уверенно распахнул дверь, велеречиво поздоровался со стариком, с хозяйкой. Назвался известным писателем, черт-те что напел обо мне Старый крестьянин растерянно глядел на рыжего офицера, стройного, с золотыми погонами, в ладной шинели. Хозяйка полезла в подпол.

Вымогал он артистически. Обособившись от нас, Зотин завел свое хозяйство, взывая у тех, у кого остановился, сметану, масло, яйца. Обо всем этом хвастливо сообщал

<sup>4</sup> ДОП — дивизионный обменный пункт.

нам. Иногда его посещала фантазия осчастливить хозяев женитьбой на их дочери. Он твердил «папаша», «мамаша», ухаживал напрапалу, целовал ручку, сулил квартиру в Москве и прочие золотые горы.

Помимо того, Зотин имел обыкновение покупать «в долг».

Наступила полоса открытых боевых действий. Вначале Зотин ограничивался обороной — делать он давным-давно ничего не делал, лишь огрызался. Однако вскоре постиг губительность пассивной тактики и принялся строчить. Строчил он доносы. Позже я их читал; произведения достаточно убогие, но чувствовалась набитая рука; автор не был новичком в этом жанре. Основная их идея: в коллективе редакции отсутствует должная дисциплина, зато наличествует фамильярность, имеют место случаи выпивки, а однажды редактор, его заместитель и литсотрудник спали втроем на одной кровати: в таких условиях нет бдительности, борьбы за высокий уровень.

Конечно, доносы эти сколько-нибудь серьезного впечатления не производили. Зотина уже раскусили в политотделе. Однако Майсурадзе нет-нет да обронит, брезгливо поморщившись:

— Что там у вас происходит?

На партсобрании кто-то пустил:

— В редакции неладно.

В поте лица сочинив очередное заявление, Зотин обычно являлся к Дажину со слезным покаянием:

— Я виноват, глубоко виноват перед вами, Дмитрий Павлович, я недостойн дышать одним воздухом.... В жизни не прощу себе...

Через неделю изговаривалась следующая кляуза.

На большом совещании в присутствии чуть ли не всех политработников дивизии Майсурадзе вдруг стукнул по столу:

— Встаньте, капитан Зотин! Кто вы есть, Зотин? Вы есть трус, бездельник и клеветник. Я хочу, чтобы все это знали и в последний раз посмотрели на вас. Такому человеку не место в нашей дивизии.

В тот же день Зотина откомандировали.

Одновременно с Зотиным, без всякого, естественно, шума, к нам прибыл ездовой по фамилии Носок, по имени Иван Денисович, колхозник с Черниговщины, неторопливый, спокойный, с жидкими, вислыми ушами. На его попечении была лошадь и подвода. Но вскоре как-то неприметно он занял несомненное, хоть и трудноопределимое место в нашей жизни. Он старался всем помочь. Подхватит тяжеленную кассу, которую тащит наборщик. Подогреет обед, вымоет посуду. Смотришь — утром в сапогах торчат чистые портянки, защит рукав гимнастерки, залатаны брюки, вымыта плащ-палатка...

Притащиться ночью мокрый, голодный, стараясь никого не будить, ищешь уголок, чтобы притулиться. Неслышно поднимается Носок:

— То не дело.

Достанет из печи котелок. Заставит раздеться.

Я бы мог немало еще порассказать про Зотина, проходимцы — люди заметные. А Иван Денисович Носок говорил мало и менее всего старался, чтобы его заметили. Взгляд прямой, умный и такой выразительности, что и сейчас вижу. Вижу, как он смотрит на краснобайствующего Зотина, на рассердившегося Дажина. Вижу, как смотрит на меня, когда я от большого ума осушил на спор кружку трофейного спирта и провалился в преисподнюю; очнулся на следующий день. Надо мной Носок. Всего три слова:

— Разве так можно?

Не в том даже смысле, что вредно, дескать. Разве так можно человеку обращаться с собой, чего ради?

По разным поводам, вкладывая свой смысл, часто произносил:

— Ох, до чего же вы все молодые!

Время от времени он подходил к Гороховцеву или ко мне — Дажина не решался трогать — и просил написать письмо жене. Иван Денисович был неграмотен. Диктовал коротко и обстоятельно, заранее все обдумав, и не терпел коррективов. Осложнения всякий раз возникали, когда надписывался конверт.

— Одарци Носку,— твердо завершал Иван Денисович свою диктовку.

— Носок,— поправлял Гороховцев или я.

Иван Денисович сердился:

— Кто лучше знает, как мою жинку кличут?

Для нас было праздником, когда мы наконец получили автобус. Но понимали: придется расстаться с Иваном Денисовичем. И это омрачало радость. Дажин обивал штабные пороги, еще месяца два Носок оставался с нами. Но при очередной «чистке тылов» пришлось все-таки его откомандировать. Хотя Иван Денисович попал в армию с оккупированной территории — тогда это принималось во внимание,— его по нашей рекомендации направили повозочным в политотдел.

Рядовой Иван Денисович Носок был убит 4 августа 1944 года в польском городе Санок

### «КТО ТЫ ЕСТЬ?»

...Вижу, будто вчерастряслось.

Гроб из неструганных, кое-как окрашенных досок. Желтое, окаменевшее лицо Романа Кудряшова, струйка крови на верхней губе.

В ноги уткнулась девушка. Рассыпаны рыжие волосы, гимнастерка на дрожащих плечах.

Это случилось 22 июня 1944 года у горы Обыдры, в Тернопольской области. Кому, кроме пастухов, гоняющих туда коров, известна она теперь? Не всякая «Обыдра» имела название. Высота с отметкой такой-то. А за нее умирали люди, как при взятии городов. Кто держит высоту, тот хозяин положения. От нее, трижды проклятой, зависит успех дивизии, армии, иногда фронта.

Немало наших солдат полегло на пологих скатах Обыдры. Роман скомандовал, потом не выдержал и сам выскочил из окопа.

Крохотный осколок, в половину ногтя на мизинце,— и нет больше Романа Кудряшова.

Над гробом из сырых, наспех покрашенных досок — сникший, сторбившийся Майсурадзе. Первый и последний случай, когда я видел у него слезы.

Дуся, вдова Майсурадзе, часто мне повторяет: «Он любил тебя, как сына». Преувеличивает. Он любил Романа. Возлагал на него надежды. Кудряшов отвечал его идеалу. Такие нужны на войне, еще нужнее будут завтра.

Непросто это объяснить. Кудряшов — парень как парень. Красивый, правда: черноволосый, смуглый, смахивающий на цыгана. Пел, на гитаре играл.

После него остался дневник — первая запись за три недели до начала войны, последняя — за четыре месяца до гибели. На фронте не полагалось вести дневник: вдруг да попадет в руки противника. Роман вел и других убеждал: надо записывать свою жизнь. Мы с Дажиным не раз листали жизнь этого двадцатипятилетнего человека 40-х годов.

Он читал Горького о Ленине, Достоевского, увлекался Макаренко. «Восхищаясь Байроном, изучаю тактику». Чернышевский, Николай Островский, Герцен, Толстой. Цитаты, какие приводила тогдашняя «Комсомолка», осели, вероятно, в сотнях дневников. Но не только они. Андре Шенье: «Мне тягостен досуг без вашей близости, лишь вами ум мой занят, и в каждом шорохе, что чуткий слух мой манит, мне чудится ваш шаг...» Или — сквозь поспешно деловитый перечень: «Я люблю человека, его честь».

Кудряшов — смелый, самый, наверное, смелый в политотделе. Для Арчила Семёновича Майсурадзе это многое значило. Его подпись на наградном листе.

«На реке Серет Р. Кудряшов исполнил обязанности заместителя командира 96-го полка по политической и обеспечил выполнение операции. Полк выдержал 19 контратак». Прошло десять дней. Роман оставался в полку. Немцы пустили во фланг 9 танков и батальон пехоты...

Цитирую: «Командир полка струсил и потерял управление. (После Григорьева 96-му не везло на командиров.— В. К.) Кудряшов взял на себя инициативу командования полком, поднял боевой дух бойцов. Полк отразил контратаку противника, уничтожив 3 танка «тигр» и до 50 солдат и офицеров противника. Кудряшов организовал партийно-политическую работу во всех звеньях полка».

Один из самых молодых политотдельцев, Роман держался независимее других. Майсурадзе не отличался терпимостью. Но для Кудряшова допускал исключение.

Кудряшовская независимость шла не только от вольнолюбивого характера. Она — и от ищущего ума. Он пытался докопаться до всего: почему на войне получается так, а не эдак, что значит мысль Чернышевского — содействовать всякой славе своего отечества и благу человечества? Минутами бывал недоволен своей работой, сомневался в себе. «Наши помощники (имеются в виду помощники начальников политотделов по комсомолу.—В. К.) показались мне мертвыми чиновниками, и не дай бог, если я такой».

Он досаждал Майсурадзе вопросами о войне, ее начале. Не всегда удовлетворен был ответами.

Майсурадзе выдвигает своего любимца замполитом 96-го полка.

Кудряшов уважает начальника политотдела, блюдет дисциплину. Но оставляет за собой право судить самостоятельно. Хотя бы в дневнике.

Спорил Роман азартно, необязательно ради постижения истины. Ему бы победить, опровергнуть несогласного, утвердить себя. Тогда можно и подурачиться, поддеть:

— То-то, парень, а ты хвост задираешь.

В отношении Майсурадзе к Кудряшову, к Вене Панфилову, Ивану Маломанову, Ивану Сытнику, Симе Воловикису и, видимо, ко мне было что-то отеческое. Он отдавал предпочтение молодым. Хотел подчинять, вызывая осмысленное желание подчиниться.

Ему необходимо было, чтобы «люди росли». «Человек должен расти. Не растет — не человек».

За годы войны я не видел никого так поглощенного послевоенным будущим, как Майсурадзе.

Но самому-то ему было сколько?

По документам и некрологу, напечатанному в «Красной звезде», А. С. Майсурадзе родился в 1910 году. В действительности же в 1911-м. Сироте, бездомному мальчугану не терпелось попасть в армию, и он прибавил себе год. Пятнадцати лет — в пехотной школе, с девятнадцати — на границе. Он среди самых молодых депутатов Верховного Совета СССР первого созыва и делегатов XVIII съезда партии.

Майсурадзе не склонен был к воспоминаниям. Вчерашнее его мало занимало. Редко кто в дивизии слышал от него о XVIII съезде, заседаниях Верховного Совета, встречах с руководителями. Никогда не козырял депутатским мандатом. Еще будучи членом правительства, он поселился в коммунальной квартире на Ленинградском шоссе и оставался в ней до конца.

Как-то под Заршином Киселев докладывал по телефону обстановку. Командир корпуса, видимо, усомнился в точности. Киселев, оскорбленный, крикнул в трубку:

— Мне не верите? Поверьте члену правительства!..

Протянул трубку Майсурадзе. Тот скривился, не взял.

Когда шедший к фронту эшелон штаба дивизии остановился на Москве-товарной, Майсурадзе с солдатскими прошениями и жалобами, с заявлениями помчался в ЦК, в Верховный Совет.

На моей памяти он лишь однажды назвал себя членом правительства.

В 1946 году он возвращался из Австрии, на пограничном узле вагон загнали в тупик и двое суток не прицепляли к поезду. Скрепя сердце Майсурадзе отнес начальнику станции отрез.

— Ты представляешь, я, член правительства, давал взятку!

Не мог оправиться от потрясения. Не голубоглазый юнец, умом понимал: водятся проходимцы. Но, столкнувшись нос к носу (и где — в мире, за который уплачена такая цена!), испытал собственное бессилие, был обескуражен.

Майсурадзе умирал в пятидесятом году в московском госпитале. Почти каждый день я бывал у него. Раньше мы редко вспоминали дивизию. Теперь же, в минуты, когда доставало сил, он говорил о Кудряшове, о Киселеве.

Его хоронили осенью на Ваганьковском, на 26-й линии. Стрелковый взвод, пугая кладбищенских галок, разрядил в воздух карабины.

Я смотрю на Майсурадзе из времени, которое осталось для него недостижимым будущим. Стараюсь преодолеть умиление (на него щедрa память) и повышенную критичность (ею одаряют годы).

Март сорок третьего. Ржавчик и Муравчик. Майсурадзе находилась у скобочившегося стола в темной избенке с земляным полом. На плечи накинута канадский полушубок. На лоб надвинута барашковая ушанка, — он еще не полковник, старший батальонный комиссар. Потом будет надвигать на карие глаза папаху, летом — фуражку, пряча красные пятна на высоком, с залысинами лбу. Из окружения в начале войны он вышел с двумя ранениями и нервной экземой. Раны зажили. Экзема осталась. Каких усилий требовала от него, больного человека, фронтовая жизнь, обязанности бесконечные и ответственные! Но он никому не жаловался, отвергал помощь врачей, не сознавался, когда трясла малярия. Майсурадзе прямо держался в седле. Истинный конник в кавалерийской шинели, он не признавал автомобиля.

Кончились мартовско-апрельские бои. Майсурадзе собрал политотдельцев. Мы слышали детальный разбор положения в полках, дивизии.

Голова его работала ясно, глаз ничего не упускал. Приезжая в полки, мало разговаривал, подолгу не задерживался, но подмечал во сто раз больше, чем мы, дневавшие и ночевавшие здесь.

Не прощал трусости. Замечал ее, и на человеке, будь тот в высоком звании, имей какой угодно опыт, размашисто ставился крест. Одному самоуверенному батальонному комиссару, в прошлом преподавателю погранучилища, было заявлено: ваша служба в дивизии кончилась. Батальонный негодует, ссылается на стаж. Майсурадзе решил — отрубил. Даже не слушает.

В тот раз, по-моему, решил верно. В другом случае такой убежденности у меня нет. На моих глазах родилась у него неприязнь к одному офицеру, и уже ничто не могло ее поколебать.

К нам прибыл новый агитатор (так именовалась должность «агитатор дивизии») — румяный майор, круглоглазый и восторженный, в форменной фуражке с лакированным козырьком, в двубортной офицерской шинели. Майор не нюхал войны, терзался этим, досаждал расспросами, жаждал отличиться.

..Наблюдательный пункт командира дивизии возле сарая с черной соломенной крышей. От сарая в тыл, к лесу, поляна. Изредка на ней взрывались снаряды.

На поляне показался новый агитатор. Он носил серую шинель из отечественного сукна. У нас были зеленовато-желтые из английской ткани.

Майор сделал короткую перебежку и плюхнулся на землю. Снова перебежал, снова упал.

Майсурадзе, недобро прищурившись, следил за ним.

— Послушай, чего он падает? Никто не стреляет.

— Наверно, так учили... Человек еще не освоился.

— И не освоится. Он трус.

Ничто — ни добросовестность агитатора, ни наше заступничество не повлияли на Майсурадзе. Воспользовавшись каким-то предлогом, он направил майора в распоряжение политотдела армии.

В конце сорок четвертого года Майсурадзе спросил меня, не знаю ли сержанта такого-то (фамилия забылась). Его выдвигали комсоргом батальона, а он, начальник политотдела, не уверен, не трус ли он. Почему трус? Сержанта, видишь ли, из Львова, из семьи врача. А почему у меня об этом спрашивает?

— Ты же из этой среды.

Ход его мыслей для меня был неожиданным и чем-то неприятным.

— Полк представляет, ему видней.

— Полк-шмолк. Надо свою голову иметь.

«Своя голова» — любимая присказка, вечное напоминание.

Новый комсорг вскоре погиб в атаке. Мне попался его дневник — горячие и возвышенные мальчишеские строки. Принес Майсурадзе. Он прочитал от корки до корки. Не произнес ни звука...

Великий был мастер распекать. Начинать обычно вопросом «Кто ты есть?» И сам отвечал. Нам доводилось узнать про себя немало любопытного. Входя в раж, он, случалось, и преувеличивал. Но, как правило, доставалось за дело, и на свой неизменный вопрос он давал обычно более или менее верный ответ, варьировавшийся в зависимости от настроения и обстоятельств. Далее следовали угрозы. Они тоже носили традици-



онный характер. Чаще всего Майсурадзе намеревался послать провинившегося «в первый взвод, первую роту». Но, уточнял. не сегодня. Сегодня — это разве бой!

— Помнишь Молотычи? (Или Десну, или Обыдру, или Заршин.) Пойдешь, когда будет такой бой.

Любил афористичность, не страшился парадоксов.

— Война — это когда убивают лучших... За прошлые заслуги аплодируют один раз... Для чего нужен политотдел корпуса? — вопрошал он, сразу же отвечая: — Чтобы было куда послать копии.

(Все донесения адресовались в политотдел армии, а строкой ниже: «Копия начальнику политотдела корпуса».)

На большом совещании он обводил глазами присутствующих, растягивал в улыбке большой рот, ехидно щурился (Дажин подметил: в такие минуты он походил на японца), спрашивал:

— Каким должен быть политработник?

Все молчали. догадываясь, что обычные определения не подойдут. Майсурадзе выдерживал паузу.

— Политработник должен быть шустрым, быстрым и снова шустрым!

Он говорил с сильным акцентом. получалось «шюстрым». «Шюстрый» у него значило собранный, оперативный, быстро принимающий решения, смело действующий. Ему нравилось это слово. Самое уничижительное, всепоглощающее ругательство — «бездарный». Трусость для него тоже была видом бездарности.

Избегал пространных выступлений, старался задачу, обстановку вложить в лаконичные формулы. Последнее слово отрывистым жестом вколачивал в стол.

Нервничая, двигал по ремню лакированную кобуру с «вальтером». С ним никогда не расставался. С личным оружием тоже можно сродниться...

На окраине Санока он застыл, широко расставив ноги, сжав «вальтер», — спокойный и гневный. Эта его поза охлаждала смятенных людей лучше, чем самые забористые увещевания.

Без надобности в огонь не лез. Но когда лез, уйти не заставишь.

Форсировали Сож. Майсурадзе появился на рассвете, часть пехоты еще оставалась на восточном берегу. Убит — болванка в голову — командир батальона. Замполит покомандовал с полчаса — поволокли с развороченным бедром.

Я сказал Арчилу Семеновичу: ему бы уйти, противник просматривает берег. Он пропустил мимо ушей.

Кричат раненые, рвутся мины. пули секут кустарник. Слушать такую музыку лучше, прижавшись к матушке земле. Но когда начальник расхаживает в рост, подчиненному кланяться и ложиться негоже. Пугачев, коновод Майсурадзе, толкает меня в бок. Я снова насчет опасности. Он покосился на меня:

— Слушай, неужели тебе моя голова дороже, чем мне? Раз я здесь, значит, нужно.

Под Заршином немцы окружили НП, забросали минами. Нелегкая занесла туда Дусю (жену Майсурадзе). Начали выбираться. Дуся падала. Майсурадзе закрывал ее собой. Мы с Гороховцевым прикрывали его — так полагалось. Веселенькая была куча мала.

Забыл, как потом уходили. Недавно Дуся мне напомнила: ночью, лесом, ориентируясь по голосам немцев.

Майсурадзе ценил смелость не только физическую, но и смелость решения. мысли, суждения. В редчайших случаях ссылался на документы прибегал к цитатам. Сторонился заемной мудрости. Мало читал. И не потому лишь, что недоставало времени, — его не манила придуманная жизнь, кем-то сформулированная мысль. Страсть Кудряшова к чтению прощала как слабость.

Желая поддеть нас, редакционных, уверял:

— Умный и без газеты разберется.

На свою голову, я рассказал ему как приехал в редакцию соседней дивизии. застал спящего редактора и наборщика, который, глядя в потолок, без оригинала набирал передовую статью.

Теперь чуть что:

— Ты пойдешь в первый взвод, в первую роту Наборщики сами наберут газету.

Полагался на устное слово, считал, что убеждать надо в общении. В печатное слово верил меньше. От газеты требовал оперативности, информации. Общими статьями не слишком интересовался. Ругал за опоздания, неточность факта, неверную фамилию. Не обращал внимания на опечатки...

Ему был чужд трепет перед начальством. Вообще должности, имена, популярность его не гипнотизировали. Я ему принес фронтовой рассказ известного писателя. Идея рассказа выражалась открыто: «Смелых убивают реже».

Дочитав до этого места, Майсурадзе пренебрежительно отбросил газету.

— Безответственная агитация!..

— Почему безответственная?

Он сузил и без того маленькие глаза, накалялся:

— Агитация должна видеть сегодняшний факт и завтрашний день... Твой писатель говорит себе и всем: это убиты не очень хорошие люди, среди них мало смелых. Так, да? А после войны он будет кричать: «Слава павшим!»

— Может же человек ошибиться!..

— Он такой маленький, он такой глупенький.. Ай-яй-яй.. Надо, чтоб здесь и чтоб здесь,— Майсурадзе ткнул себя пальцем в грудь и постучал по лбу,— тогда меньше будет ошибок. И пусть всякий, когда пишет, когда открывает рот, думает: а что я скажу завтра? — Он садился на своего конька.— Кончится война, и все увидят: нам не хватает смелых людей. Надо быстро воспитывать. А как? Правильно агитировать, правду говорить...

Мне не передать всех его изречений, не охватить многообразия его работы.

Ночью, например, Майсурадзе звонит в полк:

— Все ли в ротах обеспечены лопатами?

Почему вдруг о лопатах, завтра же наступление? Именно поэтому. Он вчитался в разведданные о противнике. В глубине вражеской обороны следует ждать контратак. Придется оказываться.

Общее внимание сосредоточено на предстоящем первом рывке. А Майсурадзе думает о малой саперной лопате.

И он — никто не сомневается — выяснит, сколько лопат в полку. Не хватает? Будут завезены еще затемно. В этом тоже не сомневаются. Кто-кто, а Арчил Семенович умел заставить достать то, что необходимо солдату. Пусть из-под земли.

Он пытался предусмотреть, предугадать все — и душевное состояние, и психологическую реакцию, любые мелочи.

— Общие факты нас слабо касаются,— кривился он,— мне надо, чтобы у каждого имелись чистые портянки!..

Ночью перед форсированием он обыкновенно обходил сбившихся кучками солдат. Выспрашивал, каждый ли умеет плавать.

Майсурадзе в вечной тревоге за бойца. Жив боец — накормлен ли, одет, обут. Ранен — получил ли помощь. Убит — захоронен ли, извещены ли родные.

После курских боев, после Красног Клина, когда прибыло пополнение 1925 года, на глазах у Майсурадзе один новичок сошел с ума во время бомбежки. Майсурадзе не мог прийти в себя от безумных воплей. Не обедал, никого не принимал, заперся в землянке. А он, начавший войну летом сорок первого, чего только не повидал!

...Месяца три я проработал в аппарате политотдела дни и ночи подле Майсурадзе. Погиб капитан Базарный. Я не успел опомниться, как стал инструктором по информации. Вначале нравилось. Из полков, отдельных подразделений поступали донесения, я их суммировал, с тем чтобы направить в политотдел армии (копия — в корпус). Написал первое донесение, принес на подпись. Майсурадзе камня на камне не оставил. Не все, что приходит из полков, следует принимать на веру. Монтажа мало, надо и анализировать. Боевую обстановку давать не по-газетному, а по-штабному.

Постепенно я освоился, знал, кому и в чем можно верить, кто сообщает вовремя, кто опаздывает, кто сам пишет, кто полагается на писаря, как, не задевая замполитского самолюбия, выяснить в полку что к чему.

Но Арчил Семенович не довольствовался обычными донесениями. Он хотел, чтоб подготавливались и специальные, по каким-либо отдельным темам. Чаще всего это касалось стрелковой роты, ее партийной организации.

Одно из таких донесений поручил Жаданову и мне. Мы покорпели, сочинили бумагу, положили перед Майсурадзе. Он нетерпеливо пробежал строчки, поднял прищуренные глаза:

— Кто вы есть? Все ни к черту. Боевую задачу и ту не сумели изложить.

Отправились в штаб, уточнили, заново переписали. Сколько раз мы перекраивали донесение, пока не увидели на лице Майсурадзе довольную улыбку.

— Когда люди стараются и проявляют упорство, они все могут.

Это тоже из его принципов: при упорстве все достижимо.

Он не делил сутки на день и ночь. В темноте у землянки окликнешь часового: не спит ли полковник?

— Разве ж они когда отдыхают?

Ему приходили на ум неожиданные задачи. Приказал мне, например, разобраться, что такое власовская пропаганда.

В начале войны гитлеровцы сами стряпали листовки. С 1943 года листовки, открытые письма, журналы выпускались с помощью власовцев и были куда коварнее, так как сочинялись людьми, сведущими в наших делах.

Я читал, составлял обзоры, докладывал. Но зачем?

Майсурадзе не понравился мой вопрос. !

— Посиди-ка на допросах власовцев.

Я посидел. В большинстве случаев история одинаковая: плен, голод, отчаяние, надежда как-то уцелеть, попав в РОА. Среди власовцев повальная слежка, взаимное недоверие. Позади немецкие пулеметы, впереди — наши. Советские самолеты сбрасывали обращение: при добровольной сдаче с оружием гарантируется свобода.

Майсурадзе велел мне послушать власовские радиопередачи.

Перед микрофоном паясничал Блюменталь-Тамарин пробавлялся антисемитскими анекдотами; его представляли по-цирковому: «Любимец московской публики, заслуженный артист республики».

Слышал я по радио и Власова — он выступал в Праге. Обозреватель комментировал из зала: «Здесь вы не услышите бурных аплодисментов, переходящих в овации, никто не вскакивает с диким изъятием восторга...»

Власовская литература хранилась в особой папке вместе с фашистскими листовками — советами по членовредительству (будешь втирать в глаза кашицу из сырого картофеля — они начнут гноиться, очень крепкий чай вызывает сердцебиение, можно спровоцировать флегмону, нарывы и т. д.). Для меня «открытые письма» Власова — он предпочитал этот жанр — мало чем отличались от таких рекомендаций. Мне все было внятно, меня удовлетворяли очевидные решения, я не разделял упорства начальника политотдела.

Теперь казись, кусай локти: о том-то не узнал толком, этого не довел до конца, того-то не видел. Не только рук не хватало — было еще какое-то бравое недомыслие, подхлестываемое вечной фронтовой горячкой...

В конце концов Майсурадзе удовлетворился собранными мною материалами и справками по власовской пропаганде: какая-то намеченная им для себя задача была решена. На свои вопросы он получил, видимо, ответы. Но не спешил ими делиться со мной. Он машинально кивал, не разжимая узких губ.

Когда я, завершая доклад, заикнулся о желании вернуться в редакцию, он так свирепо глянул на меня, что я проглотил язык.

Но я усвоил его же поучение: упорствуя, можно добиться своего.

Была у меня в запасе и козырная карта. По его настоянию я работал парторгом политотдела, а вскоре и управления дивизии («Люди должны расти»). С переводом в политотдел меня ни на что больше не хватало. Майсурадзе это видел.

Через некоторое время я почувствовал, что дурую от однообразных, будто из свинца отлитых формулировок. Признался в этом, бросил и козыря, приготовившись выслушать речь насчет анархизма, мальчишества, зазнайства и многого другого. Но ничего подобного не последовало.

— Правда не можешь, да?

Я уже ждал подвоха — слишком уж сочувственно переспросил.

— Подготовь очередное донесение и запрос на инструктора по информации... Запрос можно без копии в корпус.

...В послевоенные годы мы виделись не часто. Майсурадзе работал в Главном политическом управлении, ночами занимался — хотел заочно окончить Военно-политическую академию. Ему бы в войска. И не замполитом, а комиссаром...

Однако поблек он, как видно, не только поэтому. Подтачивали старые болезни. Лечиться же, отдыхать он не умел, не желал.

Давно уже нет в живых начальника политотдела 140-й Арчила Семеновича Майсурадзе, а в моих ушах звучит, наполняется неисчерпаемым смыслом: «Кто ты есть?»

#### «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ...»

Иван Никифорович Тупиков стоял на перроне в велюровой шляпе, из-за воротника толстого драпового пальто белела рубашка с галстуком, перевитым блестящими нитками.

Сквозь пыльное окно воскресной электрички, набитой грибниками, я смотрел на Ивана. Он выглядел неуместно торжественным среди мелькавших ковбоек, рюкзаков, гитар, бородатых лиц.

Поезд тронулся. Иван кивнул и пошел не оглядываясь. Начинался дождь.

Я провел у него весь день. Радиоприемник в комнате молчал, зато надрывалась трансляция в коридоре.

Разговор шел о том, о сем. В прошлое вклинивалось недавнее, пустяки путались с важным.

Несколько лет назад у Тупикова умерла дочь. Они с женой Людмилой Георгиевной растят внучку. Внучка в соседней комнате — дверь открыта — корпит над учебником. Потом бежит гулять. Нагулявшись, прибегает: «Ба, чего-нибудь поесть». Тонконогая, смуглая, азиатский разрез глаз.

Звонят в дверь. Почтальон принес посылку от зятя. Кетовая икра. Попробовали. Солоновата, но ничего.

Зять — кореец, живет на Сахалине, когда заезжает, готовит свою еду. Наварит кастрюльку риса, кастрюльку жирного бульона. Рис в бульон, мясом закусывает...

Понемногу перешли на другое. Иван пустился в философию:

— Человека убить — страшное дело, преступление. А тогда не считалось... Вася Фисатида нож держал наподобие кинжала. Не в ножички играл...

Произнося имя Фисатида, Тупиков чуть оживает. Василий командовал разведротой, он, Иван, — взводом инженерной разведки. Их вместе посылали на задания. Если же разведчики отправлялись одни, Тупиков со своими саперами обеспечивал им проход в заграждениях, минных полях.

— У меня в кармане лежали такие флажочки. Обозначал проход. Вася по тем флажочкам ползет... Я его фотографию двадцать пять лет берег. Гаркзвенко отдал. Обещал переснять.

Вмешалась Людмила Георгиевна:

— Напиши Гаркзвенко, вернет пускай.

Иван не ответил, продолжал свое. Припомнил, как под Езерной в немецком тылу подорвал мост, гитлеровский бронепоезд рухнул, на заднем ходу встал на дыбы.

— Уж и на дыбы?

— Не отрицаешь, бронепоезд был?

Отрицать не приходилось. Наши за ночь наводили переправу, подбрасывали на плацдарм пехоту. На рассвете, сотрясая землю, грохотал по рельсам немецкий бронепоезд, извергал потоки разноцветного пламени. Бурлила вода, доски плыли по быстрому Серету. А бронепоезд уползал в лес, затененный утренним туманом.

На нашем берегу накапливалась техника, на западном, на плацдарме, — таяла пехота.

Генерал Киселев произнес железную формулу: «Любой ценой».

Тупикова с двенадцатью саперами выбросили с самолета северо-западнее Тернополь. Следующей ночью полетел в воздух мост перед пятящимся бронепоездом.

На Серете Тупиков взорвал в общей сложности шесть мостов, чтоб не дать про-

тивнику отвести технику, артиллерию. Почти вся она попала в наши руки. За это его наградили орденом Александра Невского.

— Я строитель, а орден получаю за разрушение. Чудно, однако...

Я расспрашивал. Иван подолгу молчал, стараясь вспомнить,— подробности давались ему трудно.

— Ошибся я, неверно, что Саша Коблов подорвался на mine с Левого Тарасовым. Саша подорвался, Лева потом, за Саном... Они по одну сторону шоссе, мы в кювете — по другую. Лева упал. У меня на коленях умер... В сорок пятом я заходил к его родителям. На Фрунзенской набережной, ход со двора. Тяжело. Один у них сын. И к Кобловым ходил в Лаврушинский переулок... Бронепоезд на дыбы, мы по радио доложили: «Переправу можно строить. Обстрела не предвидится»...

Вспомнил: у Коблова был «умный навик» к взрывному делу, он разбирал любую мину, работал с любым детонатором. И другим умел объяснить устройство. Но и умного сапера караулит смерть.

Саперу-разведчику надо многое знать и уметь. Взрыв, диверсия — еще не все. Зашел в лес — разгляди, каков он, какие породы деревьев, диаметр ствола на уровне груди. Река — скорость течения, дно, берега, глина или песок, мосты...

Про войсковых разведчиков пишут повести, снимают кинокартины. Инженерных разведчиков редко балуют вниманием. Прозаическое это дело, будничное — стволы обмерять, вешки ставить. Но до чего же нужная на войне проза. И приключений на их долю хватало.

Взвод инженерной разведки — государство в государстве. Таких внутренних автономий в дивизии немало. Но инженерная разведка не только внутри, но и вне ее. Действовать взводу приходится и за пределами дивизии.

Офицерам в полках еще не розданы листки километровки с голубой лентой из угла в угол, а взвод инженерной разведки уже за Днпром, штабной радист дежурит на приеме.

Так полагается, так оно и было. Не с первого, правда, захода.

В кромешной ночной мгле резиновые лодки — на них двенадцать саперов во главе с лейтенантом Тупиковым — причалили к западному берегу Днепра. Задача: связь с гомельскими партизанами, разведка местности, подрыв объектов в ближнем тылу врага. Но едва солдаты спрыгнули на землю — навстречу в упор вспышки пулеметов.

Ивана ранило в руку. Как выбрались из огня, сами не ведают.

Доложили: задание не выполнено, рация брошена. Трое убиты.

Начальник инженерной службы майор Кряжев грозил разжаловать, штрафбатом — всем, чем грозят в подобных случаях.

— Хотели применить статью. И правильно,— соглашается сегодня Тупиков,— на фронте не положено, чтоб приказ был не выполнен.

До трибунала и разжалования не дошло. Инженерное начальство посоветалось с дивизионным и остыло. Приказали повторить все сначала. Саперную группу усилить разведчиками. У Тупикова восемь бойцов, у Фисатиди — четыре.

— Как насчет Фисатиди сказали, у меня на душе повеселело,— улыбается Иван.

Переправились в прежнем месте. Где шесть суток назад напоролись на пулеметы. Расчет оправдался; немцы ждали где угодно, но не здесь.

Как и намечалось, их встретили гомельские партизаны. Привели в свой штаб, радуются, обнимают, целуют. Самогон подносят. Разложили на столе карты. У партизан все разведано: склады боеприпасов, штаб, минные поля.

Во вражеском тылу надо загодя делать проходы для наших танков, снимать заграждения, за которыми укрылись сами партизаны. Укрылись прочно. Проволоку держат под током. незаметно подклячившись к линии.

Возле станции Василевичи Фисатиди залез на высоченное дерево. Место опасное, между первым и вторым эшелонами противника,— обзор как с самолета.

Тупиков стоит с автоматом внизу, Фисатиди с биноклем наверху. Вокруг по дорогам шныряют немецкие машины, гудят танки, артиллерия.

— Мы все по долгу службы разведчиками были, а Вася, он от бога. Это если допускать пережитки...

Помолчав, Тупиков вспоминает: Василий восемь часов просидел на дереве, вы-

сматривал, считал, записывал. Потом слез, размял руки, ноги, потоптался на месте. На его карте каждая дорога, высотка, лесок уже были не стандартно-условным обозначением, но реальным препятствием или подспорьем нашему предстоящему наступлению.

Когда приблизились к складу боеприпасов — два обшитых тесом барака, — Фисатиди и Саша Коблов сняли часовых. Фисатиди действовал кинжалом, у Саши финка.

Тупиков и остальные саперы обматывали бараки в три ряда детонирующим шнуром, привязывали противотанковые мины — чтоб уж наверняка. Тупиков велел ребятам отбежать метров на четыреста. Сам затаился в ямке, повернул ручку ПМ-2...

Иван оторвал от стола пухлую ладонь и воспроизвел резкое движение — будто крутанул подрывную машинку. Он оживился. Людмиле Георгиевне это не понравилось. Она осуждающе повернулась к мужу:

— Все о своих взрывах. Привел бы что-нибудь положительное... Злая я становлюсь, все не по мне. Раньше другая была. На фронте стихи сочиняла. Ночью, как все улягутся. Одно поместили в газете:

На переднем краю обороны,  
Там, где пули, снаряды свистят...

Дальше забыла. Большое стихотворение, вот столько места занимало. — Она развела руками, показала, как рыболовы показывают длину пойманной рыбы.

Иван вспоминал: грохот, словно земля лопнула, куски ее со свистом летят над головой, а у подрывника — счастье на душе, готов обнять кого попало.

— Я считаю, — уже как-то безразлично прикинул Тупиков, — снарядов там лежало — артполку хватило бы вести огонь две-три недели круглосуточно. А мы их — за секунду.

При таком предприятии — давай бог ноги. Но у Фисатиди свое правило. Пожар, светло — надо смотреть. И он полез на дерево.

Опять Иван внизу. Василий наверху. Высмотрел Василий. Две машины с замаскированными фарами мчали к месту происшествия. Разведчики и саперы мигом на дорогу. Сунули в мины взрыватели, присыпали землей — и тикать.

Оба грузовика грохнули с лету. Но когда дым и пыль улеглись, наши увидели, что не все немецкие солдаты погибли. Завязалась перестрелка. Василий заупрямился, не желая уходить без языка. Пока не нашли двух, не успокоился.

— Вишь, как получается: хотели разжаловать, применить статью, а дали Красное Знамя. Вася получил Александра Невского, Тарасов и Коблов — ордена Ленина. И прочих не обошли...

Его руки спокойно лежали на скатерти, белые, мягкие. Сам он, домашний, смиренный, бестрепетно произносил армейские фразы.

Я слушал, замороженный не только эпизодами, но и его почти бесстрастной, почти отсутствующей манерой рассказывать. Она несколько не убивала интерес, однако становилось почему-то печально, делалось не по себе...

Когда Тушков перечислял награды, Людмила Георгиевна откликнулась.

— Он ведь такой, — она осуждающе кивнула на мужа, — сказали в военкомате, два Александра Невских не положено, сдал один, честное слово, сдал. Пришел — дырка на гимнастерке...

Иван подождал, пока жена притихла, и безучастно продолжал рассказ.

Пленных привели к партизанам. Сняли допрос. По радиции доложили в дивизию. Оттуда передали: спасибо за службу, выполняйте следующую часть приказа.

Пришел черед гитлеровского штаба, расположенного в восьми километрах от Речицы...

Он вспоминал всякое.

За Дукельским перевалом, в немецком тылу Фисатиди спас Тупикова. Толкнул его то мгновение, когда немец-автоматчик нажимал спусковой крючок. У Фисатиди была снайперская наблюдательность, обостренный слух, мгновенная реакция.

— Не толкни он меня, мы б с тобой не вели теперь тары-бары.

В Карпатах Иван дважды докладывал генералу Свободе. Тот угощал его чаем.

Тупиков хотел рассказать, как это было. Но в памяти встало другое.

— Помнишь лошину, куда пошла кавалерия на помощь словакам? После нее мы той ложиной двигались. Кругом по склонам убитые лошади...

У него выступили слезы, и Людмила Георгиевна встала:

— Глаза на мокром месте. Верный признак — стареешь.

— Я лошадей всегда жалел, — будто оправдываясь, сказал Иван и замолчал.

Он устал от моих вопросов, встреч с прежним Тупиковым, с людьми, многих из которых давно нет среди живых.

Годы своевольничают, туманят факты, смещают их границы. Вдобавок старая контузия.

Во время разговора, как всегда в таких случаях, разложили фотографии. Одну Иван пододвинул ко мне:

— Не узнаешь?

— Нет, — ответил я.

И сразу понял свою оплошность. Людмила Георгиевна поспешила на выручку. Фотография, дескать, неудачная, совсем нетипичная.

Но фотография была удачная. На ней крепкий парень — гимнастерка трещит на плечах, — широконосый, густая шевелюра, глаза расширены. Не просто застыл перед аппаратом — ждет, напряженившись. Получит приказание — ветром сорвется, только его и видели.

Я смотрел на немолодого рыхловатого человека с короткой шеей, реденькими седыми волосами. Он сутулится, говорит заикаясь.

— После контузии слова не мог выдать, — объясняет Людмила Георгиевна, — застрянет на какой-нибудь букве. Бестактные люди даже смеялись. До пятьдесят второго года мучился...

Я никак не могу совместить их — Ивана, с которым сижу, и давнего, глядящего с пожелтевшей фотобумаги. Тот, вчерашний, так и остался там, в прошлом. До него уже не дойти, к нему не достучаться.

Такова участь не одного Тупикова, разве что тут контузия увеличила разрыв.

Для Ивана Никифоровича он сам вчерашний отстоял сейчас настолько далеко, что минутами его воспоминания звучали сказкой. «В некотором царстве, в некотором государстве...»

Но ведь не сказка. Иван Тупиков не Иван-царевич, он — завхоз дмитровского строительного техникума.

Все верно. Однако мне не избавиться от сознания: Ваню Тупикова, лихо командовавшего взводом инженерной разведки, я тогда толком не разглядел, что-то упустил. Значит, упустил навсегда...

Людмила Георгиевна принесла борщ, поставила тарелку с нарезанными помидорами. Иван содрал желтую головку со «столичной», изготовленной в городе Калуге.

После обеда вдруг надумал:

— Расскажу одну историю. Ладно уж. У нас был уговор. молчок, никому. Теперь можно раскрыть.

Взвод Тупикова вел инженерную разведку в полосе Тернополь—Львов. Обнаружил минные поля, обезвредил сотни мин, прихватив для отчета капсули. Все шло ладно. Даже удалось приспособить пленных для разминирования в их же тылу.

Но когда очень уж гладко, жди беды.

Тупиков со старшиной Арбуковым, рядовым Анисимовым и еще одним солдатом, фамилию которого он запомнил, действовал отдельной группой и угодил в плен.

— Как схватили? Как мы хватаем, так и нас...

Надели наручники и погнали. Привели в какой-то дом. Перед тем домом три виселицы. Внутри — русские, украинцы, казахи, литовцы. Выбодили по трою. Когда вешали, открывали ставни, чтоб из дому видно было. Потом закрывали. Темнота, теснота, духота. Многие ослабели. Но Тупиков и его ребята еще держались. Пока силы есть, надо действовать.

Иван ощущал простенок между окнами. Дом старый, доски гниловатые. Если скопом навалиться? Риска нет — так и так виселица.

Стена сперва не поддавалась, потом рухнула.

Началось невообразимое. На пленных бросились собаки. Парни отбивались наручниками.

К счастью, у немцев не было пулеметов и сами они из «тотальных». Вешать еще годились, но дрались слабовато. Пленным же терять нечего. Бились, как звери.

Сколько наших погибло, сколько немцев, Тупиков не подсчитывал. Предполагает, человек двадцать пять спаслось. Среди них трое из взвода.

В лесу разбрелись кто куда: одни хотели к партизанам, другие — перейти линию фронта, третьи — дожидаться прихода наших.

У Тупикова была цель — найти свой взвод. Но, прежде чем искать, условились: никому ни под каким видом не признаваться, что попали в плен, почти сутки провели в доме с закрытыми ставнями, что бежали, дрались.

Взвод нашли. Ни один из четверых не нарушил обещания.

— Не веришь? — уставился на меня Тупиков. — Арбуков, между прочим, проживает в Иркутске.

— Верю, Ваня.

— Думаешь, зря Иван тайну развел. Не зря. Разведчик не смеет в плен попадать...

Так вот ты какой был, простодушный парень с фотокарточки военных лет, какую тайну берег, сохранив себя и товарищей!

Мне предстояло еще раз убедиться: многое, очень многое из того, что случилось на фронте, оставалось неизвестным. Спустя годы выходя наружу, оно должно бы помочь преодолеть расстояние до «некоторого царства, некоторого государства». Но помогает ли? Не слишком ли невероятна при свете сегодняшнего дня его безусловная вчерашняя подлинность?<sup>5</sup>

Когда я собирался домой, Иван Никифорович надел пиджак, чтобы проводить на станцию, поправил галстук. В задумчивости остановился.

— Нравится мой галстук? — Он положил на ладонь черную ленту, прошитую поперек золотой ниткой, оценивающе поглядел на меня. — В Москве купил. Я тебе дорогой объясню, где магазин.

*(Окончание следует)*

---

<sup>5</sup> Уже после нашей встречи история пленения и побега И. Тупикова была рассказана на страницах дмитровской газеты «Путь Ильича». Он сам прислал мне номер от 7 октября 1969 года, где помещена его фронтовая фотография и заметка под названием «Человек из легенды».





# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. МИКОЯН



## НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ\*

### О МОНОПОЛИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА АВГУСТОВСКОМ (1922) ПЛЕНУМЕ ЦК ПАРТИИ. К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Сразу же после партийной конференции, 8 августа, состоялся очередной (августовский) Пленум ЦК партии. Помню, что большой интерес вызвал доклад Литвинова о международном положении. В его выступлении намечались кое-какие новые уступки капиталистическим государствам.

Однако Пленум не поддержал предложений докладчика и считал недопустимым вообще идти на какие-либо уступки дальше директив ЦК нашим делегациям на Генуэзской и Гаагской международных конференциях, принятых при участии Ленина. Другие конкретные предложения в области нашей международной политики Пленум передал на рассмотрение Политбюро.

Наиболее горячие споры развернулись по вопросу о нашей внешней торговле, в частности о путях дальнейшего расширения ее оборота, что стало тогда одной из важнейших государственных задач.

...Однако, прежде чем рассказать о характере обсуждения, считаю нелишним, отступив от личных воспоминаний, совершить хотя бы небольшой экскурс в историю этого вопроса.

Это, пожалуй, необходимо сделать по ряду причин.

Во-первых, с теоретической и политической точки зрения очень важно знать историю борьбы Ленина на разных ее этапах за монополию внешней торговли, и в особенности, конечно, в конце 1922 года, когда борьба эта приобрела наиболее острый характер. Правда, многое уже освещено в нашей литературе<sup>1</sup>, но не думаю, что имеющиеся работы полностью исчерпали тему.

Во-вторых, такой экскурс нужен и для того, чтобы облегчить в дальнейшем изложение моих мемуаров: ведь тогда, в 1922 году, я не мог и предполагать, что через четыре года, будучи только что избран кандидатом в члены Политбюро, буду совершенно неожиданно выдвинут Политбюро на пост наркома внешней и внутренней торговли. Я был тогда убежден, что не подготовлен для этой работы,

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир», 1972. №№ 9, 10, 11; № 7 с. г.

<sup>1</sup> Наибольший интерес в этом отношении представляет книга Л. В. Красина «Вопросы монополии внешней торговли». В ней подробно и разносторонне рассматривается монополия внешней торговли как с экономической, так и с политической точки зрения. Разработана организационная сторона этого дела: структура экспорта и импорта, методы осуществления монополии внешней торговли. Впервые книга издана более сорока лет назад. Она была опубликована в 1928 году с моим предисловием, написанным, когда я был наркомом внешней и внутренней торговли СССР.

Из опубликованного по этому вопросу за последние годы интересной представляется статья Д. М. Кукина «Ворьба В. И. Ленина за незыблемость государственной монополии внешней торговли», напечатанная в журнале «Вопросы истории КПСС» (№ 10 за 1963 год). В ней приведены факты и документы, до этого не опубликованные, важные для понимания борьбы вокруг монополии внешней торговли в 1922 году.

Высокой оценки заслуживает справочный материал в примечаниях ИМЛ при ЦК КПСС к пятому, наиболее полному собранию сочинений Ленина, относящийся к монополии внешней торговли. В томах содержатся ранее нигде не публиковавшиеся материалы, помогающие объективно осветить этот вопрос.

особенно в части внешней торговли, могу подвести партию и осрамиться. Поэтому, узнав о таком намерении Политбюро, стал категорически возражать против этого назначения. Получив все же решение, я опротестовал его в Политбюро, потом перед Пленумом ЦК, который, однако, отклонил мой протест и утвердил решение Политбюро. Пришлось подчиниться: «сработала» партийная дисциплина.

Пробыл я тогда наркомом четыре года, до разделения наркомата на два — внешней и внутренней торговли. Последний стал Наркоматом снабжения, во главе которого я и был тогда поставлен.

Осенью 1938 года, когда я стал заместителем Председателя Совнаркома СССР, ЦК партии предложил мне занять по совместительству пост наркома внешней торговли, с оставлением за мной всех других обязанностей заместителя Председателя Совнаркома. Я проработал наркомом (а позднее министром) внешней торговли до весны 1949 года, оставаясь и после этого — до 1964 года — ответственным за внешнюю торговлю как заместитель Председателя правительства СССР.

Таким образом, получилось, что фактически почти тридцать лет я оказался «привязанным» к делам внешней торговли и внешней экономической политики нашего государства.

Но тогда, в 1922 году, ничего этого я, конечно, не мог и предположить: внешняя торговля и ее проблемы были для меня областью неведомой. Многого я просто не знал и не понимал. Мне не были известны по этому вопросу очень важные документы и материалы, на которые я теперь ссылаюсь в своих воспоминаниях. Я имею в виду прежде всего ленинские письма и внутреннюю переписку между членами Политбюро по вопросам внешней торговли, относящуюся к периоду до 1922 года включительно. О многих из этих документов я узнал лишь после XX съезда партии.

Вот почему так необходимо, с моей точки зрения, «путешествие в прошлое». Хотя такое путешествие вроде бы и уводит от моих личных воспоминаний, тем не менее оно может представить определенный интерес для читателей...

Вопрос об организации государственной внешней торговли впервые возник у нас после победы Октябрьской социалистической революции.

В дореволюционной России не было единого специального органа, осуществлявшего внешнюю торговлю: все внешнеторговые операции велись частными русскими и иностранными капиталистическими фирмами. Некоторыми функциями регулирования внешней торговли занимались тогда экономические отделы министерств — иностранных дел, торговли и промышленности, — а также таможенная служба, входившая в систему министерства финансов.

В первые дни советской власти вопросы внешней торговли регулировал Петроградский военно-революционный комитет, рассматривавший заявки на ввоз и вывоз товаров и осуществлявший надзор за деятельностью таможи.

Первым актом вмешательства Советского правительства в дела внешней торговли явилось подписанное Лениным постановление Совнаркома, опубликованное 11 ноября 1917 года. В нем давалось разрешение на беспрепятственный ввоз из Финляндии отдельных сортов бумаги, картона и бумажной массы, а также некоторых конторских принадлежностей из бумаги. В постановлении указывалось, что поставка этих товаров должна производиться по действовавшим таможенным ставкам.

Вопрос об основах внешней торговли впервые был затронут на заседании Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) 9—12 декабря 1917 года. В результате было принято постановление, устанавливающее следующий временный порядок осуществления внешней торговли: «...а) воспретить вывоз из России продовольствия, в том числе даже уже находящегося в Архангельске чая и прочих продуктов; б) желательные для Швеции и других стран меха, персидские ковры и иные предметы роскоши выпускать с тем, чтобы Швеция и пр. разрешали вывоз в Россию соответственного количества машин, частей машин и иных предметов, необходимых для русских заводов; в) сырые материалы разрешать к

вывозу только после наведения справок в соответственных учреждениях и заинтересованных организациях о достаточном снабжении русской промышленности этими родами сырья; г) разрешать к ввозу в Россию только безусловно необходимые для русского хозяйства предметы; д) на ближайший месяц разрешения экспорта и импорта по всем прошением направлять только через экспортный отдел седьмого отдела ВСНХ...»

Этот порядок, опираясь на контроль таможенных органов, ограждал интересы отечественной экономики, препятствуя вывозу из России необходимых ей товаров и сырья и допуская ввоз только нужных стране машин, оборудования и других товаров.

Однако в постановлении ВСНХ ничего не было сказано, на кого возлагается осуществление внешнеторговых операций и на основании каких принципиальных положений эти операции осуществляются.

Первый общегосударственный акт о внешней торговле появился через два месяца после победы Октября. 29 декабря 1917 года Ленин подписал постановление СНК «О разрешениях на ввоз и вывоз товаров», которое по его телеграфному указанию вступало в силу с 1 января 1918 года. В нем было сказано, что государство берет в свои руки исключительное право выдачи разрешений на ввоз и вывоз за границу всех без исключения товаров. Непосредственное исполнение этих функций возлагалось на отдел внешней торговли Народного комиссариата торговли и промышленности.

Нарушения установленного порядка ввоза и вывоза товаров признавались контрабандой, преследуемой по всей строгости законов республики, а таможенные учреждения под страхом уголовной ответственности обязывались «не выпускать за границу и не впускать из-за границы товары без предъявления таковых разрешений».

Таким образом, был создан строгий режим разрешительной системы на ввоз и вывоз товаров в отношении всех стран, а также определены государственные органы, один из которых был уполномочен на выдачу таких разрешений, а на другой возлагалась ответственность за соблюдение установленного режима на границах.

Это постановление определило предварительную стадию подготовки условий для передачи всего дела внешней торговли в руки Советского государства.

Надо сказать, что такая система применялась и применяется также и в некоторых буржуазных государствах. Чаще всего к ней прибегают в условиях войны. В мирное же время подобная система применяется обычно в отношении ряда товаров, ограничивая их ввоз или вывоз в те или иные страны или даже группы стран по соображениям и экономическим и политическим<sup>2</sup>.

Принцип национализации государственной монополии внешней торговли (или «монополии на внешнюю торговлю») до Октябрьской революции не разрабатывался в марксистской литературе как часть экономической политики социализма. По крайней мере, я не встречал ни одного высказывания на эту тему.

Это вовсе не означает, что Ленина не беспокоила проблема внешней торговли в будущем социалистическом государстве, хотя до перехода власти к большевикам он и не касался в своих произведениях национализации внешней торговли. После победы Октября стало ясно, что Ленин рассматривал этот вопрос как часть проблемы национализации банков и промышленности, поскольку эти две отрасли экономики в основном контролировали внешнюю торговлю.

Как известно, Ленин, твердо стоя на позициях национализации промышленности до Октября и в первые месяцы после него, добивался вначале в качестве переходной меры лишь рабочего контроля на частных промышленных предприя-

<sup>2</sup> После второй мировой войны, с началом «холодной войны», США ввели дискриминационный порядок лицензий — разрешений (фактический запрет) ввоза отдельных товаров из СССР и других социалистических стран, а также вывоза в эти страны так называемых стратегических товаров. Как известно, некоторые страны НАТО под давлением США заключили между собой дискриминационное в отношении социалистических стран соглашение, которое определяет список запрещенных к вывозу в эти страны так называемых стратегических товаров. К началу 70-х годов из европейских стран только Англия, и то в ограниченной степени, придерживалась этого соглашения.

тиях. В тех случаях, когда капиталисты фактически саботировали нормальное ведение производства или по тем или иным причинам закрывали предприятия, декретами СНК не раз принимались решения о конфискации таких предприятий.

Как я понимаю, Ленин предвидел, что в ходе осуществления рабочего контроля над производством пролетариат выдвинет из своей среды и нужных организаторов производства, а к этому времени окрепнет и власть Советов. Следовательно, Ленин как бы выжидал созревания условий для осуществления национализации, не проявлял коропливости, чтобы с меньшим ущербом для самого производства провести эту коренную социальную ломку.

Мне кажется, подобного же рода соображения и объясняют, почему декрет о национализации (монополии) внешней торговли издан только в апреле 1918 года.

Идея монополии внешней торговли в Советском государстве созрела у Ленина несколько раньше, это видно из некоторых документов, опубликованных много лет спустя.

Первые мы находим упоминание об этом в записке Ленина «О проведении в жизнь социалистической политики в области финансов и экономики» от 27 ноября 1917 года. В одном из разделов записки («Основные вопросы экономической политики») первым пунктом значится «национализация банков», вторым — «принудительное синдцирование»<sup>3</sup> и третьим — «государственная монополия внешней торговли»<sup>4</sup>. (Разрядка моя.— А. М.)

Второй ленинский документ написан не ранее 27 ноября 1917 года. Это «Набросок программы экономических мероприятий», в котором также первым пунктом указана «национализация банков», шестым — «государственная монополия на внешнюю торговлю» (разрядка моя.— А. М.) и седьмым — «национализация промышленности»<sup>5</sup>.

Впервые оба документа напечатаны в 1933 году в XXI Ленинском сборнике.

В третий раз о монополии внешней торговли Ленин упомянул в 1917 году (не ранее 14 декабря) в «Наброске проекта декрета о проведении в жизнь национализации банков и о необходимых в связи с этим мерах». В последнем пункте «Наброска» записано: «Внешняя торговля объявляется монополией государства»<sup>6</sup>.

Однако нельзя считать случайностью, что этот пункт не включен в декрет «О национализации банков», опубликованный 17 декабря 1917 года. Факт этот может служить лишь подтверждением того, что Ленин сознательно оттягивал момент национализации внешней торговли.

В апреле 1918 года Ленин решает, что время для осуществления государственной монополии внешней торговли наступило.

С 13 по 26 апреля 1918 года он работал над окончательным вариантом своей исторической программной статьи «Очередные задачи Советской власти», опубликованной в «Правде» 28 апреля 1918 года. В ней Ленин определил экономическую политику пролетариата после победы революции на пути к социализму. Не ставя еще вопроса о национализации промышленности, он излагает здесь свой взгляд на «монополизацию внешней торговли»:

«Укрепить и упорядочить те государственные монополии (на хлеб, на кожу и пр.), которые уже введены, — и тем подготовить монополизацию внешней торговли государством; без такой монополизации мы не сможем «отделаться» от иностранного капитала платежом «дани»...»<sup>7</sup>.

Ленин подробно не развивает в своей статье положения, связанные с монополией внешней торговли, поскольку одновременно работает над проектом декрета по этому вопросу, который публикуется 23 апреля 1918 года, за пять дней до выхода в свет статьи «Очередные задачи Советской власти».

<sup>3</sup> Имеется в виду принудительное объединение промышленности в отраслевые синдикаты.

<sup>4</sup> Ленинский сборник, стр. 106—107.

<sup>5</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 124.

<sup>6</sup> Указанный «Набросок проекта декрета...» впервые опубликован в 1957 году в книге «Декреты Советской власти» в качестве подготовительного материала к декрету «О национализации банков» (см. «Декреты Советской власти», 1957, т. 1, стр. 226).

<sup>7</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 183.

В декрете «О национализации внешней торговли» сказано, что «вся внешняя торговля национализируется. Торговые сделки по покупке и продаже всякого рода продуктов (добывающей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и пр.) с иностранными государствами и отдельными торговыми предприятиями за границей производятся от лица Российской Республики специально на то уполномоченными органами. Помимо этих органов, всякие торговые сделки с заграницей для ввоза и вывоза воспрещаются».

Органом, ведающим национализированной внешней торговлей, объявлялся существовавший тогда Народный комиссариат торговли и промышленности. Для организации ввоза и вывоза при этом наркомате учреждался совет внешней торговли, в состав которого входили представители многих центральных ведомств и органов руководства промышленностью и торговлей, профессиональных союзов, кооперации и центральных внешнеторговых организаций.

В функции совета входило составление и исполнение плана товарообмена с заграницей, утверждаемого наркоматом. Совету вменялась в обязанность также организация закупок товаров через центры отдельных отраслей промышленности, а также через кооперативы, собственные торговые фирмы и сеть представителей для вывоза товаров за границу. Организация закупок за границей должна была проводиться через государственные закупочные комиссии и агентов, кооперативные организации и торговые фирмы. Установление цен на вывозимые и ввозимые товары возлагалось на этот же совет.

Председателем совета внешней торговли являлся представитель Народного комиссариата торговли и промышленности, избиравшийся общим собранием совета.

Надо сказать, что в период разработки декрета о национализации внешней торговли появился ряд проектов, в которых выдвигалась идея передачи функций внешней торговли непосредственно производственным организациям. Однако в декрете не случайно указано, что внешнеторговые операции могут осуществляться лишь специально на то уполномоченными организациями. В 1922 году в тезисах ВСНХ вновь выдвигалось предложение о передаче внешнеторговых операций за границей непосредственно производственным организациям, но оно тоже не было принято.

Начало массовой национализации наиболее крупной промышленности и транспорта было положено декретом правительства РСФСР от 28 июня 1918 года, в котором говорилось, что делается это «в целях решительной борьбы с хозяйственной и продовольственной разрухой и для упрочения диктатуры рабочего класса и деревенской бедноты...»<sup>8</sup>.

После национализации промышленность перешла в ведение ВСНХ, где ее объединили по отраслевым синдикатам, осуществлявшим снабжение промышленных предприятий необходимым сырьем, а также организующим сбыт их готовой продукции, то есть выполнявшим фактически значительную часть внутренней, главным образом оптовой, торговли.

В связи с этим коренным образом изменился объем и характер работы Наркомата торговли и промышленности, который приобрел характер государственного органа, руководившего преимущественно нашей внешней торговлей.

13 ноября 1918 года наркомом торговли и промышленности РСФСР назначили Льва Борисовича Красина — одного из выдающихся советских государственных деятелей, ставшего потом, в 1920 году, первым наркомом внешней торговли<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам». Политиздат. 1957, т. 1, стр. 79—84.

<sup>9</sup> Будучи наркомом торговли и промышленности, а затем и наркомом внешней торговли, Л. В. Красин одновременно, по совместительству, в 1919—1920 годах был наркомом путей сообщения. Кроме того, он являлся в 1920—1921 годах председателем российской торговой делегации в Лондоне, а позднее работал полпредом и торгпредом в Англии (1921—1923), полпредом СССР во Франции (1924—1925) и вновь полпредом СССР в Англии (1925—1926). После создания объединенного Наркомата внутренней и внешней торговли СССР (конец 1925 года) Красина назначили заместителем наркома. Умер он в 1926 году.

В самый разгар гражданской войны был принят еще один декрет Совнаркома — «О мерах к проведению национализации внешней торговли», опубликованный 6 мая 1919 года за подписью Ленина.

Появление его вызвано главным образом тем, что в условиях действовавшего декрета о национализации внешней торговли иностранным компаниям все же удавалось в обход его провозить в РСФСР товары и спекулировать ими. Громоздкий же аппарат Наркомата торговли и промышленности неудовлетворительно контролировал соблюдение всех строгостей при совершении внешнеторговых сделок, установленных правительством. Более того, пользуясь правами, предоставленными ему декретом, аппарат наркомата сам совершал сделки по ввозу и вывозу товаров, исходя из ведомственных потребностей, нередко противоречивших общегосударственным интересам.

Нельзя забывать, что подавляющее большинство служащих наркомата тогда составляли бывшие чиновники царского министерства по делам торговли и промышленности: именно в этом и коренилась социальная основа бюрократических извращений, злоупотреблений и саботажа, сохранившихся в работе уже нового, советского Наркомата торговли и промышленности.

Во вновь изданном декрете предусматривались еще более строгие меры против нарушителей порядка внешней торговли, установленного Советским правительством. К примеру, товары, ввезенные в РСФСР иностранными фирмами или частными лицами без надлежаще оформленных разрешений, подлежали конфискации. Все договоры на покупку товаров за границей, подписанные в обход установленного законом порядка, считались недействительными.

Новый декрет развивал старый («О национализации внешней торговли») — устанавливался двойной контроль за заключением внешнеторговых сделок и платы по ним иностранным агентам. Предусматривалось, что все договоры по внешнеторговым сделкам должны предварительно представляться в Наркоминдел и подписываться лишь при отсутствии возражений с его стороны.

Уплата иностранным контрагентам запрещалась. Средства, получаемые от реализации внешнеторговых сделок, должны были вноситься на текущий счет Наркомата торговли и промышленности, а непосредственные денежные платежи с этого счета могли производиться в каждом отдельном случае с ведома НКВД.

Эта система усложняла, конечно, заключение внешнеторговых сделок. Однако обстановка гражданской войны, интересы государства и необходимость пресечения возможных злоупотреблений вынуждали тогда пойти на такую чрезвычайную меру. Двойной контроль сохранялся чуть больше года (до июня 1920 года).

Буквально с каждым днем все настоятельнее назревала задача создания специального Наркомата внешней торговли.

Вопрос этот представляет определенный интерес, и о нем следует сказать особо.

Если принцип национализации внешней торговли, объявленный 23 апреля 1918 года, твердо проводился во всех государственных актах, то с чисто организационной, практической стороны с этим делом все обстояло несколько иначе.

Не сразу удалось создать устойчивый общегосударственный орган с вполне определенными функциями и полномочиями по осуществлению монополии внешней торговли. И только декрет «Об организации внешней торговли и товарообмена РСФСР» от 8 июня 1920 года внес необходимую ясность.

Надо сказать, что уже в постановлении СНК РСФСР от 19 сентября 1918 года, подписанном Лениным, упоминается Комиссариат по внешней торговле<sup>10</sup>. Но никакого решения о создании такого комиссариата или о переименовании существующего наркомата тогда не приняли.

Только декретом ВЦИК об упрощении гражданского аппарата советской власти, опубликованном 28 декабря 1919 года, Наркомат торговли и промышленности преобразовали в Народный комиссариат внешней торговли.

Правда, какое-то время после этого декрета оба наркомата продолжали су-

<sup>10</sup> Постановление СНК РСФСР «О запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины» (СУ, 1918, ст. 751).

ществовать как бы параллельно. Об этом свидетельствуют даже некоторые правительственные акты первой половины 1920 года<sup>11</sup>.

Но практически с января 1920 года все постановления и приказы по вопросам внешней торговли издавались от имени Народного комиссариата внешней торговли, хотя официальной датой образования Наркомвнешторга принято считать 8 июня 1920 года — день подписания Лениным декрета «Об организации внешней торговли и товарообмена РСФСР», согласно которому Народный комиссариат торговли и промышленности окончательно сливался с Народным комиссариатом внешней торговли.

Декрет появился, когда Деникин, Юденич и Колчак были уже разбиты. Белогвардейский очаг оставался только в Крыму. В стране начиналось восстановление хозяйства. Возросло число торговых сделок с иностранными государствами. Наступил период широких торговых взаимоотношений с границей.

Декрет четко определил структуру государственных органов внешней торговли, наметил ясную линию по осуществлению монополии внешней торговли. В нем указывалось, что он издан «в развитие, дополнение и соответствующее изменение всех ранее изданных декретов и постановлений об организации внешней торговли и товарообмена РСФСР».

Отныне все вопросы внешней торговли возлагались исключительно на Наркомат внешней торговли, которому как единственному уполномоченному на то органу республики предоставлялось монопольное право вести все торговые сношения с иностранными государственными и частными учреждениями, торговыми и промышленными предприятиями и отдельными лицами и осуществлять через подчиненные ему органы все операции, связанные с ввозом и вывозом товаров.

Никто не имел права осуществлять какие-либо внешнеторговые операции в стране без «предварительного согласия и разрешения НКВТ или соответствующих его заграничных органов и на устанавливаемых ими основаниях». Любые предложения, поступающие из-за границы, о ввозе или вывозе товаров должны были направляться на рассмотрение и решение Наркомвнешторга. Учреждения, организации, предприятия и отдельные лица за оплату товаров заграничного происхождения без ведома и предварительного согласия НКВТ подвергались «особой ответственности, как за расхищение имущества Республики».

При НКВТ учреждался межведомственный совет внешней торговли, в обязанности которого входило составление общего плана внешней торговли и разрешение «всех общих и частных вопросов, возникающих в практике НКВТ, требующих обсуждения с точки зрения междуведомственных интересов».

Такая монополизация внешней торговли была еще более усилена декретом Совнаркома, подписанным Лениным немного позднее, 12 ноября 1920 года, где прямо сказано, что «все грузы, привозимые из-за границы и вывозимые за границу, считаются грузами, принадлежащими Наркомвнешторгу».

В теоретической разработке монополии внешней торговли и при ее практическом осуществлении Ленин проявлял заботу как об охране экономической независимости страны от иностранного капитала, так и о создании принципиально новой и более рациональной системы внешней торговли, содействующей быстрому росту производительных сил и раскрытию преимуществ социалистической организации народного хозяйства.

Осуществление монополии внешней торговли через Наркомвнешторг или под его руководством имело еще и другое значение.

Представители областных экономических совещаний, получившие право ведения внешнеторговых операций за границей через своих уполномоченных, были, естественно, подвержены влиянию местных интересов. Ведомства или отрасли хозяйства, осуществлявшие торговые операции за границей через своих пред-

<sup>11</sup> К примеру, декрет СНК РСФСР от 3 февраля 1920 года «Об учреждении государственного хранилища ценностей РСФСР» (СУ, 1920, ст. 69) и др.

ставителей, неизбежно подпадали под влияние ведомственных интересов, которые часто могли расходиться с общегосударственными.

Наркомвнешторг же не представлял ни одну из отраслей хозяйства и являлся поэтому как бы «вневедомственным» наркоматом, отстаивавшим общегосударственные интересы.

Следует также сказать, что успешное осуществление внешней торговли и отстаивание монополии внешней торговли требуют специфического подбора кадров. Это не значит, что для внешней торговли нужны только технически и экономически образованные люди: они есть во всех ведомствах. Но сама внешняя торговля в отличие от производства и внутренней торговли требует дополнительных, особых знаний, приобретаемых на практической работе в специализированном внешнеторговом аппарате.

Это лучше всего обеспечивал Наркомвнешторг, куда подбирались кадры, как и для Наркоминдела, особенно тщательно из наиболее верных и подготовленных для внешнеторговой работы партийных работников и специалистов. И не случайно созданные впоследствии учебные заведения — Институт внешней торговли и Академия внешней торговли стали кузницей подготовки кадров для осуществления на практике монополии внешней торговли.

В 1920 году принимается ряд мер по укреплению материально-технической базы Наркомата внешней торговли в связи с тем, что в период гражданской войны, когда внешняя торговля велась в ничтожных размерах, склады таможенного ведомства заняли разные учреждения для своих нужд. Теперь, при переходе к мирному строительству и в предвидении роста внешнеторгового оборота, Советское правительство принимает меры по укреплению прежде всего складского хозяйства НКВТ.

В подписанном Лениным в сентябре 1920 года специальном постановлении СНК о порядке и сроках освобождения таможенных складских помещений устанавливался порядок, согласно которому «таможенные склады должны обслуживать исключительно нужды Народного комиссариата внешней торговли».

Во время войны незначительные закупки товаров за границей оплачивались нами в большинстве случаев золотом. Теперь в связи с предстоящим ростом таких закупок возникла задача найти иные источники их оплаты, прежде всего за счет вывоза своих товаров.

Заботясь об этом, Ленин обратил внимание на создание прежде всего фонда лесоматериалов, составлявших всегда в мирное время один из наших основных экспортных товаров.

В конце ноября 1920 года за подписью Ленина появляется специальный декрет СНК РСФСР «О мерах к развитию лесоэкспорта».

В целях пополнения фонда товаров для экспорта правительство в том же году принимает решение о бронировании за Наркомвнешторгом всех золотых чаш, находившихся в распоряжении Наркомфина и других учреждений.

К окончанию гражданской войны Ленин вновь возвращается к вопросу о режиме внешней торговли и в декабре 1920 года подписывает декрет «О ввозе из-за границы и обратном вывозе за границу иностранных товаров».

Впредь до возобновления нормальных торговых отношений с иностранными государствами вновь подтверждались и окончательно уточнялись не допускающие никаких отступлений, очень строгие правила монополии внешней торговли.

Учитывая исключительно тяжелое положение в стране, вызванное войной, неурожаем и наступившим голодом, Советское правительство решает безотлагательно закупить хотя бы минимальное количество продовольствия и некоторые другие крайне необходимые тогда товары за границей.

В качестве экстренной меры, принятой для улучшения снабжения рабочих продовольствием и предметами первой необходимости, СТО под руководством Ленина принимает в конце февраля 1921 года решение «ассигновать для этой цели фонд в размере до десяти миллионов рублей золотом и поручить Народному Комиссариату Внешней Торговли послать делегацию за границу для закупки со-



ответствующих предметов немедленно, со включением в делегацию представитель Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов».

Но золота в стране было мало, и, чтобы покрыть валютные затраты по всем этим закупкам, Ленин подписывает декрет СНК РСФСР «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли», которым Наркомвнешторгу предоставлялось право отбирать для продажи за границей на валюту художественные ценности, предметы роскоши и старины, находившиеся во всех складах, магазинах и вообще каких бы то ни было хранилищах.

При этом, несмотря на крайнюю нужду в валюте, Ленин специально предупреждает о необходимости не допустить вывоза за границу подлинно художественных, исторических ценностей, составляющих национальное достояние народов нашей страны.

В декрете четко сказано, что он не распространяется на «музеи республики и хранилища государственного музейного фонда». Более того. Даже в отношении тех ценностей, на которые декрет распространялся, окончательное решение об их вывозе и продаже за границей Наркомвнешторг не мог принимать единолично. Для этого создали специальную комиссию, состоявшую из представителей Наркомпроса, Наркомфина и Наркомвнешторга.

Примечательно, что комиссаром комиссии по выявлению художественных ценностей в Петрограде, где эти ценности имелись в большом количестве, назначили Марию Федоровну Андрееву, жену Максима Горького. Андреева возражала против этого назначения. Тогда Ленин, хорошо ее знавший, заявил, что «она справится с этой ролью так же хорошо, как со многими другими, которые ей приходилось играть в партийной работе»<sup>12</sup>.

И действительно, Андреева провела неоценимую работу по выявлению, изучению и отбору национализированных произведений искусства, многие из которых, представляющие особую ценность, были потом переданы на вечное хранение в Эрмитаж, Русский и ряд других наших государственных музеев, а какая-то их часть поступила в распоряжение НКВТ. По окончании этой работы, в апреле 1921 года, Андреева командирована в Германию для продажи отобранных на экспорт художественных ценностей с наибольшей выгодой для нас, поскольку мы очень нуждались тогда в валюте. В течение восьми лет она успешно заведовала художественно-промышленным отделом советского торгпредства в Берлине.

Я застал ее на этом посту, будучи наркомом внешней и внутренней торговли СССР. Это была очень умная, энергичная и высокообразованная коммунистка. У меня сохранились о ней самые лучшие воспоминания...

...И все же золота, необходимого для закупок товаров за границей, по-прежнему не хватало. Ленин проявляет огромную заботу о всемерном расширении фонда экспортных товаров.

В августе 1921 года он подписывает декрет «О порядке заготовки кожевенного сырья и козовчины», в котором предусматриваются специальные меры по созданию для экспорта фонда кожевенного сырья, образуемого за счет отчислений от собираемого Наркомпродом натурального налога, а также специальных заготовок путем товарообменных операций, производимых главным образом Центросоюзом и его местными органами, артелями и другими организациями и частными лицами по соглашению с Центросоюзом. Весь образуемый таким образом товарный фонд кожевенного сырья передавался непосредственно Наркомвнешторгу для расширения его внешнеторговых операций.

Одновременно за подписью Ленина принимается постановление СНК РСФСР «О создании экспортного фонда», в котором образование такого фонда из сырья, полуфабрикатов и изделий рассматривалось как создание основного источника получения валюты, необходимой для выполнения импортных планов страны. Перед Наркомвнешторгом и планирующими государственными органами ставится задача «при определении количества сырья, полуфабрикатов и изделий в экспортный фонд и выработке экспортных планов... исходить из того, чтобы стоимость импор-

<sup>12</sup> М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. М. «Искусство». Изд. 2-е, дополненное 1963, стр. 590.

тируемых в РСФСР товаров по возможности покрывалась суммами, вырученными от продажи экспортных товаров».

Тем самым Наркомвнешторгу поручалось в ближайшее время добиться такого платежного баланса внешней торговли, который по возможности не имел бы пассива.

Это постановление имело большое значение еще и потому, что заинтересовывало непосредственно заготовительные и производственные организации в расширении поставок товаров на экспорт, потому что одновременно в зависимости от объема экспортных поставок для них устанавливался и план поступления к ним импортного оборудования и материалов, необходимых им для обеспечения этих поставок.

В постановлении СНК, подписанном Лениным в октябре 1921 года, «О порядке государственной заготовки льна, пеньки, шерсти и других волокон» предусматривалось дальнейшее расширение фонда экспортных товаров за счет этих волокон, являющихся очень ценным сырьем и для отечественной промышленности и для экспорта.

Важное значение во внешней торговле еще дореволюционной России имел экспорт пушнины. Природные богатства России в этой области не могли идти в сравнение ни с одной другой страной. Поэтому Ленин не раз ставит вопрос о более широком использовании пушнины как ходкого экспортного товара.

В сентябре 1921 года принимается постановление СНК «О порядке заготовки пушнины», а в январе 1922 года появляется новое, более развернутое постановление правительства по этому же вопросу.

Права ВСНХ как заготовителя пушнины значительно ограничиваются: наиболее богатые районы данного промысла отводятся уже непосредственно НКВТ.

Органы ВСНХ обязываются по требованию НКВТ передавать ему со складов своих заготовительных организаций всю годную для экспорта пушнину. Со своей стороны, НКВТ обязан передавать ВСНХ для внутренних нужд всю ту пушнину (из собственных заготовок), которая не годна для экспорта.

Результаты проведенных мероприятий не замедлили сказаться на росте нашего экспорта.

Общий экспорт (в тыс. руб.) <sup>18</sup>	
1921 год . . . . .	20 195
1922 » . . . . .	81 621
1923 » . . . . .	205 818

Большой рост экспорта в 1923 году объясняется началом экспорта хлебопродуктов, составивших в этом году 107 125 тысяч рублей, то есть более половины годовой суммы всего экспорта.

Вместе с тем следует сказать, что общий уровень нашего экспорта оставался все еще очень и очень низким...

В феврале 1921 года ВЦИК принимает специальное постановление, предписывающее местным органам строго придерживаться правил монополии внешней торговли, установленных в 1920 году декретом СНК РСФСР, по которому внешняя торговля «по всей территории России и входящих в состав Всероссийской Федерации Автономных Республик исключительно подведомственна Народному Комиссариату внешней торговли РСФСР и подчиненным ему органам».

Через месяц после этого Ленин подписывает декрет Совнаркома «О плановых комиссиях», в одном из разделов которого — о внешней торговле — сказано, что «план внешней торговли как по экспорту, так и по импорту разрабатывается Советом внешней торговли при НКВТ и устанавливается СТО...».

В ту пору этот совет возглавлял уже нарком внешней торговли, а в состав совета входили еще пять человек — по одному представителю от ВСНХ и от Наркоматов: путей сообщения, продовольствия, земледелия и финансов.

<sup>18</sup> Суммы экспорта указаны по довоенным ценам («Внешняя торговля Союза ССР за 10 лет». Сборник материалов, изд. НКТ СССР, 1928, стр. 302—303, 310—316).

Декрет об упорядочении планирования в наркоматах имел вообще особое значение для внешней торговли. Кроме уже сказанного, в нем предусматривалось упразднение Главного комитета по внешней торговле при ВСНХ с передачей его экспортного отдела и экспортных бюро в Наркомвнешторг. Тем самым фактически ликвидировался параллельный центр руководства внешней торговлей, существовавший до этого в ВСНХ, и еще больше укреплялась монополия внешней торговли, практическое осуществление которой возлагалось исключительно на НКВТ.

В связи с подписанием первого торгового соглашения с Великобританией в начале апреля 1921 года за подписью Ленина принимается решение правительства, определяющее перечень тех морских портов, которые подлежали немедленному открытию для торговли с Великобританией, а также обязывающее Наркомвнешторг и другие государственные организации принять все меры «к облегчению возобновления торговли с Англией» путем подготовки оборудования этих портов, таможенно-складских помещений, тоннажа, транспортных средств, а также «сбора и сортировки требуемых для Англии сырья и экспортных товаров».

О том, какое большое значение придавал Ленин монополии внешней торговли, свидетельствует еще один знаменательный факт.

Еще до образования СССР было достигнуто совместное осуществление внешней торговли всеми независимыми советскими республиками на основании договоров о военном и хозяйственном союзе, заключенных с ними РСФСР по инициативе Ленина.

На Украине, например, учредили должность специального уполномоченного Наркомвнешторга, который должен был, сочетая внешнеторговые интересы Российской Федерации и Украины, проводить на ее территории и за границей все внешнеторговые операции, относящиеся к его компетенции. В особом положении, изданном СНК в июле 1921 года за подписью Ленина, предусматривалось, что уполномоченный НКВТ входит в состав СНК Украины на правах народного комиссара. При нем учреждалось Управление уполномоченного и коллегия. Ему были подчинены все внешнеторговые органы на территории Украины; он разрешал все разногласия, возникавшие за границей между представителями Украины и уполномоченными НКВТ в данной стране.

Ленин неукоснительно следил за соблюдением установленных правил внешней торговли, требуя строжайшего наказания виновных в нарушении этих правил. В ноябре 1921 года за его подписью издается постановление СНК «О взысканиях за нарушения таможенных постановлений». В нем приводится, в частности, довольно большой перечень правонарушений, за допущение которых ответственные лица транспорта (капитаны судов, старшие кондуктора железнодорожных поездов, возчики) должны караться денежным штрафом до 1 500 тысяч рублей (в дензнаках того времени), а в отдельных случаях с нарушителей мог быть взыскан штраф в размере полной стоимости товара.

В первые годы после революции, а также в период гражданской войны внешняя торговля у нас не только не развивалась, но была доведена до минимума. Многочисленные внешнеторговые сделки проводили наши полпреды и другие советские работники, находившиеся за границей (Литвинов, Красин, Иоффе и другие).

Бывали случаи — и не один раз, — когда товары, закупленные нами за границей, конфисковывались. А между тем потребность в некоторых заграничных товарах была чрезвычайно острой.

Различные авантюристы в погоне за наживой контрабандным путем провозили эти товары и стремились сбывать их нам по бешеным спекулятивным ценам.

Чтобы как-нибудь урегулировать создавшееся положение, Наркомат торговли и промышленности организовал на северо-западной границе ряд пограничных закупочных пунктов, где агенты наркомата закупали у частных торговцев наиболее необходимые заграничные товары.

Победы Красной Армии на фронтах гражданской войны и растущее возмущение рабочих Западной Европы политикой своих правительств в отношении Рос-

сии к концу 1919 года изменили обстановку: США, Англия, а затем и Италия декларируют свой отказ от продолжения торговой блокады России.

Выступая 9 февраля 1920 года с речью на беспартийной конференции, Ленин говорил: «В Италии дошло до того, что съезд социалистических партий единогласно принял резолюцию о снятии блокады с Советской России и возобновлении с нею торговых сношений»<sup>14</sup>.

Когда уже кончалась иностранная интервенция, верховный совет держав Антанты на заседании 16 января 1920 года рассмотрел вопрос «восстановления торговых операций с русским народом без официального признания Советского правительства»<sup>15</sup> и принял решение о заключении торгового соглашения с «русскими кооперативами».

Присутствовавший на этом заседании представитель Франции Бартелло откровенно заявил, что было бы чрезвычайно важно установить торговлю непосредственно с русскими крестьянами: в случае успеха это оказалось бы, сказал он, вообще лучшим путем для «уничтожения большевизма».

Предложение о торговле «с русскими кооперативами» было нами принято, поскольку в ту пору было важно хотя бы таким путем установить торговые связи с крупнейшими странами Западной Европы. При этом, естественно, монополия внешней торговли приобретала особое значение.

За границу выехала делегация нашего Центросоюза. Она заключила соглашение о товарообороте сперва с итальянской кооперацией а затем и со шведским концерном.

Вот что рассказывал потом об этой поездке Красин: «Советская власть приняла предложение и откликнулась на него несколько своеобразно, послав под видом делегации Центросоюза видных советских работников и коммунистов, поставив во главе делегации народного комиссара»<sup>16</sup>.

Несмотря на формальное снятие экономической блокады, внешняя торговля РСФСР продолжала сталкиваться с рядом затруднений правового и фактического характера.

И после решения совета держав Антанты от 16 января 1920 года любой груз, отправленный из Советской России, продолжал находиться под постоянной угрозой конфискации. Любая претензия, предъявленная бывшим собственником иностранного имущества в России, служила основанием для судебного приказа о конфискации советского груза в иностранном порту. Эта угроза отпала лишь после заключения соответствующих торговых договоров.

Кроме общего враждебного отношения к Советскому правительству, писал Красин, западноевропейская буржуазия, и в особенности ее торговые слои, питает острую ненависть к господствующей у нас системе монополии внешней торговли, ибо в дореволюционной России внешняя торговля почти целиком находилась в руках иностранцев.

Под давлением враждебной пропаганды, а иногда и под прямым воздействием своих правительств, писал Красин, «владельцы пароходов отказывались предоставлять свои суда для перевозки грузов в советские порты или ставили чрезмерно тяжелые условия... Вначале были даже попытки требовать от Советского правительства залогов за суда, отправляемые в русские порты. Потребовались месяцы упорной работы... чтобы рассеять все эти предрассудки»<sup>17</sup>.

Особенно чувствительной оказалась так называемая «золотая блокада». Она заключалась в организованном отказе европейских банков принимать в уплату за товары советское золото по его действительной стоимости под тем предлогом, что банк, принимающий такое золото, подвергает себя риску из-за претензий со сторо-

<sup>14</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 126.

<sup>15</sup> В. Е. Штейн. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции (1919 — 1920 гг.). Госполитиздат. 1949, стр. 394.

<sup>16</sup> Л. В. Краси н. Внешторг и внешняя экономическая политика Советского правительства. 1921, стр. 5—6.

<sup>17</sup> Л. В. Краси н. Общие условия внешней торговли СССР. Энциклопедия русского экспорта. Берлин. 1924. т. 1, стр. 6—7.

ны «кредиторов» России, оспаривающих право Советского правительства распоряжаться этим золотом.

В результате длительных переговоров, как пишет один из старых работников Наркомвнешторга (а затем член коллегии Наркоминдела) Б. Стомоняков, было достигнуто согласие английского правительства на продажу английскому банку советского золота, при этом с грабительской скидкой в 25 процентов его стоимости, на чем мы потеряли тогда несколько десятков миллионов рублей<sup>18</sup>.

Наиболее затажной характер имела блокада со стороны финансового капитала. На первых порах банки — особенно крупные английские — вообще не хотели иметь с нами никаких дел. Речь идет не только о предоставлении кредитов. Даже условия платежа наличными были несравнимо более трудными, чем это бывает при нормальном положении.

Многие капиталисты отказывались иметь с нами дело до оплаты им предварительных задатков по всем имеющимся заказам.

Вот как писал Красин о преодолении этого тяжелого для нас положения: «Только благодаря монополии внешней торговли обедневшая и истощенная долгими годами войны, разрухи, блокады Россия смогла сразу, одним ударом, занять определенное место на рынке Европы благодаря сосредоточению всех закупок и всех продаж в торговых представительствах Внешторга... Это сосредоточение закупок и продаж в одних руках в связи с монопольным правом торговли ставит Внешторг на внешних рынках в особо привилегированное положение, поскольку дело касается получения более выгодных условий платежа или кредита...»<sup>19</sup>.

Надо сказать, что 1920 год был, по существу, первым годом советской организации внешней торговли. Были созданы наши заграничные представительства в Эстонии, Англии, Швеции, Германии, Литве, Латвии, Турции, Италии, Иране и Австрии.

Сам факт открытия в этих странах советских торговых представительств являлся косвенным подтверждением признания правительствами этих стран нашего принципа монополии внешней торговли.

Однако официальное закрепление такого признания в международных договорах произошло несколько позже.

Вот что говорил Ленин о нашей внешней торговле на IX Всероссийском съезде Советов в декабре 1921 года: «Если проследить все три года — 1918, 1919 и 1920, — наш привоз из-за границы окажется в 17 с небольшим миллионов пудов, а в 1921 году — 50 миллионов пудов, т. е. в три раза больше, чем за все три предыдущих года вместе взятых. Наш вывоз за первые три года вместе был два с половиной миллиона пудов, за один 1921 год — 11½ миллионов пудов. Эта цифра ничтожная, мизерная, до смешного малая, эта цифра всякому знающему человеку говорит сразу — нищета. Вот о чем свидетельствуют эти цифры. Но все-таки это начало»<sup>20</sup>.

Это станет еще более ясным, если вспомнить, что в царской России за один 1913 год привоз из-за границы составил 936,6 миллиона пудов, а вывоз — 1 472,1 миллиона пудов.

В своей записке заместителю наркома внешней торговли Фрумкину и Радченко в марте 1922 года Ленин как бы мимоходом дает интересное определение разных «видов» монополии внешней торговли, имеющее большое теоретическое и практическое значение.

Он пишет, что первый вид монополии внешней торговли, который существовал у нас до марта 1922 года, являлся как бы «абсолютной» монополией внешней торговли. Причем слово абсолютной Ленин ставит в кавычки<sup>21</sup>.

Принятый 13 марта 1922 года за подписью Калинин декрет ВЦИК «О внешней торговле» как бы заменял эту «абсолютную» монополию «либеральной мо-

<sup>18</sup> См. Б. Стомоняков. Леонид Борисович Красин. Энциклопедия советского экспорта, изд. 2-е. Берлин. 1928, т. 1, стр. 9.

<sup>19</sup> Энциклопедия русского экспорта, 1924, т. 1, стр. 11, 12.

<sup>20</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 303.

<sup>21</sup> См. там же, т. 54, стр. 213.

нополий, но безусловно и во всяком случае монополий»<sup>22</sup>. При этом слово «либеральной» Лениным взято не в кавычки, а подчеркнуто.

Дело в том, что декрет ВЦИК от 13 марта 1922 года предусматривал выход на внешний рынок наряду с Наркомвнешторгом и под его контролем и некоторых других государственных органов, предприятий и объединений, а также губисполкомов по списку, утверждаемому СТО.

Всем этим организациям предоставлялось право «на непосредственное производство закупочных операций на внешнем рынке при условии представления соответствующих договоров и соглашений на предварительное утверждение Народного комиссариата внешней торговли». За Центросоюзом сохранялось право совершения самостоятельных внешнеторговых операций с иностранными кооперативными организациями.

Предусматривалось также, что Наркомвнешторгом с утверждения СТО организируются «специальные уставные акционерные предприятия русские, иностранные и комбинированные, имеющие целью привлечение иностранного капитала для заготовки экспортных товаров внутри страны, сбыта их за границей и для ввоза в страну предметов, необходимых для восстановления народного хозяйства и внутреннего товарообмена».

В связи с переходом к нэпу среди руководящих работников стали возникать довольно острые разногласия по вопросу о монополии внешней торговли. Далеко не все представляют себе в наши дни степень этих разногласий и накал борьбы, развернувшейся по этому вопросу в ЦК партии к концу 1922 года.

В то время монополия внешней торговли вызывала естественное недовольство со стороны новой, зарождающейся в условиях нэпа, временно воспрянувшей буржуазии. Кроме того, и европейские капиталисты, игнорировавшие экономические связи с молодой Страной Советов, тоже всячески добивались ликвидации монополии и открытия наших границ для свободного доступа на наши рынки.

Ленин встревожился, когда узнал, что в ряде наших хозяйственных органов, а также в отдельных наркоматах и, как ни странно, в самом Наркомвнешторге стали раздаваться голоса за ослабление и даже отмену монополии внешней торговли.

Ленин проявлял неустанную заботу о том, чтобы посредством централизованного управления сферой внешнеэкономической деятельности обеспечивать направление внешних источников на решение главных задач социалистического планового хозяйства. Он был нетерпим ко всем фактам проявления узковедомственных и местнических тенденций во внешней торговле, всегда резко реагировал на случаи нарушений монополии внешней торговли.

Так было, когда Азнефть, возглавляемая известным Серебровским<sup>23</sup>, допустила нарушение правил внешней торговли, заключив в обход органов Наркомвнешторга соглашение с иностранной фирмой, к тому же на явно невыгодных для нас условиях. Такой же острой была его реакция в связи с коммерческой сделкой между ЭКОСО Юго-Восточного края и одной французской фирмой, заключенной вопреки мнению наркома внешней торговли Красина.

Но еще более обеспокоило Ленина, когда за ослабление и даже отмену монополии внешней торговли стали высказываться отдельные, тогда довольно влиятельные деятели партии и государства.

Круг противников монополии внешней торговли расширялся, и вскоре Ленину пришлось, как говорится, бросить на чашу весов всю силу своих аргументов, весь свой авторитет. Он не колеблясь сделал это, понимая, что под угрозой находится один из коренных вопросов экономической политики Советского государства...

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Серебровский А. П. (1884—1943) — член партии с 1903 года, активный участник Октябрьской социалистической революции. Талантливый хозяйственный руководитель. В 1926—1930 годах — начальник Главзолота, затем заместитель наркома тяжелой промышленности. На XIV—XVII съездах партии избирался кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1925—1938 годах — член ВЦИК. Мы подружились с ним по работе еще в первые месяцы после победы советской власти в Азербайджане, когда он прибыл в Баку из России и стал во главе Азнефти.

Впервые среди руководящих деятелей партии голоса против монополии внешней торговли раздалась еще осенью 1921 года.

В конце октября 1921 года в Риге состоялась Балтийская экономическая конференция, где делегаты буржуазных стран выдвигали вопрос о денационализации внешней торговли в Советской России. Председатель советской делегации на этой конференции Милютин, работавший тогда в ВСНХ, представил в ЦК доклад и предложения, которые сводились, по существу, к денационализации внешней торговли. Узнав об этом из письма Чичерина, Ленин пишет: «Мое личное мнение: отклонить весь план В. Милютина, как никуда не годный, совершенно неосновательный»<sup>24</sup>.

По предложению Ленина «план В. Милютина» был проголосован членами Политбюро и отклонен.

Вслед за Милютиным очередной наскок на монополию внешней торговли вскоре совершает один из руководящих работников Госбанка Шейнман. В своем письме Ленину от 11 ноября 1921 года о проведении денежной реформы он, между прочим, пишет, что «притоку иностранного капитала будет весьма содействовать отмена монополии Комиссариата внешней торговли по внешнему товарообмену России с границей»<sup>25</sup>.

Шейнман предлагает предоставить право внешней торговли экспортным и импортным союзам или товариществам, а также частным учреждениям и лицам, установив для них пошлину на вывоз товаров в иностранной валюте.

Позиция Шейнмана насторожила Ленина. На полях письма Шейнмана против этого места Ленин делает надпись: «Надо 100 раз обдумать условия. Очень опасно. Все скупят и расхитят».

8 ноября 1921 года Красин в письме к Ленину наряду с другими вопросами касается внешней торговли: «По целому ряду признаков я вижу, что в России и со стороны кооперации и со стороны Совнархоза ведется ожесточеннейшая кампания в пользу «с в о б о д ы в н е ш н е й т о р г о в л и» (подчеркнуто Лениным. — А. М.). Ни малейшей надобности в такой свободе, по крайней мере в данный момент, не предвидится. Наша монополия внешней торговли достаточно эластична, чтобы позволить удовлетворение всех потребностей как кооперации, так и отдельных главков и центров в заграничных товарах...» (этот абзац Ленин отчеркнул на полях двумя чертами и сделал пометку: «NB») <sup>26</sup>.

Ленин, будучи согласен с Красным, предлагает пустить его письмо «вкруговую членам Политбюро к сведению, с возвратом».

Если принятие декретов о монополии внешней торговли в апреле 1918 года и в июне 1920 года проходило весьма единодушно, не сопровождаясь никакими дискуссиями в руководящих кругах партии, то уже в 1922 году в руководстве партии по этому вопросу возникли серьезные разногласия.

Я уже писал о высказываниях отдельных видных тогда партийных и советских работников на XI Всероссийской партконференции в декабре 1921 года по вопросу об известном послаблении и даже фактической ликвидации монополии внешней торговли (выступления В. Милютина, Смилги, Чубаря, Сокольников, Осинского, Каменева)<sup>27</sup>.

К 1922 году четко определились две позиции на монополию внешней торговли: одна — Красина, последовательного ее сторонника, другая — Сокольников, высказывавшегося фактически за ее ликвидацию.

В своих предложениях Сокольников выдвигал идею отмены монополии внешней торговли с возложением обязанности вести все наши внешнеторговые операции на «концессии», то есть иностранные частные компании, работавшие тогда на основе особых концессионных договоров.

Ленин писал по этому поводу 3 марта 1922 года:

«Мой вывод — безусловно прав Красин. Нельзя нам теперь дальше отступать

<sup>24</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 240.

<sup>25</sup> Там же, т. 54, стр. 344.

<sup>26</sup> Там же, стр. 362.

<sup>27</sup> См. «Новый мир», 1972, № 11, стр. 186—187.

от монополии внешней торговли, чем то предлагал и предлагает Лежава<sup>28</sup> в своих тезисах. Иностранцы иначе скупают и вывезут все ценное.

Сокольников делает и здесь и во всей своей работе гигантскую ошибку, которая нас погубит наверняка, если ЦеКа вовремя не исправит его линии и не добьется действительного выполнения исправленной линии. Ошибка эта — отвлеченность, увлечение схемой (чем всегда грешил Сокольников, как талантливый журналист и увлекающийся политик)... Проект Сокольникова доказал, что... Сокольников в практике торговли ничего не смыслит. И он нас погубит, если ему дать ход...

Поэтому

- 1) ни в коем случае не подрывать монополии внешней торговли;
- 2) принять завтра же тезисы Лежавы...

...Давать права Губэкосо?<sup>29</sup> Это значит «дублировать» плохой Внешторг плохими внешторгиками, из коих 90% кулят капиталисты... Торговать свободно мы не можем: это гибель России»<sup>30</sup>.

Против монополии внешней торговли выступил и Фрумкин, назначенный в то время заместителем наркома внешней торговли. Фрумкин направляет в марте 1922 года письмо в ЦК партии, в котором критикует работу Наркомвнешторга и считает нецелесообразным свой перевод из Наркомпрода в Наркомвнешторг, потому что у него «имеются принципиальные расхождения с Красиным по основному вопросу — о характере монополии внешней торговли»<sup>31</sup>.

Не зная подлинного существа этих разногласий, Ленин не придавал этому заявлению особого значения<sup>32</sup>.

Фрумкин приступил к работе в Наркомвнешторге, но очень скоро выяснилось, что он занял крайне отрицательную позицию по отношению к монополии внешней торговли.

Критика работы аппарата Внешторга и разноречивые во мнениях его руководства объяснялись, между прочим, и тем, что нарком внешней торговли Красин большую часть времени находился за границей, отрываясь тем самым от повседневной работы центрального аппарата наркомата. Не случайно поэтому на августовском (1922) Пленуме ЦК было принято специальное решение, обязывающее Красина по возвращении из Гааги «на долгое время остаться в России и обследовать серьезнейшим образом работу НКВТ...»<sup>33</sup>.

10 мая 1922 года Фрумкин как заместитель наркома внешней торговли направил письмо в ЦК (Красин находился в то время за границей), в котором сообщил об убыточности государственной внешней торговли и утверждал, что при свободной конкуренции она будет побиваться частной торговлей. Сводя фактически на нет монополию внешней торговли, Фрумкин предлагал оставить в руках государства монополию лишь на четыре-пять товаров, а остальные товары свободно ввозить через различные смешанные общества<sup>34</sup>.

Следует отметить, что в принципе Ленин допускал возможность использования смешанных обществ как один из каналов внешней торговли. Однако он ставил при этом обязательным условием, чтобы советские органы были бы представлены в этих обществах деловыми работниками, способными по-настоящему осуществлять руководство этими обществами. Нельзя, «чтобы там сидели «жомжуклы», коммунистические куклы, наверху только для вида, а ворочали всем спецы, жули-

<sup>28</sup> Лежава А. М. (1870—1937) — заместитель наркома внешней торговли. Придерживался ленинской линии в вопросе монополии внешней торговли.

<sup>29</sup> Губэкосо — губерnsкие экономические совещания — местные органы Совета Труда и Оборона. Были организованы при губисполкомах с целью согласования деятельности местных органов экономических наркомторгов (ВСНХ, НКЗ, Наркомпрода, Наркомтруда и Наркомфина). Губэкосо возглавлялись председателями губисполкомов,

<sup>30</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 427—429.

<sup>31</sup> Там же, т. 54, стр. 630.

<sup>32</sup> См. там же, стр. 214.

<sup>33</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, ед. хр. 81, л. 4.

<sup>34</sup> См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 645.



ки и т. п...»<sup>35</sup> — так образно выразился по этому поводу Ленин в письме Фрумкину и Радченко 21 марта 1922 года.

Выступая с политическим отчетом ЦК на XI съезде партии (март 1922 года), Ленин указывал, что смешанные общества — «одна из форм, в которой можно правильно поставить соревнование, показать и научиться тому, что мы умеем не хуже капиталистов установить смычку с крестьянским хозяйством, можем удовлетворить его потребности, можем помочь крестьянину двинуться вперед так, как он сейчас есть, при всей его темноте, ибо переделать его в короткий срок нельзя»<sup>36</sup>.

Говоря о значении внешнеторговых смешанных обществ, Ленин в докладе на IV конгрессе Коминтерна сказал, что, «во-первых, мы таким путем учимся торговать, а это нам необходимо, и, во-вторых, мы всегда имеем возможность, в случае если мы сочтем это необходимым, ликвидировать такое общество, так что мы, так сказать, ничем не рискуем»<sup>37</sup>.

Одним из примеров отношения Ленина к внешнеторговским смешанным обществам может служить история с заключением договора с консорциумом германских фирм, возглавлявшимся Отто Вольфом, и создание Русско-Германского торгового акционерного общества (Руссерторг)<sup>38</sup>.

Каменев, который был даже за открытие границ для торговли с иностранными капиталистами, беспринципно маневрируя и как будто отстаивая интересы государства, возражал против утверждения этого договора, считая его невыгодным для нас, так как якобы мы «обязаны у Вольфа купить его товар»<sup>39</sup>.

В связи с этим Ленин 18 октября 1922 года направил письмо в Политбюро, указав в нем, что «возражения тов. Каменева целиком основаны на недоразумении... Представить себе более выгодный договор, чем тот, который мы заключили с Вольфом, невозможно...». Среди выгодных для нас условий, предусмотренных договором, Ленин отметил, что покупать товары мы будем «только нами просмотренные по списку и разрешаемые к ввозу... Такой договор бесконечно выгоден для нас уже тем, что мы получаем дележ прибыли, которая, вероятно, способна достигнуть не одной сотни %, пополам. Интересы нашей возрождающейся промышленности и, следовательно, наших промышленных предприятий охранены при этом полностью. Тех разорительных для нас последствий, которые вытекают бы из хотя бы условного, хотя бы временного открытия границы, нет и следа. Поэтому я безусловно настаиваю на утверждении договора...»<sup>40</sup>.

Замечание Ленина о разорительных последствиях от открытия границ попало не в бровь, а в глаз Каменеву, который за несколько дней до этого на Пленуме ЦК ратовал за «временное» открытие границ.

На следующий день, 19 октября 1922 года, договор с консорциумом утвердил СНК<sup>41</sup>. Заключение и ратификация его произвели огромное впечатление за границей и создали благоприятную атмосферу для наших переговоров с другими предпринимателями и компаниями.

Для того чтобы положить конец колебаниям в политике партии по вопросам внешней торговли, ясно определить, как должна выглядеть монополия внешней торговли в условиях нэпа и какие изменения надо внести в действующее законодательство по этому вопросу, Ленин еще в начале 1922 года поручает заместителю наркома внешней торговли Лежаве подготовить проект соответствующих предложений. Лежава представляет «Тезисы о внешней торговле», которые Лениным

<sup>35</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 213.

<sup>36</sup> Там же. т. 45, стр. 81.

<sup>37</sup> Там же, стр. 289—290.

<sup>38</sup> Протокол об учреждении Руссерторга был подписан в Берлине 16 ноября 1922 года. Работа Руссерторга в области торговли ставилась под контроль Наркомвнешторга. К весне 1923 года общество открыло свои отделения в Москве, Петрограде, Ростове-на-Дону и ряде других советских городов. О том, что Руссерторг был маловыгоден для консорциума, видно из того, что уже через два года он вышел из этой организации (см. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 563).

<sup>39</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 225.

<sup>40</sup> Там же, стр. 225—227.

<sup>41</sup> См. там же стр. 564.

были одобрены, а 4 марта 1922 года приняты Политбюро ЦК с некоторыми поправками. В окончательном виде они утверждены 10 марта <sup>42</sup>.

Несмотря на это, высказывания, прямо или косвенно направленные против ленинской линии на внешнюю торговлю, продолжались даже среди членов ЦК.

Слухи о колебаниях в Москве на этот счет стали проникать и за границу.

В конце апреля 1922 года полпред РСФСР в Германии Крестинский направил Ленину документы, свидетельствующие об отрицательном влиянии внутрипартийных споров о монополии внешней торговли на деловые переговоры с иностранными капиталистами.

Случилось так, что 15 мая 1922 года Ленин трижды возвращался к вопросу о монополии внешней торговли.

В ответ на уже упомянутое раньше письмо Фрумкина от 10 мая 1922 года Ленин написал Сталину и Фрумкину: «Я считаю, что надо *формально запретить* все разговоры и переговоры и комиссии и т. п. об ослаблении монополии внешней торговли. Не согласен с Фрумкиным, что госторговля всегда будет бита» <sup>43</sup>.

В тот же день, ознакомившись с письмом председателя ВСНХ Богданова, в котором ставился вопрос о слиянии комиссии внутренней торговли, Наркомвнешторга и ВСНХ, Ленин, несмотря на то, что предложение это, направленное на сокращение штатов государственного аппарата, было близко его душе, отнесся к нему в данном случае отрицательно, сделав на письме Богданова лаконичную надпись: «Я против слияния наркоматов» <sup>44</sup>. Предложение Богданова было отвергнуто им по соображениям политическим: намечаемое слияние наркоматов не могло не нанести урона монополии внешней торговли.

В третий раз за этот день Ленин возвращается к вопросу о монополии внешней торговли в связи с документами, поступившими от Крестинского.

На сопроводительном письме Крестинского Ленин пишет Сталину: «Предлагаю, ввиду сего, *опросом* членов Политбюро провести директиву: «ЦК подтверждает монополию внешней торговли и постановляет прекратить всюду разработку и подготовку вопроса о слиянии ВСНХ с НКВТ» <sup>45</sup>.

17 мая 1922 года Сталин впервые в новых условиях нэпа высказал в письменном виде свое, отличающееся от ленинского отношение к монополии внешней торговли. Соглашаясь с тем, что государственная торговля на «*с в о б о д н о м* поле конкуренции не должна быть бита», он считал, однако, что на «*н е с в о б о д н о м* поле» госторговля не разовьется и превратится в тепличное растение <sup>46</sup>.

На письме Ленина Сталин пишет: «Против «формального запрещения» шагов в сторону *ослабления* монополии внешней торговли на *г а н н о й* стадии не возражаю. Думаю все же, что *о с л а б л е н и е* становится неизбежным» <sup>47</sup>.

Ответ Сталина, не препятствуя принятию предложения Ленина, фактически содержит расхождение с ним по существу вопроса. Сталин обходит предложение Ленина о подтверждении монополии внешней торговли. И это не случайно.

В отличие от Ленина он не возражает против «формального запрещения» ослабить монополию внешней торговли только «на *г а н н о й* стадии», что находится в противоречии с позицией Ленина и говорит о разном понимании вопроса по существу.

Оговорка «на *г а н н о й* стадии» предполагает возможность ослабления монополии внешней торговли на другой стадии. Кроме того, ответ Сталина заканчивается безоговорочным утверждением: «Думаю все же, что *о с л а б л е н и е* становится неизбежным».

Его высказывания в отношении госторговли являются весьма противоречивыми. С одной стороны, он соглашается с Лениным, отмежевываясь от Фрумкина и заявляя, что госторговля на «*с в о б о д н о м* поле конкуренции не должна быть бита». С другой стороны, он заявляет, что на «*н е с в о б о д н о м* поле», то есть в усло-

<sup>42</sup> См. там же, т. 54, стр. 623.

<sup>43</sup> Там же, стр. 260.

<sup>44</sup> Там же, стр. 261.

<sup>45</sup> Там же, т. 45, стр. 188.

<sup>46</sup> См. там же, т. 54, стр. 645.

<sup>47</sup> Там же, т. 45, стр. 548.

виях монопольного положения, госторговля превратится в тепличное растение. Это означает, что госторговля в этих условиях не имеет перспективы, она зачхнет и погибнет.

Еще до поступления документов от Крестинского Ленин получил в конце февраля 1922 года письмо от торгпреда РСФСР в Германии Стомонякова, в котором тот сообщал, что капиталисты в надежде на отмену в России монополии внешней торговли тормозят заключение договоров и что все это сказывается на организации концессий и смешанных обществ в торговле. При этом Стомоняков решительно высказывается за укрепление монополии внешней торговли. Ленин на этом письме сразу же написал Горбунову: «Это очень важно! Показать А. Д. Цюрупе и (хотя бы в извлечении) Л. Б. Каменеву и Сталину. Нельзя ли обобщить итоги на 2—3 страничках?»<sup>48</sup>.

Предложенная Лениным в связи с письмом Крестинского директива о подтверждении монополии внешней торговли и о снятии с повестки дня вопроса о слиянии ВСНХ и НКВТ была утверждена 22 мая 1922 года Политбюро как линия ЦК.

### НОВАЯ ПОПЫТКА ОСЛАБИТЬ МОНОПОЛИЮ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

...Когда августовский (1922) Пленум ЦК приступил к обсуждению вопросов внешней торговли, нам сообщили, что Политбюро ЦК еще в июне 1922 года образовало по этому очень важному делу специальную комиссию под председательством Каменева. Предложения комиссии и вынесли на обсуждение Пленума.

Как позднее выяснилось, решение об образовании такой комиссии Политбюро приняло без участия Ленина (в то время он болел), вопреки майскому постановлению Политбюро (принятому по предложению Ленина), запрещавшему продолжение дискуссии о монополии внешней торговли...

Комиссия Политбюро предлагала разграничить в законодательном порядке регулирующие и чисто коммерческие функции Наркомвнешторга и предоставить ряду хозяйственных органов право самостоятельно вести торговые операции с внешним рынком «под общим контролем Наркомвнешторга».

Коллегия Наркомвнешторга по предложению комиссии должна была «сосредоточить свое внимание на законодательной регулировке внешней торговли, контроле над всеми операциями в области внешней торговли, таможенной политике, изучении рынка и на общем руководстве Госторгом как коммерчески оперативным органом Наркомвнешторга»<sup>49</sup>.

Таким образом, проведение внешнеторговых коммерческих операций самим Наркомвнешторгом ограничивалось лишь небольшим объемом работы Госторга — хозяйственного органа наркомата. Центр же тяжести осуществления внешнеторговых операций переносился на хозорганы других наркоматов и местные хозорганы, получившие для этого соответствующие разрешения СТО.

Все эти предложения комиссии, возглавляемой Каменевым, выходя внешне как бы безобидно, по существу значительно ослабляли монополию внешней торговли.

В работе Пленума принимал участие и нарком внешней торговли Красин. Он внес на рассмотрение Пленума свои поправки к проекту директив ЦК о торговых операциях наших хозяйственных органов за границей.

Отстаивая ленинскую линию монополии внешней торговли, Красин в то же время проявил и определенную гибкость, пойдя на некоторые уступки практического характера своим оппонентам.

Красин считал, например, допустимым, чтобы какое-то определенное количество хозяйственных органов, получив разрешение СТО на ведение внешнеторговых операций, вело «свои заграничные торговые операции при обязательном условии и предварительного ознакомления НКВТ или подлежащего торгпреда как

<sup>48</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 190, 620.

<sup>49</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, ед. хр. 81, л. 3.

с характером самих операций, так и со способами их осуществления, лицами и фамилиями, с которыми предполагается вступить в сношения, общими условиями платежа, предельными ценами и т. п.»<sup>50</sup>.

Предложение Красина обеспечивало действенный характер контроля НКВТ и руководителей торгпредств за рубежом над транснациональными операциями хозорганов вместо неопределенного каменевского термина «под общим контролем НКВТ».

Зная, что представители хозорганов за границей под влиянием местнических и ведомственных интересов или даже в силу своей малой компетенции в коммерческих делах могут нарушать единство внешней экономической политики Советского государства или совершать сделки, не соответствующие государственному плану или коммерчески невыгодные, Красин требовал предоставления полпредам и торгпредам права «вето» на такие сделки.

Эту свою мысль он сформулировал таким образом: «Полпредам и торгпредам предоставляется право, под их личную ответственность, налагать свое «вето» на каждую операцию, причем мотивом такого запрещения могут быть как политические соображения, так равно и несоответствие государственному плану или коммерческая невыгодность данной сделки»<sup>51</sup>.

В этом смысле он шел еще дальше, предлагая привлекать нарушителей этого порядка к ответственности перед трибуналом. В случае же особо важных нарушений Красин предлагал лишать отдельные хозорганы права непосредственного ведения торговых операций за границей.

Он хорошо знал «внутри» наших хозорганов того времени, которые умели обходить те или иные невыгодные для них порядки, и поэтому выставлял на их пути столько «скорпионов», чтобы отбить у некоторых комчиновников охоту к таким нарушениям.

В предложениях Красина было указано также, что представители местных хозорганов, получив в установленном порядке доступ на внешний рынок, при осуществлении своих торговых операций за границей обязаны были «при прочих равных обстоятельствах отдавать предпочтение Госторгу или другим коммерческим организациям Наркомвнешторга, а также Центросоюза и лишь за невозможностью совершения операций через посредство этих органов прибегать к услугам частных фирм»<sup>52</sup>.

Рьяно против монополии внешней торговли выступили на Пленуме Сокольников, Фрумкин, Пятаков, Бухарин, Зиновьев.

Разделяя их взгляды на ослабление монополии, Троцкий предлагал завуалировать это публикацией декларативного заявления правительства, в котором категорически опровергнуть распространявшиеся за границей слухи о якобы предполагаемой отмене монополии внешней торговли.

Троцкий считал, что такое заявление будет расценено во внешнем мире как политическая победа Красина, что было выгодно. Что же касается предлагаемых изменений в осуществлении монополии, то он считал, что их следует провести.

Соглашаясь с этим, Сталин высказался в том смысле, что в основном предложения комиссии Каменева, с некоторыми поправками Красина, следует принять.

Надо признать, что большинство присутствовавших на Пленуме членов и кандидатов в члены ЦК, особенно работавших на местах (в том числе и я), тогда еще плохо разбирались в деталях и тонкостях сложных внешнеторговых отношений, тем более что нам было заявлено руководителями партии, что предложения Красина не противоречат проекту директивы комиссии, доложенной Политбюро.

Уверен, что не только я, но и многие другие участники Пленума не могли тогда даже и допустить мысль о том, что члены Политбюро придерживаются иного мнения, нежели Ленин, по такому принципиальному вопросу, как монополия внешней торговли... Ленина же на Пленуме не было, он продолжал болеть.

...Одним словом, предложения комиссии Каменева были одобрены. Пленум образовал новую комиссию под председательством Рыкова — для составления со-

<sup>50</sup> Там же, л. 5 (Разрядка моя.— А. М.)

<sup>51</sup> Там же.

<sup>52</sup> Там же.

ответствующего советского законопроекта. Комиссия должна была обратить внимание на устранение трений и излишних расходов на содержание параллельных аппаратов местных хозорганов за границей путем установления целесообразного порядка «назначения уполномоченных местных хозорганов за границей и об организации их технических аппаратов»<sup>53</sup>.

Комиссия должна была учесть также поправки Красина: в случае их расхождения с проектом директивы вопрос должен быть разрешен в Политбюро.

Этой же комиссии поручили подготовить проект сообщения для печати, в той или иной форме опровергающего слухи об отмене монополии внешней торговли.

... Через день после августовского Пленума состоялось заседание Оргбюро ЦК партии, где я выступил с докладом о положении на Юго-Востоке России.

Откровенно рассказал, с чем столкнулся, приехав в Ростов, что успел узнать и увидеть за месяц. Докладил об экономическом состоянии края, о перспективах урожая, о политических настроениях, о состоянии партийной организации, о борьбе с бандитизмом, о необходимости подкрепить наш край кадрами. Сообщил и о плане ближайших работ, которыми собиралось заняться Югвостбюро в первую очередь.

Члены Оргбюро одобрительно отнеслись к нашим предложениям, внимательно и заинтересованно обсудили насущные нужды края.

В результате было принято решение о мерах помощи Югвостбюро ЦК. В частности, что тогда являлось для нас особенно важным, решили направить к нам в качестве председателя Крайэкономсовета и члена Югвостбюро ЦК Эйсмонта, работавшего до этого членом президиума ВСНХ.

В связи с тем, что Колотилев, назначенный секретарем Донецкого комитета партии еще до моего приезда в Ростов, к нам не приезжал и неизвестно было, когда он придет, я поставил на Оргбюро вопрос о руководителе Донецкой организации ребром: либо Колотилев немедленно приезжает в Ростов, либо секретарем Донобкома необходимо утвердить Ноздрин, уже давно исполняющего обязанности секретаря обкома.

Оргбюро обязало Колотилова немедленно выехать к месту новой работы.

Кроме того, для укрепления Донской партийной организации Оргбюро решило командировать в Ростов на должность председателя Донского облизполкома опытного советского работника Патрикеева.

ЦК принял также наше предложение об утверждении членом Югвостбюро ЦК секретаря обкома партии Горской АССР Гикало, одного из легендарных героев гражданской войны на Северном Кавказе, пользующегося в крае большим влиянием и доверием (о нем я скажу еще дальше по ходу своих воспоминаний).

... Я вернулся в Ростов окрыленный поддержкой ЦК, зная к тому же, что в составе Югвостбюро появились новые, так нужные нам тогда крепкие коммунисты, на которых можно было, как это выяснилось очень скоро, вполне положиться.

В особенности, повторяю, всех нас радовало назначение Эйсмонта в Крайэкономсовет, который был у нас тогда наиболее слабым местом.

Грамотный, образованный человек, опытный и знающий хозяйственник все-российского масштаба, Эйсмонт с первых же дней успешно справлялся со своими обязанностями и довольно быстро завоевал у нас большой и заслуженный деловой авторитет.

Работали мы все в Югвостбюро очень дружно и согласованно.

*(Продолжение следует)*

<sup>53</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, ед. хр. 81, л. 2.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. ЛУКИН

★

## СЛОВО ГУМАНИСТА

Э то название статьи возникло, наверно, вполне естественно, само собою, при обдумывании такой емкой темы, как мировое, интернациональное значение шолоховского творчества, в поисках некоей — выходящей главенствующее в широкой теме — доминанты.

Столь многообразны и грани темы и аспекты, в которых сама тема или отдельные ее стороны могут быть рассмотрены, а также и жанры, манера разговора об этом, что, надо полагать, допустим и вариант, предлагаемый здесь.

Триумфально шествие шолоховских произведений по всему свету. Огромны их тиражи повсюду. Мощно влияние его книг на многих художников слова и на многие литературы. Велико их воздействие на духовный мир нашего современника. И особенно характерны волнение, пробуждаемое в душах читателей их героями и судьбами героев, глубокая, светлая любовь к писателю, создавшему эти образы.

Закономерность упомянутых здесь процессов и явлений, может быть, и не нуждается в анализе, обычно волей-неволей суховатом. Достаточно просто перечитать всенародно любимые «Тихий Дон», «Поднятую целину», «Судьбу человека», вчитаться едва ли не в любую — на выбор — страницу, чтобы почувствовать это. В произведении искусства есть нечто сокрытое, что ставит Григория и Аксинью, Андрея Соколова рядом с образами, созданными величайшими художниками всех времен и народов! И знаменательно, что эти герои — люди из народа, труженики с их многосложной судьбой и с их богатейшим внутренним миром, который завладевает вниманием читателя. А что касается Семена Давыдова, Макара Нагульнова, того же

Андрея Соколова, то это люди, выращенные советской властью, воспитанные на идеях и идеалах нашего общества, скромные и героические строители этого общества, борцы за него, за будущее, достойное человека.

В докладе Л. И. Брежнева «О пятидесятилетия Союза Советских Социалистических Республик» наша культура охарактеризована как социалистическая по содержанию, по главному направлению своего развития, многообразная по своим национальным формам и интернационалистская по своему духу и характеру. Творчеству Шолохова присущи именно эти благородные черты советской культуры, в содержании его творчества как бы сконцентрирована самая суть этой принципиально новой в художественном развитии человечества культуры.

Некоторые выступления самого автора помогают осмыслить собственные наши читательские эмоции, привести в систему возникающие мысли о прочитанном, о значении, которое имеют полюбившиеся нам книги для путей передового искусства, для формирования духовного облика человека наших дней, для развития гуманистической культуры современности.

Среди шолоховской публицистики, среди его выступлений, где затрагиваются коренные проблемы искусства, есть одно не очень широко известное, между тем весьма важное для понимания природы его великого таланта, для уяснения взглядов писателя на содержание и смысл его труда. Имеется в виду речь на нобелевских торжествах 1965 года.

Пишущему эти строки посчастливилось присутствовать при произнесении речи в

Стокгольмской ратуше, не только услышать ее, прозвучавшую впервые, но и наблюдать впечатление, которое она произвела на аудиторию, на широкие круги переловой общественности за рубежом.

Приглашенным на торжество были розданы конверты с переводом речи лауреата по литературе. На конвертах значилась просьба — не вскрывать, пока оратор не начнет свою речь. Поэтому восприятие речи сохранило всю свежесть и выслушана она была с напряженным вниманием.

Писатель говорил о том, что присуждение ему Нобелевской премии вызывает у него чувство удовлетворения не только как международного признание его профессиональных заслуг и особенностей, присущих ему как литератору; он гордится тем, что премия присуждена писателю русскому, советскому; что он представляет здесь большой отряд писателей нашей родины.

Глубокий интерес — в первую очередь у литературной общественности — вызвал раздел речи, посвященный судьбам романа в современной литературе, путям реализма в современном искусстве. Автор «Тихого Дона», «Поднятой целины» сказал, что премия, присужденная ему, является еще одним утверждением жанра романа. За последнее время ему нередко приходилось слышать и читать удивлявшие его выступления, в которых роман как форма объявлялся устаревшим, не отвечающим требованиям современности... Между тем именно роман, подчеркнул писатель, дает возможность наиболее полно охватить мир действительности и спроецировать на художественном изображении свое отношение к ней, к ее жгучим проблемам, отношение своих единомышленников.

Отметив, что роман, так сказать, наиболее предрасполагает к глубокому познанию окружающей нас огромной жизни, писатель саркастически отозвался о попытках некоторых литераторов представить свое маленькое «я» центром мироздания. И последовал ожидаемый переход: писатель заключил свое рассуждение тем, что жанр романа по природе своей представляет самый широкий плацдарм для художника-реалиста.

Шолохов решительно декларировал свое неприятие тех модных течений, которые отвергают реализм, исходя из того, что он, реализм, будто бы отслужил свое. Сказал, что, не боясь упреков в консерватизме, он придерживается противоположных взгля-

дов, будучи убежденным приверженцем реалистического искусства.

Столь же естественно возник разговор о движении, которое именовало себя литературным авангардом. Толкованию такого рода понятия, подразумевающего под ним моднейшие опыты преимущественно в области формы, Шолохов противопоставил свое убеждение: заслуживают быть названными подлинным литературным авангардом те художники, которые в своих произведениях раскрывают новое содержание, определяющее черты жизни нашего века.

И, возвращаясь к реализму как художественному направлению, писатель напомнил, что и реализм в целом и реалистический роман в частности опираются на художественный опыт великих мастеров прошлого. Однако в своем развитии они приобрели существенно новые, глубоко современные черты. Писатель говорил о реализме, несущем в себе идею обновления жизни, переделки ее на благо человеку, — о реализме социалистическом. Своеобразие социалистического реализма он видит в том, что это искусство выражает мировоззрение, не приемлющее ни созерцательности, ни ухода от действительности, оно зовет к борьбе за прогресс человечества, дает возможность постигнуть цели борьбы, близкие миллионам людей, осветить им пути борьбы.

Уже на следующий день пресса цитировала такие места из этой речи, как, например: «Человечество не раздроблено на сонм одиночек, индивидуумов, плавающих как бы в состоянии невесомости, подобно космонавтам, вышедшим за пределы земного притяжения. Мы живем на земле, подчиняемся земным законам, и, как говорится в Евангелии, дню нашему довлеет злоба его, его заботы и требования, его надежды на лучшее завтра. Гигантские слои населения земли движимы едиными стремлениями, живут общими интересами, в гораздо большей степени объединяющими их, нежели развединающими». Некоторые газеты, любящие сенсационность, выражали свое не то изумление, не то восхищение: «Шолохов цитирует Евангелие!» Многие другие серьезно задумывались над глубоким смыслом сказанного.

Действительно, как будто сегодня произнесено писателем его слово. Так же будет оно звучать и завтра.

Шолохов говорил о людях труда, своими руками и разумом создающих все блага.

Сказал, что принадлежит к числу тех писателей, которые видят для себя высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером трудовому народу. Отсюда, заметил он, следуют выводы, каким мыслится ему, советскому писателю, место художника в современном мире.

Человечество переживает сейчас неспокойные годы, продолжал Шолохов, но нет на земле народа, который хотел бы войны. Может ли не стучать в сердце писателя пепел необозримых пожарниц второй мировой войны? Может ли честный писатель не выступать против тех, кто хотел бы обречь человечество на самоуничтожение?

Писатель обращался к слушающим с вопросом: в чем же состоит призвание, каковы задачи художника, считающего себя не подобием безучастного к людским страданиям божества, вознесенного на Олимп, над схваткой противоборствующих сил, а сыном своего народа, малой частицей человечества? И отвечал на этот вопрос: говорить с читателем честно, говорить людям правду, подчас суровую, но всегда мужественную. Укреплять в человеческих сердцах веру в будущее, в свою силу, способную построить это будущее. Быть борцом за мир во всем мире и воспитывать своим словом таких борцов повсюду, куда это слово доходит. Объединять людей в их естественном и благородном стремлении к прогрессу.

Философскими размышлениями о путях современного искусства рождена краткая, емкая формула, содержащая в себе ясную и точную эстетическую мысль, определяющую отношение к призванию художника. Это мысль о том, что искусство обладает могучей силой воздействия на ум и сердце человека и что художником имеет право называться тот, кто направляет эту силу на созидание прекрасного в душах людей, на благо человечеству.

С уважительным вниманием слушал зал слова автора «Тихого Дона» о его народе. И опять-таки за непосредственным, волнующим смыслом этих слов раскрывались глубокие, страстные, близкие каждому открытому сердцу раздумья о судьбах современного мира, о прошлом, настоящем и будущем любого народа, всего человечества. Писатель вглядывался в исторические пути своего родного народа, который шел вперед не по торной дороге, а путями первооткрывателей, пионеров жизни. Говорил, что видел и видит свою задачу как

писателя в том, чтобы всем, что написал и напишет, отдать поклон этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который всегда умел с достоинством отстаивать свою свободу и честь, свое право строить себе будущее по собственному выбору.

В отчетах газет и журналов особо фиксировалось заключение речи Шолохова, подытоживающее ее содержание и смысл:

«Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждать любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив».

Многое увиденное, услышанное, прочитанное в самых разных странах встает в памяти, когда мысленно восстанавливаешь положения, тональность этой речи. И на многие вопросы находишь в ней точные, внятные ответы.

Чрезвычайно весомо возвращение к вы сказанному тогда суждениям в речи писателя на XXIII съезде КПСС:

«Наша страна, другие страны социализма стали в глазах миллионов людей труда различных наций, различных политических взглядов, различного цвета кожи оплотом надежды, оплотом веры в доброе и светлое будущее. Все, что мы строим, создаем, над чем работают наши рабочие, крестьяне, ученые, художники, на что вдохновляет нас наша партия,— все это строится и создается для мира на земле, для торжества свободного труда, во имя идеалов демократии, социализма, братской дружбы и сотрудничества народов. Для человека. Для человечества».

И сегодня с прежней актуальностью звучит для художников всего мира вопрос Максима Горького: «С кем вы, мастера культуры?» Подавляющее большинство советских писателей и прогрессивных писателей других стран ясно отвечает на этот вопрос своими произведениями.

О роли художника в общественной жизни мне приходилось беседовать с писателями, с корреспондентами газет и журналов на больших, представительных собраниях не раз. В частности, это заняло немалое место в моей речи в Стокгольмской ратуше во время нобелевских торжеств прошлого года. Аудитория там значительно отличалась от сегодняшней. И форма изложения моих мыслей была, соответственно, иной. Форма! Не содержание.



Где бы, на каком бы языке ни выступали коммунисты, мы говорим как коммунисты. Кому-то это может прийти не по вкусу, но с этим уже привыкли считаться. Более того, именно это и уважают всюду. Где бы ни выступал советский человек, он должен выступать как советский патриот. Место писателя в общественной жизни мы, советские литераторы, определяем как коммунисты, как сыновья нашей великой родины, как граждане страны, строящей коммунистическое общество, как выразители революционно-гуманистических взглядов партии, народа, советского человека.

В письме, адресованном редакции журнала «Иностранная литература» несколько лет назад, Шолохов поднимал вопросы, которые он считает насущными: о международных культурных связях и широком обмене творческим опытом между советскими и зарубежными писателями; о том, что каждая нация, большая или малая, имеет свои культурные ценности и что из этих ценностей складывается великое духовное достояние человечества. Советский народ, говорится в письме, стремится придать культурным связям с заграницей возможно больший размах, именно это желание руководило советскими людьми, когда Верховный Совет СССР принял известную декларацию, в которой подчеркивается необходимость укрепления международного общения как важного фактора, содействующего нормализации международной обстановки. «Я был среди депутатов,— пишет М. А. Шолохов,— и с радостью голосовал за эту декларацию».

Выделена в письме мысль — у писателей всего мира должен быть свой «круглый стол»: «У нас могут быть разные взгляды, но нас объединит одно: стремление быть полезным человеку».

Слово гуманиста. Слово гуманизма. Слово революционного гуманизма. В соединении с могучим талантом такого художника, каков Шолохов, оно не может не волновать умы и сердца в самых разных концах света. Да об этом и написано уже очень много. Творчество Шолохова глубоко и тщательно изучается. Множество научных трудов посвящено исследованию его произведений.

В этой статье хочу повести разговор лишь о том, чему сам был непосредственным свидетелем.

Прежде всего — о людях, с которыми довелось встретиться и подружиться на осно-

ве общего интереса к творчеству Шолохова, о коллегах, литературоведах-славистах, в разное время обращавшихся к произведениям этого писателя.

Очень многое делается в этом направлении учеными в ГДР. Позволю себе лишь несколько беглых штрихов. Вот международный симпозиум на знаменательную тему «Михаил Шолохов и мы», проведенный в Лейпциге в 1965 году. Профессор Г. Юнгер выступает с докладом «Шолохов и роман-эпопея в литературе социалистического реализма». Доктор Г. Варм рассматривает вопрос об изображении человека у Горького и Шолохова. Профессор В. Байтц разрабатывает тему «Михаил Шолохов и проблема «оригинальной» личности в социалистической литературе». О характере изображения внутреннего мира героев в романе «Поднятая целина» делает сообщение Х. Конрад, которая в недалеком будущем защитит диссертацию на звание кандидата наук именно по творчеству Шолохова.

Вот в одном из старейших университетов Европы в городе Йене проходит заседание студенческой конференции, подводящей итоги семинарам, которые состоялись во всех университетах республики. Ведут заседание, выступают на заседании только студенты. Они докладывают о работе, сделанной на семинарских занятиях, отвечают на вопросы, поставленные перед ними инициативной группой. Идет обсуждение, вспыхивают споры. Дебатируются, к примеру, следующие вопросы. Существует ли при социализме проблема трагического? Или: что делает героя положительным — его намерения и действия или же только действия? Последний вопрос возникал в связи с предлагаемыми трактовками образа Макара Нагульнова. Как правило, от каждого из университетских семинаров выступал один докладчик. Но в один из моментов на трибуне оказались сразу две девушки. Они сообщили, что единого суждения в группе, которую они представляют, выработано не было, мнения разделились и каждой из них поручено отстаивать точку зрения своих единомышленников. Речь шла о таком сложном сюжетном узле, как взаимоотношения Григория Мелехова и Михаила Кошевого в финальной стадии романа. А рассматривались эти взаимоотношения под углом зрения морально-этических требований, волнующих современную молодежь, вступающую в самостоятельную жизнь: с одной стороны, об ответственно-

сти коммуниста за судьбу человека, находящегося рядом с ним, с другой — об ответственности человека за выбор своего пути...

Хочется подчеркнуть, что конференция собралась для того, чтобы разработать и изучить тему: социалистический гуманизм в творчестве Шолохова.

Вот еще неизгладимое из памяти воспоминание. Вместе с профессором Э. Брюнингом и доктором Э. Хексельшнайдером приезжаем мы на Дон, в станицу Вешенскую, в родные края писателя. Немецкие ученые везут в донскую станицу писателю Шолохову диплом почетного доктора философии Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Сильное впечатление производит на присутствующих при торжественном акте вручения диплома глубоко взволнованная речь профессора Брюнинга, а также слова присланного университетом приветственного адреса: «Ныне произведения Шолохова являются для наших людей, для нашей молодежи, в том числе для студентов, неиссякаемым источником, из которого они черпают идеалы подлинной революционности, стойкой партийности, безупречной правдивости, глубокой человечности...»

Ученые Болгарии. На литературоведческом симпозиуме профессор С. Русакиев делает весьма интересный доклад о соотношении прототипа и художественного образа в «Тихом Доне». Он сообщает, в частности, о встречах с живущим в Болгарии Павлом Кудиновым, бывшим руководителем Вешенского восстания, который под своим же именем выведен в романе. На этих заседаниях доктор Кр. Генов рассказывает о том, как в годы войны против гитлеровского фашизма болгарские партизаны брали себе имена шолоховских героев. Доктор Хр. Дудевски выступает с сообщением о шолоховском юморе, о природе образа Щукаря в «Поднятой целине». Он же пишет предисловие к изданию «Тихого Дона» на болгарском языке. Он же написал книгу о творчестве Шолохова. На примере влияния шолоховских произведений на развитие художественной культуры Болгарии ученый разрабатывает вопрос о национальном и интернациональном в произведениях большого искусства...

Польский ученый доктор З. Бараньский рассказывает участникам симпозиума об изданиях и восприятии романа «Тихий Дон» в Польше. Чехословацкие литературоведы доктор М. Заградка и доктор Я. Буриан делятся своими мыслями о концепции и стиле

шолоховской прозы военных лет, об актуальности художественного мастерства автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины»...

Швеция—Стокгольм, Упсала. Встречи Шолохова с писателями, с издателями, с членами общества шведско-советской дружбы, со студентами и преподавателями в университетах этих городов, выступления на пресс-конференциях... И всюду горячий интерес, всюду взволнованное внимание.

Приезды молодых писателей из социалистических стран вместе со своими советскими собратьями к Шолохову, живой, непринужденный обмен мнениями по актуальным вопросам литературного развития, о путях и задачах литературы и искусства в современном мире.

Путешествие по Японии. Все гиды в этой необычной поездке — переводчики шолоховских книг. В этой стране произведения Шолохова издавались в различных переводах неоднократно. Любопытно, что иной раз сын продолжает дело, начатое его отцом. Переводчик Хара знакомит писателя со своим отцом — профессором Хара, который в свое время переводил «Тихий Дон» для издания в Японии. Переводчик Эгава — сын одного из первых в Японии переводчиков «Тихого Дона».

Японские газеты, журналы публиковали много материалов — заметок, фото, — освещающих путешествие Шолохова по стране. В связи с этим накапливались порою самые неожиданные впечатления. При проезде через маленький городок, лежавший на пути во время одной из экскурсионных поездок на автомобилях, произошла совершенно непредвиденная никем остановка: день был жаркий и кто-то из нашей группы предложил задержаться здесь на десяток минут, чтобы утолить жажду. Вся группа разбрелась по киоскам, где можно было получить прохладительные напитки, купить сигареты, где взор путешественника привлекало множество изящных и забавных сувениров, изделий народных мастеров. Вскоре стало известно, что путешественники — из Советского Союза. Одна из продавщиц в киоске спросила, не с писателем ли Шолоховым приехали туристы, нет ли его среди них. Как только она узнала, что писатель действительно здесь, попросила объяснить ей, как его найти. Получив все разъяснения, немедленно оповестила своих соседей. Торговля кое-где временно прервалась, продавщицы скрылись внутри помещений. Когда они снова появились, в руках у них были

книги Шолохова, таблички для автографов...

И всегда вспоминается девчужка-школьница в горной местности Никко. Она прочтала в газете, что в Японии гостит Шолохов, ее любимый писатель, гость приехал по приглашению японской ассоциации литераторов и совершает поездку по стране. В газетной заметке сообщалась примерный маршрут этой поездки, указывалась и дата, когда предполагается посещение Никко. Девочка знала, что ни один туристский маршрут не минует находящегося в Никко знаменитого древнего храма. Она приехала туда заблаговременно, стала у ворот. Несколькими часами ждала она, надеясь, что ее ожидание увенчается успехом. Разумеется, так и случилось. Многие японские газеты обошел снимок, на котором видно, как эта школьница получает заветный автограф.

И не уместно ли будет нам, современникам нынешней мировой славы писателя, свидетелям сегодняшнего мирового признания роли его творчества в воспитании человеческой души, вспомнить о событиях, которые принадлежат истории советской литературы 20-х годов и происходили ровно пятьдесят лет назад? Тогда очень еще молодой — ему было восемнадцать лет, — начинающий литератор опубликовал в молодежной советской газете три первых своих увидевших свет произведения — три фельетона. Они были подписаны несложным псевдонимом: «М. Шолох». (Краткая справка об этих публикациях: первый фельетон назывался «Испытание», был помещен в газете «Юношеская правда» 19 сентября 1923 года; 30 октября 1923 года в той же газете появился фельетон «Три»; «Ревизор» напечатан 12 апреля 1924 года. К этому времени газета называлась уже «Молодой ленинец».) И вскоре же, примерно через год, один за другим стали появляться — также преимущественно в молодежной печати: в газете («Молодой ленинец»), в журналах («Журнал крестьянской молодежи», «Огонек», «Комсомолия», «Смена», «Прожектор», «Крестьянский журнал») — рассказы. Их подписывал автор полным именем. Это были произведения, которые составили книжку «Донских рассказов». Первый сборник вышел в издательстве «Новая Москва». Сборник сопровождало предисловие, написанное маститым земляком молодого прозаика писателем Александром Серафимовичем. Вот это предисловие:

«Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, яр-

ко, и рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды.

Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий, схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наихарактернейшие.

Все данные за то, что т. Шолохов развращается в ценного писателя, — только учиться, только работать над каждой вещью, не торопиться».

Вспомним еще раз: в ту пору «т. Шолохову» не исполнилось еще и двадцати одного года. А прошло еще два-три года — и он стал великим писателем: были созданы два первых тома «Тихого Дона»!

Читая теперь предисловие А. Серафимовича, мысленно возвращаешься как бы к ответным словам Шолохова, прозвучавшим в 1938 году:

«Серафимович принадлежит к тому поколению писателей, у которых мы, молодежь, учились. Лично я по-настоящему обязан Серафимовичу, ибо он первый поддержал меня в самом начале моей писательской деятельности, он первый сказал мне слово ободрения, слово признания...

Никогда не забуду 1925 год, когда Серафимович, ознакомившись с первым сборником моих рассказов, не только написал к нему теплое предисловие, но и захотел повидаться со мною. Наша первая встреча состоялась... Серафимович заверил меня, что я должен продолжать писать, учиться. Советовал работать серьезно над каждой вещью, не торопиться.

Этот наказ я старался всегда выполнять». И строки, появившиеся еще много лет спустя:

«Мне посчастливилось близко узнать товарища Серафимовича тридцать с лишним лет назад... После этого мы неоднократно встречались. Бывал он и у меня в Вешенской, бывал, и частенько, наезжая в Москву, я у него. Одно время, в 1930 году, он недели полторы гостил в Вешенской. Мы вместе с ним рыбачили, ездили по Дону, и никогда не уставал этот далеко не молодой человек интересоваться всем происходившим в то время на Дону.

Это было в начале 30-х годов. И вот длительное знакомство переросло в чувство взаимной дружбы, несмотря на то, что нас

разделяла довольно значительная возрастная разница. Я вынес глубоко запавшие мне в душу впечатления о Серафимовиче как о милом, скромном и немножко с какой-то казачьей лукавинкой человеке — великом писателе, который много помогал молодым, в том числе и мне».

Ныне и ранние шолоховские рассказы известны читателям многих стран, переизданы на множестве языков. Их образы, мотивы перенесены на экран художественного кинематографа, обрели плоть зримого изображения и пришли в движение. Зазвучала речь героев. Ожили на экране и самобытно расцветившие эти рассказы краски донской степи...

Перед современным читателем «Донских рассказов» открываются картины действительности, уже отошедшей, правда, в недавнее, но все-таки в прошлое. А тогда, когда они писались и публиковались впервые, они были животрепещущим настоящим и в них получали отражение процессы, еще только возникавшие, запечателось рождение, первые этапы развития того нового, что уже вскоре победило, упрочилось. И теперешнего читателя этих рассказов охватывает волнение, словно он сам участвует в развертывающихся перед ним драматических событиях; словно обступившие его образы героев давних рассказов — его современники; словно яркие человеческие судьбы, в которые он с напряжением и трепетом сопереживания всматривается, это судьбы людей ему хорошо знакомых, судьбы, которые не только не могут оставить его равнодушным, но важны для него и значительны.

Шолохову принадлежат обжигающие слова:

«Не может быть художник холодным, когда он творит! С рыбьей кровью и лежачим от ожирения сердцем настоящего произведения не создашь и никогда не найдешь путей к сердцу читателя.

Я за то, чтобы у писателя kloкотала горячая кровь, когда он пишет, я за то, чтобы лицо его белело от сдерживаемой ненависти к врагу, когда он пишет о нем, и чтобы писатель смеялся и плакал вместе с героем, которого он любит и который ему дорог.

Только при этих условиях будет создано настоящее произведение подлинного искусства, а не подделка под него».

Разумеется, такое отношение к литературному труду у молодого автора «Дон-

ских рассказов», почти юноши, еще не отлилось в мысли-формулы, составившие элементы кредо зрелого художника, крупнейшего мастера литературы. Но несомненно, что именно эти эмоции владели сердцем пришедшего в литературу писателя, водили его пером.

А откуда пришел он в литературу? Об этом извещала читателей совсем небольшая по объему автобиография, содержащаяся в одном из сборников шолоховских рассказов. Из этой автобиографии явствовало, что родился Шолохов в 1905 году в хуторе Кружилином, станицы Вешенской, Донецкого округа (в бывшей Области Войска Донского), что учился он в разных гимназиях до 1918 года, во время гражданской войны был на Дону.

«С 1920 года,— пишет он,— служил и мыкался по Донской земле. Долго был продработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами. Все шло как положено. Приходилось бывать в разных переплетах...

Пишу с 1923 года, с этого же года печатаюсь в комсомольских газетах и журналах. Первую книжку издал в 1925 году. С 1926 года пишу «Тихий Дон»...»

Работал юный Шолохов учителем, участвуя в ликвидации неграмотности среди взрослого населения на Дону, делопроизводителем в донской станице Каргинской. В 1921—1923 годах будущий писатель был продовольственным инспектором.

Что это за профессия? Те, кто прочтет один из ранних рассказов Шолохова «Продкомиссар» или «Чужую кровь», составят себе о ней некоторое представление.

Не из тиши и полумрака библиотек и архивов пришел молодой прозаик в литературу, не из башни, возвысившейся «над схваткой», наблюдал он бурлившую лаву истории.

И в самом разгаре титанической работы истории душа юноши, молодого художника, со щемящей болью и нежностью отзывалась на любовь и муки человеческие, на страдания человеческого сердца, на порывы и надежды людей из народа, на их тяжкую долю в прошлом, на их светлую веру в будущее.

Но перед нами веки биографии, веки 1923 года. В том году молодой Шолохов переезжает в Москву. Здесь существовало еще учреждение с названием «биржа труда». Шолохов не преминул зарегистриро-

ваться на этой бирже, чтобы получить работу. Зарегистрировался по специальности «продовольственный инспектор». А к тому времени, как впоследствии вспоминал Михаил Александрович, эта профессия уже «не очень была нужна». И страницы биографии стали заполняться совсем иным: тут был труд и чернорабочего, и каменщика, и грузчика, и счетовода в одном из московских домоуправлений. Вот как раз в ту пору, свидетельствует автор «Тихого Дона», он «начал упорно учиться писать»... Это и было пятьдесят лет назад.

Каков же был уровень, на котором находилась «точка отсчета»? Конечно, различны по своей художественной ценности были не только фельетоны, эта первая проба пера, но и рассказы, эта уже очень серьезная заявка автора на почетное место в литературе.

Трудно ли заметить на художественном полотне у начинающего автора погрешность, мазок, положенный еще не имеющей достаточного опыта рукой, увлечение юности, некоторую дань литературной «моде»?.. Много в изображении еще упрощено, многое не развито, не разработано. Бросится в глаза кое-где натуралистичность при описании суровых, порою жестоких и страшных явлений. Язык перенасыщен местными словами и оборотами речи...

Гораздо важнее почувствовать, увидеть, различить в этих ранних рассказах писателя то, о чем удалось уже в то время так сжато и выразительно сказать А. Серафимовичу, то, что роднит шолоховские «Донские рассказы» с произведениями иного масштаба, возникшими на иной стадии формирования таланта выдающегося нашего писателя. Да и только ли с ними?

Тем, кому незнаком, к примеру, рассказ «Коловерть», хочется посоветовать прочесть его, особенно последние, одиннадцатую и двенадцатую, главы, а тем, кто уже знает рассказ, перечитать эти страницы. Разве будет преувеличением, если мы скажем себе: так вот с каким — чуть ли не толстовским! — проникновением в человеческую душу показывал своих героев молодой прозаик...

Дошли до нас из тех лет фотографии. На одной из них совсем молодой человек. По одежке скорее еще продомиссар, нежели писатель... Лоб, высокий лоб мыслителя, закрыт шапкой-кубанкой. И не угадаешь его. Но глаза, умеющие так много увидеть в широком мире и в сердце человека, это

глаза художника, чья душа открыта всей боли людской и всему прекрасному, что делает человека Человеком с заглавной буквы!..

Да, таков он и был уже в те годы, молодой Шолохов. В годы, отделенные от нас теперь пятью десятками лет. Недаром, глядясь в изображенные им картины жизни, человеческие судьбы, задумываешься невольно о могучем таланте писателя, о народности его творчества, высокой его требовательности к мастерству, которые сделали молодого прозаика достойным преемником и продолжателем благородных традиций великих предшественников.

Штрихи его творческого облика не ограничиваются, разумеется, только верностью традициям классики. Впрочем, дерзновенное новаторство — это тоже одна из прекраснейших традиций и русской и мировой классики. Будучи писателем-новатором, Шолохов ввел в литературу новых героев, отразил в своих — уже ранних — произведениях революционную переделку мира, перестройку сознания, душ людей. Повторю: уже в ранних его рассказах запечатлены события, ставшие рубежами в современной истории. Уже в первых своих рассказах он средствами реалистического искусства показал сложный процесс становления и развития характера нового человека.

В своих «Донских рассказах» писатель разрабатывал большую социальную тему. Перед читателем встают годы гражданской войны в России, на Дону, перестройка деревни на социалистических началах, революционная ломка прежнего, старорежимного уклада казачьей жизни. Существенно заметить, что с первых шагов своих в литературе молодой художник постоянно фиксирует внимание на сложности всех этих процессов самих по себе и на многосторонности их отражения в сознании, психике людей, в их поведении и действиях.

В рассказах очень много суровых, мрачных картин. Зверские расправы кулаков с передовыми людьми донских хуторов и станиц того времени. Кровь сына, пролитая отцом. Брат, убивающий брата.

Не знающая пощады борьба противостоящих друг другу классовых сил. Борьба не на жизнь, а на смерть.

И читателю неизменно передается вера в победу правого дела. Характеры борцов за новую жизнь, выведенные в рассказах, стойки. Читатель верит, что именно таким

людям принадлежит будущее. С любовью и гордостью писал портреты своих сверстников молодой прозаик.

Много позже он скажет о них, о первых своих положительных героях, о героях своих романов, о себе самом — гражданине и писателе:

«Все мы — сыны нашей великой Коммунистической партии. Каждый из нас, думая о партии, всегда с чувством огромного внутреннего волнения мысленно говорит: «Партия, родная наша мать, ты нас вырастила, ты нас закалила, ты ведешь нас в жизни по единственно верному пути».

В «Донских рассказах» даны картины безупречно правдивые, несущие в себе яркие краски жизни. Пути же героев прочерчиваются, и судьбы их, как и отношение к ним автора, а следовательно, и читателя, определяются в зависимости от того, какое место занимает судьба данного человека в широком общественном процессе, в каких взаимоотношениях находится личность героя с обществом. Слово бы силу Антея обретает человек, когда припадает к взрастившей его почве, когда идет вперед вместе с народом, и наоборот — личность деградирует, если человек отрывается от народа. Это и естественно, коли принять во внимание, что движение общественных, исторических событий формирует сознание, характеры, судьбы этих людей, и, в свою очередь, они сами, эти же герои шолоховских рассказов, своей деятельностью, поступками в той или иной степени, в том или ином направлении воздействуют на ход

истории. Тем и определяется основная мера ценности человека как личности.

Итак, еще раз: деятельная любовь к человеку, достойному носить это имя, ненависть ко всему, что враждебно человеческому, — двуединое содержание понятия гуманизма революционного. Именно в этом — важнейшая особенность и шолоховского видения мира, представления художника о своем долге перед людьми.

Пришло время, о Шолохове сказали вещи слова Максим Горький, Алексей Толстой, самые крупные художники всего мира высказали восхищение его талантом, гуманистическим содержанием его творчества. Сегодня мы вспоминаем опять и опять Александра Серафимовича. Ибо он был первым. Первым, кто предрек Шолохову большое будущее.

Автор «Железного потока» был в те годы, когда Шолохов начинал свой путь в литературе, одним из живых связующих звеньев между классической русской литературой дореволюционного периода и классикой литературы советской. Его предисловие к первому сборнику шолоховских «Донских рассказов» представляло собою нечто неизмеримо большее, нежели рядовая статья любого из писателей.

Это великая русская литература, это возникавшая тогда великая советская литература заявляла о рождении нового крупнейшего художника, о том, что она принимает его, приветствует его первые шаги и видит в нем драгоценную частицу своего будущего.



---

---

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

★

## У НАШИХ ДРУЗЕЙ

Обозрение

Вот уже около десяти лет мне приходится сталкиваться с интересным и во многом новым для меня миром зарубежной социалистической культуры. Постепенно я убедился, что никакие априорные представления о процессах, там протекающих, не соответствовали истинному богатству и сложному многообразию (не говорю уж — противоречивости) реальных путей, которыми шли литература и искусство этих стран. Я подходил к ним с заданным, поспешным требованием, а они, эти пути, имели дело с живой жизнью, с конкретным наследием своей национальной культуры, с вечно изменяющейся действительностью, с подвижной исторической ситуацией — внутренней и внешней. И в этой не предусмотренной заранее, часто неожиданной для меня метаморфозе явлений и скрывалась та подлинная, оптимистическая логика глубокой зависимости между побеждающей новью и формами современного искусства. Логика социалистического пути в искусстве.

Если бы я писал книгу о социалистическом искусстве, о методе, книгу теоретическую, я не мог бы не подчеркнуть основополагающего сходства и национальных различий в культурах стран, о которых я взялся говорить. Но и в избранной мною форме заметок, наблюдений, в рассказе о встречах не кажется лишним хотя бы напомнить читателю о том, что речь идет о некоем феномене культуры нашего века — о своеобразии современной интернациональной социалистической литературы. О ее конкретных чертах.

Но — повторю еще раз — я шел здесь не от общего. Оно само рождалось из частных наблюдений. Из жизни. И тем самым подтверждало свою органичность.

Хочется отметить, что в последние годы и Союз писателей и его общественные организации сделали многое, чтобы широкий процесс сближения социалистических культур, проявляющийся во все нарастающей степени, получал достойное выражение и в наших практических делах.

Уже первые заседания «круглого стола» по проблемам литератур социалистических стран (эти заседания я веду по поручению Бюро творческого объединения московских критиков и Совета по международным связям Союза писателей СССР) показали, что круг писателей, заинтересованно изучающих литературу наших друзей, ширится и встречает поддержку со стороны издательств, прессы, научных работников — славистов, специалистов по литературам ГДР, Венгрии и других стран. Все большее число критиков (а с каждым годом их будет еще больше) учится видеть процесс литературы в сложных связях и опосредствованиях, на фоне всего социалистического искусства. Мы учимся рассматривать вопросы и теории и практики в контексте общей проблематики социалистической культуры. Значение этих сдвигов трудно переоценить.

Важным событием, несомненно, является создание многотомных библиотек национальных литератур ряда братских стран Европы. Уже вышли все пятнадцать томов болгарской библиотеки, в работе — польская, венгерская, чехословацкая и библиотека ГДР. За ними последуют румынская и югославская. Решение о выпуске этих библиотек поставило и перед советскими литераторами ряд проблем: в общий культурный обиход читателя войдут почти в одно время многие и многие произведения иноязычных литератур — здесь и «истоки» национальной литературы, и «устья» современ-

ности. Это потребует невольного сопоставления, выводов, наглядно вычертит схему эстетических ориентиров по десятилетиям, покажет относительные размеры явлений. И все это — в общих масштабах, в общих системах координат, как говорится.

Выход многотомных библиотек, конечно, только подведет итог, как бы систематизирует наше читательское внимание — ведь большинство произведений, входящих в новые серии, в той или иной степени были и ранее нам известны в переводах. Однако в этой-то систематичности и суть вопроса. Мы наконец получим довольно полное и цельное представление о пути развития той или иной национальной литературы в ее характерном, особом ракурсе по сравнению с другой социалистической культурой, иной национальной традицией. А это, в свою очередь, поможет нам в сжатой форме представить и то общее, что нас объединяет, и те различия, которые говорят о проявлении своеобразия каждой литературы.

Развитие литературы и искусства в странах социализма в 50—60-х годах определяется в первую очередь утверждением больших и главных ориентиров Революции, идей революционного гуманизма, внимания к человеку. Многие продиктовано и отказом от вулгаризации, отражательства, формализма разного рода. Мы знаем, как сложен и противоречив этот процесс критики и самокритики. Знаем, как он протекал в различных странах, какими побочными явлениями он сопровождался. Вот еще почему требование знать реальную картину процесса — насущнейшая необходимость. Мы обязаны трезво анализировать ход мирового литературного развития, трезво видеть силу и слабости социалистического искусства.

Если в первом обозрении («У наших друзей». «Новый мир», 1971, № 1) я пытался дать панораму интересных явлений в литературе Польши, Венгрии, Болгарии и Югославии, то сейчас хочется сделать попытку более пристального рассмотрения некоторых типичных явлений в литературной жизни двух стран — Болгарии и Польши.

### Краски и песни

Странно, но мне всегда хотелось спорить с географией, когда я смотрел на карту Европы, — правда, только в одном вопросе: Болгарию я с детства представлял соседкой России. И то, что она все-таки оказывалась

далеко, меня огорчало... В детстве мне много рассказывали о том, что болгары — наши братья, что какие-то родственники моего дедушки участвовали в освобождении болгар от турок, что русских там называют «братушки». Тургеневский Инсаров поразил мое воображение (эти годы совпали с гражданской войной в Испании) настолько, что я уже иначе себе и не представлял болгарина как рыцаря без страха и упрека.

Но случилось так, что попал я в эту страну только в 1968 году, уже зрелым человеком.

С тех пор я еще дважды бывал в Болгарии, стал читать книги, написанные болгарскими писателями, подружился со многими людьми, но единый образ страны отпечатался сразу, крепко, отчетливо.

Это, может быть, и оттого, что знакомство мое с Болгарией было не совсем обычным... В первый же день, прилетев в Софию, я узнал, что у старейшей поэтессы Доры Габе знаменательный юбилей; родилась мысль поехать в город Толбухин близ Варны с приветствием от советских писателей. Мы пустились в путь, оставляя за собой километры, да так лихо (машина шла с предельной скоростью), что, выехав в полдень, часам к девяти вечера проехали на восток почти всю Болгарию. Поднявшись на сцену местного театра, я вовремя произнес речь... и, как гонец в балладах немецких романтиков, свалился в какой-то комнатухе в сон. Вот этот день, за который мы отмахали несколько сот километров, и дал мне как бы мгновенный снимок страны. Потому, наверное, я и говорил, обращаясь к Доре Габе: «Я не знаю, как звучат по-болгарски ваши стихи, но я видел, как рифмуются янтарная желтизна початков с красной черепицей болгарских деревень, и я услышал ваши рифмы... Я не знаю ритмической структуры ваших стихов, но я молча стоял на горе против многоярусного Тырнова, и мне кажется, что я проникся ритмом горных цепей, ритмом крыш и резных балконов...»

...Теплый тихий октябрь. Волны лениво плескали в каменные уступы Несебыра, каменного на голубом небе, черепичного, пропахшего смолой, нагретыми сетями, с железными скобами на фасадах двухэтажных (второй, деревянный этаж нависает над первым, каменным) домиков, Несебыра, сквозь который везде просматривается зеленое море и который соединен с сушей только дорогой, что делает его полуостро-



вом. Сказочная реликвия, древняя Месамбрия...

В Пловдиве запутанные улочки Старого города привели к «Дому Ламартина», где дубовые балки держат волнообразную крышу, а лестницы скрипят и пахнет стариной и красками из необставленной комнатухи Энчо Пиронкова, прекрасного художника, который открыл мне совершенно новый мир в живописи... На ломком серо-синем фоне половинки женщины. Нет, это не маяковское «до пояса здесь, а остальное там», не гротеск, не озорная метафора. Это и не аллегория раздвоения личности. Это отзвук той трагической трещины, проходящей через сердце поэта, о которой писал Гейне. Пиронкову веришь. Веришь его пустынным фонам, экспрессии цвета, вдруг прорывающего серую обыденность, веришь обнаруженному противоречию между красотой форм и духовным оскудением — за всем этим есть своя философия: поиски цельной, неущемленной жизни, исполненной пафоса духовности, где мир вещей не отчужден от мира человеческого духа.

Энчо Пиронков чем-то едва уловимым — нюансом ли цвета, контрастом ли, резким выделением главной фигуры или масштабом детали — не оставляет нас наедине с растерянностью, обязательно направляет наше внимание, уводит от пассивной констатации разлада и диссонанса. Он активный художник. И сама сила его внушения — от неравнодушия...

Совсем иной дар у Димитра Кирова. Краски организуют движение мысли, они буйствуют, лепят формы, вытесняют пространство, как будто хотят доказать, что жизнь побеждает пустоту, превращает ее в массу — живую, трепещущую, победоносную, согретую жаркой кровью... Он любит чистый цвет, сильные, звонкие краски. У него и еще у Йоана Левиева, художника того же, среднего теперь, поколения, начавшего новый период во второй половине 50-х, особенно отчетливо проявляется ставка на декоративизм как продолжение исконных болгарских живописных традиций. Живопись Болгарии, начинающаяся с икон, знает насыщенный колорит, оперирует цветом в первую очередь.

Димитр Киров прямо говорит о преемственности своей от народной иконописи. Говорит в выступлениях, «говорит» и образно, скажем картиной «Лука показывает икону Софье», где художник повторил композицию иконы.

Йоан Левиев более изощрен, более литературен. Он пишет портреты. Запомнились его полотна «Армстронг», «Мейерхольд», «Актриса», «Семья артиста», особенно «Ахилл», где «дегеронизация» образа служит развенчанию военщины, агрессивности. Полотно Левиева публицистичнее, чем картины Энчо Пиронкова, «морализаторски» заострены. Но и он, и Пиронков, и Киров едины в одном — в верной, фанатичной любви к той школе живописи, которая была начата в 30-х годах Златю Бояджиевым, Сотировым, Ив. Неновым, Цанко Лавреновым и означена возрождением национальных традиций.

После знакомства с картинами новейших художников переносимся в Бачковский монастырь, где находятся фрески знаменитого Захария Зографа, где трапезная поражает изумительным композиционным приемом — лица «древа Моисеева» сплетаются как виноградная лоза; потом — к Петричковой церкви, что стоит над пропастью у Асеновой крепости, вид отсюда — словно смотришь на Мицхету в Грузии, там, где сливаются Арагви и Кура... Кстати, в Бачковском монастыре я нашел в орнаменте грузинские мотивы, и вежливый настоятель объяснил мне, что грузины и вправду были здесь — ими и основан монастырь, а в XIX веке монастырь подновляли греки.

Видимо, свое и в прошлом дружило с «не своим». Культура истинно самобытная противостоит изоляционизму.

Нельзя ставить знак равенства между любовью болгар к старине, истории, к храмам и иконам — и хорошо известной нам болезнью «неославянофильства». Надо звать историю! Болгары поздно освободились от почти пятивекового турецкого владычества, для них самоопределение — еще молодой процесс, собирание национального опыта — насущная задача становления нового государства, да и решается она на благородной почве идей народного правосознания, на демократической основе...

В храме св. Богородицы в Копривштице, городе болгарской славы (здесь началось восстание против турок!), «мирской», по сути, характер росписи ярко выражен, например, в такой фреске: два ангела несут громадную гроздь винограда, знак земного изобилия. В окладах и орнаментах повторяется тема дубового листа. Оказывается, и это не прихоть резчиков и золотых дел мастеров: это был символ стойкости болгар, так же как солнце, которое я сначала принял за языческий рудимент в символике

христианства, но которое в сознании болгарского народа тех лет ассоциировалось с надеждой на избавление от рабства.

Вот какой «дух» прошлого наследуют нынешние болгары: гуманистическая культура, демократизм, чувство национального достоинства, уважение к человеческой личности. Это верное понимание традиций.

Но ничто так не сохранило дух прошлых эпох, как песни. В них заворачивает не только дышащая Востоком и древностью мелодия — с этим томительным тремоло и фригийским ладом, — но и высокое искусство слова. Вот образец песен, записанных мною:

Дуй, дуй, белый мой ветер,  
Раскачай зеленый лес,  
Растопи белые снега,  
Открой путь к Дrame.  
Там моя любимая хворенькая.  
Передачу ей отнеси:  
Желтую мою айву среди лета,  
Белый мой виноград с листьями!

Тут что ни строка, то образ, хотя он не совсем понятен тем, кто не знает, допустим, что «хворенькая» (или «боль моя», «боленька») все же не передает в полной мере болгарского удивительно нежного уменьшительного от прилагательного «большая» — «больничко», что ни казенное слово «передача», ни даже «гостинец» совсем не то, конечно, что диалектное болгарское слово «понуда» (подарок для больного), что желтая, то есть спелая айва бывает только осенью, что виноград с листьями — такая же поэтическая метафора, как «желтая моя айва среди лета»... Здесь выражена возможность невозможного! Любовь дается через готовность к чуду. Причем степени «чуда» как бы растут на глазах. «Белый» ветер — чистый! — раскачивает, раздвигает лес, растапливает снега, чтобы пропустить влюбленного с его дарами к любимой, время года тут не играет роли: листья винограда еще не опали, а грозди уже налились соком, айва пожелтела в середине лета... Время дается условно, но и реально — в его нарастающей динамике!

А вот еще одна песня. Песня о благородной материнской любви, о том, что сама природа отступает там, где грозит горе сердцу материнскому.

Раскрылась Шар-гора,  
Засыпала трех юнаков.  
Первый юнак взмолился:  
— Отпусти меня, Шар-гора,  
Плачет по мне первая любовь.

Отвечает Шар-гора:

— Любовь плачет до полудня.

Второй юнак взмолился:

— Отпусти меня, Шар-гора,

Плачет по мне сестрица.

Отвечает Шар-гора:

— Сестра плачет три года.

Третий юнак взмолился:

— Отпусти меня, Шар-гора,

Плачет по мне старая мать.

Отвечает Шар-гора:

— Мать плачет до могилы...

Расступилась Шар-гора,

Отпустила третьего юнака.

Борьба за свободу родины выковывала характер болгар, формировала мораль, устанавливала иерархию духовных ценностей, воспитывала уважение к народным героям. Для болгар и сегодня память о героях, замечательных просветителях, мыслителях, художниках — святая память. В школах воспитывается и через всю жизнь проносится преклонение перед именами Паисия, Раковского, Каравелова, П. Р. Славейкова, Левского, Вазова, Ботева, Яворова, Смирненского и многих-многих других героев.

Тот, кто интересуется слепоком с души болгарина, хочет получить его мгновенный портрет, должен прочитать замечательную, вдохновенно написанную книгу Ефрема Каранфилова «Болгары». Она вышла и на русском языке в серии «Литературное приложение к журналу «Болгария» в 1971 году, в издательстве «София-пресс». Талантливый болгарский критик и историк литературы, Каранфилов находит свой ключ к портрету каждого великого деятеля культуры прошлого, но общий смысл, главный пафос этих жизнеописаний выражен в тех словах Каранфилова, в которых дается квинтэссенция народного отношения к проблеме героя, достойного вечной памяти народа и истории.

Народ, по Каранфилову, сохраняет память о достойных личностях, опираясь не только на заметные или, скажем так, эффектные их слова и дела, а и на проявляющееся в их действиях чутье истины и прекрасного. Таким был Васил Левский — легендарный герой освободительной борьбы против турок. Почему так мало удачных портретов его? — спрашивает Каранфилов. И сам отвечает: «Левский чересчур светел. В нем нет тени...» В личности его нет ничего броского. «Никакая краска не задерживается на кристалле его души». Его мысли просты, вняты, но абсолютно лишены эффекта, патетики. «Они как бы почерпнуты из народных песен, столько в них глубоких истин, демократизма и мудрости...» В истории Левского,

говорит Каранфилов, не было ничего, на что могла бы опереться народная фантазия, «ни развернутого знамени, ни леса зеленого, ни расшитого золотом боевого кушака. Но зато он воплотился в народных восстаниях». И вывод Каранфилова естествен: «Левский — самый обыкновенный герой нашей истории. И в то же время — самый необыкновенный. Вот в чем его подлинная суть».

Подлинная суть народного отношения к великому человеку в этом, по-моему, и заключается: народ принимает тех, кто слит с ним в главном — понимании идеала. Тех, кто воплощает, не щадя жизни своей, эти идеалы.

Когда начинаешь поститать историчность процессов культуры, прошлое национальной жизни становится ближе, понятнее. Тогда и в иконах знаменитой «Крипты» (богатейшем хранилище средневековой болгарской иконописи в подвальном этаже храма Александра Невского) видишь не повторение известных тебе библейских мотивов, а историю духовного сопротивления болгарского народа иноземному владычеству.

На грани XIII—XIV веков, говорится в документах, связанных с историей болгарской иконописи, интерес к человеческой личности и многообразию переживаний выдвигает болгарских иконописцев на положение первых гуманистов в европейской культуре. Несмотря на формальную принадлежность к византийской церковной культуре, идеи средневекового болгарского искусства пронизывают реалистические представления о жизни широких народных масс.

Я внимательно всматривался в иконы и отмечал в них любопытные жизненные наблюдения. Вот «Видение св. Павла» из Тырнова. Один из апостолов, следя за тем, что видит Павел, наклонил голову совсем не по «уставу», хочет, видимо, рассмотреть получше, ищет более удобную позу... Вот «Успение св. Николая». Центральная фигура жестом как бы предостерегает стоящих вокруг гроба. А они смотрят исподлобья, и в их глазах скорбь. На лице крайнего в левой группе просто страх, даже рот чуть-чуть приоткрыт. Он моложе других... «Св. Мина» едет по лесистым горам как будто около Копривштицы, а во «Въезде в Иерусалим» мальчик, сидящий на пальме, размахивает крестьянским топориком. Георгий Победоносец явно прочитывается как символ сопротивления захватчикам...

Почему я говорю столь подробно не о

«современности»? Потому что мы равным счетом ничего не поймем в настоящем Болгарии, если не поймем отношения к прошлому сегодняшних болгар. Как мне показалось, постоянное внимание к истории родины не только не мешает утверждению новаторских тенденций в литературе и искусстве Болгарии, но и в какой-то степени определяет эти поиски. И это происходит, вероятно, именно потому, что задачи дня, задачи будущего своей родины, всего социалистического мира поставлены во главу угла болгарского искусства. История может помочь только тогда, когда она не противостоит современности.

### Многое еще откроется вам

Современную болгарскую литературу советский читатель встречает со все большим интересом — и большей требовательностью. Это естественно. Доверие к художественному слову возрастает, когда видишь, что слово это опирается на серьезное отношение к реальным, а не выдуманым проблемам, на подлинное уважение к таланту. Вероятно, и болгарский читатель сегодня более требователен к советской литературе, кино, театру. Взыскательность — необходимое качество общения. Она говорит об истинном равенстве и взаимном уважении.

В «Литературной мысли» (1970, № 1) болгарский критик Тончо Жечев внимательно рассматривал ход дискуссии о славянофильстве, которая велась на страницах наших «Вопросов литературы». Его статья не просто объективный пересказ тезисов советских участников дискуссии, а творческое участие в ней. Жечев верно понял направление наших споров о славянофилах, суть наших разногласий. И, возможно, потому, что сам он в своей работе умеет отличать «призрак» провинциализма от самого провинциализма... Жечев говорит, что над болгарскими долго довлел призрак эстетической «неполноценности» отечественного искусства, он мешал видеть самобытность, силу, национальные основы литературы. Но одновременно критик указывает и на другую крайность — опасность изоляционизма, боязнь «конкуренции», самовлюбленность, провинциализм уже без кавычек. В условиях мощного подъема национального самосознания эта проблема приобретает особый смысл. Опасно принять западное слово за последнее слово современного искусства, опасно и — из-за боязни буржуазного влия-

ния — игнорировать мировой культурный процесс как якобы целиком упадочный, декадентский. Различение, анализ, выявление прогрессивных элементов, учет старой культурной традиции Европы, определение вклада национального болгарского искусства в прогрессивное искусство мира — едва ли не первостепенная задача из тех, какие видятся и Тончо Жечева и его коллегам.

Мы, к сожалению, мало знаем болгарскую критику. А в ней немало интересных фигур, таких, которые не меньше, нежели прозаики и поэты, помогли бы нам в изучении образа жизни, в составлении духовного портрета современного болгарина. «Художники. Герои и характеры» (1967) Ефрема Каранфилова — интереснейший документ такого рода. Это и история, и анализ, и широта кругозора, и эстетическая зыскательность, и, наконец, прекрасная поэтическая проза! Каранфилов всегда пишет взволнованно, доброжелательно, но и резко, когда защищает принципы, имеющие решающее значение. Проблематика таких книг, как «Между мертвой точкой и гуманизмом» (1967) безвременно погибшего Минко Николова, «Писатели и проблемы» (1965) Георгия Цанева, уже упоминавшиеся книги Тончо Жечева, Е. Каранфилова, «Критика и эстетика» (1970) Пенчо Данчева, — проблематика живая, близкая нам по пафосу, связанная с насущными интересами теории и практики литературы.

Я не буду здесь говорить о произведениях болгарской прозы, изданной в СССР, напомним только, что, кроме широко известного двухтомника повестей и новелл, вышущего «Прогрессом» в 1969 году, этой первой ласточки пятнадцатитомной библиотеки болгарской литературы, еще ранее были изданы у нас романы, повести и рассказы Г. Караславова, Д. Димова, Э. Станева, К. Калчева, А. Гуляшки, Ст. Ц. Даскалова, Св. Минкова и других. С 1966 по 1968 год только «Прогресс» выпустил 16 томов тиражом от 50 до 200 тысяч экземпляров.

В последние годы вышел на русском языке и ряд сборников стихов (Павла Матева, Божидара Божилова, Георгия Джагарова). В периодике нашей запомнились переводы из Елисаветы Багряны, Доры Габе, Валерия Петрова, Любомира Левчева, Владимира Башева, единичные, к сожалению, публикации стихов таких интересных, самобытных поэтов, как Атанас Далчев, Александр Геров или более молодой Константин Павлов...

О Далчеве еще в 1927 году писал Георгий Цанев как о даровитом выразителе тонких душевных движений, в простой и ясной форме раскрывающем глубокие, философские темы. Поэт, долгое время пребывавший в некоем общественном вакууме (этому способствовало его отшельничество, созерцательно-мрачный взгляд на жизнь, отсутствие открыто социальных мотивов в его поэзии, «странноватость» лирического героя), на рубеже 50-х годов «выходит к людям»:

Годами молчал постоянно  
с опустошенным от мысли лбом  
и сегодня из этого молчания  
выхожу, словно из гроба встаю.

(Подстрочный перевод)

Стихи Далчева прозрачны и отточенны. Это миниатюры, идейно связанные с той тенденцией его собственной лирики, которая определилась у него после 9 сентября 1944 года, а точнее — после его парижских стихов. Эти стихи были отмечены признаками гражданственности, тоской по естественным отношениям между людьми, протестом против той жизни, когда

Человек не брат тебе, а стена,  
на которую лепят афиши.

(Подстрочный перевод)

Атанас Далчев не стал, да и не мог стать публицистом в полном смысле этого слова. Но и былого, «досентябрьского» индивидуализма, одиночества, символики, связанной с идеалистическим пониманием мира и поэзии, теперь нет в его стихах. Формирование нового стиля философской лирики Далчева совпало с усилением в жизни Болгарии революционного гуманизма, внимания к человеку.

Малоизвестен у нас и другой яркий талант, Александр Геров. Его, видимо, трудно перевести — не потому, что талант его «сложен», напротив, внешне он кажется элементарным, и трудность именно в этом, ибо элементарность здесь иного рода, нежели та простота, что, как говорят у нас, «хуже воровства». Геров знает секрет обезоруживающей простоты, естественной логики естественного человека, и это покоряет в нем.

Если не умрет от одиночества,  
человек может долго прожить.  
О, благословенная простота,  
пусть твое счастье меня согревает!

(Подстрочный перевод)

У Константина Павлова стихи метафоричные и иронические. Он ближе к сатирическому полюсу, но и там светит солнце лирики. Я не говорю сейчас о его книге «Сатиры», а беру одно из характерных его лирических стихотворений. Вот оно:

Как необъезженные кони,  
рванулись  
образы и мысли предо мной.  
Трудно мне их поймать.  
Трудно мне их оседлать.  
Проржали мимо меня и исчезли.  
Велые и черные.  
Долго, долго после того  
вслушивался я —  
неритмичный их топот гложет  
где-то за горизонтом.  
Долго, долго после того смотрю—  
пустынно...  
Триста раз ослепну,  
триста раз сойду с ума,  
если не услышу этот топот,  
полный невыполнимых обещаний.  
Идут люди, плачутся:  
«Твои кони вытопчут нивы!  
Обуздай их!  
Иначе...»

Но как?

(Подстрочный перевод)

Это стихи о творчестве, его власти над человеком, художником, над людьми, которые попадают под обаяние образов, идей, хотя порой и боятся, сторонятся их, «белых и черных». Это стихи, исполненные скрытой гордости и радости. Нет, не хочет художник, чтобы слово его было ручным и стреноженным...

Поэзия Павлова разрушает каноны мещанского мышления. Она противостоит ползучему эмпиризму, переимчивости массового сознания, которое и в наших социалистических условиях представляет серьезную опасность, будучи резервом всяческого приспособленчества, угодливости, нетворческого существования на земле. В лучших стихах К. Павлова есть беспокойство художника, нежелание мириться с тенденциями хвостизма и пассивного регистраторства, которое часто рядится в тогу «правильного» направления. Нет! Сегодня в социалистическом искусстве активность позиции означает *н е р а в н о д у ш и е*; даже если оно принимает крайние формы «странности» и эпатажа, равнодушие это плодотворно и перспективно. Но, разумеется, за любой «странностью» должна быть ясно видна позиция художника-гуманиста.

...Хочется надеяться, что Атанас Далчев, Александр Геров, Константин Павлов, Радой

Ралин, Любомир Левчев, Блага Димитрова, Веселин Ханчев будут так же известны в нашей стране, как уже известны и любимы Елисавета Багряна, Дора Габе, Божидар Божилов и многие другие поэты, которых переводили и утверждали талантливые наши переводчики.

В 1969 году был предпринят интересный опыт создания совместной двуязычной антологии, составленной Львом Озеровым и одним из известных болгарских поэтов, Христо Радевским. Софийское издательство «Народна култура» и наша «Художественная литература» сумели дать читателю в СССР и Болгарии представление о лучших поэтах братских стран. В болгарской библиотеке, о которой уже шла речь, в 1971 году вышла книга переводов Наума Гребнева «Из болгарской народной поэзии» (составитель—Е. Огнянова, редактор — Ника Глен). И наконец, двухтомная антология болгарской поэзии в издательстве «Художественная литература»...

Знакомясь с поэзией Болгарии, находишь удивительные переключки, глубинную связь с русской поэзией прошлого и нынешнего века. Критик Пенчо Данчев писал о том, что русская классическая литература, возможность непосредственного духовного контакта с которой определялась глубокими братскими связями в истории освободительных войн против Турции, оказали большое влияние на формирование реализма как влиятельнейшего течения болгарской литературы. А я просто ловил себя на том, что то и дело узнавал знакомые ритмы, оказывается, общие болгарской и русской музее...

Вот П. К. Яворов, классик болгарской поэзии, творивший на грани прошлого и нынешнего веков:

Сын сынѹвах, ой нерадост —  
опустыла младост,  
сын сынѹвах сын прокоба —  
сынувах си гроба...

Я нарочно даю русскую транскрипцию, чтобы читатель мог почувствовать ритмическую адекватность шевченковскому стиху:

Титаривна-Немиривна  
Платок вышивает...  
И ребенка-солдатенка  
Малого качает.

(Перевела В. Инбер)

Стиху, который у нас так органично продолжал Э. Багрицкий:

Тополей седая стая,  
Воздух тополиный...

Украина, мать родная,  
Песня-Украина!..

А вот молодой Никола Фурнаджиев, «Весенний ветер»:

Хей, мои сватбари, хей, гайди и свирни,  
и гъпани,  
на сватба, на сватба—в неделя,—на  
сватба и смърт!—

этот четвертый фрагмент стихотворения «Свадьба» (сборник «Весенний ветер» вышел в 1924 году) перекликается с такими строками Ильи Сельвинского из «Улялаевщины»:

Ехали казаки, да ехали казаки,  
Да ехали каза-на?-ки чубы по губам...

Гайдаларайда! Врод не брод —  
Ехали казаки по юманде «Уперёд!».

Переключка, разумеется, не явная: она в азартной игре звуками, ритмами, в веселой упоенности силой, размахом, удалью, безоглядностью ожиданий славы, смерти, воли— все равно!..

Гео Милев с его размашистой экспрессией, Никола Вапцаров, Никола Фурнаджиев— с одной стороны; Яворов, Дебелянов, Лилиев, Багряна— с другой, открыли нам гражданскую и исповедально-лирическую линии болгарской поэзии. Но и та и другая отмечены удивительным равновесием жизненной силы и нежности, равновесием, имя которому — народность, демократизм.

Вот в чем в первую очередь близость болгарской поэзии и поэзии русской. Революционный, гуманистический пафос — та нравственная основа единства, за которой стоят и прошлые наши творческие связи и будущие. Но есть и та связь, которой трудно найти точное определение, — связь языка, некое корневое единство.

...Вспоминаю неповторимую чистоту осенних тонов по пути в Копривштицу: синева неба, желтизна лесистых склонов, красные ручьи сухих листьев в расщелинах скал, подгоняемые ветром... «Шумки,— сказал шофер Иванчо,— това са шумки!» Это слово шумело во мне еще долго. Оно отзывалось и на шум ветра, и на шум аниелопальных листьев по каменистой дороге.

А слово пролет (весна)? По-русски это звучит многозначно и обрастает многими ассоциациями. Есть ли это нечто быстро пролетающее, грустное свидетельство преходящего смысла прекрасного времени года? Времени человеческой жизни? А может быть, солнце и жизнь начинают здесь

рассказ про лето? Едва слышными пока голосами?.. В звучании болгарского слова, в цвете той осени, в пейзажах художника Стояна Василева я то и дело угадывал что-то свое... И буйство красной краски в полотнах Цанко Лавренова вдруг начинает тайную игру с общеславянскими корнями (красный — красивый, ладный!)... И видишь «червленые» щиты воинов из «Слова о полку Игореве», любимый цвет старорусских икон...

Знаем ли мы болгарскую литературу? Знаем. Но и прошлое и сегодняшнее ее неисчерпаемо.

И многое еще откроется нам!

### В годы 60-е

Многие тенденции развития польской поэзии, намеченные в 50-х годах, сегодня прояснились, репутации подтвердились, поиски дали свои плоды. Проследить за некоторыми из этих процессов поучительно.

Последнее десятилетие было отмечено колоссальным ростом «поэтической продукции». «Демолирическим пиком» назвала польская критика выход на арену поэтического поколения 60-х годов. Свыше тридцати дебютов и свыше десятка книг авторов, вступивших в литературу в последнее пятилетие, а если взять десятилетие, то 70 новых имен(!) — таковы цифры, приводившиеся польской критикой уже в 1968 году.

Критика более чем скептически отнеслась к этому массовому пополнению отряда лириков. Она отмечала, что молодые поэты, отходя от крайних образцов предыдущего периода, больше тяготеют к уравновешенным формам «классических» манер, но при этом яркие и принципиально новые решения — плоды активного жизнотворчества — у них почти отсутствуют. Основная масса поэтических книг воспринималась как повторение пройденного. Рышард Матушевский, вдумчивый критик поэзии, писал: «Карту поэтических тенденций, которую можно было бы создать на основании знакомства с более чем тридцатью сборниками, кроме дебютантских, нелегко составить. Элементы чужой поэтики из-за отсутствия собственной концепции стилиа — это скорее правило, чем исключение».

Ему вторил Ежи Квятковский, талантливый критик среднего поколения: «Поэзия поколения 60-х годов в преобладающем случае — поэзия скромная, серая, заменяемая или манерная и претенциозная. Она

страдает отсутствием выдающихся явлений, сильных индивидуальностей, творческих программ».

Как кажется Р. Матушевскому, молодые поэты озабочены больше всего тем, чтобы вытеснить предыдущее поколение. Стихи обладают высокими профессиональными качествами, но это кажущееся умение писать настораживает, так как при этом отсутствует выношенное, свое отношение к действительности, подлинное содержание. По мнению польской критики, подавляющее большинство молодых чрезмерное значение придает форме, понимая ее крайне узко — как лингвистические в первую очередь эксперименты. «С нетерпением жду молодого поэта, для которого лес снова станет просто лесом и перестанет быть «пробой леса», «расписанием дерева», «родословной сосны», когда стол перестанет «разбираться на щелчки» и кончатся смертельно скучные декларации о «занятии словом», «слове в дословности», «слововодстве», «созревании слова», — иронизирует Рышард Матушевский в одной из своих статей о поэзии. — Я понимаю, что таким образом молодые поэты хотят проникнуть в клан так называемых «сознательных творцов». Но это дешевый способ, «проникновение в слово» заменяет здесь видение мира и его проблем».

Конечно, эти горькие слова справедливы лишь по отношению к одной поэтической тенденции. И среди поэтов нового призыва есть люди талантливые, самобытные.

Так, критика тепло встретила первые поэмы Эдварда Стахуры «Приступаю к тебе» и «Пусть в саду прирут саранча». Мне кажется, что этот, безусловно, талантливый поэт обладает свежестью восприятия и непосредственностью. Но невольно задумываешься: своеобразная стилизация под примитив, отличающая почерк Э. Стахуры, не есть ли та же дань манерности, которая непременно стремится уйти от естественного, прямого взгляда на жизнь?

Интересен сборник стихов «Имена существительные» краковского поэта Винценты Фабера. Это путь социальной тематики, четкость репортажа, многозначительность факта. Характерны уже сами заголовки его стихов: «Грузчики», «Жилищный отдел», «Советание». Поэт не боится сюжета; его стиль четок, лаконичен. Это как раз тот самый случай, когда стол назван столом, а лес — лесом.

Обнадеживает, что поэты других поко-

лений, заявившие о себе раньше и не всегда начинавшие с главного, медленно, но верно прогрессируют. В конечном счете, для национальной поэзии более важно углубление эстетического освоения жизни, нежели постоянный и быстрый рост новых тенденций, новых имен.

В этом смысле поучительны некоторые биографии.

С Эрнестом Брыллем произошло нечто похожее на эволюцию нашего Александра Яшина, который искал и нашел, по-моему, подлинный голос народной правды, нашел удивительные слова о совести, чести, «добрых делах», которые надо «спешить делать»... Стих позднего А. Яшина стал доверительными по-толстовски «неукложим» с точки зрения напевной гладкописи, периоды усложнились, ритм то и дело ломался, голос слился с живой интонацией, достоверно совпадающей с ходом напряженной, доискивающейся правды, мысли. Брыль, подобно Яшину, тоже начал со стихов о деревне — стихов немного идиллических, описательных. Поворот его к резкой социальной теме совпал с решительным прощанием с идиллией. Эта идиллия носила разный характер у польского и русского поэтов. Идиллия у раннего Яшина была плодом инерции и темперамента, в ней было все искренно и... поверхностно. У Брылля, более искусственного, даже ироничного, идилличность носила иной, нелегко распознаваемый характер «литературщины».

И вот «пало» на поэта «прозренье-чума», и он «изрек слово»... Слово это вызвало большой резонанс: сочувствие, гнев, споры. Интерес к творчеству Брылля необычайно возрос. Новая тема обозначилась у него как преодоление некоего стереотипного представления о «польской душе», о «национальных комплексах», ироническое их переосмысление. Это был весьма злободневный поворот темы, отважная «национальная самокритика». Художник яростно и едко, с достаточной мерой смелости, необходимой всегда, когда речь заходит о «святынях» и «ценностях» нации (а на самом деле, как понимает читатель, мнимых святынях и мнимых ценностях!), заговорил о судьбах интеллигенции, о судьбе народа, о будущем, которое ждет от сынов нации подлинного, а не «литературного» дела, понимания реальных, а не «мифологических» противоречий жизни.

Социальная сатира Брылля направлена, как я понимаю, не только против идилличе-

ской поэзии мифов, поэзии внесоциальной, герметически отгороженной от жизни, но и против поэтического выражения теорий «единого потока». Последняя тенденция сказалась, например, в таком произведении современной польской поэзии, как «Дикая повилка» Александра Рымкевича. В нем автор спорит с теми людьми, которые не хотят принимать польское, так сказать, в «целом», со всем плохим и хорошим, что есть в родной истории, опыте, нравах, принимать все только потому, что оно... польское. Парадокс здесь заключается в том, что А. Рымкевич, которого критик Анджей Лям метко назвал «поздним внуком Эллиота», в своей приверженности к национальной замкнутости вступает в противоречие с той поэтической школой, которой он отдает творческую дань,— школой английской «ученой» поэзии. И конечно, это с А. Рымкевичем в первую очередь спорит Э. Брылля своими стихами:

Итак, весна идет. Опять жгут мусор  
в садах. и как терпкая трава под  
деревьями,  
дым затягивает пастбища поэтов. Но  
здесь  
мы будем насыщаться изысканными  
фруктами  
нашей Аркадии...

Ступая по песку.  
мы можем говорить о нем: «Хотя и  
продавливается  
сквозь пальцы, но,  
быть может, это он разорвал когда-то  
сандалию героя,  
быть может, он попал на ось той  
коляски,  
на которой Морштын удирал во  
Францию...»

(Подстрочный перевод)

Если вспомнить, что Морштын — это польский поэт XVII века, автор барочной лирики, эмигрировавший во Францию, то увидишь, что в этом «удирал во Францию» много сарказма.

Поэзия Э. Брылля подкупает своим направлением, живым, будоражащим мысль. Всякий застой, фанфаронство на почве национального «духа», понимаемого не исторически, не конкретно, вне социальных условий и критериев интернационализма, в любой литературе бесперспективны. В польском варианте это тем более носит отживающие черты, так как уходит корнями не в гордую историю свободолюбивого польского народа, а в жалкую амбицию мелкого шляхетства, обратной стороной идеологии которого всегда было низкопокл-

ошество перед пышной роскошью панских ли усадеб, парижских ли салонов — все равно! Во всяком случае, отнюдь не народной чертой поляков является это ущербное, по сути, идущее от слабости, а не от силы ковыряние в «национальной душе» и пресловутых «комплексах»...

Показателен и путь Станислава Гроховяка. Начал он ярко и дерзко. В самом конце 50-х выходят его первые сборники, исполненные эпатажа; «фетишистом уродства» назвала его польская критика. Образы Гроховяка были вызывающими, «антиэстетическими». И это в условиях тех лет, когда имела претензии идиллическая, эстетская поэзия, было благотворно. Гроховяк хотел передать прозу жизни во всей ее достоверности, без предварительного перевода на язык условностей «поэтизм». В сборнике стихотворений «Раздевание перед сном» поэт стремится к предельной откровенности, к «голой правде», но в этом своем стремлении он был чрезмерен и противоречив, так как стиль его оставался вычурным, и в силу этого внутреннего контраста сама фламандская вещность и телесность жизни в его изображении отдавала манерностью, искусственностью. Главное же противоречие заключалось в том, что проблемы жизни брались Гроховяком чересчур отвлеченно, абстрактно, через миф, аллегорию, что, в общем-то, не так далеко отходило от того узко «эстетического» фронта искусства, на который он поднял свой яркий, но картонный меч.

Потом в критике, в общественных оценках наступило некоторое замешательство. Стихи Гроховяка становились проще, спокойнее, ставка на диссонанс, грубость уступала место анализу явлений жизни, вызывающих сам этот образный протест. Но замешательство вызвано было тем обстоятельством, что стихи Гроховяка, казалось, теряют свою неповторимость, мету личности. На самом же деле в творчестве поэта шел подспудный процесс смены глубинных эстетических ориентиров.

И вот — уникальная книга, политическая поэма «Танец смерти в Польше», выпущенная издательством «ПИВ» в Варшаве в 1969 году. Стихи Гроховяка возникли здесь как комментарий к подлинному альбому-эскизнику немецкого художника Вильгельма Петерсена, вышедшему в Гамбурге в 1940 году под тем же названием. Вот что писал сам Гроховяк об истории этой книги: «Петерсен, по-видимому, вступил в сентябре 1939 года



вместе с немецкими частями в Польшу. Результатом этой «экспедиции» было нечто вроде... репортажа-дневника, который мы представляем здесь в польском переводе, а также более двадцати графических листов, выполненных талантливо и с замечательным мастерством».

Что поразительно в польском издании этой книги? Контраст, который возникает между сентиментально-бесчеловечным, тупым, жестоким, отвратительным в своей педантичности и аморальности дневником, свидетельством духовного порабощения личности фашизмом, — и рисунками, в которых талант художника запечатлел то, что он никогда не замыслил, не смел бы и замыслил: сочувствие к жертвам, моральная правота сопротивления этой неправой со стороны Германии войне. Это противоречие замысла и воплощения многозначительно, и обнаружил это противоречие Станислав Гроховяк. К рисункам поэт и написал свой поэтический комментарий — собственно, поэму о раздвоении личности Петерсена. Он не оправдывал его в стихах, напротив, здесь-то и дописан в полный рост портрет морального уродца, здесь-то и выявлена вся чудовищность перерождения человека, если он вступает на путь служения фашизму. Поэтический комментарий призван полностью раскрыть «философию» такого человека — отвратительную смесь расового психоза, механической заученности догм, прямолинейности оглушенного, тупого сознания, спеси подонков, которым внушено сознание превосходства... Гиммлер в одной из речей, обращенных к солдатам СС, жаловался, что на долю немцев выпала «грязная работа» истории. Рабское сознание рядового исполнителя зверств было заворожено этой идеей — якобы даже жертвенности нации в ее работе по оборудованию газовых камер и массовом сдирании кожи с детей!

Столкнувшись с такой проблемой «антиэстетического», Гроховяк и нашел моральный магнит, который собрал «стружки» его «диссонансов», «уродств», «раздевания»... Этим магнитом оказалось чувство революционного гуманизма, чувство яростного неприятия фашизма.

Гроховяк ведет свой поэтический комментарий предельно сдержанно, эффект «само-разоблачения фашизма» достигается не иронией и сарказмом, а именно этой манерой внутреннего «раздевания» героя. Но в финале поэмы чувство поэта прорывается наружу. Говоря (как и везде) как бы от имени

Петерсена, стоящего около убитого польского солдата, Гроховяк воспроизводит и поток петерсеновской клокочущей ненависти к полякам, его злобу раненого зверя и свой гнев, свое презрение к фашизму.

История, ее реалии были не чужды поэтическому миру Гроховяка и раньше, но сегодня они вошли в его творчество как мощный магнит, и все мастерство поэта, пронизанное сильной идеей, полностью доказало свою жизненность, жизненность сильно действующих, диссонансных и дерзко-выразительных художественных средств.

Более сложен и противоречив путь развития Тадеуша Ружевица.

Сам поэт подтолкнул критику к выводам о том, что его мужественное творчество переживает известный кризис. Сначала он выступил с ошарашивающей декларацией о том, что поэзия кончилась, что искусство в современном мире себя исчерпало полностью, что сам он, Ружевиц, писать больше стихи не собирается. Но через некоторое время как ни в чем не бывало выступил с новыми стихами о... смерти искусства. Человек серьезный, крупный художник, Т. Ружевиц не мог просто искать сенсации, она по сути своей чужда ему, он доказывал это не раз. Остается предположить, что искренний и склонный к максималистским выводам поэт просто не удовлетворен тем местом, которое занимает сегодня в жизни — а жизнь всегда была для него верховным критерием — искусство, поэзия в частности. Стихи Ружевица о смерти («Среди многих занятий, очень срочных, я забыл о том, что надо также умирать»), о суете, мелькании будней не совсем верно, как мне представляется, были поняты в критике. Не есть ли ироническая констатация конечности нашего бренного существования на земле, так часто варьируемая в стихах поэта, всего только полемический акцент: констатация бессилия искусства решить какие-то новые, глобальные задачи, которые открывает постепенно перед человечеством беспредельный разум? Или это моральный протест против забвения — в погоне за многими и многими «срочными» делами — высоких целей жизни, ее грандиозных замыслов? Не будем гадать, творчество большого художника и не обещало нам легких ответов на те волнующие и непростые вопросы, которые Ружевиц ставит перед нами... Генри Торо, великий американец, любил повторять, что человек рождается дважды, второй раз — на «дороге». Тадеуш Ружевиц из

тех художников, что рождаются «в пуги», он движущийся художник. У него всегда есть будущее.

Весьма показательна судьба польского поэта старшего поколения Яна Болеслава Ожуга (родился в 1913 году). Он художник весьма органичный, несколько напоминающий нашего Сергея Есенина. Ожуг настолько погружен в природу, настолько сросся с нею душой, что это, кажется, покрывает все другие приметы его поэзии.

Пришел я из времен травы, кукушек,  
Голубоглазых льнов, трясины диной.  
От сыра, молока, квасных кадушек  
И кузовков с лесною земляничкой...  
...Привет тебе, плетеный кузов лета,  
Родительскому полю в бедной грече.  
Привет пескам родимого повета  
И дудочке. поющей издалече!

*(«У родника в Кульбушовском повете»,  
перевел Вс. Рождественский)*

Но это ранние стихи Ожуга. В последних его сборниках намечается конфликт человека деревни с городом, цивилизацией, и этот конфликт ощущается поэтом как безысходный. За польской деревней встает что-то языческое, очертания знакомых родных предметов сдвигаются, природа оборачивается грозным, мрачным ликом. Сборники стихов 1967—1968 и последующих лет («Покой», «Уродства», «Стены», «Пасхальная земля») полны диссонансов, мотивов почти апокалипсических. В них резко противопоставлены живая природа и наступающая обездушенная, мертвящая цивилизация. В этом конфликте земля защищается: время от времени ее сотрясают извержения вулканов, меняются очертания континентов, полюса ищут нового места... Но, по мнению Ожуга, земля недолго сможет защищаться, если человек не пересмотрит своего агрессивного к ней отношения.

Спасение Ожуг видит в самопознании человека — через психологию и философию. В автобиографической статье, посвященной защите «природы и человеческих мифов» (так озаглавлена вступительная статья, которая должна будет открыть, по замыслу автора, его избранное), Ожуг называет несколько имен философов, по его убеждению, открывших перед человечеством новые горизонты. Среди них Фрейд, Юнг, Адлер, Ранк, Леви-Строс. Я не хочу вступать с поэтом в философский диспут, тем более делать выводы о его поэтической позиции лишь на основе выбора подобных учителей. В конце концов, мы в этом убеждались

неоднократно, не «эрудиция», подчас эклектическая, спасала художников, а их чутье правды, истины, их жизненный опыт.

А он у Ожуга богатый. Детство поэта насыщено впечатлениями от чудесной природы, музыки (его отец был органистом в костеле), знакомством с нуждой, ранним проникновением в торжественность деревенских похорон, тайну смерти и в более открытую в деревне, чем в городе, тайну любви... Смерти близких, потрясения юности, повышенная чуткость к запахам и краскам природы, довадившая до слез, дружба с оригинальным человеком (дедом-кузнецом, который научил мальчика «языческому обычаю бросать еловые ветки на могилы самоубийц в лесу», заклинаниям «на восход и закат солнца», древним народным обрядам и песням) — все это воздействовало на душу будущего поэта.

Ожуг рано начал собирать фольклор, увлекся мифологией, видел в ней «скрытые... законы существования человека и природы». Запах весенних фиалок, запах пороха пасхальных самопалов, дикая чаща деревенского кладбища, которое казалось «библейским, райским садом», — все это воспринималось воспаленным сознанием мальчика как странная, наджизненная карусель «буйной цветущей жизни природы — и смерти». Позднее открылся мир искусства — мир Лесьмяна и Ивашевича, Уитмена и Есенина, Достоевского и Жеромского.

Сильное, самобытное дарование Ожуга переплავило все впечатления бытия, мысли и книги в одном тигле — он ищет пути защиты жизни от смерти, и в этом немалая внутренняя сила поэта. Но страх перед смертью и разрушением жизни («Мы должны считаться с фактами. Жизнь стынет... Трупы умерших достигают огромных высот. Достигают высоты гор») обращает силу в слабость. Ожуг видит спасение в разуме, но молится на интуицию. Он хочет, чтобы человечество «излечилось», искало пути, боролось, но толкает его, как он сам говорит, «к примитивным мифам и архетипам самого подлинного человеческого опыта».

Конечно, в самом творчестве поэта нет такой категоричности, и потому в нем много истинной ценности, много страсти и силы, образного неприятия всего уродующего и калечащего жизнь, живую природу, человеческую естественность. И все-таки современное состояние знаний о человеке и его

натуре решительно противится тому, чтобы поставить мифологию и тем более идеалистическую и неопозитивистскую философию катастрофизма и неверия в прогресс поводырем для ума и чувства современников. Даже если этих поводырей рекомендуют нам талантливые поэты...

В этом смысле развитие поэтики Яна Болеслава Ожуга заметно затруднено по сравнению с верными и плодотворными поисками таких польских поэтов разных поколений, как вечно молодой «вестор» польской музыки Ярослав Ивашкевич, как Антони Слонимский, Мечислав Яструн, Вислава Шимборская, Артур Мендзыжецкий, Виктор Ворошильский и другие.

Большой мастер современной прозы, знаток музыки, эссеист, крупнейшая фигура польской культуры XX века, чей нравственный авторитет в Польше и в мире бесспорен, Ивашкевич, безусловно интереснейший поэт, занимает особое место и в поэзии. Он исповедует ту неуываемую точность мысли, которая, сохраняясь еще в прозе, мало ощутима в современной польской поэзии.

Писатель интеллектуальный и в то же время пластически выразительный, владеющий даром лепки народных характеров, Ивашкевич и в поэзии сочетает пристальность внимания к природе, к мигу жизни с мудрым проникновением в смысл существования человека... В стихотворении «Август над рекой» — прекрасная картина земного покоя: гладь реки — как зеркало памяти, совести, времени... Нельзя стереть, забыть. Но... «мир каждый сам себя уничтожает», как набежавшая зыбь стерла отражение облака, тебя, твоих воспоминаний и того неповторимого мига жизни, когда, казалось, была достигнута гармония.

Так, значит, лучше думать о другом.  
не обо мне.  
не о тебе,—  
о вещи.  
неизмеримой  
и не отраженной

в стекле прозрачной зелени,—  
она  
живет на свете праведней  
и долше.

(Перевела М. Павлова)

Мысль горькая, но тем не менее достойная вечности, в стремлении достичь которую она и рождена. Однако Ивашкевич не только в этом. Власть земли, ее соков, ее запаха, красок — эта всеильная власть составляет другой полюс страсти и муки поэта, держит, шепчет свои смущающие речи:

Это зеркало  
сплетенье лоз прибрежных отражает,  
висящие на ветках капли ежевики,  
листья малины, облака прямые,  
и мои руки.  
и лодки край, покрашенный зеленым,  
в нем отражается слово за словом,  
как будто рифмы за стеклом  
покоятся,  
как спящие парализованные рыбы  
или умершие моллюски.

(Перевела М. Павлова)

Не хочет, не может смириться с небытием эта поэзия жизни, власти жизни! Вот почему, если разрезать ножом это «зеркало», «запахается кровью, заржавеет» нож... Нет для Ивашкевича мира души отдельно от жизни плоти, от этого неба, этой памяти...

Есть что-то толстовское в мучительной и просветленной эпичности лирики Ивашкевича: в ней всеобщее и частное существуют одновременно, как это дерево и это небо. И может быть, потому так и непримирим Ивашкевич к разного рода модным глубокомысленностям современной ему поэзии в ее расхожем варианте, что в основе этой игры в интеллект лежит непреходящее раздвоение мира на мысль и бытие, на слово и то, что породило слово.

А величие художника, как мне кажется, прежде всего проявляется в понимании единства мира, в осознании противоречий не как абстрактной силы «зла», а как условия этого мира, где жить — и, значит, бороться, страдать, находить себя в мире и мир в себе.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Сергей Орлов.** Поэзия мужества.— **Н. Динушина.** Живые связи литератур.— **В. Оскоцкий.** Звездный час Егора Телепнева.— **Юрий Нагибин.** Диалог с другом.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Ю. Суровцев.** Закономерное достижение социализма.— **Э. Юдин.** Какой будет школа? — **А. Плахотник.** Океан и энергетика будущего.— **С. Троицкий.** Франция глазами русского дипломата.

## Литература и искусство

### ПОЭЗИЯ МУЖЕСТВА

**Георгий Джагаров.** Птицы против ветра. Избранная лирика. Перевод с болгарского. М. «Прогресс». 1972. 200 стр.

Поэзия бойцов антифашистского фронта— «Тюремный дневник» Хо Ши Мина и «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля вспоминаются не случайно, когда открываешь и перечитываешь «Мои песни» Георгия Джагарова. От первого лица в этих песнях идет разговор о жизни и смерти, о свободе и неволе в тюремной застенке, о физических страданиях и высоте человеческого духа, неподвластного им.

Для героя песен главное — продолжать борьбу с врагом даже тогда, когда ты скован цепями, сражаться за родину даже тогда, когда у тебя есть всего два метра каменного тюремного пола под ногами. Несгибаемый человеческий дух, поднявшийся на бой за вечные и непреложные ценности, тоскует в песнях лишь о том, что он не может продолжать борьбу с врагом в полную силу, как бы он смог это делать, будучи на воле. И все, что, казалось бы, могло помешать ему быть сильным в этих обстоятельствах, все, что должно было, казалось бы, первым погибнуть в человеке, — доброта, нежность, лиризм приходят на помощь человеку и становятся его силой.

Поэтов Хо Ши Мина, Мусу Джалиля, Георгия Джагарова роднят не только идеи борьбы за свободу, выраженные в стихах. Книжки роднит и то, с какой силой неповто-

римой образности, глубиной метафоричности авторы раскрывают свои мысли и чувства. Стихи Джагарова обжигают остротой восприятия окружающего, выраженного с предельным лаконизмом, объемно и точно.

Дни в застенке похожи один на другой. Наверное, можно рассказать о них по-разному, но картину тюремного дня, нарисованного поэтом, нельзя забыть.

Встаю.

Снаружи. тяжело шагая,  
заткнув гранату за тугой ремень,  
как облако большой и бородатый,  
в шинели,  
с наведенным автоматом  
пришел и встал к решетке  
новый день.

(Перевела М. Павлова)

Никакой риторики, все просто, даже обычно, и вместе с тем никуда не денешься от такого дня уж очень он конкретен до ворсинок шинели и дырок на ремне, за который заткнута деревянная ручка гранаты.

«Мои песни» — это чаще всего очень короткие стихи, но то, что встает за ними, делает их значительными не только по содержанию. Конечно, трудно судить о стихах по переводу, но движение поэтической мысли, заключенной в них, позволяет оценивать и эстетику строк — они прекрасны, ибо в них нет лишних слов, они точны, потому

что выбор слов определен и продиктован состоянием души, готовой вобрать в себя весь необъятный мир, в то время как человек ограничен пространством, которое можно все за минуту ощупать руками. Вот одна из «Мои песен», приведенная полностью.

#### ПОСЛЕ ДОПРОСА

Вдоль два шага и два поперек...  
 Солома от льда холодна.  
 Поднимешь голову — потолок.  
 Протянешь руку — стена.  
 А там широки, широки поля,  
 глубоки реки,  
 гор отроги,  
 всплеск крыльев в небе, родная земля  
 и увозящие вдаль  
 дороги.  
 А там товарищи.  
 мечты.  
 морские берега ..  
 И все это  
 ты сумел защитить  
 на пространстве  
 всего в два шага.

(Перевела М. Павлова)

Сдержанность чувств в заключительных строчках определяет меру того, какой ценой удалось герою стихов отстоять мир, хотя об этом прямо не сказано ни слова, все осталось за пределами стихотворения. Сопоставление двух масштабов, я бы сказал — двухверстки с глобусом, рождает в стихотворении объемный и впечатляющий подтекст.

«Мои песни» — всего лишь раздел в большой книге Джагарова, выпущенной издательством «Прогресс» в переводах русских советских поэтов. Сюда вошли ранние стихи поэта, в них — молодость члена Союза рабочей молодежи Болгарии, в них — суровые годы подпольной и партизанской войны с фашизмом.

Идейная, гражданская зрелость бойца определила содержание и направленность поэзии. Первые проявления характера совпали со становлением голоса поэтического. «Мои песни» звучат в полную силу и ныне, убеждая и захватывая своей чистотой и высотой духа. От них до новых стихов в книге «Птицы против ветра» — большой творческий путь болгарского поэта.

В книге — широкие поэтические горизонты, большая глубина и разнообразие нравственных и философских осмыслений и измерений человеческой души.

С вершины горы Шипки, на которой стоит памятник воинам русской армии, освободившей страну от турецкого ига, в ясные

солнечные дни так хорошо видна Болгария. Пашни, луга, сады, села и города, зеленые, желтые, красные цвета сливаются в далах в сиреневую дымку, в которой, мнится, начинаются иные края. Округлые выпуклости старых гор, пологие плавные линии долин в прозрачном неподвижном воздухе, кажется, видны все как бы на ладони. Нет в Болгарии болгарина, который бы не совершил паломничества на Шипку, не посетил эту национальную святыню хотя бы раз в жизни, что же касается болгарских поэтов, то они, уверен, бывали на ней не единожды. Может быть, на вершине Шипки пришло в голову Джагарову сравнить свою страну с человеческой ладонью, трудолюбивой и доброй:

Земля моя с ладонь... Но мне она  
 могла бы заменить все мирозданье.

«Главная тема Джагаровской поэзии — это тема родины, отчизны, Болгарии», — справедливо пишет в предисловии к книге поэта Владимир Солоухин. Она раскрывается в стихах, прямо обращенных к родине, и присутствует органично в интимной и философской лирике; в образах одушевленной природы и всех стихий — ветра, дождя, снега, солнца, с которыми поэт разговаривает на ты, обращается к ним за душевной помощью и поддержкой. Родина для него не только день идущий и будущий, не только современники и природа, но и история страны, народа, отмеченная в далах времени гражданским духом далеких предков.

Новая история Болгарии связана идейными узами классового братства с Советским Союзом. О Великом Октябре поэт говорит, что

Он счастье золотыми нес снопами  
 по вольной и мятежной русской шпирь  
 и красное в Болгарии взвил знамя,  
 дал людям хлеб,

земле дал клоч  
 о мире!

(Перевел М. Зенкевич)

Идейные и нравственные позиции поэта определяют гражданственность его творчества. И дело здесь не в темах стихов — они могут быть самыми разнообразными. Даже обращения к любимой или к сыну, интимные по самой сути содержания, звучат нравственной и идейной программой его поэзии.

Иди походкой молодой,  
 веселой  
 и с песнею такой же молодой.  
 Когда дурак  
 начнет учить уму,

а клеветник  
учить добру и чести,  
ты плюнь на них!  
Иди с народом вместе.

(Перевел Е. Евтушенко)

Любимым образом мира для Джагарова является день, ему в книге «Птицы против ветра» посвящено немало строк, строф и целых стихотворений. День неповторим в изобразительном выражении поэта, динамика его передается в конкретных запоминающихся деталях. День — время творческого труда и открытий, в нем бывают и солнце и тучи, дожди и бури, минуты тишины и раздумчивого молчания. Концепция мира, который творит Джагаров из материала дня идущего, при этом ничуть не односложна, она многопланова, в ней, при всем общем мажорном звучании, слышны ноты и горькие, трагедийные. в ней, кроме ответов, встают и вопросы, на которые нет, казалось бы, прямого ответа:

Если жажда утоляется водой,  
если вниз идет течение рек  
и могила всякий путь венчает —  
для чего, скажи, родится человек?

(Перевел В. Солоухин)

Характер лирического героя Георгия Джагарова предстает в книге «Птицы против ветра» удивительно цельным, несмотря на длительность развернутого времени — от романтической юности до мудрой и многоопытной зрелости.

Темперамент бойца в самых разных, и я бы даже сказал — полярных, обстоятельствах выражается в поэзии предельно

искренне, чаще всего немногословно, сурово и сдержанно, иногда и несколько нервно, так, как в стихотворении «Вынужденный ответ», но всюду он выражается средствами поэзии.

Советскому читателю знакомы стихи Георгия Джагарова по многочисленным публикациям в журналах; в новом издании поэт представлен наиболее широко.

Интернациональная студенческая семья Литературного института имени Горького в Москве вскоре после окончания Великой Отечественной войны пополнилась студентами из новых социалистических стран освобожденной Европы.

Теперь я даже не могу вспомнить, на скольких языках институт в те годы пел песни и читал стихи.

С болгаринном Георгием Джагаровым, красивым, молодым, мужественным парнем, влюбленным в поэзию, в свою Болгарию и в Советскую Россию, о которой он написал стихи, еще не видя ее, я познакомился в институте. В то время мне о его стихах было трудно судить, ни одной строчки не было еще переведено на русский язык.

Он оказался очень похожим на свои ранние стихи, которые не постарели за десятилетия, и я, сегодня перечитывая их, вижу его снова юным, стройным, как при первом знакомстве, с веселыми карими глазами и смоляным чубом без единого седого волоса, молод он и в своих новых стихах.

Кто мне шепчет, что молодость  
скрылась?  
Это ложь!..

Сергей ОРЛОВ.



## ЖИВЫЕ СВЯЗИ ЛИТЕРАТУР

Изображение человека (Советская литература и мировой литературный процесс). М. «Наука». 1972. 460 стр.

Советская литература привлекала и привлекает внимание многих исследователей. И хотя ее история, закономерности развития жанров, проблема стиля, творчество крупнейших наших писателей — все это, казалось бы, уже изучено, на карте советской литературы все еще остаются, как это принято говорить, «белые пятна». Но фронт изучения советской литературы расширяется, в исследование вовлекается все новый и новый материал, а вместе с тем совершенствуется методология, находятся интересные и плодотворные аспекты, откры-

вающие возможности уточнить и углубить уже устоявшиеся оценки.

Менее других оставалась изученной проблема связей советской и мировой литературы. Она рассматривалась или слишком общо, или излишне конкретно и даже эмпирично, когда освещались преимущественно внешние связи советской и зарубежных литератур. Поэтому несомненный интерес вызывает книга, вышедшая недавно в издательстве «Наука», — «Изображение человека». В этой книге сделана серьезная и многообещающая попытка рассмотреть совет

скую литературу «внутри» мирового литературного процесса, рассмотреть ее не в параллельном, обособленном ряду, но в живых связях, сцеплениях, разрывах, выявить некоторые общие черты и закономерности развития и вместе с тем объяснить, в чем же проявилась особенность советской литературы, какой вклад внесла она в поступательное движение мировой литературы.

Как часто при изучении советской литературы ставилась проблема «фона», своего рода исторического и литературного контекста, вне которого нельзя понять всю значимость и все своеобразие того или иного литературного явления. В книге «Изображение человека» «фоном» является мировой литературный процесс, и задачи исследования, соответственно, усложняются. Авторы книги избирают предметом изучения важнейшие проблемы мировой литературы XX века: что такое человек, какова цель его существования, возможность человеческого счастья и разумного существования людей на земле, человек и природа, человек и общество.

Книга эта экспериментальная, и авторы ее, кажется, нарочно не убирают «строительные леса», показывая читателю путь, по которому шел поиск. Привлекает вдумчивость и серьезность исследователей. Задача почти каждой статьи формулируется предельно четко и определено. Но «система доказательств» подается осторожно, отнюдь не категорически, авторы приглашают читателя к размышлению, не навязывая своих выводов как единственно верных и бесспорных. Здесь нет какого-то шаблона в подходе, задачи исследователей разнообразны: одни стремятся выявить типологическую общность явлений, другие, напротив, сопоставляя писателей, находят их расхождения, избираются разные ракурсы исследования темы и т. п. Но есть и то общее, что превращает сборник статей в единый целостный труд.

Эта первая, во многом поисковая работа требовала очень строгого отбора имен и точности критериев, установления соизмеримости явлений. Здесь большинством авторов книги был избран, пожалуй, единственно верный путь: изучение самых крупных, самых значительных имен. Т. Манн, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Г. Уэллс, Б. Брехт, П. Элюар, Д. Голсуорси составляют «зарубежный» ряд, с которым сопоставляется столь же «представительный» ряд советских писателей: М. Горький, В. Маяков-

ский, М. Шолохов, К. Федин, Ч. Айтматов. И хотя в книге присутствует еще множество других имен, они составляют второй план исследования. Крупным планом даны классические явления литературы, потому что именно в них сконцентрированы художественные искания XX века.

«Великие люди в истории — это те, чьи цели и чье поведение самым точным образом совпадают с основными линиями развития общества, с главными целями класса, являющегося в эту пору ведущим, — писал Луначарский, переводя «на материалистический язык» размышление Гегеля о великих людях. — А отсюда следует, — замечал Луначарский, — что люди не великие — это те, у которых такое совпадение является гораздо меньшим, затемненным, раздробленным»<sup>1</sup>.

Как только авторы отступают от принципа равенства на «великое», меняется масштаб, исследователь фактически оказывается внутри замкнутого круга явлений, не совпадающих или только в малой степени совпадающих с основными линиями развития мировой литературы. В интересной статье Г. Белой и Н. Павловой «Диалектика сознательного и подсознательного в концепциях человека (из опыта советской и немецкой литератур)» не хватает «вышек», ориентира на «великое», концентрирующее в себе существеннейшие черты времени в масштабах мирового литературного процесса, а это привело исследователей к имманентному рассмотрению советской, точнее русской советской, и немецкой литератур каждой в отдельности, в параллельном ряду.

Правда, если авторы сознательно ориентировались на «массовое», но не на «великое» в литературе начала 20-х годов, они, пожалуй, должны были обратиться к явлениям более близким и сопоставимым, более «совпадающим» (левое искусство в России рассматривается в статье мимоходом, в то время как в «немецкой» части анализируется именно левая, революционная литература Германии), тогда гораздо отчетливее наметились бы точки пересечения в развитии двух литератур.

Найти адекватные, соизмеримые «великие» явления в советской и зарубежной литературах, разумеется, трудно. Права И. Подгаецкая, утверждая в своей статье: «Рассмотрение советской литературы в об-

<sup>1</sup> «Литературное наследство». М. «Наука». 1970. т. 82. стр. 44.

шем русле современной мировой культуры — эта задача может быть решена только после многочисленных, вполне конкретных исследований, которые дадут материал для более общих теоретических трудов».

Задачи, как видим, сложные.

Когда И. Подгаецкая, И. Бернштейн, М. Кургинян, Н. Драгомирецкая, Д. Жантеева сопоставляют в своих статьях соответственно гражданскую поэзию Маяковского и Элюара, романы Хемингуэя и Олдингтона с романом «Города и годы» Федина, трагические конфликты в романах Т. Манна и М. Шолохова, проблемы эпоса у Горького и Брехта, образы Климса Самгина и Теодора Бэплингтона, они доказывают возможность и закономерность таких сравнений. Они исследуют художественный мир писателей в его целостности, пристально рассматривая поэтику, проникая в «глубины стилиевой организации» произведения, не упуская при этом из виду общие и широкие проблемы бытия, волновавшие писателей.

Смысл человеческой жизни — таков круг проблем, выдвигаемых в статье Н. Гей «Мир, человек и позиция писателя». Автору важно, как преломляются идейные искания художников в их творчестве, как отражаются они и в общих принципах творческого метода, и в поэтической структуре произведения. Вместе с тем Н. Гей видит свою задачу и в том, чтобы рассмотреть, «как анализ структур поэтики и стиля художественного произведения, казалось бы, далеких от «общих принципов бытия», дает весьма многое для понимания всей сложности и многообразия этих общих принципов».

Н. Гей объясняет, почему он поставил рядом повесть Хемингуэя «Старик и море» и рассказ М. Шолохова «Судьба человека»: в этих двух произведениях художники ответили на важнейшие вопросы времени — о человеке и его месте в мире, о цели его жизни, его назначении. Н. Гей приходит к выводу о «принципальной несовместимости» их ответов, показав, как эта «несовместимость» проявилась и в их концепции человека и в особенностях стиля. Очень интересен в этой связи анализ монолога у Хемингуэя и Шолохова, построение которого, по словам Гей, непосредственно связано с общей концепцией произведений. «Хемингуэевская диалогичность «взрывает» внутренний монолог старика», превращая его в полный противоречий разговор с самим собой одинокого, отъединенного от людей человека. В то же время в монологе Соко-

лова в «Судьбе человека» звучат многие голоса, и голос героя сливается с голосом его слушателя, авторским голосом.

Сочетание важных и глубоких обобщений с конкретным, порой даже скрупулезным анализом текста — едва ли не самая большая удача лучших статей, определивших удачу всей книги. Измеряя явления советской литературы мировым — глобальным — масштабом, авторы книги опираются на литературу, на факты, на творчество художников.

Эта обращенность к самой плоти произведений, отсутствие декларативных, общих фраз придает сопоставлениям исследователей убедительность и беспорность.

Л. Арутюнов, автор статьи «Национальный мир и человек», в своих уподоблениях Матевосяна и Фолкнера, Айтматова и Шекспира идет иным путем. Несмотря на тему статьи, требующую рассмотрения национального мира писателя, несмотря на авторские оговорки о роли исторического и социального содержания, Л. Арутюнов фактически оказывается в кругу «вечных» тем и коллизий литературы, абстрагируя произведение от исторической, социальной, национальной конкретности. Гораздо охотнее исследователь обращается к литературным параллелям. В статье названо множество имен, создающих видимую широту ассоциаций, но при этом анализ остается замкнутым внутри литературного ряда, но «не работающих» на решение проблемы, обозначенной в заглавии статьи.

В самом деле, о каком национальном мире художника может идти речь, если творчество Матевосяна и Друцэ выводится главным образом из литературных источников. «...Когда в прозе этих писателей возникают драматические коллизии, — пишет Арутюнов, — решаются они не в бальзаковском, драйзеровском или в горьковском варианте, а в варианте, близком фолкнеровскому...» «Здесь Фолкнер, как и писатели его ряда, пошел вслед за Достоевским». «Здесь фолкнеровское повествование, как и повествование Матевосяна и Друцэ, заставляет вспомнить Гоголя». «Матевосян продолжает традицию Чаренца и Бакунца». И т. д. и т. п.

Нельзя сказать, чтобы Л. Арутюнов не обращался к стиливому анализу. Так, он сопоставляет «речевой поток» Фолкнера и Матевосяна, размышляет о сюжете. Но «запрограммированность» статьи на параллели Фолкнер — Матевосян, суммарное рассмо-



трение творчества Фолкнера мешают ему ощутить существенные их различия: «хаотичность», «разнонаправленность» диалога и фразы у Фолкнера — это высокое искусство, в то время как в «речевом потоке» Матевосяна в повести «Мы и наши горы», например, отразилась некоторая литературная неопытность автора. Поэтому вывод об однотипности их речи не убеждает. Не убеждает и размышление об общности сюжета, потому что автор статьи опять-таки имеет в виду не реальность, а абстракцию и не учитывает того немаловажного обстоятельства, что, чтобы по-фолкнеровски строить сюжет, надо быть Фолкнером, в противном же случае речь может идти не об общности, но о подражании. Впрочем, рассуждение Арутюнова о сюжете не имеет отношения ни к творчеству Фолкнера, ни к творчеству Матевосяна. «Сюжет, не имея движения в пространстве, а только во времени, в воспоминании, которое как бы внешне, «хорально», утрачивает дисциплину и стройность, повествование превращается в хаос эпизодов-воспоминаний, в многоголосицу фактов и случайностей, передающих бесконечную многоликость бытия, каждая частица бытия равна, так сказать, перед богом и не имеет преимуществ одна перед другой», — пишет он.

И еще одно замечание, уже общего характера. Авторы дали своей книге заголовок: «Изображение человека». То, что они сосредоточились на проблеме, решение которой дает возможность авигаться дальше, совершенно оправданно. Но название это не совсем соответствует содержанию. В книге, охватывающей далеко не полный круг проблем, связанных с понятием «изображение человека», есть статьи, выходящие за пределы поставленной темы. Возможно, в них намечается путь, по которому пойдет исследование в дальнейшем. Очень перспективна в этом смысле статья М. М. Кузнецова «Народность советской литературы и «массовая» литература за рубежом», в кото-

рой поставлена важная проблема литературы для масс и литературы для избранных. Хотелось бы только большей точности в рассмотрении так называемых «элитарных концепций искусства», которые возникали не только в среде буржуазных теоретиков, но и у некоторых ревностных защитников пролетарской литературы.

Уходит от главной темы книги и Д. Урнов, хотя название его статьи «Личность как источник повествования», казалось бы, имеет к ней самое непосредственное отношение. Но статья получилась не о личности повествователя, как это заявлено автором. При всей тематической «разнонаправленности», в статье намечена сквозная тема — подтекст, его назначение, его роль в творчестве Чехова и Хемингуэя, отношение к нему современных советских писателей. Сама по себе это важная и интересная тема исследования. Д. Урнов обращается к ней в связи с изучением личности. «Сколько в самом деле должен содержать в себе повествователь, чтобы хватило у него материала еще и на подтекст!» — пишет Урнов. Однако ведь если «еще и на подтекст», то можно ли, исследуя личность повествователя, ограничиться только подтекстом?

В книге «Изображение человека» можно найти и спорные оценки, иной раз не очень аргументированные выводы. Это естественно, потому что слишком сложным был материал и во многом нова методология его исследования. Но большинством участников труда найдено верное направление. Они доказали, что рассматривать советскую литературу в мировом литературном процессе важно и необходимо, но для этого недостаточно знания одних только идейно-философских предпосылок творчества писателя, а нужно углубленное и внимательное, без размашистости и торопливости, целостное изучение художественной структуры, стиля, поэтики произведений.

Н. ДИКУШИНА.



### ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЕГОРА ТЕЛЕПНЕВА

Виктор Лихокосов. Осень в Тамани. Повести и рассказы. М. «Современник», 1972. 286 стр.

Виктор Лихокосов. Чистые глаза. Повесть. «Наш современник», 1973, № 3.

Егор Телепнев из повести Виктора Лихокосова «Чистые глаза» не чета ранним аксеновским героям, мельтешенье по курортным пляжам чуждо его напористой нату-

ре. «Не алые паруса меня манят, не перламутровые раковины», — исповедуется он, оставляя театральный институт в столице. «Весна, ветер, рейд» становятся его звезд-

ным часом. «На мне свитер, драные штаны в мазуте, вахтенного Васьки пимы с литыми калошами»,— радостно сообщает он в письме другу.

Разочарование в своем призвании, крушение мальчишеских иллюзий об актерской славе? Потребность искать иное предназначение в жизни, свое, настоящее дело?

Ничуть не бывало. Уж Егор ли не талантлив, не предан искусству, не одержим любовью к нему! Его ли не «приласкал» Ямщиков, «самый русский актер... в Москве», не приветил писатель Астапов, самая родная Егору душа, «добрая, широкая русская натура»! Но даже обласканный, признанный, Егор все-таки уезжает. Пусть «прихоть», пусть «дурь», объясняет он такое решение оной приятельнице, «но я знаю, что в студии меня отточат, научат форме, как играть, а содержание — что играть — должно прийти из жизни, из моей вдобавок жизни. А из какой же, к черту, жизни оно ко мне придет? Лекции, танцы, библиотеки, поцелуи...

Она остановилась и долго смотрела на него. Потом закрыла глаза и медленно, с искусством потянулась к нему лицом.

— И поцелуи... — сказала. — И они тоже жизнь...»

«Она» — пустышка Лиза, крайне несимпатичная нам однокурсница Егора,— упоенно демонстрирует свою нравственную неразборчивость («летит в огонь») на протяжении всей повести. Но на этот раз в словах ее есть своя правда. Не в том же дело, где будет жить Егор Телепнев, в студенческом общежитии на Трифоновке или в кубрике дежурного катера на Дону, а в том, как жить. Оторваться от жизни можно всюду — и играя на сцене, и подкачивая масло в движок...

Новая повесть Виктора Лихоносова опубликована вслед за избранным «Осень в Тамани» и несет в себе многое от предшествовавшей ей лирической прозы, широко представленной в этой книге.

В Егоре Телепневе можно уловить немало «наследственных» черт духовного родства с прежними героями писателя независимо от того, носят ли они собственные имена или выступают от лирического «я» автора.

«Что я, кто я? Что мне назначено, по какой дороге пойду я, кто будет любить меня, кто ненавидеть?.. Не так вроде бы жил, мало видел, ничего не успел»,— терзается лирический герой повести «Люблю тебя

светло», одержимый желанием «сложить хорошую песню», найти настоящее слово, «чтобы все вздрогнули и оглянулись на звук». В повести «Чистые глаза» ему вторит Егор Телепнев: «Я никому не нужен, я никому ничего не могу дать, мне нечего дать... И уже кажется мне, что я напрасно, рано попал сюда и совсем-совсем не знаю жизни, скучаю по какой-то другой дороге». Не менее сурово казняя себя, он так же самозабвенно рвется к высокой цели в искусстве: «Нет у меня еще своей правды. Поищу. Как бы хорошо здесь ни было, а на доньшке вечно будет что-то недоумевающее. Хоть вспоминая буду, что не объедками побираюсь. Если уж на то пошло, то искусство не пропадет без Егора Телепнева и рано или поздно вернется к этому самому родному реализму. Но я-то?» (Разрядка моя. — В. О.)

Чистота порывов, потребность в углубленном самопознании и в самом деле, казалось бы, порождают в нем максимализм нравственных требований к себе. Но ни то, ни другое не отвечает все-таки на вопрос: «Зачем ума искать и ездить так далеко?» Что мешает Егору нравственно совершенствоваться, посещая институтские лекции, учебой, трудом готовя себя к избранной профессии актера?

Ответ приходит не тот, который дает герой повести, ссылаясь на чрезмерное благополучие жизни, доставляющей мало страданий. Скорее он в приведенных выше самонадеянных и развязных словах об искусстве, которому-де еще предстоит только выбраться на верную дорогу, вернуться к «родному реализму». Вель мир, в который заключен в повести Егор Телепнев, и впрямь не оставляет места ни жизни, ни искусству — от него впору бежать без оглядки. И тут уже приходится говорить о фантастической аберрации зрения, которой страдает герой В. Лихоносова, едва погружается в свой «голубой омут» (увы, не единственный в повести пример стилизованной красоты!).

Судя по некоторым календарным приметам, разбросанным в повести, действие ее происходит в середине 50-х годов. Что же вынес Егор из той поры своего студенчества, что отложило время в его памяти? Скажем прямо: немного. И главным образом лишь роковые «соблазны», которыми коварная столица подстерегала неискущенного провинциала. «Назывались имена, перебирались

позиции режиссеров, писателей, директоров театров, выкапывались детали о перебранке литературных журналов, и постепенно Егорка выяснил, что подонок, оказывается, такой-то, а добродетельный тот-то. Он привык оценивать мастеров по их ролям и книгам, но теперь он уловил, что главным в характеристике было нечто другое, шла какая-то расстановка сил, о которой Егорка и понятия не имел.

Примем на минуту условие, предложенное писателем: изображенный им шаржированный мир доподлинен, этим и утратил он героя повести. Но чем в таком случае сам-то герой лучше третируемых «скептиков», которых не мудрствуя лукаво обвиняет в «базаровщине», неприятной ему, Егору Телепневу, «еще по роману»? Разве не та же суетность наполняет саркастическим ядом и этот полемический вызов русской классике, и откровенное презрение к неким современным «тяжеловесам», от которых-де «осталось далеко, бледное сияние когда-то неплохого имени, и, ничем правдивым, настоящим свою славу не подкрепляя, они тридцать лет заботились лишь о том, чтобы имя сияло прежним светом. А свет этот уже слабее лампочки на деревенском столбе...»? Не самолюбие дерзкого таланта, а тщеславие завистливого неопита способно питать такое высокомерие. Равным образом именно это и мысль о величии гения направляют в русло обывательских представлений об «изячной» жизни: «...у гениев все красиво, прилично. Все! Что пошлово, грязно будет у меня, у тебя — у них красиво. о. подражать хочется! Он волоочится — тебе бы так. Он пьет, дерется, льстит, изменяет, черт знает что еще — не по-нашему. Какая-то грация во всем».

Поистине: каждый видит, что хочет. Но не только прихотливость видения настораживает здесь в Егоре. Настораживает склонность к хитроумному камуфляжу, назойливое желание облагородить... пошлость. А она всегда безнравственна — и тогда, когда сознает себя пошлостью, и когда скрывает свой отвратительный лик под маской внешней благопристойности. В первом случае она хотя бы откровенна и не титится выставляя себя за образец нравственности. Не то в словах Егора о гениях. Относительность нравственных критериев, провозглашаемая им, признание морали для всех и морали для избранных мало чем отличаются от немудряшей формулы воинствующего

мещанина «все дозволено». Не приведи бог Егору сделаться самому гением: сколько и каких дров наломает он, упиваясь своей исключительностью и прикрываясь такой философией...

Откуда она у девятнадцатилетнего парня?

Егору бы не перел кулисами стать, не в глазок на сцену подсматривать, а приобщиться к творческому и вдохновенному труду, который требует горения души, самоотвержения и подвижничества. Тогда бы, наверное, и открылся ему прекрасный мир искусства, а не жалкая «среда, где так много условного, тщеславного», где едва ли не каждый старается казаться, а не быть собой. Тогда бы и «людей самобытных», по которым «больше всего» тоскует Егор, встретилось бы на его пути куда больше. И не заслонили бы их ни пустобрех Владка («...вся Москва его знала, ко всем он был вхож и выпивал с самыми популярными актерами кино»), ни полууродивый Мисаил («...маска клоуна пристала к нему навечно»), ни двуличный баловень славы Панин, чьи былые «порывы сменились обыкновенной службой, в которой тоже надо было стараться, иначе на твое место сядут другие». И уж, конечно, никакие «угодливостные субъекты», «недалекие и чванливые», не отравили бы тогда Егору встречи с любимым писателем Астаповым. «Кто они?» — спросит потом друг Димка. И за то спасибо Егору, что, отвечая, не потревожил он тени Дантеса:

«— Мало их разве, прихлебателей. Шавки какие-нибудь.

— Что он их подпускает?

— А откуда я знаю? Маяковского, думаешь, не опутали...»

Все эти намеренно карикатурные персонажи невольно заставляют вспомнить повесть В. Лихоносова «Люблю тебя светло». Что только не происходит в ней на глазах лирического героя! Какие-то мальчики «клубного таланта» панибратствуют с сегодшасыми так, словно «мерилом уважения и приятельства» для них «была ранняя способность сосать водку»... «Сверкая соблазнительными чудными коленками» (!), курят «бог весть отчего просвещенные дамы» и кем-то горячо восхищаются, кого-то упоенно цитируют... Некие «выдвиженцы», превратив литературу в средство «выйти в люди», снуют под ногами. «лезут наперед, унижая самое дорогое и чистое, и при так называемых возвышенных побуждениях не

забывают и о самых низменных...». И еще кто-то, «угодливые и откормленные», держатся «всегда вместе, на одной огороженной площадке, тесно сдвигают после собраний столы, лижут друг друга и только успевают носить к машинисткам свои пухлые рукописи»...

О, эта мнимая многозначительность прозрачных намеков и полунамеков, интригующих иносказаний! Как бы с ней не «нарываться на глупейший скандал», от которого предостерегал писателей М. Горький. Не по себе, неловко и жутко становится от живописуемой так камарильи, представляющей у В. Лихоносова все ту же вездесущую «среду», которая неведомо почему застит свет самобытному таланту, каким выведен в повести Ярослав Юрьевич Белоголовый.

Непостижимо: неужто не дрогнуло писательское перо, когда живописало все эти «страсти-мордасти»? И неужели сам В. Лихонососов верит в доподлинность воссозданного им паноптикума?

О серьезном следует говорить серьезно. Если и способны подобные сцены произвести на легковерных читателей какое-либо впечатление, то оно пойдет не на пользу искусству, его моральному авторитету. Рассуждать о святости литературного труда автор может сколько угодно, но мало что останется от этих рассуждений после того, как «переводчики, корреспонденты, гости, приятели и всякие прочие шатай-болтающиеся» пройдут толпами по страницам повести и дохнут на читателя затхлым духом декадентствующей богемы. Попробуй различить в этой духоте порывы свежего воздуха — им попросту неоткуда взяться. Потому и одинок так в повести писатель Ярослав Юрьевич, «любимый мастер» лирического героя.

Что же противопоставляет он пресловутой «среде»? Насколько высоки его нравственные принципы? И как значительны уроки бескорыстного служения искусству, которые он завещает своей жизнью и творчеством?

«Понимаешь, какая штука. Пыхчу вот, извожусь над переводом. У меня роман в голове, а я должен перевести, это хлебец мой. Прости, господь, мои великие согрешения, но ничего более противного я в жизни не делал. Как будто пьешь касторку с сахарином и она попадает не в то горло. Вот уж действительно «люди гибнут за металл!»»

Как видим, он тоже не бессребреник. Что делать: такое в жизни, конечно, бывает. Но

только зачем было тогда говорить о Ярославе Юрьевиче, что он «вроде бы и не человек для тебя, а бог»? Как и подобает богу, он не скупясь вещает, пророчествует, наставляет, учит молодого друга и жить и писать. А тот, внимая, берет на веру его откровения даже такого сомнительного толка: «Я же всю жизнь, с младенческих ногтей, понимал, что сложность — это порок и что разбитый писсуар куда сложнее и непонятнее Венеры Милосской»...

Так и хочется прервать: уймитесь, Ярослав Юрьевич, не богохульствуйте, на святыхи ведь покушаетесь, и на какие святыхи! Вам ли, седовласому мастеру, не знать, что значит Венера Милосская в истории мировой культуры. И не к лицу вам без удержу ерничать.

Но куда там. Немое обожание молодого друга все пуще раззадоривает Ярослава Юрьевича, и нет конца его словоизвержениям.

«Найти метафору и написать балаган с переодеванием чертей куда легче, чем сказать два-три простых слова...» Полно: уж не в Блока ли метит он перед доверчивым учеником? И не с Маяковским ли спорит задним числом, призывая «не потакать улице с ее вечно сменяющимися требованиями... Нет, забыть об улице, не думать о ней...»

Среди многих определений лирической прозы вспоминается такое, воспроизведенное в книге Янки Брыля «Горсть солнечных лучей»:

«— Вас когда-нибудь били по обнаженному сердцу?..»

Или слышал это где, или читал — не знаю, не помню. Но это в последние дни — очень мое...

Вот что такое лирическая проза...»

Самоанализ и самопознание, самоосмысления героя важны в ней не сами собой. Они не могут вызываться тщеславным упоением своим «я», в них должны быть доверительная открытость миру, щедрая отзывчивость на его радость и боль. А это, в свою очередь, исключает и состояние экстаза, в котором то и дело пребывает лирический герой В. Лихоносова, странствуя по дорогам страны и зачастую томаясь всем обыденным. «Будничное оскорбляет», — даже восклицает он однажды.

Не забудем, однако: «Тот еще не художник, которого поэзия трепещет и отвращается прозы жизни, кою могут вдохновлять

только высокие предметы. Для истинного художника — где жизнь, там и поэзия». Не о ком-нибудь — о Пушкине сказаны были когда-то эти мудрые слова.

Применительно к лирической прозе они, в частности, означают: не благостное умиротворение, но драматизм большого и сильного чувства создает ее настрой. А откуда быть драматизму, если погруженный в себя, отрешенный от скверны мира герой В. Лихоносова готов чураться всего, что грозит замутить его душевный покой. И даже не боится при этом простодушно признаться, как странно бывает ему «приглядываться к попутчикам», встреченным в дороге, «отчужденно думать об их судьбе, все время томясь своим». (Разрядка моя.— В. О.)

Один из попутчиков стоит того, чтобы о нем рассказать подробнее, привести дословную цитату, как ни велика будет она.

«Вот уже вижу причал в Коростове, на полпути. Вижу безлюдный высокий берег, телят и лужи подальше. Вижу плавный сельский вечер с отсветами по окошкам, парня, который минуту назад прощался со мной, складывал гармошку и предвкушал встречу и выпивку. Я тогда мало подумал о нем. Он любил вышить и подразнить при народе встречных девчат, поболтать, потискать и пойти дальше, забыть навсегда. Плечистый, насмешливый, он только что сидел со мной рядом, играл и громко распевал, вел себя так, будто все ему приходилось соседями, ко всем обращался небрежно и просто:

— Дед! Тебе помирать пора, а ты в чепуху заглядываешь! Что, тетка, смотришь, породниться хочешь?

— Далеко? — спросил он у меня.

— В Константиново.

— Живешь там, — подморгнул, — или к бабе?

— Нет, просто...

— А-а... О чем все думаешь? О девушке? — сказал он и растянул гармонь, забыл меня. — Угадал? — спросил погоды.

— Нет, — сказал я и подумал о своем.

— Брось скрывать! — обнял меня парень и потрещал за плечо...»

Представим мысленно этого разбитного, бесшабашного гуляку в «Привычном деле» В. Белова, в романах Ф. Абрамова «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья». Кем бы он стал там? В первом случае — шалопутным Мишкой Петровым, во втором —

бездумным, самодовольным Егоршей. И ни в том, ни в другом не вызвал бы умиления. Для В. Лихоносова же он — милое сердцу, трогательное воспоминание о путях-дорогах.

Подобное упрощенчество еще заметнее в повести «Чистые глаза». «Говорит, немцы сожгли семью в Белоруссии. Но ему верить...» — падает вдруг реплика о Мисаиле. И забывается тут же напрочь всеми, даже в чуткой душе Егора Телепнева не получает и слабого отзвука. Но что, если и вправду сожгли, — вот драма человеческой судьбы, которая могла бы напомнить герою-мечтателю о драмах народной истории и хоть на минуту спустить его с безоблачных высот на грозовую землю. А как бы высветился при этом характер опустившегося, паясничавшего Мисаила, какими бы новыми гранями засверкал под пером пронзительного писателя! Но драма сложна, а фарс прост — и В. Лихоносов предпочитает фарс, дабы не затруднять любимого героя разгадкой непонятного.

Аналитичность социальной мысли всегда показана лирической прозе, ибо она потому и лирическая, что, по определению Ольги Берггольц, «насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце».

Там, где в сознании героя В. Лихоносова совпадают «наше бытие» и «мое сердце», писатель находит свое верное слово, невымученное и задуманное. Это и рассказ «Брянские», и места еще ученическая, но в целом свежо и уверенно написанная повесть «Чалдонки», и пока что, по-моему, самая зрелая из всех лихоносовских повестей «На долгую память».

Иное дело повесть «Люблю тебя светло». Говоря образом самого В. Лихоносова, княжеские полки и красноармейские тачанки не слились здесь в одном лирическом переживании героя. Подобно тому как околотературная суета заслонила от него мир творчества и искусства, так и натужная память о прошлом оказалась сильнее чувства современности.

«...И за строчкой, за строчкой — каждый присоединился — кончили хором, путая, сбивая и поправляя друг друга. И вдруг! Заплакали. И от растерянности даже в глаза друг другу заглядывали: не я ли один? Заплакали, не сговариваясь...»

О чем это, о каких строках, растрогавших и самого Ярослава Юрьевича и его молодого

го друга, идет тут речь? Не догадаетесь: о том, оказывается, как шумной и веселой компанией читали под луной... «Отче наш».

Эпизод тем более примечательный, что он отозвался и в повести «Чистые глаза». Не что-нибудь, а древнюю молитву перечитывает Егор, прощаясь с Москвой. И ее «слова, кем-то сложенные еще, наверное, при татарах, вдруг подняли его на секунду на своих крыльях. Какая красота, поэзия, кротость... Стихи, в которых еще темен и не важен ему смысл (!), прежде всего трогает мелодия, светятся образы и видятся люди, которым кстати их произносить»... Ну, а нам, пользуясь случаем, не кстати ли будет

спросить Егора: неужто и это предстоит ему «сперва сберечь в себе, а потом донести»?

Сберечь, донести — такова формула жизни, исповедуемая героем повести. Она бесспорна, однако при одном условии: если есть, что беречь. Иначе «вылазка в народ» не принесет Егору ничего, кроме самоочевидных и банальных истин на тему о том, что «везде люди живут! Везде им счастья хочется» и что все они «такие разные!».

Чтобы догадаться об этом, не стоило напяливать драные штаны и чужие пимы. Достаточно было просто оглянуться окрест себя.

**В. ОСКОЦКИЙ.**



## ДИАЛОГ С ДРУГОМ

**Рональд Харвуд. Одинаковые тени. Роман. Перевод с английского Андрея Сергеева. «Иностранная литература», 1973, № 3.**

Еще недавно имя Рональда Харвуда, южноафриканского писателя, было известно в Советском Союзе разве что ученым-африканистам. После опубликования романа «Одинаковые тени» его узнали и, без сомнения, запомнили и многие читатели. И дело тут не только в ярком и самобытном даровании Рональда Харвуда, в ценности и художественном своеобразии его произведения, а также и в том, что этот роман расширяет наше знакомство с таинственной африканской страной, начатое романами Абрахамса и продолженное произведениями Алекса Ла Гумы. Мы еще слишком мало знаем о сегодняшней жизни ЮАР, страны, запертой на семь замков для всех, кому ненавистна расовая дискриминация. Большинству из нас ведомы лишь прямые очевидности государственной политики апартеида, свирепого угнетения белым меньшинством коренного населения страны.

Но вот появился небольшой роман Рональда Харвуда — и странный, горестный образ мало знакомой прежде жизни поселился в нашей душе, отозвался в нас жалостью и гневом, сурово напомнил о необходимости решительной борьбы за равенство всех живущих под солнцем. И герой романа, двадцатилетний зулус по имени Джордж Вашингтон Септембер, с телом атлета и простодушием ребенка, приходит в конце своих злоключений к той же кощунственной, с

точки зрения белых хозяев, идее — все люди должны быть равны.

Убежденность в изначальном равенстве людей разного цвета кожи пришла к Джорджу Вашингтону с маленьким и великим открытием: у белого и у черного одинаковые тени. Это художественно выразительно: если бы существовало органическое различие между белыми и черными, оно сохранилось бы и в их тенях. Но и при небесных светильниках и при лампах или фонарях сколько ни вглядывайся в отпечаток человека на земле, асфальте, стене, ты никогда не скажешь по цвету тени, кому она принадлежит — европейцу или африканцу.

Главное достоинство романа Рональда Харвуда — в необычайной приближенности рисуемой им жизни к глазам читателей. Тут все дается как бы крупным планом: характеры персонажей, их отношения, конфликты, городской и пригородный пейзаж, внутренний мир главного героя, молодого африканца, — его интересы, наивные заблуждения, здоровая чувственность, трогательная гордость своей «ученостью», доверчивость и легкомыслие, приводящее к невольному и тяжелому предательству, горькое похмелье после обманных радостей и, наконец, все искупающая решимость самопожертвования.

Тема вольного или непреднамеренного предательства очень распространена в афри-

канской литературе, вспомним хотя бы известный роман кенийца Джеймса Нгуги «Пшеничное зерно». И при колониальном и при форстеровском режиме африканцам приходится испытывать давление, много превосходящее выносливость человеческую. Коренному населению Африки противопоставит враг не только сильный и беспощадный, но и хитроумный, до предела искушенный в понимке простых и доверчивых душ, не брезгующий никакими средствами ради утверждения и сохранения своего господства. И бедный Джордж Вашингтон Септембер, недавно столь довольный своей неприятельской жизнью, запутавшись в искусно расставленных сетях, по неведению, неискренности и природному легкомыслию губит своего дядю Калангу, агитатора и борца за права черных.

Я не оговорился, когда написал: столь довольный своей неприятельской жизнью. В применении к зулусам это звучит неприлично и странно, ведь удел южноафриканских аборигенов — страдать и ненавидеть. Так-то оно так, но в жизни все оказывается куда сложнее, нежели в наших готовых представлениях. Когда южноафриканец, подобно Джорджу Вашингтону Септемберу, молод, крепок телом, живет в услужении у чуждой расовых предрассудков семьи, когда он может покупать себе красивые куртки и модные брюки, ездить с девушками на морской пляж, попивать виски и ходить в кино на жгучие боевики, он не слишком угнетается тем, что его пляж, его кино, его магазин, даже скамья в парке на набережной отмечены клеймом «для неевропейцев». Море не теряет от этого своей прохлады и свежести, а песок — жаркой сыпучести, фильмы — увлекательности, девушки — сладости, а одежда — форса. И Джордж Вашингтон отнюдь не исключение — жизненные запросы его закадычного дружка Пита еще скромнее, так же как и многих других проживающих в городе зулусов и черных их подружек.

Но как же хрупко, как ненадежно это жалкое и мизерное благополучие! Волей хозяев страны тихий, избегающий всяких столкновений не только с белыми, но и цветными «подонками» парень оказался втянутым в дьявольскую полицейскую игру, в которой и нашел свою гибель. Но за это время Джордж Вашингтон Септембер успел о многом подумать и многое понять. Роман начинается с допроса в полицейском участке и заканчивается полицией. Но если вначале перед властями стоял кротко недо-

умевающий о своей задаче, покорный и наивный простак, то в конце романа в руки полицейских попадает постигший главное и сделавший выбор зрелый человек. Пусть еще не борец, но уже и не смиренный, не соглашатель, не покорная овца в стаде покорных. И если Джордж Вашингтон сохранит жизнь, то его уже не будет устраивать отдаленные на скамейке для неевропейцев и купание на пляже «только для черных», он не захочет на каждом шагу упираться то в вещественную, то в незримую преграду — «черным запрещено». В нем проснулись самосознание и гордость, с «тихим» зулусом покончено навсегда.

Рональд Харвуд не назойливо, не дидактично проводит мысль о невозможности для зулуса даже во всемерном самоумалении прожить спокойно при расистском режиме. И вопреки христианским рассуждениям героя, которых немало в романе, — мол, не нужно крови ни черных, ни белых, придем к равенству в общей молитве, — вывод из романа напрашивается прямо противоположный: нет иного пути для зулуса, чем путь смелого Каланги — путь вооруженной борьбы.

Впрочем, и сам герой в последние мгновения свободы, до того как захлопнулась дверца полицейской машины, обнаружил, что с общей молитвой в христианском храме обстоит не так-то просто. Белая женщина немедленно покинула церковь, как только возле нее преклонил колени молодой зулус. И, оскорбленный, он не смог молиться, а когда полицейские впахивали его в фургон и он поднял к небу, божьему обиталищу, глаза, чтобы в последний раз увидеть доброе старое солнце, то не смог смотреть на ослепительное светило. «Ты не можешь смотреть на солнце. Ты не можешь увидеть Бога». Такой вот горькой фразой заканчивается роман.

Читателю, знакомому с романом, может показаться, что мысли эти, при всей их несомненности, справедливости и важности, не блещут особой новизной и оригинальностью, что все это вторичное. Нет, от романа Рональда Харвуда веет свежестью первооткрытия. В искусстве важен не конечный вывод — почти все выводы уже сделаны, — а система доказательств, иначе говоря, образный строй произведения, подводящий нас к тому или иному выводу. И вот эта «система доказательств» и делает роман Харвуда столь примечательным, не похожим ни на какое иное произведение в афри-

канской литературе. А роман тридцатилетнего южноафриканского писателя, ныне живущего в Лондоне, несомненно, принадлежит к значительным литературным явлениям.

Написан роман от лица главного героя Джорджа Вашингтона Септембера, «образованного» африканца (пять классов школы), боя в богатом доме порядочных белых, написан как будто бы очень просто, бесхитростно — льется, и спотыкается, и запинается, и снова льется обычная разговорная речь в той доверительной интонации, с какой обращаются к другу. Да он и обращается к незнакомому другу, этот молодой зулус, его свободно-нескладная речь пересылана словечками «друг», иногда «сэр» (между дружками-зулусами в моде такая церемонность), вопросом, кстати и некстати, «вы меня поняли?». Вот типичный кусок харвудской прозы — встреча героя с прекрасной Фредой: «И гут я слышу шаг и понимаю, что это идет дама на высоких каблуках, да и голос сверху был женский. И, конечно, я прав, это цветная девушка, разодетая в пух и прах. Я плохо ее вижу, потому что в коридоре темно, но, друг, я слышу, как она пахнет. Да, сэр. А пахнет она замечательно. И, друг, платье на ней ярко-зеленое, и плечи голые. И, друг, я не хочу представлять перед ней грязным, но даже в темном коридоре я вижу, какой я, — вы меня поняли?»

Как будто бы просто писать таким вот непричесанным, бытовым, уличным языком, на деле же он как трудно! Нужно не просто хорошо владеть своим писательским ремеслом — нужно быть первоклассным, я бы сказал, изощренным мастером. Чтобы на протяжении всего романа не сбиться на язык собственной среды или на подделку под просторечие, чтобы выразить сознательно ограниченным словарем и упрощенной фразой противоречивые и тонкие переживания, трудные душевные перепады, сложные озарения проснувшейся мысли. Роман Харвуда стилистически безупречен, он словно пропет на одном дыхании. Завидное умение!..

Поскольку повествование ведется от первого лица, автор показывает своего героя изнутри, без всяких комментариев. При этом способе показа комментарий — и

весьма пространный — был бы необходим, дабы читатель не утратил сочувственного отношения к Джорджу Вашингтону Септемберу, настолько поступки его порой несовместимы с общепринятой моралью, настолько слаб, непостоянен и неверен слову бывает этот неустоявшийся характер, настолько тяжок его, пусть невольный, грех предательства.

Агитатор Каланга и все негритянское тайное собрание попали в руки полиции из-за того, что Джорджу Вашингтону слишком понравилась черная Нэнси, от которой так удивительно хорошо пахло. Правда, ему и в голову не пришло, что обольстительная и загадочная Нэнси подослана полицией, но он не был на страже, а следовало бы! Ради этой Нэнси он позволяет снимать себя для порнографических карточек: не утоленный ею, ищет радости и забвения с другими женщинами. Он легко и охотно напивается, хотя знает, что это нехорошо, он беспечен, разболтан, самодоволен, даже — иногда — нечист на руку, он ветрен, порой глух к чужому страданию, и все же он по своему прекрасен. Прекрасен естественностью здоровых — в основе — инстинктов, душевной расположенностью к дружбе и благодарности, незащищенностью перед коварством мира, детской доверчивостью и внутренней тягой к хорошему, чистому — недаром же он так физически опрятен, Джордж Вашингтон, привлекателен истинной человечностью, которой внешние силы не дают нормально развиваться. В молодом зулусе, открытом не простой добротой, а самой идее добра, дремлет упругая сила, он неизмеримо выше всех белых блюстителей расистского порядка, и светской провокаторши миссис Валери, и той белой женщины, что покинула церковь с появлением черного, и тех цветных, что усвоили худшее в европейском укладе. Белый, заблудший, запутавшийся в полицейских кознях и ставший их жертвой, но прозревший Джордж Вашингтон Септембер не нуждается в нашем прощении, он сам все искупит. Он нуждается лишь в чуткости нашего слуха, в открытости нашего сердца, чтобы проникли туда его доверительные, щемящие слова: «Друг, вы меня поняли?»

Юрий НАГИБИН.





Политика и наука**ЗАКОНОМЕРНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА**

**М. П. К и м. Советский народ — новая историческая общность.**  
**М. Политиздат. 1972. 262 стр.**

Р аскрыть богатое содержание понятия «единый советский народ», показать пути исторического формирования этой новой общности людей и значение ее как очень важного фактора в экономической, социально-политической и культурной жизни сегодняшнего нашего общества, общества развитого социализма, — на это направлены сейчас усилия ученых, представительных различных отраслей общественного развития. Это понятие прочно вошло и в арсенал нашей публицистики, журналистики, литературно-художественной критики.

Сам предмет исследования многосторонен, сферы употребления термина разнообразны, потому и среди авторов работ, данному предмету посвященных, мы видим социологов и правоведов, историков и этнографов, философов и специалистов по художественной культуре. Очевидно, наилучшие результаты исследования здесь могут быть получены в том случае, если автор предстает во всеоружии знаний, относящихся к компетенции ряда наук. Социологический «базис» исследования, конечно, необходим, он определен и характером изучаемого явления, и методологическими принципами, свойственными всякой обществоведческой науке, коль скоро речь идет о науке марксистско-ленинской, но при этом не уничтожается возможность ставить акцент на том, что наиболее близко исследовательским интересам данного автора или группы авторов.

Просматривая обширную научную и научно-популярную литературу, вышедшую к пятидесятилетию Советского Союза, замечаешь и плодотворность комплексного подхода к анализу такого явления, как единый советский народ, и широту фронта этого анализа, обеспечивающую возможность и полезность участия в нем ученых различных профессиональных интересов.

Книга члена-корреспондента Академии наук СССР М. П. Кима, о которой я хочу здесь рассказать, комплексна по своему содержанию, в то же время в ней преобладает пафос исторического рассмотрения явления в его поэтапных изменениях — от того, чем был народ (это социологическое

понятие в центре всех рассуждений автора) при капитализме, как изменялся он в процессе строительства социализма, идя к тому, чем он стал в развитии, изменяющемся уже на собственной социальной основе социалистическом обществе. Большая часть книги — после теоретико-социологической первой главы — отведена именно поэтапному анализу становления и развития новой исторической общности, тому, как эти процессы протекали на экономических, социальных, политико-идеологических, культурно-духовных «этажах», взятых, что весьма существенно, в их взаимообусловленности и взаимосвязи.

Я думаю, что такая композиция, такой подход — показать предмет не столько в теоретически-абстрактном виде, сколько в его реальном движении в историческом времени, — способствует более наглядному его «воссозданию», расширяет и адрес книги, хотя просто к жанру научно-популярной работы (на что «намекает», казалось бы, небольшой объем, почти карманный формат, да и тираж в 50 тысяч экземпляров) я ее не отнесу.

Книга написана неровно: наряду со страницами, изложенными в стиле «просто» и ясном, в ней есть и образчики стиля усложненно-терминологического (буржуазная государственная общность «разваливается от первого же удара революции потому, что лишена внутреннего единства, ей чужд атрибут органической и жизне-способной общности людей, атрибут коллективности и свободы личности»; кстати, так ли уж от первого удара «разваливается» буржуазная государственность с ее «атрибутами»?); Такой «атрибутики» у М. Кима, в общем-то, немного. Но поскольку сам предмет достаточно нов, лишь в недавнее время вошел в первый ряд изучаемых нашим обществоведением сюжетов, уже поэтому изложение его не есть простая популяризация вполне изведенного наукой, а является той или другой степени глубины исследованием. Донести же суть научного анализа, а также методологические пути его до тех, кто сам научным анализом не занимается, но результатами его интересуется, — эта задача очень важ-

на для нашей науки, для нашего обществоведения.

Мне кажется, что в целом М. Ким с такой задачей справился успешно. И успеху этому служит, помимо прочего, пафос исторически последовательного авторского анализа, равно как и соответствующее ему построение книги, о чем я уже сказал.

Понятно, что никакая история предмета сама по себе не обеспечивала бы успеха, если общесоциологические посылки были бы невяжны, запутанны, не говоря уж неверны. Но у М. Кима в первой главе, носящей характер введения в дальнейшее, эти посылки даны ясно и теоретически обоснованно.

Народ — это историческая общность, реальная общность людей, «основу которой составляют в одном случае политико-правовые, в другом — этнические, в третьем — социально-экономические и морально-политические узы». Автор не спешит отбросить какие-либо из названных факторов — «определителей» понятия во имя ложно понятого монизма — «понятие оказывается весьма сложным и не поддается краткому однозначному определению». Народ может и в определенном контексте анализа должен рассматриваться как общность государственная или общность этническая; это отнюдь не означает реабилитации методологического плюрализма, а говорит лишь о выделении того или иного аспекта. Социологически-базисный подход (народ, по ленинским словам, — это «вся совокупность трудящихся и эксплуатируемых», если иметь в виду народ классово-антагонистических формаций) остается именно базисным; в отрыве от него, а в буржуазном обществоведении и в противовес ему, этническая или государственно-правовая трактовка понятия уводит нас от истинного понимания данного предмета; на его основе — причем, это ясно подчеркивает М. Ким, «марксизм-ленинизм выделяет классовую общность как главенствующую в системе общественных групп» — трактовки государственно-правовая и этническая расширяют научное многостороннее понимание того, что есть народ.

Постичь, как изменяется он, и разноаспектное содержание этого изменения — значит, исследовать его движение «сквозь» различные общественно-экономические формации, движение, обусловленное их сменой; это значит, прежде прочего, проследить изменение социальной, классовой

структуры «совокупности трудящихся». а на этой основе — и относительно самостоятельное историческое движение в области государственности, политического положения, культуры. Не остается вне воздействия факторов социально-структурных и область этнических «определителей», хотя тут связь не столь «видима». Кстати, об этом, может быть, стоило автору сказать во введении. Четко показав (теоретически, еще до историко-последовательного рассмотрения предмета), что происходит с государственными и культурными характеристиками понятия «народ» в зависимости от социально-классового состава его при переходе от классово-антагонистического общества к социализму, М. Ким с той же четкостью стремится охарактеризовать, как «в ходе социалистического преобразования нации претерпевают существенные изменения, приобретают новое содержание и признаки нации: общность языка, территории, экономической жизни и культурно-бытовых особенностей. Они становятся более действенными, сплачивающими факторами, вместе с тем выражают крепнущую монолитность национальной общности». В общем виде «формула» верна, но по отношению к языковому и территориальному факторам формулировочная четкость автора скорее четка словесно, чем, так сказать, мыслительно-содержательно. Исчезновение диалектологических различий, превращение языка литературного в язык всей нации, всей «массы нации», вряд ли прямо связано с социальным ее составом, да и «свободное перемещение людей в пределах национальной территории», в чем автор видит «новую грань» признака территориальной общности и следствие, в частности, того, что территория стала «общенародным достоянием», возможно не только при социализме. Жаль, что автор не коснулся здесь вопроса о национальном самосознании, об изменениях, происходящих в содержании этого этнического признака в связи с социальными преобразованиями.

Как бы там ни было, а вводная общесоциологическая глава в книге М. Кима дает хорошую стартовую площадку для дальнейшего анализа исторических путей образования советского народа. Этому анализу служит и важная мысль о том, что именно социализм открывает эпоху новых интернациональных, межнациональных общностей. Хочется подчеркнуть слово «но-

вых», поскольку интернационализации способствует и капитализм, однако осуществляет ее по-своему, исходя из своих социальных интересов. «Социалистические межнациональные общности,— пишет М. Ким,— это совершенно новые, невиданные в прошлом общности людей. Они коренным образом отличаются от тех «обществ наций», которые насильственным способом создавались империалистическими колониальными державами под их эгидой и которые при первом же удобном случае легко (пожалуй, лишнее слово.— Ю. С.) распались. Социалистическая межнациональная общность людей — это новое явление в истории этнических общностей, через которые лежит путь к будущему коммунистическому слиянию наций, к безнациональной общественной структуре. В ней воплотились и получили дальнейшее развитие все прогрессивные тенденции в жизни наций и в их отношениях, которые все больше обнаруживаются вместе с общим прогрессом человечества, но которые не могут вполне развиться в условиях классово-антагонистического общества».

Анализ путей образования советского народа М. Ким и ведет как бы в двух плоскостях (говоря «как бы», поскольку в движении авторской мысли они составляют одно целое и лишь для удобства анализа их можно представить как две плоскости): выясняются последовательные исторические изменения социальной структуры советского общества (а тем самым и социального состава каждой национальности в нем) и изменения, которые происходили в сфере межнациональных отношений и привели к образованию новой интернациональной общности людей. Социальное и национальное (межнациональное, интернациональное) предстают как стороны единого исторического процесса, характерного именно для новой, неантагонистической общественной формации.

Доктябрьская эпоха в этом плане характеризуется М. Кимом как «эпоха предьстории советской общности людей», а Октябрьская социалистическая революция — как веха, ее завершающая и одновременно открывающая новую эпоху. В связи с социальным преобразованием и на его основе меняется содержание и смысл национального вопроса. Известно, что Великий Октябрь, решая задачи пролетарской революции, решил и недорешенные в силу

определенных исторических обстоятельств и причин вопросы революции буржуазно-демократической. Национальный вопрос в его демократическом содержании, в частности. Но это было вовсе не повторение пройденного Западной Европой. Народный, демократический характер нашей революции проявлялся в процессе борьбы за социалистическую государственность, в процессе построения социалистических общественных отношений. Это обстоятельство коренным образом обновляло содержание и национального вопроса. Уже «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», которую М. Ким интересно сопоставляет с «Декларацией прав человека и гражданина», отчетливо фиксирует новое содержание национального вопроса (как и вопроса о демократии). Тезис о «свободном союзе свободных наций» находится в ней в органической связи с провозглашением задачи уничтожить классовую эксплуатацию, с тем, далее, что «эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти» — власти, завоеванной народом под руководством рабочего класса и его партии.

«Проблема формирования советского народа как новой исторической общности людей,— подчеркивает М. Ким,— в своей социально-классовой сущности была проблемой органического сплочения и сближения рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции под руководством рабочего класса и его коммунистического авангарда». Для автора это не только справедливая формула обобщения, но и ориентир в исследовании. С умеренным, но вполне достаточным и убедительным использованием статистических данных прослеживает М. Ким, как на разных этапах истории СССР совершалось социальное обновление трудящегося народа, как укреплялся союз рабочих и крестьян, как изменялся социальный состав интеллигенции, как становилось все более прочным морально-политическое единство советского общества, как развивалось государство диктатуры пролетариата по пути своего превращения в общенародное государство. И как на всех этапах нашей советской истории Коммунистическая партия, опираясь на ленинское идейное наследие, чутко и вовремя улавливала новое в социальном процессе и руководила им. В том числе в сфере межнациональных отношений. Общий союз народов, образовавших по

доброй воле союзное единое государство; усиление этого союза в общей работе — построении социалистической экономики и культуры; испытание нашего единства, братства народов огнем величайшей из войн, испытание, из которого наши единство и братство вышли еще более закаленными; подвиг послевоенного восстановления, в ходе которого продолжалось великое социалистическое строительство, результаты которого оказались таковы, что можно было сделать затем вывод о вступлении страны в период развитого социализма,— обо всем этом М. Ким рассказывает убедительно, все это анализирует исторически конкретно и не теряя из виду связи различных периодов. Посчитав страницы, отведенные для анализа исторического движения советского народа, видишь, что их, в общем-то, немного, но краткость изложения тем не менее не вызывает у читателя ощущения неполноты, недоговоренности. В сущности, это ведь и есть умение, если угодно, искусство исследования такого рода: не перегрузить текст различного рода «эмпирией», но дать все необходимое и достаточное, чтобы в сознании читающего возникла картина четкая и разносторонняя. Четок и вывод о том, что «важнейшие социально-экономические, материально-технические, политические и культурно-идеологические условия создания в СССР развитого социализма» явились вместе с тем «факторами интеграции населения, все более тесного сближения его социальных и этнических образований, факторами дальнейшего развития советской общности людей в целом».

В трех последних разделах третьей главы автор опять-таки сжато, но емко показывает сегодняшние процессы единения советского народа как семьи народов-братьев, дальнейшего укрепления этого единения в сферах социально-структурной, межнациональной и внутринациональной (правда, здесь опять приходится пожалеть об излишней краткости характеристик собственно этнических процессов), культурно-духовной. Содержательны страницы раздела, озаглавленного «Образ жизни и духовный облик советского народа»...

Я отнюдь не забываю о том, что свой отзыв на книжку социолого-историческую пишу для журнала литературного. Естествен вопрос о том, как М. Ким вводит в свой текст и анализирует материал художественно-культурный.

Этого материала здесь немало. Культурно-духовное «измерение», куда входит и художественно-культурное, постоянно присутствует в книге. И как общетеоретическая посылка: прогрессивность того или иного общественного строя характеризуется, помимо прочего, и тем, какой тип культуры им создается. И как обязательный компонент тех исторически-конкретных этапов, которые анализирует автор.

Особенно интересными показались мне страницы, посвященные проблеме образования социалистической интеллигенции. Речь здесь идет не о том, что автор открыл в самой этой проблеме нечто такое, чего не было бы в других работах о советской интеллигенции (а такая литература огромна!); речь о том, что автору удалось «ввязать» эту проблему в круг своих вопросов, показать ее как органическую, необходимую часть исследования истории новой общности. Богатые данные содержатся в книге М. Кима и насчет того, как менялась сама почва культуры, уровни потребностей масс в культуре, искусстве. Думаю все же, что наряду с общесоциологическими характеристиками (советской интеллигенции, художественной в частности) и с примерами из сферы «потребления» культуры, в том числе художественной, можно было бы посылнее показать мир литературы и искусства в его воздействии на процессы исторического развития советского народа. М. Ким называет некоторые художественные произведения, их авторов, но нет ощущения исторического движения нашей литературы и искусства.

Что касается интернационального существа и национального многообразия нашей художественной культуры, то здесь автор дает нам безупречно точные общие формулировки, что, разумеется, важно, но можно было бы ожидать от него и большего. В частности, очень важно высказываемое М. Кимом положение о дальнейшем совершенствовании национальных форм советской единой и многонациональной художественной культуры: «Своеобразие национальной формы культуры, свободное от реакционных, отживших элементов,— это богатство каждого народа, которым должен дорожить не только он один, но которое должны ценить и другие народы, ибо все они друг у друга черпают и перенимают все гуманное, прогрессивное и из арсенала формы культуры. Это — богатство каждой нации, которое служит ее специфическим вкладом в общую сокровищницу интернациональной культуры».

социализма». Данное положение хотелось бы видеть не просто более широко иллюстрированным, но и проанализированным в исторической динамике.

Понимаю, вполне понимаю, что такой упрек равносильен упреку в том, что автор данной книги не выступает во всеоружии литературоведческого, историко-литературного. Гораздо обоснованнее может быть упрек «обратный» — нам, литературоведам и искусствоведам. Это наше дело — дать полную и ясную картину собственно художественного развития советского народа. И если я все же такой упрек обращаю и к автору неиститоведческой, нелитературоведческой работы, то лишь потому, что изучение художественной культуры — дело, требующее усилий комплексных. К тому же социологи, философы, историки, этнографы в последнее время дают в своих работах много такого, мимо чего никак не должен проходить и литературовед, историк нашей художественной культуры.

Историю советской литературы, советского искусства мы строим обычно в соответствии с социальной историей общества, по периодам и этапам социально-структурных обновлений плюс учитывая определенные моменты этой истории как «приходящие» извне, а не изнутри (мы выделяем как отдельные главы курса годы гражданской войны и, уж безусловно правомерно, годы войны Отечественной). В поисках же сугубо художественных критериев периодизации мы чаще всего выбираем этапы движения метода социалистического реализма (насколько убедительно мы их исследуем — вопрос другой). И тот и другой критерии бесспорно необходимы. Но как соединить их, чтобы не было тут «зазоров»? Задача методологически сложна. Я думаю, что нам, литературоведам, еще предстоит постигнуть всю полноту значения для нашей работы понятия «единный советский народ» и исторического движения этой новой в социальном и межнациональном планах общности людей. Вполне допускаю, что процесс складывания и развития этой общности может и должен служить одним из важных критериев периодизации истории нашей художественной культуры. Вспомним еще раз, вдумаясь снова в мысль, высказанную Л. И. Брежневым: образование новой исторической общности — советского народа есть «свое-

го рода обобщенный итог тех экономических и социально-политических перемен, которые за полвека свершились в нашей стране». Обобщенный итог и, стало быть, в определенном смысле обобщенный показатель зрелости, развитости самого исторического движения на разных его этапах. И конечно, фактор воздействия на это движение чем далее по пути строительства коммунизма, культурного строительства в том числе, тем все более сильный. Значит, я думаю, говоря о прошлом и настоящем, планируя будущее нашей культуры, прогнозируя завтрашний день ее, вырастающий из ее сегодня, мы вправе применять понятие, о котором идет речь, к анализу материала литературно-художественного.

И не значит ли это, что, строя курс истории советской межнациональной литературы с учетом данного фактора, критерия и т.п., мы увереннее будем периодизировать ее, поскольку хронологически небольшие отрезки и периоды органичнее будут связываться с этапами большей продолжительности, определяемыми по «обобщенно-итоговому» критерию — этапам исторического движения советского народа?

Если, как справедливо пишет М. Ким, «развитие межнациональной общности означает усиление политического, экономического и культурно-идеологического (стало быть, и художественно-культурного, эстетического! — Ю.С.) единства наций, более интенсивную выработку у них общих черт духовного облика и образа жизни» в сочетании «с дальнейшим развитием всех наций, которое позволяет им полнее раскрывать свои творческие потенции и вносить оптимальный вклад в общее дело сотрудничества», то не значит ли это, что исследователям художественной культуры надо и в своей прогностической работе больше опираться на изучение сегодняшнего развития и перспектив этого развития советского народа как общности, все отчетливее идущей к социальной однородности и все больше внутренне сближающейся в плане межнациональных отношений?

Книги социологов и историков, подобные книге М. Кима, пробуждают желание думать и над «своими» профессиональными вопросами. Это еще одно свидетельство, что они полезны, нужны многим...

**Ю. СУРОВЦЕВ.**

## КАКОЙ БУДЕТ ШКОЛА?

В. В. Давыдов. Виды обобщения в обучении. М. «Педагогика». 1972. 424 стр.

Каждую эпоху отличает не только то, что ею сделано, но и то, что составляет устойчивый предмет ее недовольства и критики. Взятый в исторической перспективе, этот «негативный актив» отражает внутреннее беспокойство культуры и выступает одним из важных источников ее развития: критика сегодняшнего дня определяет направления и формы завтрашних сдвигов и переломов. С этой точки зрения очень внушительный задел на будущее подготовила нынешняя система образования. За последние десять—пятнадцать лет в адрес школы выпущено столько критических стрел и молний, что теперь уже, кажется, невозможно удивить кого-нибудь еще одним выступлением на эту тему.

В самом деле, за что только не ругали школу! И за архаичность программ, и за то, что обучение оторвано от воспитания, и за слабую подготовку к практической деятельности в различных сферах жизни, и за неумение формировать творческое мышление, и за упущения в воспитании качеств, которые необходимы для семейной жизни. Нельзя сказать, чтобы критика эта не дошла до адресата, угаснув на страницах различных изданий. Родители, дети которых учатся в младших классах, хорошо знают, что теперь в школе действует новая, сильно модернизированная учебная программа, что эта программа, как и новые учебники, разрабатывалась при активном участии видных ученых.

Словом, школа и вся система образования пусть медленно, но все же начали перестраиваться. Казалось бы, общественное мнение может наконец считать проблему принципиально решенной и во всем остальном довериться специалистам: импульс задан и теперь осталось лишь на профессиональном уровне довершить начатое.

Однако, чем голубее краска, живописующая педагогический оптимизм, тем меньше склонны мы разделять его. Даже наоборот — тем больше растет сомнение в том, что тяжелая артиллерия, приводимая постепенно в действие, бьет точно по цели. Книга В. В. Давыдова самым решительным образом укрепляет в этом сомнении. Ее значительность и новизна заключаются прежде всего в том, что здесь разговор о судьбах образования переводится совсем в иную по сравнению с привычной всем нам

плоскость. Вместо того чтобы в очередной раз коллекционировать ставшие дежурными ахи и охи по поводу школы, автор — впервые, пожалуй, в отечественной литературе — раскрывает истоки нашего недовольства обучением. И вот здесь-то оказывается, что поводы для благодушия пока еще не столь уж серьезные.

Стереотип, который сложился в публицистике и научной критике, сводится к тому, что обучению инкриминируется неспособность (или, по крайней мере, явно недостаточная способность) формировать содержательное мышление, то есть умение ставить и решать проблемы. Понимают ли это те, от кого зависит направление преобразований в школе? Вне всякого сомнения. Но тогда почему же задача не поддается решению и критика вынуждена еще и еще раз повторять тезис, который, кажется, успел уже всем изрядно надоесть? Беда в том, что в сутолоке реформаторства как-то незаметно оказалась смазанной сама его цель. Новые учебные программы ориентированы на современный уровень знаний, и в этом смысле прогресс совершенно бесспорен. Но ведь знания, даже новейшие и организованные в систему, еще не цель образования, а только средства, которые человеку так или иначе предстоит использовать в своей деятельности. Наши дети уже в школе узнают то, что даже самые любознательные из нас узнавали гораздо позднее из научно-популярных журналов. Но какие дальнейшие преимущества дает им это превосходство в уровне знаний, чему оно служит?

Чтобы ответить на этот вопрос, полезно совершить небольшой исторический экскурс. Когда потребности капиталистического производства заставили создавать массовую школу, то ее основной и фактически единственной установкой была грамотность в самом элементарном смысле этого слова. А что такое грамотность, какова ее социальная функция? В данном случае владение минимумом знаний выступало как всеобщее условие массовой деятельности в производстве. Но именно как условие, предпосылка: сама по себе деятельность в ее конкретных разновидностях, способах и формах передавалась от поколения к поколению внутри сферы производства и, соответственно, вне школы. По-

нятно, что такая ситуация была возможна лишь постольку, поскольку в структуре деятельности главная роль принадлежала устойчивым трудовым навыкам и умениям, а удельный вес общекультурного и интеллектуального компонентов оставался незначительным.

Относительная неразвитость внутренней структуры деятельности находила отражение и продолжение в логике целей и содержания образования, прежде всего в установке на грамотность как основной и исчерпывающий критерий обучения. Конечно, овладение грамотой развивало определенную культуру мышления. Но какого мышления? Это и есть главный вопрос. По сути дела, вся книга В. В. Давыдова посвящена доказательству того, что традиционное обучение чрезвычайно жестко ориентировано на формирование лишь одной разновидности мышления — эмпирического, которое во многих отношениях сильно отличается от научно-теоретического мышления. Если первое осуществляется путем сравнения и фиксации в общем представлении сходства предметов действительности, то второе основано на анализе сущности вещей и фиксации их в понятии. Эмпирическое мышление вполне успешно обслуживает простейшие формы человеческой практики, не связанные с постоянным обновлением структур деятельности. Его формированию и посвятила себя массовая школа на заре своего развития. Большого от нее тогда не требовалось. Едва ли надо удивляться, что такая программа получила оправдание в трудах теоретиков педагогики, причем оправдание это было весьма стройным — оно опиралось на традиционную формальную логику и на ассоциационистскую (господствовавшую в те времена) психологию. Логическим центром традиционной педагогики явилась возведенная ею в ранг высшего догмата концепция обобщения — обобщения через сравнение, установление сходства и различия, движение мысли от конкретного к абстрактному. Очень важно подчеркнуть, что это был не частный момент, не второстепенная деталь, а именно логический остов, на котором строилось и развешивалось все содержание школьного образования.

Но еще более важно, что эта основа сохранилась и в школе наших дней, хотя теперь — особенно в условиях развитого социализма — владелец аттестата должен обладать совсем иными, гораздо более раз-

вернутыми качествами зрелости, чем это было не только сто, а даже двадцать лет назад. Ведь научно-техническая революция изменяет не только многочисленные формы материальной и духовной жизни — очень заметно изменилась и продолжает меняться мыслительная культура. Современный человек, хочет он этого или не хочет, сознает или не сознает, обязан мыслить иначе, чем это делали его прадеды и деды. Не только руководители большого масштаба — рядовые работники, по логике исполняемого ими дела, чем дальше, тем больше не могут ограничиваться простым исполнением привычных операций, а должны постоянно отыскивать и переступать границы собственного мышления и его стандартов, уметь самостоятельно и сознательно строить, конструировать свою деятельность. Иначе говоря, современный работник должен уметь найти, поставить и решить проблему. А для этого он должен овладеть основами научно-теоретического, а не эмпирического мышления, должен получить гораздо более широкую общекультурную и интеллектуальную подготовку, чем та, которую способна дать традиционная школа.

Традиционная педагогика и педагогическая психология совершенно искренне пытались откликнуться на новые веяния, но по самому своему характеру они оказались в состоянии сделать это только внешне, приняв новые факты науки и подчинив их старой, давно сложившейся установке. А главное, они не сумели даже поставить во всей широте вопрос об изменении типа мышления, на который должна быть ориентирована современная школа. Поэтому дело в значительной мере свелось к расширению объема знаний в школьных программах, а логико-психологический и педагогический аспекты обучения оказались оттесненными на второй план. В результате сложилось весьма необычное положение: в перестройке образования первую скрипку играют не профессиональные педагоги, а представители «большой науки» — математики, физики, химики и т. д., которые, конечно, прекрасно знают современные достижения своих дисциплин, но от которых было бы наивным требовать осведомленности в педагогических проблемах.

Пожалуй, самая сильная сторона книги В. В. Давыдова заключается в том, что здесь с большой фактической и логической убедительностью показана глубина разры-

ва между современным уровнем социальных требований к школе и архаичностью ее логико-психологической базы. Скрупулезный анализ шаг за шагом с беспощадностью раскрывает причины слабости педагогической практики в решении, казалось бы, не столь уж сложных вопросов. Причем вот что особенно знаменательно: речь идет о трудностях в усвоении не каких-то суперсовременных проблем, а того материала, который составляет основу грамотности и, стало быть, не должен быть чуждым традиционной школе,— об обучении русскому языку (в русской школе, разумеется) и арифметике.

Приступая к изучению грамматики, дети сталкиваются с двойной жизнью слова: помимо относительно привычной для них семантической стороны, им приходится оперировать еще и с формой слова, которая определяется системой грамматических категорий. Иначе говоря, они вступают в особый, совершенно для них новый мир законов языка. Главная трудность заключается в том, что лексический и грамматический, содержательный и формальный планы не находятся между собой в отношениях прямого соответствия. Из-за этого школьники долгое время не могут понять, почему слово «бег», выражающее действие, является существительным, а не глаголом, почему у слов «лак» и «лакомка» разные корни, и вместе с тем утверждают, что родственными словами являются «мать», «сын», «отец». Не умея различить семантический и грамматический планы, более того, даже не отдавая себе отчета в их существовании и довольно сложном взаимодействии, ребенок на протяжении нескольких лет строит грамматический анализ, апеллируя или только к лексике, или исключительно к грамматической форме. Именно устойчивость ошибок заставляет искать их корни не в частных недостатках методики, а в самих принципах, на которые опирается обучение языку. Каковы же эти принципы?

Здесь, на этом простом примере, отчетливо раскрывается, что главные трудности в усвоении грамматики порождаются не сложностью законов языка как таковых, а прежде всего эмпирической концепцией мышления и обобщения, лежащей в основе построения курса грамматики в школе. Эта концепция требует, чтобы к новым понятиям ученики подводились постепенно путем множества однотипных упражнений,

чтобы их учебная деятельность максимально опиралась на уже нажитый опыт. Как, скажем, предлагают подвести учеников к понятию грамматической формы и ее разновидности? Дети сначала должны приобрести достаточно широкий опыт эмпирического сравнения слов по сходству и различию и только потом на основе множества проработанных ими частных случаев прийти к общему понятию.

На первый взгляд кажется, что это и есть самый действенный способ прочного усвоения материала. Но фактически он страдает, по крайней мере, двумя принципиальными пороками. Во-первых, реально ребенок овладевает не теоретическим понятием, а суммой эмпирических навыков, которые в лучшем случае дают ему систему практических автоматизмов для работы с языковым материалом. Во-вторых, культивируемое таким образом мышление по своему существу атеоретично: подобно всякой эмпирической деятельности, оно знает только один способ движения — снизу вверх, от частного к общему, тогда как научно-теоретическое мышление движется прямо противоположным образом — от общего к частному, от абстрактного к конкретному. По этим причинам принятая в нынешней школе схема курса грамматики не только решительно затрудняет усвоение собственно законов языка, но и тормозит формирование мышления.

Примерно то же самое показывает и анализ структуры курса математики в начальных классах. Курс ориентирует детей на решение различных типов задач, оставляя их беспомощными при малейшей, даже чисто внешней модификации уже пройденного ими типа. Иначе говоря, и здесь принимается установка на формирование совокупности эмпирических навыков, а не на подлинное развитие математического (теоретического по своей природе) мышления. Эту установку точно раскрывают приводимые В. В. Давыдовым слова известного французского специалиста Ж. Дьедонне: «Мы склонны в наши дни, в частности среди преподавателей... ухищряться маскировать или уменьшать возможно дольше абстрактный характер математики. Это, на мой взгляд, большое заблуждение». Эмпиричность вырабатываемого на уроках математики мышления хорошо иллюстрируется формированием у детей понятия числа: как показали специальные проведенные эксперименты, ребенок



обученный на основе эмпирической концепции, часто не различает самого объекта счета и средств, которыми фиксируется его результат, в его сознании единицы счета тождественны элементам объекта.

Итак, два ведущих предмета школьной программы являют далеко не радужную картину. (Заметим в скобках, что обращение к любой другой дисциплине школьного курса едва ли настроило бы нас более оптимистично.) Колоссальные затраты сил и времени приводят к непропорционально низкому результату. Больше того, в некоторых существенных пунктах они закрепляют то, что надо было бы расшатать, и не позволяют сформировать то, что надо было бы считать необходимым продуктом обучения. Понятно, что в такой ситуации далеко не всякая модернизация обучения может привести к желаемому результату: нужно не просто «осовременивать» учебный материал, а перестраивать, притом радикально, исходные цели образования и принципы построения его содержания. Но в каком направлении?

Свой ответ на этот вопрос В. В. Давыдов дает в заключительной части книги, где кратко излагаются принципы построения учебных программ по русскому языку и математике. Эти программы разработаны автором и его сотрудниками и теперь проходят экспериментальную проверку в ряде классов и школ. Здесь многое необычно, даже экстравагантно уже с чисто внешней стороны: второклассники начинают изучать систематический курс морфологии, а первоклассники уже на третий месяц обучения, еще не оперируя числами, уже овладевают понятиями равенства и неравенства. Об этой, без сомнения, эффективной стороне давыдовской школы много писалось. Сейчас важно подчеркнуть другое — основания, из которых вырастают такого рода программы.

А основания эти очень продуманны. Их логико-психологический фундамент составляет содержательно-диалектическая кон-

цепция мышления, взятая, однако, не в виде обязательной присяги, которая произносится во вводных разделах монографии, а потом спокойно предается забвению, а в виде принципов, которые конкретизированы применительно к задачам обучения и развития ребенка. Скажем, курс грамматики в качестве исходного берет принцип связи формы и значения слова. Поэтому второклассники, определенным образом действуя со словами, открывают для себя зависимость сообщения от «анатомии» слова и начинают использовать эту зависимость как общее средство проникновения в грамматический строй. И вот результат — у детей отсутствуют те характерные ошибки, о которых шла речь. В основу курса математики положена идея отношения как основы для формирования понятия величины и далее — понятия числа.

Чрезвычайно интересен и способ подхода к построению учебной деятельности: любая программа конструируется здесь таким образом, что ребенок постоянно действует, активно оперирует с теми или иными предметами. На этой основе у него формируются не только практические навыки, но в растущей степени он овладевает способами деятельности, то есть умением ставить и решать задачи.

Не стоит, конечно, переоценивать эту программу — ее автор сам подчеркивает, что находится в начале, а не в конце пути. Естественно, что в его концепции немало спорного. Но ведь иначе и быть не могло, ибо настолько нов, необычен и потому дискуссионен ее предмет. Сейчас важно увидеть, понять и оценить этот предмет и стоящую за ним задачу. А задача поставлена очень остро: если мы хотим, чтобы школа перестала быть притчей во языцех, то ее новую конструкцию надо закладывать с фундамента, с логически и психологически обоснованных новых принципов обучения.

**Э. ЮДИН,**

*кандидат философских наук.*



## ОКЕАН И ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО

А н р и Л а к о м б. Энергия моря. Перевод с французского. Л. Гидрометеоздат. 1972. 126 стр.

Современная цивилизация все более ясно осознает драматизм своих отношений с природой. Активное вовлечение в хозяй-

ственный оборот природных ресурсов планеты постепенно приводит к их истощению. Поэтому, размышляя о перспективах раз-

вития мирового хозяйства, ученые уже сегодня задумываются над тем, где найти новые источники сырья и энергии. Проблеме энергетики академик П. Капица назвал «одной из главных глобальных проблем». Раскрывая эту мысль в статье «Дом наш, планета Земля» («Правда», 15 мая с. г.), известный советский ученый справедливо замечает: «Использование человеком энергетических ресурсов — основной фактор, определяющий уровень развития современной цивилизации».

Однако традиционные источники энергии хотя и далеко не исчерпали пока всех своих возможностей, но все же в не столь уж далеком будущем вряд ли смогут удовлетворить растущие с каждым годом запросы хозяйства. И ученые вынуждены искать принципиально новые способы утоления энергетического голода.

Большой интерес в этом отношении вызывает изучение величайшей стихии планеты — океана. Проблематикой океанской энергетики посвящена интересная книга французского ученого Анри Лакомба, выпущенная в русском переводе Гидрометеиздатом. Рассчитанная на самую широкую аудиторию, она в то же время сохраняет объективность и беспристрастность научного труда. Глубоко и последовательно раскрывает Лакомб перед читателями картину сегодняшней науки об энергетике океана, показывает ее успехи, говорит о тех вопросах, на которые пока ученые могут ответить лишь приблизительно или вообще еще не могут дать ответа.

Сегодня уже удалось количественно (хотя и приблизительно) оценить энергетический резерв, который таят в себе приливы и отливы. Энергия прилива — 8 триллионов киловатт. Это в сто раз больше, чем энергия, вырабатываемая сегодня всеми гидроэлектростанциями мира. Лакомб подчеркивает, что люди в состоянии использовать эту энергию уже сейчас. Ведь два раза в сутки поднимаются многие миллиарды тонн воды, иногда на высоту многоэтажного дома. Если суметь «захватить» эту поднимающуюся воду «на гребне прилива» и удерживать в каких-то емкостях, расположенных выше уровня моря, то при отливе можно заставить ее вращать лопасти турбин. Над «приручением» приливов в последние десятилетия много и успешно потрудились советские гидроэнергетики, и особенно инженер Л. Б. Бернштейн — инициатор, автор проекта и строитель первой советской при-

ливной электростанции, уже несколько лет работающей на берегу Кольского залива, в губе Кислой. Кислогубская ПЭС — это первая ласточка советской приливной энергетики. Вслед за ней вырастут еще более мощные приливные станции — в Мезенском заливе Белого моря, в заливе Шелихова на побережье Охотского моря и в ряде других мест побережья нашей страны.

Давно привлекает перспектива использования огромной энергии, заключенной в штормовых волнах океанов и морей, бесполезно, а зачастую и во вред людям растрачиваемой природой. Подсчитано, что только одна волна стометровой длины и высотой пять метров в каждом метре своего протяжения содержит 312 киловатт, а в квадратном километре моря, покрытом такими волнами, каждую секунду расходуется не менее трех миллионов киловатт энергии. А ведь такие волны далеко не самые крупные. Высота водяных громад иногда доходит до 25, а длина — до нескольких сот метров. Поэтому дух захватывает, когда подумаешь, какими же совершенно не поддающимися учету колоссальными количествами энергии «заряжены» сплошь покрытые белыми гребнями бескрайние просторы штормового океана!..

К настоящему времени, пройдя длительный и тернистый путь «проб и ошибок», конструкторы нащупали способ улавливания волновой энергии. Это пневматическая электротурбина, использующая движение волны в полом цилиндре плавучего буя. Подъем и опускание водяного столба создает то сжатие, то разрежение воздуха в центральной трубе буя и вызывает движение воздушной струи, заставляющей вращаться турбину. Подобные электростанции, построенные японским инженером И. Масуда, уже установлены у входов в Токийский залив и порт Кусиро. Работают они безотказно вот уже четвертый год, питая своей энергией навигационные маяки, вблизи которых находятся. На большее эти станции пока не способны — мощность каждой из них всего лишь сто ватт. Однако сейчас в Японии разрабатываются проекты волновых электростанций, которые будут в двадцать раз мощнее.

Весьма заманчиво «запрячь» и кинетическую энергию морских течений, особенно если учесть, что в некоторых областях морской экономики, например при обслуживании плавучих маяков, течения — един-

ственно возможный источник энергии. Но и здесь море ставит перед людьми очередную загадку: как обойти недостаток, присутствующий в энергии течений, — приуроченность к слишком обширным массам воды, рассредоточенным на огромном пространстве океана.

Но главное богатство течений — их тепловая энергия. В известной мере эта энергия сама собой служит людям. Например, Гольфстрим поставляет на каждый сантиметр побережья Западной Европы 4000 миллиардов калорий тепла в год. Для того чтобы искусственно получить столь мощный обогрев, людям пришлось бы дополнительно сжигать каждый год не менее 500 тысяч тонн каменного угля самого высшего сорта!

Лакомб отмечает, что механическая энергия океана при всей своей величине и той большой роли, которую она может играть в жизни людей, все же не более как «бедный родственник» поистине неизмеримой тепловой энергии океана. Ведь из всего количества солнечного тепла, поступающего на поверхность нашей планеты, количества, которое, по выражению академика П. П. Лазарева, «отказывается понять самое пылкое воображение», львиная доля достается именно океану.

Получаемая океаном энергия так велика, что вся его вода как будто должна закипеть. Но океан не только не закипает, но даже заметно не прогревается. Большую часть полученного тепла он отдает атмо-

сфере. Американские ученые подсчитали: при образовании одного лишь грозового облака освобождается столько же тепловой энергии, сколько выделяется при взрыве водородной бомбы среднего калибра, а энергетическая мощь обычного циклона с его плотной завесой облаков эквивалентна одновременному взрыву сотни водородных бомб!..

«Основное горючее атмосферы» — скрытая теплота испарения в значительной мере создает распределение атмосферного давления, а через него и систему ветров на земном шаре. Но конкретный механизм этих процессов науке раскрыть пока не удалось. И потому ученые еще не в состоянии подойти «с числом и мерой» к изучению энергетического баланса всего Мирового океана, хотя бы ориентировочно оценить, какое количество тепловой энергии океана можно использовать.

Книга Анри Лакомба показывает, как по-деловому, конструктивно подходит современная наука к проблемам овладения энергией океана. Правда, иногда сама необычность материала, несмотря на спокойный авторский гон, придает изложению фантастическую окраску. Но и в таких случаях читатель понимает, что перед ним такая фантазия, которая, по выражению К. Э. Циолковского, всегда шествует впереди трезвого научного расчета.

**А. ПЛАХОТНИК,**

*кандидат географических наук.*



## ФРАНЦИЯ ГЛАЗАМИ РУССКОГО ДИПЛОМАТА

Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева). Публикация подготовлена И. С. Шарновой. Под редакцией А. Д. Люблинской. «Наука». Ленинградское отделение. 1972. 296 стр.

Русско-французские политические, экономические и культурные связи имеют давнюю историческую традицию. Ее истоки восходят ко времени существования могущественного государства в древней Руси. Достаточно напомнить тот широко известный факт, что дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анна, выйдя замуж за Генриха I, стала королевой Франции и во второй половине XI века играла видную роль в государственных делах этой страны. Позже, в средние века, связи между Россией и Францией в силу многих причин прерывались, хотя в XVI и XVII веках оба государ-

ства не раз предпринимали попытки установить постоянные дипломатические и торговые отношения, обменивались посольствами.

Новый этап в развитии русско-французских связей наступил в XVIII веке, когда правительство Петра I установило постоянные дипломатические отношения с Францией. Одновременно с этим между Россией и Францией стали завязываться и культурные связи, которые достигли своего расцвета во второй половине XVIII века, когда в Россию начали проникать сочинения идеологов Просвещения, а затем и идеи Ве-

ликой французской буржуазной революции.

Если этот период в развитии русско-французских связей широко освещен в трудах дореволюционных и советских историков, философов, литературоведов и искусствоведов, то корни русско-французских контактов в области культуры изучены слабо. Это во многом объясняется недостаточным количеством источников, рассеянных в различных собраниях архивных документов.

Рецензируемое издание позволяет раскрыть важную страницу в истории взаимоотношений России и Франции начала XVIII века, когда между обоими государствами еще не существовало постоянных дипломатических отношений. Именно к этому времени относятся первые плодотворные встречи русских людей с Францией. Одна из них связана с именем А. А. Матвеева, русского посла в Голландии. В 1705—1706 годах А. А. Матвеев по поручению Петра I ездил в Париж к Людовику XIV со специальным дипломатическим поручением: попытаться использовать Францию как посредницу при заключении мира с Швецией, а также добиться подписания торгового договора между Россией и Францией. Сложная международная обстановка не позволила миссии А. А. Матвеева выполнить свои задачи.

Во время поездки из Гааги в Париж А. А. Матвеев вел путевой дневник. Находясь в Париже, он стал записывать не только свои впечатления от встреч с разного рода людьми и осмотра достопримечательностей, но и включать в дневник множество сведений о Франции, заимствованных из литературы того времени. В итоге, проведя в Париже свыше года, А. А. Матвеев написал книгу о современной ему Франции. Сам автор называл ее то «дневником», то «архивом», то «статейным списком», то «книгой».

Сочинение А. А. Матвеева стало известно историкам более ста лет назад. Тогда же из него были опубликованы отдельные отрывки. Ныне исследователи истории России и ее культуры имеют возможность воспользоваться наиболее полным списком этого труда.

Тексту «Записок» А. А. Матвеева предпослана содержательная статья А. Д. Люблинской и И. С. Шарковой, в которой освещается история дипломатической миссии Матвеева во Франции с привлечением неизвестных ранее документов из архивов СССР и Франции, а также дается характеристика издаваемого памятника. Знаком-

ство читателя с «Записками» А. А. Матвеева во многом облегчается благодаря тщательно подготовленным комментариям, словарю терминов, иностранных и устаревших слов, а также указателям (именному и географическому), которые составлены И. С. Шарковой.

«Записки» А. А. Матвеева, крупного государственного деятеля и дипломата, разделявшего взгляды Петра I на необходимость «прорубить окно в Европу», интересны в нескольких отношениях.

Они дают ценный материал для ответа на вопрос, что особенно привлекло внимание наиболее образованных представителей «птенцов гнезда Петрова» в странах Западной Европы и что они хотели перенести на родную почву в тот переломный исторический период, когда в России осуществлялись крупные реформы в экономике, государственном строе, культуре и быту, назревшие еще в XVII столетии.

Сын крупного политического деятеля, начальника Посольского приказа боярина «западника» А. С. Матвеева и Е. Г. Гамильтон, дочери переселившегося в Россию шотландца, Андрей Артамонович Матвеев был не только высокообразованным человеком (он, в частности, хорошо знал латинский, греческий, польский, немецкий, голландский и французский языки), но и весьма наблюдательным путешественником, обладавшим острым взглядом, способностью схватывать суть явлений и умением давать яркие характеристики встречавшимся ему лицам. Его «Записки» позволяют современному читателю как бы взглянуть на Францию начала XVIII века глазами русского дипломата.

Матвеев был прежде всего государственным деятелем и дипломатом. Поэтому он подробно, с большим знанием дела описал жизнь и быт королевского двора, его структуру и персонал, пышные приемы и аудиенции, на которых он сам присутствовал, а также внешность, костюмы и манеры короля Людовика XIV, его фавориток, членов его семьи, законных и узаконенных (внебрачных) детей, их семьи, характеры и склонности. Эти сведения были необходимы каждому дипломату. На русского посла, как и на других иностранцев, произвели большое впечатление пышность и великолепие ритуала королевского двора во Франции, напоминавшего торжественно разыгрываемые театральные представления.

Не менее подробно Матвеев описал ор-

ганизацию французской армии и гвардии, которая считалась в то время одной из лучших в Европе. Этот интерес к французской армии станет понятным, если мы напомним о том, что Петр I, начав Северную войну с Швецией за выход к Балтийскому морю, предпринимал энергичные меры по созданию регулярной армии и военно-морского флота и жадно интересовался опытом соседних государств. В «Записках» Матвеева содержатся детальные сведения об армии, флоте и артиллерии Франции, численности отдельных полков, жалование офицеров и солдат, их форме. Описания нидерландских и французских городов включают данные об устройстве крепостей, валов, рвов и других оборонительных сооружений. Матвеев отметил дворянский состав гвардии и монополию дворян на замещение офицерских должностей, описал структуру рыцарских орденов во Франции.

В своих «Записках» Матвеев уделил много внимания положению французского дворянства, особенно знати, его роли при дворе и в государственном управлении. И это понятно, ибо в самой России в это время Петр I начал проводить реформы, которые должны были повысить роль дворян в армии и во всех звеньях государственного аппарата в ущерб влиянию родовитой аристократии. Эти преобразования правительства сопровождались «европеизацией» России, ломкой многих традиционных устоев в быту русских дворян.

Подробно охарактеризовал А. А. Матвеев организацию центральной и местного управления Франции, ибо государственный аппарат Людовика XIV, полностью подчиненный воле абсолютного монарха, считался образцовым в Европе.

Многие страницы «Записок» А. А. Матвеева характеризуют состояние науки и искусства во Франции. Русский посол посетил Французскую академию, Академию наук, Академию архитектуры, Академию изящных наук, а также королевский кабинет редкостей в Лувре, сады и оранжереи, астрономическую обсерваторию. Он специально интересовался постановкой высшего образования во Франции; был в старейшем университете страны — Парижском, присутствовал на диспуте в Сорбонне и описал деятельность богословского, юридического и медицинского факультетов.

Матвеев по достоинству оценил богатейшее собрание шедевров П. Веронезе, Ш. Лебрена «и прочих из Франции и из

Брабандии множайших знаменитых художников картины неoceneнных», а также «картины многоценныя изящнейших и древнейших итальянских изуграфов», хранящиеся в кабинете редкостей в Лувре. Матвеев с большим одобрением отзывался о существовавшем в Париже обычае ежегодно устраивать публичные выставки картин художников на темы евангельских историй «в соборной Парижа города церкви», а также о традиции, согласно которой знаменитые мастера должны были «порознь всяк принести в галерию Луврскую картину своего художества на память свою вечную, где многоценное тех украшение и многочисленное ныне видится из разных сложенное историй».

Многое поразило Матвеева во Франции, со многими явлениями жизни французского общества он столкнулся впервые. Однако в его книге, как справедливо отмечено А. Д. Люблинской и И. С. Шарковой, «везде слышен его собственный голос». Русский посол постоянно наблюдал и изучал незнакомую ему жизнь Франции, сравнивая увиденное во Франции с аналогичными явлениями в Англии, Италии, Греции, России. Будучи высокообразованным человеком и обладая тонким художественным вкусом, А. А. Матвеев в большинстве случаев правильно разобрался в описываемых им явлениях жизни французского общества, дал меткие характеристики многим государственным деятелям Франции.

От наблюдательного взора русского дипломата, разумеется, не укрылись нищета и разорение голландских, фламандских и французских крестьян и горожан, задавленных тяжелыми налогами и страдавших от частых и длительных войн, разница в домах, одежде и пище верхов и низов французского общества, грязь на улицах европейских городов и большое количество запущенных, полуразвалившихся зданий, толпы нищих.

Книга Матвеева проникнута доброжелательным отношением к населению Франции. «Народ как парижской, так и во всей Франции,— записал в дневнике русский посол по приезде в Париж под характерной рубрикой «О остроте народа того»,— весьма многоработной и ко внутреннему изследованию всяких художеств понятной, где художества больши прочих всех государств европских цветут и всех свободных наук ведения основательное повсегда умножается...»

Для «Записок» характерны точность и достоверность в изложении фактов и событий, стремление автора опираться на историческую литературу о Франции. Это выгодно отличает книгу русского дипломата о Франции от записок и мемуаров разного рода иностранцев, посещавших в средние века Россию и порою не намеренно, а чаще сознательно представлявших ее в искаженном виде и смаковавших отрицательные стороны быта населения «Московии».

В заключение хотелось бы отметить некоторые недостатки этого ценного и полезного издания. Думается, что А. Д. Люблинская и И. С. Шаркова, авторы вводной статьи, мало уделили внимания истории возникновения публикуемого сочинения. Объясняя причины, побудившие Матвеева создать свой труд, они пишут о том, что он описал Францию «не столько для отчета, сколько для себя». По нашему мнению, нельзя принять без оговорок такое объяснение. Многие лица из ближайшего окружения Петра I, в том числе и Матвеев, знали о намерениях царя провести реформы в России и активно участвовали в их осуществлении. При этом некоторые из них вы-

ступали со своими проектами, сообщали Петру I все то интересное и новое о соседних государствах, что могло быть использовано в России. Иногда это был способ выдвинуться, привлечь к себе внимание царя. Вряд ли можно исключать эти мотивы и для Матвеева. Все содержание его «Записок» свидетельствует о том, что он стремился дать ответ на многие вопросы, интересовавшие русское правительство при проведении реформ. В пользу этого соображения говорит и тот очевидный факт, что в фонде Кабинета Петра I, находящемся в Центральном государственном архиве древних актов в Москве, сохранились копии записок Матвеева с описанием воинских и гражданских чинов и учреждений Франции, которые были посланы им правительству в 1706—1709 годах и затем использованы, например, при разработке проекта Табели о рангах. Нельзя также не пожалеть, что авторы вводной статьи, по сути дела, обошли важный вопрос о времени написания «Записок» А. А. Матвеева.

**С. ТРОИЦКИЙ,**  
*доктор исторических наук.*





изображении какой-то одной индивидуальности, одного героя, в центре его — простые люди, которые, приобщившись к великому марксистско-ленинскому учению, объединяются под руководством партии на борьбу за национальное освобождение родины и социальный прогресс. Этот показ роста революционной сознательности народных масс и роднит роман вьетнамского писателя с произведением Горького.

В свое время В. И. Ленин говорил, что «марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий...» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 8).

В романе Нгуен Динь Тхи показано, как «поистине *выстрадал*» революцию вьетнамский народ.

«Разгневанная река» — вторая книга двухтомной эпопеи, изображающей историю революции во Вьетнаме. С первой частью — «Рушатся берега» — советские читатели познакомились еще в 1970 году. Она была посвящена развитию революционного движения во Вьетнаме в период 30-х годов.

Вторая книга охватывает период с конца 30-х годов до победы Августовской революции в 1945 году.

«Разгневанная река» — это река народного гнева против чужеземных захватчиков. Она сливает во всемогущий поток миллионы людей. Роман повествует о тяжелых днях французского колониального гнета, а затем и японской оккупации. Ни репрессии, ни безработица и голод, от которого вымирала целые деревни, не сломили свободолюбивый дух вьетнамцев. Вьетнамские коммунисты, собирая силы народа, готовили вооруженное восстание.

Со всех концов страны шли делегаты на вьетнамский национальный конгресс, нелегально состоявшийся в деревне Тангао. А затем осенью 1945 года жители городов и провинций вышли на улицы с красными знаменами. На многотысячном митинге в Ханое «на высокую трибуну, наскоро сооруженную посреди площади, поднялся худощавый человек... Высокий

лоб, светлые, лучистые глаза, реденькая бородка. Человек молча остояновился перед микрофоном... Собравшиеся на площади тоже застыли в напряженном ожидании.

Что скажет им сейчас Президент?»

Мы теперь хорошо знаем, о чем говорилось в «Декларации независимости», которую зачитал в тот день Хо Ши Мин:

«Вьетнам имеет право быть свободным и независимым и действительно стал свободным и независимым. Вьетнамский народ полон решимости отдать все свои духовные и материальные силы, пожертвовать своей жизнью и имуществом, чтобы отстоять свое право на свободу и независимость». И народ доказал это многолетней мужественной, самоотверженной борьбой против иноземных захватчиков.

Роман во многом документален. Сам автор принимал непосредственное участие в революционной борьбе. В судьбе коммуниста Кхака угадываются автобиографические черты. Это придает особую достоверность событиям, изображенным в романе. Мы видим, как разные слои населения приобщаются к революционному движению, как проникает революционное сознание в семьи первых борцов за свободу. Вступает в ряды бойцов национально-освободительного движения простая крестьянская девушка Куен — сестра погибшего в застенке подпольщика Кхака, и жена Кхака Ан, и ее брат Сон, и шахтер Ле, и учитель Ван Хой...

В то же время в романе много лирических сцен, выразительно нарисован быт. Читаешь о событиях в Ханое и сразу представляешь прямые тенистые улицы города, по которым движутся демонстранты со знаменами, и озеро Возвращенного Меча — центр борьбы, и мужественные лица бойцов...

Подлинность, достоверность изображаемой жизни, суровой, нелегкой, но полной отваги и подвигов, заставляет переживать события вместе с героями. И именно это делает роман по-настоящему интересным и значительным.

**В. Шарапов.**





# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Критические заметки по национальному вопросу.— О праве наций на самоопределение. — О национальной гордости великороссов. 112 стр. Цена 12 к.

**Э. Баталов.** Философия бунта. Критика идеологии левого радикализма. («Социальный прогресс и буржуазная философия») 224 стр. Цена 35 к.

**Н. К. Крупская.** Воспитывать достойную смену. Избранные статьи, речи, письма. 304 стр. Цена 43 к.

**И. Москаленко.** ЦКК в борьбе за единство и чистоту партийных рядов. 216 стр. Цена 82 к.

**Некоторые вопросы организационно-партийной работы.** 334 стр. Цена 1 р. 31 к.

**Рождение КПСС.** 107 стр. Цена 29 к.

**Советское государство — год первый.** 264 стр. Цена 1 р. 8 к.

## «СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ»

**С. Бондарин.** Прикосновение к человеку. Повести, рассказы, записки. 480 стр. Цена 87 к.

**П. Воронько.** След не умирает. Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 159 стр. Цена 47 к.

**Д. Гранин.** До поезда оставалось три часа. Повесть и рассказы. 359 стр. Цена 84 к.

**Г. Куницын.** Политика и литература. 592 стр. Цена 1 р. 59 к.

**В. Милонас.** Свадьба в «Париже». Рассказы. Перевод с литовского В. Залеской и Г. Герасимова. 280 стр. Цена 61 к.

**А. Михалевич.** Смеюсь над элитой. Книга публицистики. 248 стр. Цена 48 к.

**Л. Финк.** Уроки Леонида Леонова. Творческая эволюция. 440 стр. Цена 1 р. 25 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**С. Ансанов.** Семейная хроника. — Детские годы Багрова-внука. — Воспоминания. Вступительная статья С. Машинского. 670 стр. Цена 1 р. 32 к.

**Д. Донн.** Стихотворения. Перевод с английского и вступительная статья В. Томашевского. 167 стр. Цена 36 к.

**П. Замойский.** Избранные произведения. В двух томах. Т. 1. Подпаясок. Молодость.

Повести. 655 стр. Цена 1 р. 31 к. Т. 2. Восход. Повесть. 415 стр. Цена 88 к.

**Исландские саги.** Составление, вступительная статья и примечания М. Стеблин-Каменского.— **Ирландский эпос.** Вступительная статья А. Смирнова. Переводы. («Библиотека всемирной литературы») 863 стр. Цена 2 р. 51 к.

**Н. Конрад.** Очерки японской литературы. Вступительная статья Б. Сучкова. 462 стр. Цена 1 р. 32 к.

**Цао Чжи.** Семь печалей. Стихотворения. Перевод с китайского и вступительная статья Л. Черкасского. 166 стр. Цена 70 к.

**Д. Чивер.** Скандал в семье Уопшотов. Роман. Перевод с английского. 287 стр. Цена 84 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Д. Жуков и Л. Пушкирев.** Русские писатели XVII века. Предисловие Д. Лихачева. («Жизнь замечательных людей») 336 стр. Цена 84 к.

**Р. Олдингтон.** Стивенсон. Портрет бунтаря. Перевод с английского Г. Островского. Послесловие Д. Урнова. («Жизнь замечательных людей») 286 стр. Цена 1 р. 13 к.

**Р. Тагор.** Избранная лирика. Перевод с бенгальского. Вступительная статья А. Ибрагимова. 80 стр. Цена 22 к.

## «СОВРЕМЕННОМ»

**Р. Кутуй.** Солнце на ладони. Повести и рассказы. 286 стр. Цена 63 к.

**Б. Можжев.** Лесная дорога. Повести и рассказы. 540 стр. Цена 1 р. 6 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О защите социалистического Отечества. 2-е, дополненное издание. 421 стр. Цена 86 к.

**В. Овечкин.** С фронтовым приветом. Повесть, очерки и фронтовые газетные публикации. Составление и предисловие В. Карпова. 253 стр. Цена 61 к.

**А. Рашкевич.** Народные мстители Латвии. 164 стр. Цена 18 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь) **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Пугинковский пер. д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 29/VI 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 6/IX 1973 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)  
А 02165. Тираж 170.000 экз. (1-й завод 1—70.000 экз.) Зак. 2142.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Свердлова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636